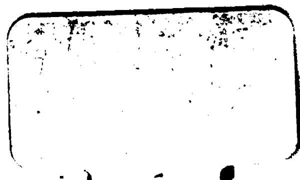

½ коп.

М. О. Меньшиковъ.

КРИТИЧЕСКIЕ ОЧЕРКИ.

Работа совѣсти.—День правды.—Литературная хворь.—Больная воля. — Нравственное вдохновенье. — Старые и молодые таланты.—Оскорбленный генiй. — Поэтъ-богатырь.—Художественная проповѣдь.—Сбились съ дороги.—Великое дѣтство.—Добрый юморъ.

1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографiя М. Меркушева. Невскiй пр., № 8.
1899.

ОТЪ АВТОРА.

Статьи, вошедшія въ этотъ сборникъ, печатались въ разные годы въ критическомъ отдѣлѣ журнала «Недѣля». Писанныя по поводу лишь нѣкоторыхъ произведеній гр. Л. Н. Толстого, Я. П. Полонскаго, А. П. Чехова, С. Я. Надсона, Грибоѣдова, гр. Алексѣя Толстого, Н. С. Лѣскова и П. Е. Накрохина, эти статьи могутъ служить скорѣе нравственной характеристикой творчества названныхъ писателей, чѣмъ литературной. Въ статьяхъ о гр. Л. Н. Толстомъ я ограничиваюсь только нравоучительной стороной его произведеній. Со всѣми авторами (кромѣ Грибоѣдова и гр. Алексѣя Толстого) меня, кромѣ уваженія къ ихъ таланту, связываетъ счастье знать и любить ихъ лично; такъ что ихъ дорогимъ для меня именамъ я и посвящаю эту книгу.

Работа совѣсти.

(По поводу статьи „Недѣланіе" гр. Л. Н. Толстого).

La magnanimité méprise tout pour avoir tout.

La Rochefoucauld.

I.

Въ литературѣ рѣдко выпадаютъ солнечные дни, когда надъ читающимъ міромъ взойдетъ какое-либо великое произведеніе — романъ, поэма, драма, въ теплѣ и свѣтѣ которыхъ нѣжится цѣлое поколѣніе. Таковы были полные цвѣтущей жизни романы Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, поэмы Пушкинской школы, вѣявшія поэзіей и радостью существованья. Обыкновенно-же въ литературѣ держится сѣренькій, истинно петербургскій климатъ: не переводятся сырые и пасмурные романы, унылыя, съ воемъ вѣтра и дождемъ чувствительныхъ слезъ стихотворенія, холодные, темные разсказцы... Тоску наводитъ такая поэзія; если и блеснетъ изъ-за тучи свинцовыхъ листовъ лучъ таланта, вдохновенія, если и покажется кусочекъ настоящаго, лазурнаго неба, то развѣ на полчаса, и затѣмъ снова тянется сѣренькая, назойливая непогода. Но бываютъ иногда и бури въ литературномъ мірѣ — благодатныя грозы для ранней и гибкой мысли и сокрушительныя для стараго лѣса суевѣрій. Шумятъ, колеблясь всѣми вѣтвями, молодые умы, чтобы затѣмъ, освѣженные энергическимъ движеніемъ, выпря-

миться еще стройнѣе; шумятъ, покачиваясь и скрипя, старыя настроенія, чтобы если не рухнуть, то дать новыя трещины въ одряхлѣвшемъ тѣлѣ. Такою бурею проносились нѣкоторые романы Достоевскаго, сатиры Некрасова и Щедрина, комедіи Островскаго, статьи знаменитыхъ критиковъ и публицистовъ. Такимъ-же грозовымъ характеромъ отличаются и произведенія Л. Толстого послѣ «Анны Карениной». Всѣ они—и тѣ, которыя доходятъ до русскихъ читателей, и тѣ, которыя проносятся далеко по горизонту, появляясь лишь въ иностранной печати—всѣ они насыщены не солнечнымъ свѣтомъ, а напряженнымъ электричествомъ, громами и молніями мысли, какъ-то загадочно родящимися изъ тѣхъ нечистыхъ испареній, которыя поднимаются къ душѣ писателя съ поверхности жизни. Статьи Толстого производятъ рѣзкое впечатлѣніе, о нихъ много и долго пишутъ, много говорятъ и даже спорятъ безъ конца. Стоитъ вспомнить появленіе «Крейцеровой Сонаты» или «Плодовъ просвѣщенія». Менѣе рѣзкій, но все-же сильный шумъ вызвала и статья Толстого «Недѣланіе».

Несомнѣнно, хоть немногимъ читателямъ эта статья понравилась, но огромное, подавляющее большинство—противъ нея. Автора нетолько оспариваютъ, но и *бранятъ* — точно такъ-же какъ и послѣ «Крейцеровой Сонаты», «Исповѣди» и т. п. Бранятъ иные сдержанно, иные — неистово и неприлично. Вообще никакъ нельзя сказать, чтобы Толстой въ своей роли «пророка» встрѣтилъ теплыя объятія въ литературной семьѣ или среди читателей. Сторонники у него есть, но есть и противники, да еще и какіе! Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда этотъ писатель высказалъ мысль, что настоящее призваніе женщины—рожать дѣтей и кормить ихъ, одна либеральная и образованная дама сейчасъ-же заявила въ печати, что на эту мысль слѣдуетъ отвѣчать *пощечиной* Льву Толстому... И подобныхъ «дамъ обоего пола» находится не мало среди читателей, хотя не всѣ, конечно,

сообщаютъ свѣту свои проекты. Въ современной литературѣ, кажется, кромѣ Страхова и Лѣскова нѣтъ видныхъ защитниковъ Толстого; развѣ еще одинъ г. Буренинъ иногда замолвитъ словечко за великаго писателя въ своихъ очеркахъ. Одинъ еще недавно пылкій поклонникъ Толстого, г. О.—и тотъ выступилъ противъ него въ походъ; онъ называетъ мысли Толстого «удивительными наивностями», «каламбурами», «игрою словъ», «плодами недоразумѣнія, недостаточнаго знанія» и т. п., а самого престарѣлаго автора «Войны и мира» называетъ... «геніальнымъ *ребенкомъ*», и кажется, безъ надежды, чтобы этотъ «ребенокъ» (ему уже седьмой десятокъ идетъ) когда-либо созрѣлъ. Но г. О. все-же не отказываетъ ребенку, о которомъ рѣчь, *хотя* въ геніальности. Значительное большинство журналистовъ и публицистовъ встрѣтили «Недѣланіе» еще жесточе и именно вродѣ названной «дамы обоего пола». Не успѣла статья появиться въ свѣтъ, какъ въ нее просто съ сладострастіемъ какимъ-то вцѣпились газетные рецензенты — и ну кувыркаться съ нею по подваламъ печати. Слово, написанное великимъ старцемъ, уже глядящимъ въ вѣчность, выношеное въ его сердцѣ какъ плодъ долгаго жизненнаго опыта, оказалось, видите-ли, необыкновенно подходящимъ для остротъ и каламбуровъ,—дотого, что даже извѣстная умная голова русской критики, г. С. не воздержался отъ искушенія лягнуть стараго льва русской литературы, благо это совершенно безнаказанно. Авторъ «Войны и Мира», какъ извѣстно, ни на какіе журнальные вызовы не отвѣчаетъ, идя невозмутимо своею дорогой, и не какъ левъ, а скорѣе, какъ слонъ басни. Но это-то можетъ быть, «и духу придаетъ» разнымъ критикамъ; они осмѣиваютъ и язвятъ своего великаго собрата очень звонко. Напримѣръ, въ «Недѣланіи» онъ неосторожно сослался на ученіе Лаодзы, китайскаго философа, на его принципъ Тао (что значитъ добродѣтель, истина). Это словечко «Тао» оказалось просто находкой для уличной

прессы. Тао! Ха-ха! Что такое Тао?! Да это вотъ что: это «таё, таё»... помните у толстовскаго Акима изъ «Власти тьмы»... Такъ скоро и просто рѣшенъ былъ смыслъ «Недѣланія». Но и нетолько уличные листки: одна большая и либеральная петербургская газета, поиздѣвавшись надъ авторомъ статьи, выпустила въ своемъ рекламномъ журнальчикѣ даже каррикатуру на «Недѣланіе», гдѣ человѣчество представлено одичавшимъ и отпустившимъ обезьяньи хвосты подъ непосредственнымъ вліяніемъ идей Толстого. Легіонъ провинціальныхъ фельетонистовъ—просто со смѣху померли, разбирая эту статью. Но можетъ быть, это только въ печати, почему-либо недолюбливающей Льва Толстого, обнаруживается такая вражда къ нему? Нѣтъ, совершенно такое-же, по серьезности и приличію, отношенію къ великому писателю замѣчается и въ обществѣ: общественное мнѣніе—резонансъ печати. Мнѣ приходилось слышать въ весьма интеллигентныхъ семействахъ, отъ лицъ съ учеными степенями, буквально площадную брань на Толстого—не говоря уже о пренебрежительныхъ кличкахъ вродѣ «профанъ», «недоучка», «невѣжда». Толстой, какъ извѣстно, упустилъ единственный случай сразу на всю жизнь, въ одинъ мигъ сдѣлаться ученымъ—дождаться въ университетѣ билета на образованность. Онъ вышелъ съ третьяго курса, и конечно, съ тѣхъ поръ, впродолженіе 40 лѣтъ, не прочолъ ни строчки, ничего не наблюдалъ и ни о чемъ не мыслилъ. Развязное мнѣніе Макса Нордау, будто Толстой—«вырождающійся» вмѣстѣ съ Зола, Вагнеромъ, Ибсеномъ и т. п., противники нашего писателя подхватили какъ манну небесную; вотъ оно, желанное слово: Толстой—психопатъ, сумасшедшій, котораго слѣдуетъ посадить въ сумасшедшій домъ. Смутно чувствуя, однако, что въ столь рѣшительномъ приговорѣ не все благополучно, ругатели не настаиваютъ непремѣнно на горячечной рубахѣ, а пробуютъ убѣдить всѣхъ только въ глупости Толстого. «О, да, конечно, говорятъ они:—Толстой великій художникъ, но зато пло-

хой мыслитель». Эта фраза повторяется неизмѣнно всѣми противниками великаго писателя, которые, «конечно, не великіе художники, но»... Досказывать выводъ, щадя ихъ скромность, я не буду.

II.

Таково господствующее отношеніе въ обществѣ къ Льву Толстому и именно къ тѣмъ его трудамъ, которые цензура допустила безпрепятственно, не находя въ нихъ ничего безнравственнаго или противозаконнаго. Само читающее общество оказывается несравненно придирчивѣе цензуры; оно обнаруживаетъ удивительную нетерпимость къ оригинальной мысли; оно не прочь было-бы «зажать ротъ» даже такимъ людямъ, какъ Толстой: именно этотъ смыслъ имѣютъ вопли, что онъ «сумасшедшій», что онъ «Веліалъ, князь тьмы», и т. п. Редакціи завалены рукописями въ обличеніе Толстого; на одной изъ подобныхъ рукописей мнѣ встрѣтился такой эпиграфъ: «Надо всѣми мѣрами стараться спасти общество отъ взбѣсившагося человѣка, хотя-бы это былъ самъ Гомеръ». Слышите: доказывается необходимость *спасти* общество отъ *взбѣсившагося* яснополянскаго Гомера. Однако, въ чемъ-же проявляется «бѣшенство» этого писателя? Быть можетъ, онъ проповѣдуетъ возстаніе, убійства, динамитные взрывы и т. п.? Нѣтъ, онъ ихъ сурово осуждаетъ: онъ учитъ не бороться дурными средствами даже со зломъ. Или онъ учитъ воровству, разврату и т. п.? Нѣтъ, онъ учитъ оказывать всѣмъ дѣятельную помощь и придерживаться, по возможности, безусловнаго цѣломудрія. Но можетъ быть, все это теорія, за которою, какъ за ширмою, скрывается самая ужасная практика? «Практика» Толстого извѣстна: живетъ онъ десятки лѣтъ въ деревнѣ, долгое время училъ деревенскихъ ребятъ и писалъ превосходные романы, а недавно устраивалъ столовыя для голодныхъ. Въ тяжелые, черные дни, когда обнаружился небывалый голодъ, когда общество растерялось и не знало съ чего

начать,—не кто иной какъ именно «взбѣсившійся Гомеръ» указалъ, что нужно дѣлать, и первый, несмотря на старческую немощь, отправился кормить народъ. Именно по *его* мысли сразу раскинулась на тысячу верстъ сѣть столовыхъ, частныхъ, правительственныхъ, удѣльныхъ и земскихъ, которыми удалось спасти милліоны жизней. За одну эту мысль, за это изобрѣтеніе, оказавшееся столь пригоднымъ въ минуту большой опасности, Толстой заслужилъ благодарную память; не менѣе удивителенъ и личный примѣръ самоотверженнаго, полнаго нравственныхъ мукъ и опасности труда (опасности въ смыслѣ заразы: вмѣстѣ съ голодомъ ходили тифъ и цынга). У насъ какъ-то мало замѣтили эту страничку жизни Толстого, но въ набожной Англіи, напримѣръ, она оцѣнена высоко. И вотъ, когда такой человѣкъ захочетъ сказать что-нибудь обществу, оно не терпитъ этого. На Западѣ—если включить Америку и колоніи — живутъ четыреста милліоновъ жителей, изъ которыхъ каждый можетъ публично разсуждать о чемъ, угодно, и опасности особой отъ этого незамѣтно. Тамъ считается, что человѣкъ, какъ-бы невѣжественъ и глупъ онъ ни былъ, не можетъ быть лишенъ права обратиться къ обществу, къ своимъ братьямъ - людямъ, со своею мыслью, и общество терпѣливо выслушиваетъ ее: вздорною мыслью пренебрегаетъ, хорошею пользуется. У насъже общество возмущаетъ свобода мысли даже великихъ его писателей, даже тѣхъ, кто и по преклонному возрасту своему, и по положенію, и по жизненному опыту, и по геніальному таланту имѣетъ нѣкоторое особое, заслуженное право на вниманіе къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, господа,—еслибы Левъ Толстой былъ даже *только* великій художникъ,—а этого *никто* не отрицаетъ,—то вѣдь и это что-нибудь да значитъ. Великіе люди такъ рѣдки! Кто-то вычислилъ, что они рождаются въ количествѣ всего *одной десятитысячной* доли процента, и это на Западѣ, среди самыхъ даровитыхъ и образованныхъ расъ на

свѣтѣ. У насъ, если вспомнить 120-милліонное населеніе (этой цифрой мы почему-то ужасно гордимся), – великихъ людей еще меньше. У насъ ихъ поразительно мало. Даже нетолько великихъ, а и просто выдающихся такъ немного, что стонъ стоитъ о безлюдьи, о невозможности для сколько-нибудь серьезной работы найти живого, даровитаго человѣка. Изъ вѣка въ вѣкъ у насъ нѣтъ «ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда». Не говоря о безконечныхъ матеріальныхъ потеряхъ — вѣдь все матеріальное рождается сначала въ мысли—общество лишено безцѣннаго идеальнаго блага, бодрящаго и облагораживающаго вліянія великихъ душъ. Россія обездолена въ отношеніи замѣчательныхъ людей, но если они и появляются, то часто умираютъ въ молодости, «оклеветанные молвой» — какъ Пушкинъ и Лермонтовъ—или задушенные бѣдностью, болѣзнью, непосильнымъ чернымъ трудомъ. Нѣжный стебелекъ иной, высокой породы, попавъ въ суровыя наши условія, вянетъ и гибнетъ. Развѣ не жаль, въ самомъ дѣлѣ, великихъ названныхъ поэтовъ, и развѣ мы не дали-бы много, чтобы возвратить ихъ? Однако, еслибы они явились снова, мы, пожалуй, снова сочли-бы ихъ «бѣшеными», «опасными» и подвели-бы какую-нибудь интригу, чтобы погубить ихъ. Если нѣкоторымъ великимъ писателямъ 40-хъ годовъ удалось избѣжать этой участи, то нужно вспомнить, что средина этого вѣка была благопріятнѣе для замѣчательныхъ людей, нежели теперь. Цензура была, можетъ быть, и строже, но въ самомъ обществѣ подъ конецъ крѣпостной эпохи господствовало замѣтное уваженіе къ величію, замѣтная потребность мысли и потому терпимость къ ней. Какъ-бы ни была нова и непріятна мысль, она встрѣчала болѣе сознательное и просвѣщенное къ себѣ отношеніе. Впрочемъ, и тогда великіе писатели или жили заграницей, какъ Тургеневъ, или вынуждены бывали уединяться отъ свѣта, какъ Гончаровъ, или изнывать въ непосильномъ трудѣ, какъ Достоевскій. Подъ конецъ XIX вѣка

психическія условія общества измѣнились къ худшему. *Единственный* оставшійся изъ семьи великихъ, и какъ многіе утверждаютъ—даже величайшій писатель земли русской, слава котораго соединена съ именемъ Россіи во всемъ свѣтѣ, онъ не въ чести у насъ. Онъ посланъ къ намъ свыше и ненадолго, и уже отходитъ, близится къ закату. Мы, живущіе какъ бы не замѣчая этого «въ вѣкъ Толстого» (какъ будетъ говорить потомство), могли-бы ощущать присутствіе этого рѣдкаго духа, способнаго вдохнуть и въ насъ часть своей жизни. Пусть намъ не нравятся многія его мысли, — отвѣргнемъ ихъ,— но будемъ-же цѣнить хоть то, что безспорно цѣнно. Зная, что великій человѣкъ не вѣченъ, что онъ необычаенъ, что онъ единственный въ своемъ родѣ и никогда не повторится, общество, мнѣ кажется, должно было-бы окружить его благоговѣйнымъ вниманіемъ, стараясь вникнуть въ великую душу и вселить ее въ себя. Будь это Толстой, Тургеневъ, Достоевскій и т. п. — великій человѣкъ всегда есть святыня народная, и современное ему общество отвѣтственно за него предъ исторіей: скорбь, ему нанесенная, ляжетъ чернымъ пятномъ на нашу память.—Но, воскликнетъ иная пылкая дама,— если великій человѣкъ начнетъ говорить глупости и мерзости? Неужели и намъ соглашаться? Вздоръ! Долой авторитеты!.. и прочее. На это я отвѣчу, что соглашаться и ненужно. Не подчиняйтесь ничьему слову, если вашъ разумъ и совѣсть запрещаютъ это,—но ради всего великаго и святого — убѣдитесь *достовѣрно*, точно-ли *разумъ* и точно-ли *совѣсть* возстаютъ въ этомъ случаѣ. Вѣдь, можетъ быть, возстаетъ не разумъ, а неразуміе,—не совѣсть, а безсовѣстность. Можетъ быть, навстрѣчу свѣту изъ души вашей поднимаются не свѣтлые, а мрачные демоны. Торопливое сопротивленіе какой-либо ненравящейся мысли чаще всего — только желаніе заглушить свою совѣсть и заставить скрыться явившійся призракъ правды. Глубинами сердца смутно чувствуя, что это именно правда и

что она обличаетъ насъ, мы рѣшительно объявляемъ ее ложью. Великій человѣкъ—и это самая печальная вещь на свѣтѣ—не свободенъ отъ ошибокъ, но у него онѣ исключеніе, тогда какъ у маленькихъ людей онѣ — правило. Соловей, заболѣвшій или сдавленный за горло, можетъ издать воробьиные звуки, но вообще они ему не свойственны. Поэтому, не подчиняясь авторитету, мы должны быть крайне осторожны: не сами-ли мы ошибаемся или даже сознательно лжемъ? «Долой авторитеты!» Эта фраза когда-то, въ шестидесятые годы, имѣла нѣкоторый смыслъ—слишкомъ ужь много къ тому времени развелось авторитетовъ и надо было провѣрить ихъ,—но, несомнѣнно, это гоненіе на авторитеты имѣло и дурную сторону. Подхваченное людьми невѣжественными и ничтожными, неспособными отличить великое отъ низкаго (для этого требуется собственное благородство), это гоненіе повело къ пошлой модѣ на отрицаніе всего высокаго; распространилось наглое фамильярничанье съ великими именами, грубѣйшая манера третировать ихъ, какъ имена своихъ однокорытниковъ. Совершенно подстать названной выше «дамѣ съ пощечиной» въ печати выступали мужчины, кричавшіе, напримѣръ, что они, дескать, и «плюнуть-то не хотятъ» на такое убожество, какъ тургеневскій романъ. Величіе ума и чувства не только не встрѣчало подобающаго уваженія, но принципіально отрицалось, какъ все аристократическое; вниманіе привлекало только мелкое и плоское. Вотъ эта-то дурная манера и теперь еще сказывается въ обществѣ, какъ грѣхъ родителей, до седьмого колѣна. Завѣдомо великому человѣку—едва онъ ротъ раскроетъ— уже готовы тысячи возраженій, крикливыхъ, рѣзкихъ, оскорбительныхъ. «Ayant une excellente ocasion de se taire», по французской пословицѣ, подобные господа поднимаютъ невообразимый гвалтъ, стараясь *физическимъ* шумомъ преодолѣть противника, что иногда и удается. «Помолчать» — это слово многимъ не понравится: ска-

жутъ, что не слѣдуетъ молчать ни передъ какимъ авторитетомъ, что это рабство мысли. Иногда это дѣйствительно рабство: какъ-разъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы обыкновенно молчимъ. Но въ спорѣ съ великимъ человѣкомъ, и особенно тогда, когда онъ, по вашему мнѣнію, явно ошибается, молчаніе благородно. Это молчаніе старшихъ сыновей библейскаго патріарха, молчаніе полное любви къ отцу и скорби за его случайную ошибку. Ошибки генія рѣдки. Не соглашайтесь съ пророкомъ, но оставьте въ покоѣ каменья...

III.

Что касается художественнаго дара Льва Толстого, то всѣ—и съ подозрительною поспѣшностью—соглашаются, что это яркій, несравненный талантъ. Если такъ, то онъ слѣдовательно обладаетъ въ высшей степени способностью художественнаго прозрѣнія, т. е. хоть съ внѣшней стороны, но видитъ подлинную правду вещей, настоящую ихъ суть. По крайней мѣрѣ половина истины ему доступна, чего нельзя сказать объ обыкновенныхъ смертныхъ, которымъ часто недоступна и четверть, и сотая доля истины. Но кромѣ художественнаго, необычайно тонкаго зрѣнія, авторъ «Анны Карениной» обладаетъ и очень сильнымъ умомъ. Пусть умъ этотъ ничто въ сравненіи съ великолѣпными умами господъ *X*, *Y*, *Z*, и проч., утверждающихъ, что Толстой плохо мыслитъ. Я не смѣю противъ этого спорить, но лично нахожу у Толстого и величіе, и обиліе мысли въ степени, для меня удивительной. Прежде всего онъ говоритъ *свое*, т.-е. говоритъ *искренно*,— основная черта генія. *Свое* нельзя говорить иначе; неискренно говорить можно только чужое, что и обличаетъ бездарность въ вѣчномъ ея воровствѣ. О чемъбы Толстой ни завелъ рѣчь, онъ всегда остается первоисточникомъ: *первымъ* наблюдателемъ высказаннаго, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда мысль его

«не нова». Какъ и всякій выдающійся умъ, Толстой неизбѣжно повторяетъ уже открытыя когда-то великія слова, но повторяетъ не подражая, а творя ихъ заново, отчего они въ его устахъ такъ свѣжи и молоды. Пусть тѣ-же мысли говорилъ когда-то Руссо, ранѣе его Мабли и т. д., до Моисея, Лаодзы и Будды включительно, но какъ и эти мудрецы, нашъ писатель *самъ увидѣлъ* тѣ-же мысли въ царствѣ невидимаго и самъ далъ имъ жизнь. Тѣ-же мысли пусть перескажетъ обыкновенный, мелкій умъ, и отъ нихъ повѣетъ мертвечиной, затхлостью заношенной и облинявшей вещи. Придутъ вновь они въ голову большому уму — и расцвѣтутъ и оживутъ снова. Въ этомъ, быть можетъ, коренное призваніе великихъ душъ: не *создавать* новыя мысли, а *воскрешать* забытыя, задушенныя толпой. Нравственно-философскія сочиненія Толстого (XI — XIV т.) полны этими старыми оживленными идеями, и онѣ у него относятся къ самымъ важнымъ и тонкимъ вопросамъ человѣческаго существованія: вторая черта генія.

Но кромѣ художественнаго дара и замѣчательнаго ума, въ Львѣ Толстомъ есть нѣчто, по моему, еще болѣе великое: это *совѣсть* его. Она въ немъ поразительна; трудно встрѣтить писателя болѣе правдиваго и нелицемѣрнаго. Какъ ни крупенъ художественный талантъ его, но онъ совершенно исчезаетъ передъ его необычайною нравственною чуткостью. Аполлонъ Григорьевъ говоритъ гдѣ-то, что красота есть высшая гуманность. Быть можетъ, художественное провидѣніе обостряетъ у Толстого нравственное чувство, подсказываетъ ему правду вещей, — но это чувство достигаетъ въ немъ геніальной силы. Обыкновенно объ этомъ элементѣ писательскаго темперамента — совѣсти—не говорятъ, но мнѣ кажется, онъ не менѣе важенъ, нежели и само творчество, и даже входитъ въ послѣднее самою глубокою своею сущностью. «Геній и злодѣйство двѣ вещи несовмѣстныя». Чуткая совѣсть рѣшительно

необходима для того,что бы художникъ могъ держаться на высотѣ идеала, внѣ всего низкаго и грубаго. Талантъ есть благородное отношеніе къ вещамъ, отношеніе правдивое, т. е. совѣстливое. Въ области мысли совѣсть столь-же необходима, ибо что такое мысль, какъ не сознаніе истины вещей. Въ мірѣ-же человѣческихъ отношеній даже обыкновенный умъ, вооруженный совѣстью, достигаетъ геніальности. Совѣсть въ яркомъ проявленіи встрѣчается крайне рѣдко, гораздо рѣже художественнаго таланта и сильнаго ума, а между тѣмъ она есть то «единое на потребу», къ чему «все приложится». Писатель, одаренный совѣстью и даромъ выраженія, говоритъ нѣчто неземное, отъ какихъ-то тайнъ, лежащихъ въ основѣ природы и въ основѣ жизни. Во всякомъ случаѣ стоитъ его послушать, и если что встрѣтится неясное, странное, даже возмутительное — стоитъ подумать надъ этимъ, крѣпко подумать: онъ-ли ошибается, стоящій на вершинѣ, видящій необъятную даль, или ошибаемся мы, суетящіеся у подножья горы съ своими идолами, мелкими радостями и печалями.

IV.

Чѣмъ-же провинился Левъ Толстой въ своемъ «Неделаніи?» Да только тѣмъ, что какъ свидѣтель достовѣрный, сказалъ «правду, одну только правду», какъ онъ ее подмѣтилъ въ великихъ вопросахъ о наукѣ и трудѣ. Имѣетъ-ли онъ право высказать свое мнѣніе о наукѣ? Вѣдь онъ даже не приватъ-доцентъ, и не могъ-бы, хоть и Левъ Толстой, быть даже учителемъ русскаго языка въ гимназіи.—Да, онъ не «ученый». Но это еще не значитъ, чтобы онъ совсѣмъ не былъ знакомъ съ наукой. Напротивъ, все, что извѣстно изъ біографіи этого человѣка и все имъ написанное говоритъ о томъ, что онъ до сихъ поръ не пересталъ учиться—въ самомъ серьезномъ значеніи этого слова. Въ то время, какъ огромное большинство патентованныхъ ученыхъ, позубривъ четыре

года плохенькіе конспекты и записки, сфабриковавъ наскоро плохенькую компилятивную диссертацію и заполучивъ «степень» на этомъ и успокаиваются, лишь изрѣдка перелистывая ученые журналы,—Толстой, можно сказать, никогда не начиналъ своего образованія и не можетъ окончить его по самой своей природѣ. Какъ натура геніальная, крайне впечатлительная, жадная до ощущеній, ненасытная, съ пытливостью неизмѣримой, онъ уже родился съ огромной способностью вбирать въ себя всѣ свѣдѣнія и изъ самаго драгоцѣннаго источника—изъ самой природы. Въ то время, какъ мозги обыкновенныхъ людей похожи на гуттаперчу, которая выталкиваетъ изъ себя проникающія въ нее тѣла и ихъ приходится вбивать въ нее силой,—мозгъ геніальнаго человѣка похожъ на губку въ отношеніи знаній: онъ впиваетъ ихъ, какъ губка воду, помимо своей воли, захватывая въ сто разъ больше собственнаго вѣса. Къ страстной пытливости Толстого прибавьте то, что онъ съ дѣтства былъ вооруженъ знаніемъ трехъ европейскихъ языковъ (такъ-что подъстарость ему ничего не стоило изучить даже греческій), примите въ разсчетъ то, что великія литературы Запада ему были такъ-же доступны, какъ и русская, вспомните его матеріальную обезпеченность, дававшую безграничный досугъ—и неужели-же онъ за семь десятилѣтій своей жизни не могъ составить себѣ понятія о томъ, что такое наука? Надо замѣтить еще, что кромѣ своихъ университетскихъ наблюденій и упорныхъ занятій разными отдѣлами знаній, онъ всю жизнь вращался въ обществѣ, гдѣ было довольно и ученыхъ, и учащихся, и передъ нимъ, кончая его дѣтьми, прошло много поколѣній «людей науки»—отъ профессоровъ до гимназистовъ. Ему самому—для написанія «Войны и Мира», «Декабристовъ» и его трактатовъ по нравственной философіи и эстетикѣ—приходилось выполнить груду кропотливѣйшей ученой работы, какъ рѣдкому изъ профессоровъ. И неужели его свидѣтельское показаніе о наукѣ ничего не стоитъ?

То-же и въ вопросѣ о трудѣ. Левъ Толстой потрудился въ своей жизни довольно и испробовалъ, кажется, всѣ роды труда: и пахалъ землю, и воевалъ, и шилъ сапоги, и кормилъ голодныхъ, и писалъ романы, и проповѣдовалъ, и училъ дѣтей; *онъ знаетъ*, что такое трудъ,—чего нельзя сказать о множествѣ спорящихъ съ нимъ защитниковъ труда. Никто больше Толстого не сдѣлалъ для того, чтобы облагородить ходячіе взгляды на народный трудъ, снять съ него клеймо рабства во мнѣніи просвѣщеннаго общества. Великій писатель, человѣкъ прославленный, знатный и богатый—на удивленіе всему свѣту взялся за соху, за шило, за топоръ и косу. При полнѣйшей возможности отказаться отъ всякаго труда или выбрать наиболѣе пустой и выгодный, Левъ Толстой на всю жизнь запрегъ себя въ трудъ «чорный» и тяжолый, и всѣхъ зоветъ къ нему, какъ къ выполненію потребности личной и общественной. Человѣкъ ограниченный на этомъ-бы и покончилъ, но Толстой не забываетъ, что есть нѣчто выше труда — какъ-бы послѣдній ни былъ возвышенъ, и это *высшее* не должно быть заслонено *высокимъ*. Трудъ—необходимость, но часто превращается въ излишество и ненужность. Такъ не дѣлайте-же себѣ идола изъ труда и не поклоняйтесь ему слѣпо.

Въ центрѣ нравственнаго ученія Толстого, какъ я его понимаю, лежитъ трагическое сознаніе: жизнь у каждаго человѣка только одна, да и ее онъ проживаетъ среди страданій и невыразимыхъ низостей. Это горькое сознаніе посѣщаетъ каждаго, но мимолетно; люди съ слабымъ разсудкомъ, а особенно съ слабою совѣстью, почти не останавливаются на этой мысли и легко утѣшаются. Людей-же съ чуткою душою мысль о загубленной жизни тревожитъ вѣчно. Пришедши въ міръ съ мечтами о блаженствѣ, со «звуками небесъ», съ стремленіемъ къ истинѣ, любви, красотѣ жизни, высокій духъ видитъ себя въ какой-то мрачной пропасти, гдѣ царитъ

кромѣшная борьба, немолчный стонъ побѣжденныхъ и тоска побѣдителей. Онъ ужасается и видитъ, что и самъ вовлеченъ въ эту жестокую свалку, что нетолько его давятъ—это было-бы выносимо,—онъ видитъ, что и онъ кого-то давитъ среди необозримаго поля жертвъ задушеной, затоптанной жизни. Но что ужаснѣе—онъ сознаетъ, что идутъ дни и годы, изъ юноши онъ превращается въ мужа, наконецъ, онъ старѣетъ—золото жизни быстро сыплется изъ скуднаго запаса,—а великая битва идетъ, битва алчности, лжи и похоти, и онъ до изнеможенья опутанъ этими темными силами...

Чувство исчезающей во мракѣ жизни заставляетъ людей вродѣ Толстого мучиться невыразимо и искать выхода. Они напрягаютъ свой разумъ и свое сердце, чтобы остановить эту гибель. Существуетъ-же, думаютъ они, высшій законъ для всякой дѣятельности человѣческой, — или онъ долженъ существовать, — законъ для объединенія людей и очеловѣченія ихъ, для обожествленія ихъ природы, для утвержденія святого счастья на землѣ. Скорбитъ душа такихъ людей смертельно. и въ сверхъестественномъ порывѣ, полномъ мольбы къ Вѣчному, они начинаютъ провидѣть этотъ законъ. Онъ—таинственный и природа его доселѣ неразгадана, но онъ — истинный, неподвижный законъ: любовь. Ни мудрѣе, ни проще до сихъ поръ ни одинъ изъ высочайшихъ умовъ не придумалъ, и всѣ они, вотъ уже три тысячелѣтія, заканчиваютъ свои душевныя муки завѣтомъ: любите другъ-друга. Въ этомъ — все: и тяготѣніе къ верховному началу сущаго, и отысканіе святынь, безъ которыхъ жизнь земная такъ печальна. Къ этому закону, утвержденному на Крестѣ, пришолъ и нашъ великій писатель и проповѣдуетъ его со всею силою глубокой вѣры. Но если это верховный, основной законъ человѣческихъ отношеній, то онъ долженъ руководить *всѣми безъ исключенія* поступками человѣка, какъ-бы малы и ничтожны они ни были, такъ-какъ нѣтъ поступковъ,

которые не имѣли-бы отношенія или къ самому человѣку, или къ его ближнимъ. Вотъ и нужно провѣрить съ точки зрѣнія этого верховнаго закона всѣ роды и виды человѣческой дѣятельности, весь процессъ ея на землѣ. При такой провѣркѣ уничтожилось-бы великое множество сферъ труда, которыя *кажутся* честными, будучи безсовѣстными, множество вѣрованій, считаемыхъ высокими, когда на самомъ дѣлѣ они ложны. Законъ этотъ, заставляющій всякаго ежеминутно спрашивать своего тайнаго судью — совѣсть: что я дѣлаю? хорошо-ли это?—законъ этотъ обрекъ-бы небытію цѣлыя области изъ числа благороднѣйшихъ теперешнихъ дѣятельностей — науки, искусства, литературы...

V.

«Не нарушить законъ пришолъ, а исполнить». Не «химеры», какъ увѣряетъ наивно Зола, а именно отвращеніе къ химерамъ проповѣдуетъ Толстой, находя одинаково химеричными суевѣрія древняго и современнаго знанія. Не невѣжество, не лѣнь, не праздность проповѣдуетъ нашъ писатель, какъ жалко извращаютъ его мысль недобросовѣстные люди,—онъ проповѣдуетъ лишь упорядоченіе труда, направленіе человѣческой энергіи въ жизнеполезныя формы. Разсѣянныя силы современной жизни уничтожаютъ самихъ себя. Вспомните условія высоко-организованныхъ западныхъ обществъ, гдѣ формы труда столь разработаны. Тамъ идетъ кипучая борьба между отдѣльными сословіями. Постоянно случается, что дѣти одной и той-же семьи отдаются враждебнымъ одна другой профессіямъ. Одинъ сынъ, напримѣръ, членъ правящей партіи, другой составляетъ ему оппозицію. Одинъ устраиваетъ винокуренные заводы, другой — общества трезвости. Одинъ ѣдетъ миссіонеромъ въ дикія страны, другой ѣдетъ туда-же сбывать искусственныхъ идоловъ, сфабрикованныхъ при помощи чудесъ циви-

лизаціи: пара, электричества, химическихъ вѣсовъ. Всѣ говорятъ и не наговорятся о благодѣяніяхъ мира, и по крайней мѣрѣ треть всѣхъ силъ народныхъ тратится на приготовленіе къ войнѣ и на самую войну. Блестящіе ряды талантливыхъ людей отдаютъ себя профессіи суда и защиты, но еще болѣе длинный рядъ и не менѣе сильныхъ людей посвящаютъ себя подготовкѣ преступленій: устройству кабаковъ, притоновъ, соблазнительныхъ зрѣлищъ, выставокъ безумной роскоши, наконецъ, прямому обездоленью невѣжественной массы, хищной эксплоатаціи ея, доводящей до нищеты и нравственнаго паденія. Въ литературѣ одна часть дѣятелей проповѣдуетъ чувственное счастье, искусство «пользоваться молодостью», «срывать цвѣты удовольствія», другіе подслуживаются инстинктамъ наживы и тщеславія, третьи разжигаютъ политическія страсти, четвертые уединяются въ недоступномъ эгоизмѣ. Всемірный раздоръ раздергиваетъ слагающіяся ткани — культурныя, международныя, междусословныя, причемъ, какъ въ механикѣ, результатъ хаоса всѣхъ силъ, въ отдѣльности иногда могучихъ, — равенъ нулю: въ важнѣйшемъ изъ всѣхъ вопросовъ на землѣ, духовномъ счастьѣ — общество не движется впередъ.

Нашъ вѣкъ какъ-бы помѣшанъ на развитіи силъ, на скорѣйшемъ исчерпаніи природы, причемъ держится убѣжденіе, что чѣмъ шире раскроется міръ возможнаго, тѣмъ человѣкъ будетъ счастливѣе. Но это глубоко-печальная ошибка. Въ безграничномъ мірѣ искусственныхъ условій ограниченное существо должно растеряться и исчезнуть. Объамериканившіеся европейцы съ восторгомъ отзываются о неслыханномъ развитіи труда въ Новомъ Свѣтѣ, о дробленіи его въ техникѣ, объ обычаѣ американцевъ чуть не ежедневно мѣнять свои профессіи. Но и самое явленіе, и восторгъ отъ него внушаютъ тревожныя мысли. Трудъ вещь прекрасная, это не только источникъ удовлетворенія тѣлесныхъ потребностей, но самъ

по себѣ есть условіе здоровья; упражняя мускулы, мозгъ, нервы, трудъ укрѣпляетъ всѣ ткани тѣла; онъ есть организующее начало и самаго духа. Но именно потому-то и слѣдуетъ относиться къ этой крайне важной сторонѣ жизни съ величайшею осторожностью. Воздухъ необходимъ для дыханія, но не *всякій* воздухъ, а лишь чистый, съ вполнѣ опредѣленнымъ содержаніемъ составляющихъ его газовъ, въ точныхъ предѣлахъ температуры, влажности, плотности и т. п. Точно также и трудъ: онъ необходимъ, но не *всякій* трудъ и не во всякой мѣрѣ. Внѣ особенныхъ, строговзвѣшенныхъ условій его полезности, онъ уже приноситъ вредъ.

Чрезмѣрное разнообразіе труда дѣлаетъ его болѣе тягостнымъ, чѣмъ когда-нибудь. При огромномъ выборѣ занятій человѣкъ, прежде чѣмъ нащупаетъ самое подходящее, тратитъ множество времени на то, чтобы испробовать всѣ неподходящія, а время есть предметъ безцѣнный, невознаградимый; время не деньги только, это—сама жизнь. Обыкновенно случается, что человѣкъ, попавшій въ водоворотъ профессій и начавшій пробовать ихъ, тутъ-же и увязаетъ на одной изъ первыхъ встрѣтившихся; пусть она ничуть не соотвѣтствуетъ призванію, но «жена, дѣти... привычка ежедневно обѣдать»... А главное, чѣмъ-же лучше обжиганье кирпичей сушенья кожъ, или выгонка селитры—телеграфной службы? Дремучій лѣсъ профессій скрываетъ отъ человѣка единственное «древо жизни», родъ труда, отвѣчающаго характеру. Очень часто не нравящееся дѣло выгоднѣе чѣмъ любимое, и вотъ музыкантъ въ душѣ остается за прилавкомъ бакалейнаго магазина, философъ поступаетъ въ таможню. При чрезмѣрной современной спеціализаціи знаній, профессіи уже теряютъ способность быть призваніями. Онѣ дотого дробятся и мельчаютъ, что духъ человѣка теряется: онъ еще помирился-бы на выдѣлкѣ машины, но не можетъ найти счастья въ шлифовкѣ отдѣльныхъ винтиковъ. Химія, какъ наука, можетъ увлечь человѣка, но вы-

париванье соды и соды, соды безъ конца, до гроба — трудъ бездушный, гнетущій. Самая природа труда съ дробленіемъ его измѣняется: онъ машинизируется, мертвѣетъ. Химія—живой трудъ, но очищеніе нефти — уже мертвый: это элементъ труда, органъ, оторванный отъ живого тѣла. Невыгоды крайняго раздѣленія труда (вмѣстѣ съ выгодами) превосходно изслѣдованы еще въ «Республикѣ» Платона (гл. II-я), и распространяться о нихъ нѣтъ нужды. Но разъ такое дробленіе труда гибельно, и разъ оно требуется современной сложною дѣятельностью, что-же отсюда слѣдуетъ? Я думаю — то, что и совѣтуетъ Толстой: нужно тщательно пересмотрѣть всѣ виды труда и гибельные изъ нихъ отбросить. Профессій должно быть меньше и онѣ должны быть шире. Какъ около плохой проселочной дороги часто идутъ боковыя тропинки и объѣзды, такъ и около одного жизненнаго пути, разъ онъ не ясенъ, стелятся многіе кривые и узкіе, заставляющіе человѣка безполезно блуждать. Разсѣянная энергія жизни должна найти себѣ опредѣленныя, болѣе глубокія русла — и для этого слѣдуетъ сократить сѣть магистралей и мельчайшихъ развѣтвленій духа, гдѣ онъ истощается и высыхаетъ. Жизнь должна сдѣлаться проще, внѣшность ея — бѣднѣе, внутреннее содержаніе—богаче. Человѣку пора «опомниться, остановиться», возвратиться къ самому себѣ; духовный капиталъ, выбрасываемый теперь съ такою расточительностью наружу, на развитіе комфорта, долженъ оставаться дома и совершать необходимую, великую внутреннюю работу: цивилизовать человѣческую душу.

Въ самомъ дѣлѣ, душа человѣка—кажется, послѣдній предметъ заботъ современнаго общества. «Англичане, — говоритъ Спенсеръ, — гораздо болѣе стараются о воспитаніи свиней, нежели своихъ дѣтей». Школа всюду въ Европѣ плоха, проникнута схоластикой или основана на хищнической обработкѣ мозга. Еще хуже внѣшкольное, общественное воспитаніе: съ паденіемъ ре-

лигіозности и аристократизма подорваны старыя дисциплины совѣсти и чести, традиціи помутились, и вѣками создававшійся духовный обликъ европейца расшатанъ. Цѣльныя, мужественныя натуры, шедшія на костеръ, какъ Гусъ, за толкованіе текста, наивныя и могучія натуры стали до крайности рѣдки; онѣ вымираютъ, какъ бѣловѣжскіе зубры. Вымираютъ убѣжденія, распространяется равнодушіе къ высшимъ благамъ, и какъ у дикарей — погоня за украшеніями. Наукою, искусствами, философіей уже не наслаждаются, а лишь *татуируются* ими изъ тщеславія или *вооружаются* для борьбы. Татуировка не проникаетъ глубже поверхности, и у очень многихъ раскрашенныхъ образованіемъ людей душа крайне жалкая, остывшая для всего божественнаго, больная душа. Безчисленные психозы и неврозы, маньячества, помѣшательства, самоубійства — признаки массоваго паденія душъ; это паденіе выказывается нетолько въ повсюду остановившемся прогрессѣ науки, литературы и искусствъ (если они и движутся, то остатками старыхъ силъ—достойной смѣны которымъ не видно); духовный упадокъ сказывается въ небываломъ и неразрѣшимотягостномъ международномъ положеніи, въ застоѣ соціальныхъ реформъ (то что называется «кризисомъ парламентаризма»), въ уныніи и пессимизмѣ, завершающемся бредомъ декаданса. Да, итогъ таковъ, что при стремительномъ матеріальномъ прогрессѣ европейское общество значительно упало въ идеальномъ; населивъ природу міромъ новыхъ, полу-живыхъ существъ — машинъ, создавъ въ ихъ лицѣ новую касту — хотя-бы и желѣзныхъ — рабовъ, освобождающихъ насъ отъ благотворныхъ, жизненныхъ формъ труда,—мы какъ-бы уступили этимъ полусуществамъ часть своей энергіи, часть души своей. Какъ и живое рабство, это полуживое, желѣзное, начинаетъ уже развращать насъ: вспомните ужасы, описываемые Зола, этимъ Гомеромъ французской буржуазіи. Упадокъ душъ свидѣтельствуется появленіемъ

жестокихъ философскихъ доктринъ, вродѣ эготизма, теоріи «огня и желѣза» или ученія Ницше. Признаковъ этой душевной хвори множество, и мнѣ кажется вѣрнымъ замѣчаніе Толстого о «пропасти, передъ которой уже стоитъ человѣчество и въ которую, продолжая идти по тому-же пути, оно неизбѣжно должно рухнуться». Да, если въ европейской расѣ не окажется запаса силъ, чтобы стряхнуть съ себя кошмаръ теперешней нездоровой цивилизаціи, катастрофа возможна: вспомните могилы благороднѣйшихъ народовъ юга, изнемогшихъ душевно гораздо ранѣе наплыва варваровъ; вспомните Китай, гдѣ духъ замеръ давно въ отношеніи своихъ высшихъ формъ. Для предотвращенія грозящей намъ духовной смерти (что особенно сознаютъ англійскіе мыслители) необходимо именно то, что рекомендуетъ Толстой: «опомниться, остановиться» на время и строго обсудить: на настоящемъ-ли мы пути, не заблудились ли мы? Вѣдь если заблудились, то чѣмъ быстрѣе мы будемъ стремиться впередъ, тѣмъ это будетъ гибельнѣе для насъ: тѣмъ дальше и дальше мы будемъ уклоняться отъ надлежащей цѣли. Если трудъ, которому мы отдаемся, не даетъ намъ истиннаго счастья, если онъ безнравственненъ по своей природѣ, то чѣмъ усерднѣе, неутомимѣе мы будемъ работать, тѣмъ печальнѣе окажутся итоги жизни, тѣмъ глубже будетъ отравлена ея радость. Значитъ, *прежде всего* нужно осмыслить свою роль въ жизни, освѣтить ее совѣстью. Мы всѣ увлечены потокомъ массы, къ которой мы принадлежимъ, мы движемся чужимъ движеніемъ, мы не имѣемъ своего сознанія, мы слѣпое орудіе стихійной воли, и эта воля насъ давитъ, порабощаетъ. Пора вспомнить, что мы свободны; мы нетолько *обязаны*, но и *можемъ* устроить свою жизнь согласно съ совѣстью; хотя-бы вся масса человѣчества мчалась къ пропасти — каждый въ состояніи остановить себя. *Себя* остановить — вотъ высшая и притомъ возможная задача человѣка, единственно вполнѣ возможная.

VI.

Разобраться въ формахъ труда, чтобы освободить свою жизнь отъ ложныхъ заботъ — величайшая задача времени. Но какъ отличить трудъ истинный отъ ложнаго? Мало дать одно лишь мѣрило, — то, что истинный трудъ долженъ быть согласованъ съ закономъ любви: большинство ложныхъ энергій прикрывается знаменемъ любви. Энергію хищную и низкую разоблачить не трудно: приглашать къ «недѣланію» въ области, напримѣръ, грабежа, убійства, устройства притоновъ и т. п. — не стоило-бы труда. Легко было-бы разоблачить также множество безполезныхъ, хотя и невинныхъ формъ труда, вредныхъ тѣмъ лишь, что онѣ отвлекаютъ вниманіе человѣка отъ болѣе высокихъ цѣлей. Съ Толстымъ, скрѣпя сердце, соглашаются, когда онъ отрицаетъ трудъ биржевого игрока, банкира, фабриканта тѣхъ производствъ, гдѣ «тысячи людей губятъ свои жизни надъ работой зеркалъ, табаку, водки». Многіе согласились-бы, еслибы нашъ авторъ доказывалъ суету роскоши, или даже отрицалъ низшія формы техники, науки, искусствъ, политики. Но Толстой, съ мужествомъ, свойственнымъ генію, поставилъ вопросъ нетолько о низшихъ, но и о высшихъ формахъ человѣческой дѣятельности. Онъ пришолъ къ *условному* отрицанію современной промышленности, науки, искусства и политики вообще, хотя-бы техникой занимались Лессепсы, наукою—Дарвины, политикою — Гладстоны. Вотъ этого-то отрицанія, дѣйствительно рѣзкаго и на первый взглядъ поразительнаго, не понимаютъ и не прощаютъ Толстому его противники. Оно кажется призывомъ къ праздности, къ невѣжеству и дикости. Когда я прочиталъ «Недѣланіе» въ первый разъ, мнѣ тоже показалось страннымъ отвѣрженіе такихъ формъ труда, какъ Гладстоновскій гомруль или какъ Дарвинское изслѣдованіе работы дождевыхъ

червей. Гладстонъ и Дарвинъ—дѣятели, которыхъ я привыкъ, съ тѣхъ поръ какъ узналъ о нихъ, носить въ своемъ сердцѣ, какъ образы несравненной нравственной красоты. Люди со столь благородными характерами, столь безкорыстные, оба—пророки своихъ истинъ, одушевленные чувствомъ правды, — они украшали мое сознаніе въ числѣ тѣхъ безсмертныхъ, на созерцаніи которыхъ я отдыхаю. Ихъ дѣятельность я привыкъ чтить какъ высокую, хотя смутно понималъ всегда, что возможна даятельность и выше, какъ напримѣръ призваніе апостоловъ. «Недѣланіе» съ категорическимъ отрицаніемъ Гладстона и Дарвина меня удивило; я подумалъ, что Толстой неправъ. Но потомъ я всмотрѣлся въ мысль его, и она мнѣ стала ясна. Я понялъ, что личности Гладстона и Дарвина нужно отдѣлять отъ ихъ профессіи, отдѣлять ихъ намѣренія, энергію и талантъ—отъ природы самаго дѣла, которому они служатъ. Прекраснѣйшія частныя цѣли могутъ быть несогласованы съ верховною потребностью времени, могутъ заслонять собою эту потребность и отвлекать отъ нея вниманіе людей на временныя, условныя нужды. Наука и политика пользуются давнимъ и безусловнымъ поклоненіемъ общества; благамъ науки и политики поются диѳирамбы и слагаются оды; и наука, и политика пріобрѣли какъ-бы священное значеніе, право неприкосновенности. И дѣйствительно, въ отдѣльныхъ случаяхъ и наука, и политика оказывали человѣчеству великія услуги. Но не нужно забывать, что тѣ-же энергіи—наука и политика—въ другихъ случаяхъ приносили не менѣе великій вредъ: все зависѣло отъ того, добрая или злая воля ими двигала. Значитъ, основная суть не въ орудіи, а въ волѣ, орудіемъ владѣющей, и прежде чѣмъ загромождать себя орудіями, необходимо добиться, чтобы воля людей сдѣлалась доброй. Вотъ основная цѣль, которую слѣдуетъ неустанно достигать, такъ-какъ все остальное «приложится». Противники Толстого, опираясь на ходячее мнѣ-

ніе, утверждаютъ, что именно наука и политика и ведутъ къ облагороженію человѣческой воли, и остается только ждать: когда-нибудь, черезъ сотни или тысячи лѣтъ, когда всѣ сдѣлаются просвѣщенными и богатыми, царствіе небесное само собою явится на землѣ. Толстой-же думаетъ, что для счастья не нужно ни богатства, ни условной просвѣщенности, а нужна любовь къ людямъ и воздержность въ жизни. И я думаю, что Толстой правъ. О великихъ благахъ науки, дающей богатство, и политики, дающей миръ, говорится такъ много, что это похоже на идолопоклонство. Весьма полезно взглянуть и на обратныя стороны этихъ благъ. Начнемъ съ матеріализованной науки — съ промышленности, съ воплощеннаго знанія—богатства.

VII.

Богатство, конечно, удовлетворяетъ чувственныя потребности человѣка, но увеличиваетъ-ли оно радость жизни и способность къ счастью? Перестраиваетъ-ли нашу нервную систему, создаетъ-ли новые органы чувствъ? Нѣтъ. Пресыщая органы тѣла, оно переутомляетъ ихъ, ослабляетъ. Вообразите, что стихіи покорены и житница человѣчества полна. «Радуйся, душа, пей и ѣшь и веселись». Душа обрадуется, я думаю, лишь на самое малое время и затѣмъ умретъ съ тоски. Естественныя потребности насыщены, но что-же дальше? «Счастливцамъ» неизбѣжно останется изобрѣтать искусственныя потребности, «утонченныя» привычки и доходить до греческой любви, до римскихъ жестокихъ зрѣлищъ, до китайскаго опія и гашиша, до клуба обжоръ или клуба самоубійцъ въ Америкѣ. Вѣдь самая безумная роскошь только и имѣетъ цѣну, пока существуетъ безумная нищета: при равенствѣ условій брилліантъ даетъ не больше удовольствія, чѣмъ капля росы, драгоцѣнный шелкъ— чѣмъ грубая холстина. Привычка сейчасъ-же роняетъ

цѣну всякаго физическаго счастья, и Цезарь въ объятьяхъ Клеопатры былъ не болѣе счастливъ, чѣмъ любая пастушеская пара. Богатство, конечно, даетъ возможность «пользоваться всѣмъ», но самое пользованіе-то это не даетъ удовольствія. Пресыщенные земные боги,—англійскіе лорды и американскіе крезы,—тщетно слоняются по земному шару, ища развлеченій въ трущобахъ Индіи, въ горахъ Пиренеевъ, въ снѣгахъ Сибири: имъ скучно. Тщетно они ѣдятъ и пьютъ—по цѣнѣ продуктовъ — за тысячу человѣкъ каждый: оказывается, любой дровосѣкъ съ бо́льшимъ аппетитомъ ѣстъ свои щи и хлѣбъ, нежели эти боги—свою амброзію. Въ концѣ-концовъ боги разстраиваютъ себѣ и желудокъ, и мозгъ пресыщеніемъ; и тѣло, и душа начинаютъ отказываться отъ жизни или исчерпываютъ ея остатки въ безумствахъ. Хандра, сплинъ, жажда исчезнуть со свѣта одолѣваютъ этихъ «счастливцевъ»—и они умираютъ или долгой, или быстрой агоніей, во всякомъ случаѣ печальнѣйшей изъ всѣхъ. Таковъ неизбѣжный, логическій предѣлъ матеріальнаго счастья. Уже и теперь примѣры безчисленны, а когда равенство уничтожитъ тщеславіе, призракъ мнимаго величія богатства, тогда послѣднее потеряетъ всякую цѣну. Въ чемъ-же секретъ несчастія богачей? Да въ томъ, что у нихъ нѣтъ ни физическаго, ни психическаго аппетита: нѣтъ ни потребностей, ни *любви* къ людямъ, единственнаго вѣчнаго источника счастья. Ротшильдъ, отказавшійся отъ привязанностей, превращается въ Робинзона на необитаемомъ островѣ. Зачѣмъ ему безмѣрное богатство? Вѣдь лично ему достаточно двадцати су въ день, какой-нибудь бутылки молока. Если и бываетъ Ротшильдъ счастливъ, истинно счастливъ, то не у себя въ подвалахъ, набитыхъ золотомъ, и даже не на биржѣ, гдѣ пресмыкающаяся предъ нимъ подлость уже надоѣла ему, а только у себя въ дѣтской, гдѣ помогаетъ строить своему ребенку карточный домикъ, или за семейнымъ столомъ, или въ дружеской бесѣдѣ съ однимъ-двумя ста-

рыми знакомыми. Только немножко любви, доступной нищему, скрашиваетъ сѣренькое существованіе этого калифа биржи, въ передней котораго толпится болѣе герцоговъ и rois en exil, чѣмъ при дворѣ Людовиковъ. Если вспомнить этихъ Людовиковъ, то и у нихъ въ жизни не было счастья выше и чище, чѣмъ привязанность къ кому-нибудь: къ дѣтямъ, фавориткамъ, женѣ, пріятелямъ. Какую-бы вы ни взяли физически-счастливую обстановку, психически она несчастна, если нѣтъ въ душѣ того-же загадочнаго талисмана,—любви... Откуда нисходитъ оно, это божественное настроеніе? Почему оно посѣщаетъ чаще хижины бѣдняковъ, нежели раззолоченные палаццо? Отчего нельзя его купить ни на какое золото, и отчего оно дается даромъ еле-лепечущему ребенку? Любовь, какъ я думаю, есть *даръ* и съ нею нужно родиться, какъ и со всякимъ дарованіемъ, но это даръ наиболѣе распространенный, подобно здравому смыслу: онъ удѣлъ всѣхъ людей, хотя и въ различной степени. Если всякій даръ обязываетъ имъ пользоваться, развить его до совершенства, то тѣмъ выше долгъ развивать въ себѣ и лелѣять любовь, этотъ первоначальный, изъ самой сущности міра текущій источникъ радости. Богатство само по себѣ не вызываетъ и не увеличиваетъ симпатіи въ людяхъ. Оно скорѣе разъединяетъ, нежели сближаетъ людей, болѣе плодитъ вражду, нежели миръ. Я думаю, что чрезмѣрное развитіе богатства на Западѣ— одна изъ могущественнѣйшихъ причинъ упадка душъ, о которомъ я говорилъ выше. Простыя, мужественныя, глубоко-религіозныя и нравственныя населенія Англіи, Германіи, Америки, Франціи были развращены появленіемъ на сценѣ золотого идола. Когда-то эти населенія вели бѣдную, трудовую жизнь, съ физическими лишеніями, но съ спокойною, свѣжею душой. При всѣхъ матеріальныхъ недостаткахъ, было психическое довольство. Не было обманчиваго призрака блаженства роскоши, такъ какъ не было самой роскоши, или она была въ зароды-

шѣ, или, наконецъ, была скрыта отъ народа. Теперь она открыта и открыты пути къ ней; въ души пахарей и рабочихъ вселился алчный бѣсъ, отрывающій отъ родного поля, влекущій за океанъ, въ шахты, въ рудники, во всевозможное рабство—*добровольное*, въ отличіе отъ прежняго, насильственнаго, при которомъ *внутренно* человѣкъ оставался свободенъ. Худшее изъ рабствъ—порабощеніе души грубому, матеріальному идеалу—вытекло изъ чрезмѣрнаго уже и теперь развитія промышленности. Задавшись цѣлью разбогатѣть во-что-бы ни стало, человѣкъ, конечно, долженъ оставить другую цѣль — служеніе правдѣ жизни, и любовь къ людямъ долженъ припрятать подальше. Трудно быть богатымъ, не эксплоатируя ближнихъ, не отчуждая у нихъ силой или хитростью часть ихъ энергіи въ свою пользу. Развитіе безумныхъ богатствъ на Западѣ сопровождается обездоленіемъ низшихъ массъ или въ самой странѣ, или въ колоніяхъ, или въ сосѣднихъ странахъ. Идеалисты матеріализма (если позволено будетъ такъ выразиться) думаютъ, что когда техника разовьется до своихъ предѣловъ, все для всѣхъ станетъ дешево и доступно. Историческій опытъ это рѣшительно опровергаетъ: уже и теперь большинство отраслей промышленности достигло предѣловъ. Хлѣба производится болѣе чѣмъ нужно для того, чтобы накормить до-сыта все человѣчество, такъ-что американцы откармливаютъ пшеницей скотъ; однако, цѣлые милліоны людей умираютъ отъ голоднаго истощенія. Въ самарскій голодъ весь правый берегъ Волги былъ заваленъ хлѣбомъ, а лѣвый — погибалъ отъ голода. Въ 1891 году въ Тульской губерніи народу было нечего ѣсть и изъ той-же Тульской губерніи везли хлѣбъ на продажу *въ Москву*, гдѣ хлѣба было своего довольно: на мѣстѣ, голоднымъ, было неначто покупать. Англичане откармливаютъ сахаромъ свиней: дотого онъ дешевъ, но для сотенъ милліоновъ людей сахаръ еще роскошь. Возьмите другой товаръ: ситецъ. Его выдѣлано столько, что имъ

можно одѣть опять-таки весь земной шаръ; однако, въ сосѣдствѣ съ фабриками, въ обнищавшихъ деревняхъ, пока мать моетъ дѣтямъ рубашонки, они сидятъ голые, такъ-какъ нечѣмъ перемѣнить. Возьмите желѣзныя дороги: онѣ могли-бы возить вдесятеро болѣе народа, но вынуждены часто катать пустые поѣзда, въ то время, какъ вдоль рельсовъ тянутся тысячныя партіи рабочихъ, у которыхъ нѣтъ даже и трехъ рублей, чтобы заплатить за проѣздъ.

Но допустимъ, что когда-нибудь капиталистъ, какъ говорятъ, и превратится лишь въ «управляющаго своихъ капиталовъ», фабрикантъ — въ «директора фабрики». Этотъ моментъ застанетъ человѣчество обремененнымъ множествомъ искусственныхъ привычекъ, привитыхъ техникой. Какъ-бы ни былъ правильно распредѣленъ трудъ, какъ-бы ни былъ онъ машинизированъ, все-же на безчисленное множество искусственно-«нужныхъ» вещей потребуется страшно много труда, и все время рабочаго будетъ занято, а «время — предметъ благородный» какъ справедливо замѣтилъ Шопенгауэръ: время—это сама жизнь. Человѣкъ изъ рабства капиталистамъ попадетъ въ рабство своимъ матеріальнымъ привычкамъ и удовлетворенію ихъ станетъ отдавать золотые дни и годы, данные каждому лишь однажды. Всѣ будутъ богачами, и всѣ будутъ работать безъ конца, чтобы удержаться на этомъ уровнѣ, и работа эта будетъ безрадостна. Психически-нормальный типъ труда, связывающаго человѣка съ жизнью природы, будетъ разрушенъ, богачъ съ «утонченными» физическими привычками явится съ огрубѣвшею, опустошенною, матеріализованною душою. Когда человѣкъ выйдетъ изъ бѣдности, гдѣ любовь *упражняется* необходимостью взаимной помощи, въ сферу богатства, гдѣ помощь никому не нужна, божественное чувство симпатіи къ человѣку должно ослабѣть; можетъ развиться не теперешній эгоизмъ, а нѣчто худшее: равнодушіе людей другъ къ другу, неспособность

любить, даже желая этого. Человѣчество, поработивъ себя матеріальному труду, обезпечивъ себѣ чувственное благополучіе, омертвѣетъ до уровня растеній, превратится въ своего рода лѣсъ организмовъ, хотя и живыхъ, но душевно-неподвижныхъ. Поэтому нормою труда матеріальнаго слѣдуетъ считать тотъ, который удерживаетъ человѣчество на извѣстномъ уровнѣ бѣдности, на уровнѣ естественныхъ, здоровыхъ потребностей, на уровнѣ энергическихъ желаній, которыя для блага людей не должны быть никогда осуществлены. Только бѣдность можетъ (при соціальномъ равенствѣ) обезпечить досугъ и свободу, необходимыя для духовной жизни, только бѣдность можетъ поддерживать вѣчно святой пламень любви человѣка къ человѣку. Этимъ я проповѣдую не нищету, а бѣдность, т.-е. извѣстную средину между двумя, по моему мнѣнію, одинаково ужасными крайностями.

VIII.

Матеріализованная наука, — промышленность — есть лишь *средство*. Какъ средство—она полезна. Но стоитъ ей превратиться *въ цѣль*, какъ она становится вредною: она не увеличиваетъ счастья, а уменьшаетъ его. Если трудъ только средство, то человѣкъ поработаетъ сколько нужно и перестанетъ; если-же это цѣль—ему приходится работать сверхъ нужнаго, безъ устали и безъ конца. Трудъ требуетъ жизни, а жизнь дается одна. Совершенно тоже отношеніе къ счастью имѣетъ и нематеріализованная наука, богатство которой—знаніе. Знаніе оказываетъ безчисленныя услуги, пока остается въ роли средства, но какъ цѣль сама по себѣ оно превращается въ того-же вреднаго идола, какъ и богатство. Знать—природная потребность мозга, какъ работать — потребность мускуловъ. Въ силу этого всѣ люди обладаютъ знаніемъ въ мѣру своего мозга: ошибочнымъ или вѣрнымъ, это другой вопросъ, но и ошибочное знаніе, разъ его счи-

таютъ за истинное, доставляетъ столько-же удовольствія, сколько истинное, а иногда и больше, такъ-какъ въ первомъ случаѣ участвуетъ вкусъ каждаго и его фантазія, а во второмъ приходится узнавать безразличныя или даже непріятныя вещи. Единственное преимущество знанія истиннаго—въ его полезности, въ его способности быть орудіемъ обогащенія. Всѣ это хорошо чувствуютъ, и кромѣ немногихъ геніевъ, увлекающихся наукой безкорыстно, все остальное человѣчество восхищается ею, какъ иной бѣдный дворянинъ богатой купчихой: за деньги. Исключительно корыстолюбіе заставляетъ людей смотрѣть на знаніе какъ на *достоинство*, почти какъ на добродѣтель. Однако, въ такомъ случаѣ и товаръ, которымъ вы владѣете, есть ваше достоинство и добродѣтель. Знаніе, какъ и товаръ, можетъ пріобрѣсти всякій (здоровый, конечно) человѣкъ; какъ и товара, знанія можно лишиться, перезабыть выученное, и примѣровъ подобныхъ банкротствъ безконечно больше, нежели купеческихъ. Знаніе передаваемо; оно можетъ увеличиваться и уменьшаться; оно служитъ практической жизни, оно—предметъ тщеславія купцовъ науки — купцовъ я говорю потому, что знаніемъ торгуютъ; словомъ— полная аналогія съ товаромъ. Нето всякое истинное *достоинство:* умъ, геній, доброта сердца, красота, сила. Все это дары природные, съ ними должно родиться; ихъ пріобрѣсть нельзя; попытки ограниченныхъ людей пополнить свою душу изъ учебниковъ ничуть не выше хитрости дѣвицъ, черпающихъ свой румянецъ изъ коробки. *Достоинства* не передаваемы и не отъемлемы; они дѣйствуютъ постоянно, составляя органическое цѣлое съ человѣкомъ. Наконецъ, всякое истинное достоинство никогда не бываетъ въ тягость человѣку или его ближнимъ,—тогда-какъ знаніе—очень часто. Нахватавшійся знаній, какъ и нахватавшійся вещей, иногда дѣлается несчастнымъ, теряется и не знаетъ, какъ въ нихъ разобраться, куда ихъ пристроить. Непристроенное къ

дѣлу знаніе странно, какъ брошенный въ полѣ товаръ, тогда-какъ умъ, красота, добродушіе сами себѣ довлѣютъ. Какъ-бы ни были велики истинныя достоинства, человѣкъ пользуется ими всегда въ полной мѣрѣ, тогда какъ въ отношеніи знаній всегда лишь частичкой: остальныя свѣдѣнія лежатъ праздно. Въ достоинствѣ нельзя пресытиться, въ знаніи—можно, какъ и въ богатствѣ. Средній мозговой аппетитъ имѣетъ свою норму насыщенія; поглощаемыя сверхъ этого свѣдѣнія ведутъ къ умственному неваренію—къ запору знаній, превращаются въ своего рода фекальныя массы въ головѣ педанта, или къ изверженію водянистыхъ и расплывчатыхъ трактатовъ, полусырыхъ, непереваренныхъ компиляцій, чѣмъ хвораютъ такъ-называемые графоманы. Итакъ, знаніе не есть достоинство, а лишь имущество, идейный предметъ, и въ мѣрѣ естественной потребности знаніемъ обладаютъ всѣ. Благоговѣть передъ знаніемъ нѣтъ причинъ какъ передъ хотя-бы драгоцѣннымъ товаромъ или полезнымъ орудіемъ. Знаніе (даже истинное), какъ всякое орудіе, совершенно нейтрально и столь-же охотно служитъ какъ разуму, такъ и безумію, какъ праведнику, такъ и злодѣю. Я не буду говорить о ядахъ Локусты, объ адской машинѣ и тому подобныхъ, требовавшихъ очень рѣдкихъ знаній, предметахъ. Я спрошу только: не послѣднее-ли слово знанія составляютъ митральезы и мелинитъ? Или электрокуція, смертная казнь посредствомъ электрическаго тока: развѣ это не послѣднее слово—и не одной науки, а цѣлаго ихъ ряда,—наукъ естественныхъ, математическихъ, юридическихъ и соціальныхъ? Нетолько самый блестящій отдѣлъ физики участвуетъ въ этой операціи, но и уголовное право, и гигіена, и медицина, и этика, и даже эстетика. Несчастный, приговоренный къ смерти на основаніи «гуманныхъ наукъ», тщетно проситъ, какъ милости, чтобы его повѣсили или отрубили голову, лишь-бы не подвергали загадочной, невыразимо-страшной смерти отъ какого-то ему неизвѣстнаго электричества. Его все-

таки вяжутъ и сажаютъ на стулъ; ему, цѣпенѣющему отъ ужаса, прикладываютъ ко лбу патентованные проводники... Раздается трескъ, лицо и фигура преступника искажаются въ невѣроятной судорогѣ, такъ-что веревки прорѣзываютъ тѣло до костей. Слышенъ стонъ, и разносится запахъ жаренаго мяса. Замѣтьте: человѣкъ умираетъ не гдѣ-нибудь въ лѣсной трущобѣ, въ когтяхъ голоднаго звѣря, а въ Нью-Іоркѣ, центрѣ самой прогрессивной, передовой, блистательной республики, президентъ которой клянется «положивъ руку на библію, которую подарила ему въ дѣтствѣ его мать». Дѣло происходитъ въ богато-устроенномъ кабинетѣ со всѣми гигіеническими приспособленіями, телефонами, телеграфами, среди бѣла дня и въ обществѣ отборной интеллигенціи: тутъ и ученый профессоръ электротехники, слѣдящій за дѣйствіемъ законовъ природы, ученый законовѣдъ, соблюдающій интересы права, нѣсколько врачей, слѣдящихъ за здоровьемъ (!) преступника, и между ними женщина-врачъ (я описываю дѣйствительный случай); тутъ-же ученѣйшій пасторъ-богословъ, шепчущій молитву, фотографъ, старающійся отчетливо снять сцену, «представители печати», старающіеся записать ту-же сцену. Тутъ, какъ видите, цѣлый маленькій конгрессъ отъ всѣхъ областей знанія, каждый изъ представителей которыхъ блюдетъ интересы своей науки.—Господа ученые, цвѣтъ человѣчества, братья-люди! могъ-бы вскричать несчастный, если-бы ротъ у него не былъ завязанъ: — вы меня зажариваете какъ краснокожіе своего плѣнника! Гдѣ-же ваши истины, величіе вашихъ наукъ? Неужели Франклинъ сводилъ молнію изъ тучъ для палачей? Неужели Христосъ шолъ на крестъ для того, чтобъ пасторъ имѣлъ возможность благословить подобіемъ этого креста мои муки?..—Монологъ подобный былъ-бы возможенъ, такъ-какъ при недостаточной изученности этой отрасли электротехники—электроубійства—несчастный еще долго корчится и необходимо бываетъ прожигать его токомъ еще и еще разъ.

— Чѣмъ-же знаніе виновато? воскликнетъ читатель:— виноваты люди и пр. Чѣмъ-же виновата физика, химія, физіологія, право, гигіена, и пр., и пр., — рядъ наукъ, вошедшихъ въ это событіе? — Ничѣмъ не виноваты, но все-же, господа, ничего и возвышеннаго въ поведеніи этихъ наукъ въ данномъ случаѣ невидно. Невидно, чтобы онѣ предостерегли своихъ носителей, заставили-бы ихъ смутиться, бросить это страшное дѣло. *Достоинства* именно и невидно въ знаніяхъ; впрочемъ, его невидно даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда знанія служатъ благой цѣли. Изобрѣтенье Уатта и Стефенсона одинаково равнодушно мчитъ на себѣ героевъ, какъ и мерзавцевъ; изобрѣтенье Морза — передаетъ со всѣхъ концовъ свѣта и чувства дружбы, и замыслы хищниковъ. Пожалуй, въ этомъ есть свое величіе: «какъ солнце освѣщаетъ праведниковъ и грѣшниковъ», знаніе освѣщаетъ дорогу и злу, и добру. Но это величіе стихійное, т. е. мертвое, какъ солнце, которому нѣтъ дѣла до человѣческихъ радостей и печалей. Пользоваться стихіей можно какъ средствомъ, но дѣлать ее *цѣлью*—безумно: это значитъ вносить въ свою живую душу смерть, что и замѣтно на тѣхъ гелертерахъ, у которыхъ знанія перевѣсили умъ и другіе, болѣе живые инстинкты: «Слоны, лошади, собаки гораздо интеллигентнѣе многихъ нѣмецкихъ ученыхъ», съ грустью замѣчаетъ Геккель. Механическая природа знанія выказывается и въ томъ, что оно легко усвояется даже животными и совсѣмъ незрѣлыми дѣтьми. Какъ простой матеріалъ ума, знаніе имѣетъ конечно свое абсолютное значеніе, но о немъ господствуетъ тотъ-же предразсудокъ, какъ и о богатствѣ: чѣмъ больше его, тѣмъ будто-бы для человѣка лучше. Это—суевѣріе бѣдности, воображающей, что желанія ея безконечны; на самомъ дѣлѣ, переходя опредѣленную, небольшую, *необходимую* органически норму знаній, наполнивъ умъ, все остальное знаніе, какъ и избытокъ богатства, является безразличнымъ и ненужнымъ. Знанія для людей съ не-

объятно-помѣстительными умами, для геніевъ, могутъ еще быть источникомъ постояннаго удовольствія — не какъ цѣль, а какъ средство работы мозга, какъ чугунныя гири для сильныхъ мускуловъ; вообще-же знаніе не ведетъ къ радости, а скорѣе отравляетъ ее, что замѣчено еще въ началѣ міра, въ библейскомъ сказаніи: «А отъ древа познанія добра и зла не ѣшь, ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ него, смертью умрешь» (Быт. 2. 17). Ту-же мысль выражаетъ Екклесіастъ: «Во многой мудрости много печали». Знаніе, насыщая пытливость, убиваетъ интересъ вещей, радость узнаванія. Невѣдѣніе — синонимъ невинности — психическое условіе блаженнаго состоянія какъ животныхъ, такъ и людей: каждый человѣкъ, выходя изъ невѣдѣнія дѣтства, теряетъ свой очарованный рай. Ежедневный опытъ убѣждаетъ, что самое темное невѣжество не мѣшаетъ счастливому настроенію: самый искренній смѣхъ вы услышите въ людской комнатѣ, въ подвалахъ рабочихъ, самое безумное веселье— въ дѣтской, да развѣ еще среди рѣзвящихся на волѣ животныхъ.

Знаніе поднимаетъ покрывало Изиды, за которымъ въ сущности оказывается пустота. Знанія абсолютныя, вродѣ математическихъ, мертвы, безстрастны, и чѣмъ точнѣе они, тѣмъ менѣе интересны. Кому, кромѣ спеціалистовъ, радостно сознаніе того, что дважды-два составляетъ четыре, что квадраты временъ обращеній планетъ пропорціональны кубамъ большихъ полуосей орбитъ? Знаніе интересно, пока оно еще недостовѣрно, и разъ утвержденное, теряетъ свое обаянье: обратно съ чувствомъ, которое и при повтореніи даетъ свойственную ему радость. Если знаніе природы не даетъ счастья, то знаніе жизни раскрываетъ столько прикрытыхъ цвѣтами язвъ, столько гнусныхъ мерзостей, столько коренного, лежащаго въ самой природѣ зла, что несомнѣнно отравляетъ сознаніе. Недаромъ послѣднее слово философіи — пессимизмъ, опровергнуть логику котораго — не имѣя вѣры

(которая есть чувство, а не знаніе)—невозможно. Единственное утѣшеніе на вершинахъ знанія, какое встрѣчаетъ мудрецъ, это выводъ, что онъ «знаетъ, что ничего не знаетъ», что «истина есть дочь времени» (Бэконъ), что она условна и эфемерна, что ни одно знаніе не раскрываетъ своей послѣдней тайны. Философъ на этой лишь стадіи высшаго невѣдѣнія постигаетъ блаженство «нищихъ духомъ» или дѣтей, которымъ «открыто то, что скрыто отъ мудрецовъ».

IX.

Знаніе по природѣ своей не свободно отъ ошибокъ, и чѣмъ возвышеннѣе дѣятели, тѣмъ печальнѣе ихъ увлеченія. Всякая ошибка вооружается здѣсь всею мощью великаго человѣка, его обаяніемъ—и дѣлается для массъ неодолимой. Она увлекаетъ за собою людскую толпу и сильнѣе, чѣмъ всякая иная преграда, заслоняетъ истину. Условность знанія дѣлаетъ то, что *высокая* идея заслоняетъ иногда *высшую*, и часто замѣчательный человѣкъ съ величайшей энергіей преслѣдуетъ цѣль, которую человѣчество потомъ будетъ проклинать: стóитъ вспомнить завоевателей, воображавшихъ, что они совершаютъ великое дѣло, нагромождая груды труповъ на своемъ пути, истребляя племена и народы. Завоевать міръ—мысль исполинская, но она превращается въ ничто предъ лицомъ высшей правды. Точно также и изучить весь міръ, завоевать его научно, или обогатить весь міръ—все это задачи величественныя, но съ верховной точки зрѣнія—незначительныя. Высочайшая, божественная задача не во внѣшнемъ мірѣ, а внутри насъ—задача завоевать наше сердце для Царства Божія, его познать, его обогатить.—Къ сожалѣнію, работа многихъ благороднѣйшихъ геніевъ, увлеченныхъ второстепенными, побочными цѣлями, не смягчала людей, а часто еще болѣе ожесточала. Дарвиновскія гипотезы, необычайныя по остроумію

и близкія къ истинѣ, не сдѣлали добрымъ ни одного сердца и не способствовали примиренью людей. Напротивъ: кроткій и скромный философъ далъ людямъ знамя для вѣчной борьбы, далъ девизъ, за который ухватилось все злое и алчное въ просвѣщенномъ свѣтѣ. До Дарвина зло не имѣло своей міробъемлющей теоріи, своей религіи, которая оправдывала-бы вражду: Дарвинъ далъ ее. Если все слабое обречено на гибель, если борьба за существованіе есть непререкаемый законъ, и если эта борьба есть единственный источникъ совершенства, то да здравствуетъ борьба! А въ борьбѣ годится всякое оружіе: оно тѣмъ лучше, чѣмъ вреднѣе для противника, и все равно— будетъ-ли это рыцарскій мечъ или веревочная петля, мужество или подлая измѣна. Vae victis! Теорія Дарвина произвела потрясающее нравственное впечатлѣніе, повлекла за собою переворотъ нетолько въ наукѣ, но и въ значительной степени въ міросозерцаніи европейскихъ обществъ. Открытія Дарвина совпали, къ несчастію, съ эпохою узурпаторовъ во Франціи, съ эпохой Бисмарка и рядомъ блистательныхъ побѣдъ нѣмцевъ. Въ то время какъ авторитетъ науки провозглашалъ борьбу, какъ вѣчный и *благодѣтельный* законъ, авторитетъ политики объявлялъ, что «сила выше права» и что великія народныя цѣли должны рѣшаться «огнемъ и желѣзомъ». Ошеломленное человѣчество видѣло и законъ, и его немедленное, страшное подтвержденіе. Оно видѣло двухъ геніевъ, вдохновленныхъ — одинъ исканіемъ міровой правды, другой—вѣковыми народными мечтами, пришедшихъ къ одному и тому-же выводу. Оно видѣло, съ какимъ восторгомъ наука привѣтствовала Дарвина и какъ воспѣтъ былъ Бисмаркъ. Все это не могло не отразиться на настроеніи современнаго общества и отразилось чрезвычайно вредно. Гуманнымъ инстинктамъ — продукту долговременной и трудной культуры—былъ нанесенъ страшный ударъ, грубо-матеріальные — восторжествовали. Все европейское, а затѣмъ и «наше общество

и преимущественно молодое поколѣніе весьма твердо пошло по тому пути, который создалъ европейскую буржуазію», какъ писалъ Шелгуновъ. Онъ объяснялъ это грубо-эгоистическое превращеніе молодежи экономическимъ прогрессомъ, но едва ли это вѣрно: виноваты были могучія идейныя вліянія, болѣе яркими выразителями которыхъ явились Дарвинъ и Бисмаркъ. Идеи Дарвина могли быть условно истинными, но онѣ для своего времени были вредны. Всякій ядъ есть несомнѣнная химическая истина, но будучи введенъ въ тѣло, производитъ въ немъ страшное опустошеніе. Существуютъ, какъ я думаю, и въ психическомъ мірѣ свои яды, извѣстныя открытія и идеи, которыя, входя въ организмъ души, разрушаютъ его. Множество теорій имѣли вредное значеніе—достаточно вспомнить инквизицію, іезуитизмъ, феодальное право, научныя заблужденія Аристотеля, Птоломея и т. п. Я думаю, и гипотезы Дарвина для своего времени были неменѣе вредными, нежели идеи Игнатія Лойолы. Вѣдь что такое знаменитая формула — цѣль оправдываетъ средства — какъ не предсказаніе struggle for life. Сравнительно высокій строй души европейскаго общества первой четверти этого вѣка былъ несомнѣнно расшатанъ двумя величайшими представителями науки и политики, и слѣдуетъ пожалѣть, что эти замѣчательные люди, придя въ міръ, не направили своихъ могучихъ силъ на служеніе другимъ цѣлямъ. Мы не узнали-бы, быть можетъ, столь «достовѣрно», что происходимъ отъ обезьяны, что только борьбою совершенствуется жизнь, мы не имѣли-бы въ Европѣ лишней великой державы, но мира и счастья, пожалуй, было-бы больше. Мы подавлены теперь вооруженіями—плодами политики, но и въ нравственной сферѣ дарвиновскіе законы продолжаютъ угнетать совѣсть людей. Не могу забыть того душевнаго разлада, какой выносилъ я когда-то изъ университетскихъ лекцій зоологіи. Отъ 10 до 11 часовъ утра у насъ читалъ профессоръ Н. П. Вагнеръ, пламен-

ный *сторонникъ* Дарвина, а сейчасъ-же за нимъ, отъ 11 до 12 часовъ—покойный теперь профессоръ М. Н. Богдановъ, столь-же упорный *противникъ* Дарвина. Одинъ читалъ курсъ безпозвоночныхъ, другой—курсъ позвоночныхъ. Оба профессора были нетолько ученые, но и писатели, замѣчательные художники слова, оба—въ философской части курса—разбирали Дарвина нетолько съ ученой, но и философской точки зрѣнія, и въ сильныхъ, возвышенныхъ опредѣленіяхъ отрицали другъ друга... Надо замѣтить, что защитникъ Дарвина (въ литературѣ—«Котъ Мурлыка») хотя и провозглашалъ гробовымъ голосомъ, что «природа только сильному даетъ право жизни» — самъ всю жизнь проповѣдуетъ милосердіе къ слабымъ. Развѣ это не разладъ?

X.

Кромѣ науки (охватывающей въ широкомъ смыслѣ и міръ искусствъ), есть еще родъ духовной дѣятельности, заманчивой и почетной, но обильной ложью: это политика. Политика та-же промышленность, товаръ которой—національные или групповые интересы. Она такъ-же эгоистична и ненасытна, какъ и коммерческое дѣло. Цѣли ея такъ-же матеріальны и чувственны, въ ней столько-же фальсификаціи, и даже больше. Какъ и промышленность, политика вся основана на сдѣлкахъ, условіяхъ, компромиссахъ, случайныхъ требованіяхъ: никакихъ «категорическихъ императивовъ» въ ней не бываетъ. Въ наукѣ хотя *полагаемая* цѣль — всегда истина,—въ политикѣ и того нѣтъ. Въ ней «языкъ данъ для того, чтобы *скрывать* свои мысли», по знаменитому опредѣленію Талейрана. Величайшіе политики, вродѣ названнаго или его достойныхъ преемниковъ — Меттерниха, Бисмарка, Биконсфильда—откровенно сознавались, что не брезгаютъ никакими средствами для блага своихъ странъ. Въ европейскихъ сношеніяхъ слишкомъ гру-

бые средства повывелись (хотя еще сто лѣтъ тому назадъ сосѣднія государства держали на жалованьи министровъ сосѣднихъ державъ), но въ отношеніи къ язычникамъ до сихъ поръ практикуется напр. Англіей подкупъ, обманъ, захватъ, система ловушекъ и т. п. Принципы, установленные въ классической книгѣ Маккіавели («Государь», особенно 18-я глава) далеко не забыты. Вспомните Австрію, «удивившую міръ неблагодарностью», Англію, державшую сторону рабовладѣльческаго Юга, принудившую Китай отравляться опіемъ, вырѣзавшую Суданъ подъ предлогомъ порядка; вспомните Пруссію, разгромившую свою союзницу въ датской войнѣ, нынѣшнюю Италію съ ея ненавистью къ Франціи и пр. и пр. Современная внѣшняя политика большинства державъ кишитъ измѣною и насиліемъ, какъ и всегда. Даже гуманнѣйшіе политики, вродѣ Брайта или Гладстона, вынужденные преслѣдовать второстепенныя цѣли, работали довольно безплодно. Даже такія возвышенныя задачи, какъ національное объединеніе, какъ освобожденіе своей родины, развитіе политическихъ правъ и т. п., если всмотрѣться въ нихъ глубже, не то, чѣмъ онѣ кажутся: въ основѣ ихъ вы видите замѣну одного эгоизма другимъ. Народности, лишенныя политическихъ правъ, мечтаютъ о нихъ какъ о нѣкоемъ высшемъ благѣ, тогдакакъ въ сущности благо получается чаще всего условное, корыстное, непрочное. Что нужно для счастья нѣмца, итальянца, венгерца, ирландца или кого хотите на свѣтѣ? Нужно не болѣе того, чтобы у каждаго былъ свой уголокъ подъ небомъ среди любящихъ людей, чтобы каждый могъ отдыхать глазами на красотѣ природы, мыслью—на тайнахъ міра, чувствомъ—на сочувствіи всѣхъ ко всѣмъ. Задача счастья—въ ощущеніи въ себѣ хорошаго человѣка и въ окружающихъ—такихъ-же милыхъ, добрыхъ людей, которымъ хотѣлось-бы помогать и оказывать знаки душевнаго расположенія. Вотъ и все счастье — здоровое и достойное человѣка. Другой видъ счастья: чувствовать

себя или близкихъ сильнѣе, богаче, умнѣе и т. д. окружающихъ, счастье превосходства надъ ними, и даже насилія. Это счастье не здорово: оно на злой подкладкѣ и такъ или иначе отравляетъ душу тончайшимъ ядомъ зависти и ненависти къ людямъ. Эгоистическое счастье разъединяетъ людей и плодитъ безконечную вражду. Національныя и освободительныя движенія, какъ они ни кажутся благородными, обыкновенно основаны на эгоизмѣ, почему и разрѣшаются въ новыя формы насилія не лучше старыхъ. Возьмите Венгрію, съ ея угнетеніемъ славянъ, Германію, Италію, балканскія страны *послѣ* осуществленія ихъ національныхъ идеаловъ. Даже сами нѣмцы — кто потрезвѣе—соглашаются, что объединеніе въ общій, великій фатерландъ имъ обошлось ужасно дорого: изъ патріархальной страны философіи и искусствъ, добродѣтельной и мечтательной, обогащавшей міръ такими явленіями, какъ реформація и нѣмецкая философія, — Германія превратилась въ грубое и задорное казарменное государство. Интеллектуальный и нравственный уровень понизился: даже философы, вродѣ Гартмана или Момсена мечтаютъ о походахъ и побѣдахъ; прогрессъ знаній и искусствъ затихъ, явилась необходимость безконечно вооружаться, создавать небывалыя коалиціи, подавлять налогами и себя, и сосѣднія державы—до полнаго истощенія нѣкоторыхъ; вмѣсто роста дружескихъ чувствъ и обмѣна просвѣщеніемъ идетъ обмѣнъ угрозъ; мрачный призракъ грядущей истребительной бойни какъ кошмаръ мучитъ всѣ народы. Точно такая-же порча народнаго характера замѣчается въ Италіи, въ славянскихъ странахъ: всюду за освобожденіемъ развивается шовинизмъ и національная алчность. То-же будетъ и съ маленькой Ирландіей, если благородная мечта Гладстона осуществится. Никто, конечно, не имѣетъ права удерживать маленькій народъ въ связи съ чуждой націей, разъ онъ этого не хочетъ. Но *не хочетъ* онъ этого больше изъ дурныхъ, нежели хорошихъ чувствъ. Возмутительны притѣс-

ненія англійскими лордами фермеровъ, и съ этимъ нужно было бороться, но автономія можетъ сдѣлать ирландцевъ не менѣе несчастными, нежели теперь. Вмѣсто англійскихъ хищниковъ найдутся свои, туземные, и сверхъ того, съ самостоятельностью начнется эра тревоги и жертвъ, чтобъ отстоять ее. Всякій маленькій народецъ, получившій политическое бытіе, не мирится съ своими сосѣдями, а начинаетъ ихъ бояться и ненавидѣть пуще прежняго: венгры — славянъ, итальянцы — французовъ, сербы—болгаръ, норвежцы—шведовъ и т. п. У маленькаго народца, чувствующаго свою незначительность, развивается страшная зависть, лихорадочное желаніе себя отгородить и обособить, обставиться крѣпостями, пушками и т. п. «Націи» при населеніи какого-нибудь Парижа или даже одной части Парижа приходится заводить громоздкій государственный аппаратъ, министерства, департаменты, армію, флотъ, посольства и т. п. Все это требуетъ массы средствъ отъ населенія. Боевой аппаратъ готовъ—является искушеніе испробовать его противъ слабѣйшаго сосѣда. Ростутъ, конечно, внѣшніе и внутренніе долги, населеніе бѣднѣетъ, а главное—грубѣетъ нравственно. Все это ожидаетъ и Ирландію; и она, какъ всѣ другія обособившіяся страны, будетъ тяжело наказана за подъемъ недобрыхъ чувствъ, движущій національнымъ броженіемъ. Я лично уважаю всякую національность и считаю, что «раздѣленіе языковъ» принесло свою пользу въ исторіи, какъ въ органическомъ царствѣ—раздѣленіе породъ. Въ національности раскрылась вся роскошь человѣческаго типа, все разнообразіе его, вся возможность, въ него заложенная. И пока національность слагается естественно, она прекрасна, но когда начинаютъ нарочно ее создавать, часто сочиняя,— она является только зломъ. — Естественное распаденіе нѣкоторыхъ народностей, разъ оно идетъ не путемъ насилія, только желательно, какъ достиженіе общенія болѣе широкаго, чѣмъ племенной союзъ. Хорошо, когда на-

ціональности слагаются, но еще лучше, когда онѣ сливаются между собою. Вѣдь съ высшей, всемірной точки зрѣнія, національная отчужденность есть какъ-бы измѣна человѣчеству, отрицаніе его идеи. Какъ религія нѣкогда раздѣляла страны, а теперь уже не раздѣляетъ (напримѣръ, католическую Германію отъ протестантской), такъ и національность уже видимо утрачиваетъ это свойство. Итальянцы, нѣмцы и французы въ Швейцаріи составляютъ своего рода «тройственный союзъ» несравненно крѣпче бисмарковскаго созданія, а главное — чудеснѣе: три племени, въ другомъ мѣстѣ ненавидящія другъ друга, здѣсь составляютъ одинъ народъ и одну страну. Точно также и въ Америкѣ въ еще болѣе грандіозныхъ размѣрахъ идетъ претвореніе двудесяти языкъ Европы въ одну семью. Въ самой Европѣ теперь уже установилось какъ-бы общее отечество: иностранецъ всюду пользуется совершенно одинаковымъ покровительствомъ законовъ, какъ и въ своей странѣ, и на совершенно равныхъ правахъ съ туземцами можетъ посвятить себя всякому труду. Болѣе того: гражданинъ малокультурной страны, вродѣ Турціи, заѣхавъ въ Англію, находитъ даже несравненно лучшія условія, нежели въ своемъ отечествѣ: онъ пользуется заграницей большею свободою дѣятельности, и въ гостяхъ онъ чувствуетъ себя не «какъ дома», а гораздо лучше. И вотъ, въ такое-то время, когда идетъ великій процессъ сліянія народовъ, въ разныхъ странахъ раздувается національный вопросъ; маленькая Финляндія или Ирландія желаютъ быть во что-бы ни стало особыми государствами, а благородные дѣятели вродѣ Гладстона посвящаютъ подобнымъ мечтамъ всю свою энергію. Суетность этой «національной» политики еще ярче видна на примѣрѣ южно-американскихъ, пиренейскихъ и скандинавскихъ государствъ. Въ указанныхъ враждующихъ странахъ все одинаково: племенное происхожденіе, языкъ, вѣра, культура, даже исторія. Въ силу лишь случайности эти на-

родцы обособились когда-то и ненавидятъ теперь другъ друга, ведутъ борьбу. Тоже самое было въ феодальное время въ Европѣ и у насъ—въ удѣльную эпоху. Я лично всѣмъ сердцемъ желаю Ирландіи, какъ и всякой странѣ, счастія и свободы, но не думаю, чтобы путь къ этимъ благамъ шолъ чрезъ политическую обособленность. Вѣдь гомруль Ирландія уже имѣла, и даже больше того: она нѣкогда имѣла и полную независимость, но это не избавило ее отъ ига англичанъ, какъ и самихъ англичанъ ихъ свобода не избавила отъ ига ландлордовъ. Политика съ ея условною, сегодняшнею правдой безсильна разрѣшить великіе историческіе вопросы, какъ и наука съ ея относительнымъ знаніемъ. Необходимо участіе въ жизни иного, болѣе верховнаго дѣятеля съ значеніемъ вѣчнымъ и абсолютнымъ. Этотъ дѣятель есть совѣсть.

XI.

«Отречься отъ политики, говорятъ противники Толстого,—значитъ отказаться отъ участія въ самыхъ дорогихъ и важныхъ интересахъ общества, значитъ эгоистически запереться въ своей личности». Я думаю, напротивъ: принципъ Толстого не разобщаетъ людей, а соединяетъ, дѣлаетъ ихъ собственно *болѣе политическими* существами, чѣмъ они были. Въ самомъ дѣлѣ, современная политика въ сущности отрицаетъ истинную общественность: раздѣляя человѣчество на коалиціи, государства, сословія, партіи, фракціи и оттѣнки фракцій; дробя общество, политика дробитъ и общественный интересъ; членъ партіи, обязанный подчиняться кружковому мнѣнію, пріобрѣтаетъ механическое, узкое міросозерцаніе и поступаетъ машинально, по командѣ вождей. Такой членъ, отдавъ свой голосъ представителю, можетъ преспокойно оставаться дома и уже цѣлые годы, цѣлую жизнь не вспоминать объ общественныхъ интересахъ. Даже парламентаризмъ, при всемъ его относительномъ совершен-

ствѣ, какъ формы общественной жизни, даетъ пока одну иллюзію народовластія; властью пользуются только крайне немногіе и преимущественно эгоистическіе элементы—честолюбцы, не брезгающіе никакими компромиссами или глядящіе на политическую борьбу какъ на спортъ. Благороднѣйшіе дѣятели въ парламентскихъ странахъ сторонятся отъ политической сцены, и чѣмъ порядочнѣе человѣкъ, тѣмъ затруднительнѣе онъ себя чувствуетъ въ этомъ хаосѣ сдѣлокъ, условностей и dos-à-dos. При всемъ желаніи отнестись честно къ своимъ обязанностямъ, и даже именно вслѣдствіе этого желанія, они являются не у мѣста, они торчатъ въ качествѣ «дикихъ» гдѣ-нибудь на верхнихъ скамьяхъ парламента, возбуждая насмѣшки и презрѣніе своихъ товарищей. Въ парламентскомъ государствѣ каждый членъ его обязанъ подчиняться рѣшенію большинства, т.-е. высшимъ авторитетомъ является не совѣсть, а ариѳметическая цифра. Существуютъ, однако, вопросы, и именно самой глубокой важности, которые сдѣлокъ не допускаютъ: рѣшающимъ голосомъ въ нихъ можетъ быть только совѣсть. Уступать ближнимъ—долгъ, но только въ области матеріальной; въ сферѣ нравственной каждый долженъ быть неподвиженъ какъ скала. Въ такомъ искреннемъ, могучемъ проявленіи совѣсть нетолько не разрушаетъ ни политики, ни науки, ни искусства и т. д., но именно она-то и создаетъ возможность истинныхъ формъ этихъ дѣятельностей.

Въ самомъ дѣлѣ, только нравственность даетъ содержаніе истинной политикѣ. Только совѣсть—если она сильна—вовлекаетъ каждаго человѣка въ круговоротъ общественной жизни. Совѣсть есть абсолютный законъ, не разрѣшающій человѣку оставаться равнодушнымъ или поступаться своими убѣжденіями ни въ общественныхъ, ни въ государственныхъ, ни въ международныхъ дѣлахъ. Нравственный человѣкъ не мирится ни съ какимъ зломъ, гдѣбы онъ ни встрѣтилъ его; въ своей-ли душѣ или душѣ ближняго, въ семьѣ, обществѣ, человѣчествѣ. Онъ не

долженъ непремѣнно «вступать въ бой съ неправдой», какъ напыщенно выражаются маленькіе поэты. Исходъ физическаго «боя» всегда сомнителенъ, а главное — онъ уничтожаетъ одну изъ сторонъ, онъ что-то насилуетъ, кого-то обижаетъ, а нравственному человѣку жаль вѣдь даже своего врага. Борьба физическая вызываетъ ненависть—вещь невыносимую для совѣстливаго человѣка. Поэтому, не прибѣгая къ грубымъ средствамъ, онъ тѣмъ обязательнѣе считаетъ для себя борьбу нравственную: мольбою, увѣщаніемъ, лаской, убѣжденіемъ ума, доводами знанія (истинная роль знанія), матеріальною помощью жертвамъ зла (истинная роль богатства). И сверхъ того у него есть реальное средство повліять на зло—устраниться отъ него. Не входя ни въ какіе компромиссы со зломъ, совѣстливый человѣкъ отходитъ отъ него, отказываетъ ему въ своемъ участіи. Бѣгите отъ зла: это всѣмъ доступно, и если бѣгущихъ будетъ много, то зло останется въ пустотѣ и задохнется какъ-бы въ безвоздушномъ пространствѣ. Физическая борьба, говоритъ Толстой, только плодитъ вражду, подбрасываетъ огню злобы горючій матеріалъ; удаляясь-же отъ неукротимой ненависти нравственный человѣкъ обуздываетъ ее. Путемъ простого «недѣланія», отказываясь быть прямымъ и даже косвеннымъ орудіемъ цѣлей, которыхъ его совѣсть не признаетъ, истинно добрый, гуманный, мягкій человѣкъ является крайне-полезнымъ дѣятелемъ, вноситъ въ окружающую среду чрезвычайныя, необъятныя перемѣны. Никакіе насильственные перевороты не вносили въ жизнь людей и сотой доли тѣхъ измѣненій, какія вносятъ подобные добрые; совѣстливые и въ силу этого неуступчивые люди,—неуступчивые до конца. Скажите, что кромѣ совѣсти въ состояніи дать человѣку — каждому, какъ-бы онъ ни былъ малъ и незамѣтенъ — такую всеобъемлющую роль въ обществѣ, такую долю существеннаго участія въ политической жизни? Тутъ *голосъ* гражданина никогда никому не передается, онъ никогда не смолкаетъ въ

угоду партіи, онъ полновѣсно идетъ въ итогъ общественнаго настроенія. Въ то время какъ современная политика нетолько допускаетъ отсутствіе многихъ голосовъ, но даже и требуетъ этого, совѣсть не дѣлаетъ исключеній: разъ «всѣ виноваты за всѣхъ» (Достоевскій), всѣ *обязаны* подавать голосъ свой, хотя-бы его и не спрашивали. Въ то время какъ современная политика дѣлаетъ гражданъ простыми нулями, имѣющими значеніе лишь при единицѣ—вождѣ партіи, совѣсть считаетъ каждаго человѣка единицей со всѣми реальными и неотъемлемыми ея правами. Только совѣсть даетъ *объединяющее* начало. Идея добра все-же симпатичнѣе и понятнѣе всѣмъ людямъ, чѣмъ какой угодно частный интересъ,—сословный, профессіональный, національный, личный. Современная политика, основанная на компромиссѣ, лишена этого объединяющаго начала. Во всѣхъ странахъ замѣчается паденіе парламентскаго большинства, дробленіе партій, рѣшеніе вопросовъ случайнымъ, коалиціоннымъ большинствомъ, причемъ изъ какихъ-бы элементовъ послѣднее ни составилось, меньшинство сейчасъ-же начинаетъ доростать до большинства—съ явною и единственною цѣлью его низвергнуть. Вопросы, рѣшаемые крошечнымъ большинствомъ, даютъ идеалъ разногласія, гдѣ половина націи должна подчиняться другой половинѣ. Только совѣсть способна объединить огромное большинство: предъ голосомъ Божіимъ разногласіе исчезаетъ.

XII.

То-же животворное вліяніе производитъ совѣсть и въ области всякаго иного труда, въ области науки, искусствъ и пр. Совѣсть даетъ указаніе, что истинно и что ложно въ этихъ областяхъ, что нужно людямъ и что ненужно. Если сдѣлано что-нибудь великое въ исторіи, то только благодаря лишь участію нравственнаго чувства: расширеніе свободы, смягченіе нравовъ, развитіе состра-

данія къ несчастнымъ, развитіе просвѣщенія—все это работа совѣсти. Навѣянная эволюціонной философіей теорія, будто «все сдѣлается само собою»,—дайте время—и цивилизація безъ всякихъ нашихъ усилій подкатитъ человѣчество какъ по рельсамъ къ золотому вѣку,—есть печальное заблужденіе, своего рода фатализмъ, развращающій сознаніе культурныхъ народовъ не менѣе чѣмъ вѣра мусульманъ въ предопредѣленіе. Если «не слѣдуетъ спѣшить», если «все сдѣлается постепенно», то каждый человѣкъ отдѣльно можетъ творить все, что ему нравится, хотя-бы крайнюю мерзость. Есть простодушные философы, оправдывающіе свои мерзости даже статистикой: надо-же кому-нибудь заполнять извѣстныя клѣтки статистическихъ таблицъ, такъ-какъ это, будто-бы, непререкаемый соціальный законъ и т. п. Все это пустыя и жалкія бредни, тѣмъ болѣе опасныя, чѣмъ болѣе онѣ вооружены аппаратомъ науки.

Общество, дѣйствительно, подвинулось въ послѣдніе вѣка, но обязано этимъ движеніемъ совсѣмъ иному методу, нежели рекомендуемый постепеновцами. Общество двигалось не ежедневнымъ отправленіемъ своихъ маленькихъ дѣлъ, а могучимъ напряженіемъ совѣсти, порывомъ въ область новой, болѣе справедливой жизни. «Со временъ Іоанна Крестителя,—сказалъ Христосъ, — Царствіе Божіе *съ усиліемъ* дается». Для движенія требуется *постоянная* затрата силъ, и ни одинъ человѣкъ, ни одно поколѣніе не можетъ ни на минуту освободить себя отъ вѣчнаго долга движенія. Прогрессъ совершается работою безконечно-малыхъ единицъ: значитъ, каждая единица должна работать, и работать не «немножко», не «ограничиваться кое-какими попытками», «взносами», «участіемъ» въ какихъ-нибудь благотворительныхъ, научныхъ, художественныхъ учрежденіяхъ, — нужно работать много и сильно, нужно «спѣшить дѣлать добро», по прекрасному выраженію доктора Гааза. Надо вѣрить, что дѣло нравственнаго перерожденія есть живое дѣло,

осуществимое при нашей жизни, что каждый изъ насъ можетъ увидѣть новую эру. Царствіе Божіе всегда близко: оно наступаетъ теперь-же, въ каждую минуту, когда вы ощущаете въ себѣ доброе движеніе сердца, и весь вопросъ о томъ, чтобы этихъ добрыхъ движеній вызывать въ себѣ и другихъ какъ можно больше.

Нѣтъ болѣе опаснаго заблужденія, будто отдѣльный человѣкъ—ничто въ соціальномъ потокѣ, и что поэтому не стоитъ бороться за истину въ доступныхъ каждому будто-бы «микроскопическихъ размѣрахъ». Странное и грустное заблужденіе! Пусть на протяженіи тысячелѣтій, въ массѣ несчетныхъ милліардовъ человѣческихъ единицъ, отдѣльная жизнь ничтожна,—хотя и здѣсь имена Будды, Моисея, Конфуція и др. до сихъ поръ еще живы и творятъ свое дѣло. Но мѣриломъ своего значенія нужно брать не тысячи лѣтъ, а лишь срокъ своей собственной жизни—30, 50 лѣтъ дѣятельности; а на такомъ тѣсномъ участкѣ времени отдѣльная личность уже замѣтна. И пространствомъ нужно брать не весь земной шаръ, а лишь то-общество, гдѣ вы живете, кругъ изъ какой-нибудь сотни лицъ; и здѣсь-то ужь никакъ нельзя сказать, что отдѣльная личность *тонетъ* въ такомъ кружкѣ. Здѣсь личность не ничтожна, и если захочетъ, то и *можетъ* быть значительной, сильной, великой. Замѣчали-ли вы, что съ кѣмъ-бы вы ни познакомились, вамъ ничего не стоитъ сдѣлаться человѣкомъ близкимъ, интимнымъ, вліяющимъ существенно на жизнь вашего знакомаго, недавно еще совершенно вамъ неизвѣстнаго? Стоитъ лишь искренно захотѣть сблизиться и подойти къ человѣку съ братскими чувствами. Всѣ мы нуждаемся въ участіи и охотно допускаемъ въ нашъ внутренній міръ всякое сочувствіе. При нынѣшнемъ какомъ-то механическомъ онѣмѣніи общества (признакъ чрезмѣрной его организованности) отдѣльная личность скована ложнымъ представленіемъ о своемъ ничтожествѣ; огромное большинство людей просто изъ трусости не идутъ на

великія и вполнѣ безопасныя дѣла, хотя были-бы вполнѣ для нихъ пригодны. Вѣдь въ сущности всякое великое дѣло—поразительно просто и внѣшнихъ условій требуетъ не болѣе, чѣмъ иныя ничтожныя предпріятія. Тайна великаго дѣла—въ нравственной рѣшимости создать его, въ работѣ совѣсти. Чаще всего эта рѣшимость является какъ преодолѣніе гипноза трусости большою страстью или большимъ талантомъ, но очень многія великія дѣла совершены обыкновенными, заурядными людьми. Надобно замѣтить, что наибольшею осуществимостью отличается именно *доброе*: безконечныя неудачи обыкновенныхъ смертныхъ, если разсмотрѣть ихъ хорошенько, зависятъ отъ недоброй подкладки ихъ попытокъ. Неудачамъ подвергаются карьеристы разнаго рода, люди, добивающіеся богатства, власти, почета и т. п. Въ свалкѣ съ подобными-же искателями они ослабѣваютъ и часто не доходятъ до своей недоброй цѣли. Наоборотъ: кто ищетъ добрыхъ цѣлей,—любви къ людямъ, служенія имъ, тотъ не встрѣчаетъ препятствій. Но если добрыя цѣли и сопряжены иногда съ преградами, то для преодолѣнія ихъ нуженъ не рѣдкій талантъ, не трудно-добываемая наука, не богатство, еще труднѣе пріобрѣтаемое, а нужна всего лишь дѣятельная совѣсть. Только это,—но это безусловно необходимо, и при этомъ условіи даже одинъ человѣкъ получаетъ громадное значеніе. Онъ «заражаетъ міръ людей своей печалью страстной, онъ увлекаетъ ихъ на встрѣчу бурь и грозъ». Маленькій, скромный человѣкъ можетъ быть Моисеемъ своего маленькаго народа, кружка знакомыхъ и родныхъ, пророкомъ, способнымъ вывести ихъ изъ психическаго плѣна тѣхъ или иныхъ суевѣрій въ область болѣе свѣтлаго міросозерцанія. Вспомните основателей нѣкоторыхъ нравственныхъ ученій, устраивавшихъ прекрасный, чисто-райскій бытъ въ своихъ общинахъ.

Но если чудо нравственнаго перерожденія общества доступно темнымъ и среднимъ людямъ, руководящимся

только совѣстью, то что-же-бы вышло, если-бы на подвигъ любви выступили высшіе геніи человѣчества, земныя «начала, господства, власти»? Трудъ Гладстоновъ и Дарвиновъ и теперь возбуждаетъ заслуженное удивленіе, и теперь невольно благоговѣешь предъ этими исполинами духа; но что-же было-бы, еслибы эти великіе старцы вооружились благовѣстіемъ правды, проповѣдью не условныхъ, мѣняющихся мнѣній, а истины вѣчной, безусловной, всѣмъ и каждую минуту необходимой? Что, еслибы всѣ эти громадныя энергіи, разсѣивающіяся теперь въ промышленности, искусствахъ, спеціальныхъ наукахъ, политической борьбѣ и пр., сосредоточились на *работѣ совѣсти?*

Двѣ правды.

I.

Быть *талантливымъ* писателемъ въ наше время, мнѣ кажется, должно быть мучительно. Что касается бездарныхъ,—они счастливы, какъ всегда. Сидя въ своемъ крошечномъ горизонтѣ, защищенные отъ всякой внутренней тревоги своею простотой, они плетутъ свою скромную паутину, какъ пауки, по унаслѣдованному, подражательному инстинкту и радехоньки, если залетитъ къ нимъ мелкая читающая букашка. Сколько-бы разъ жестокая рука редактора или зоила-критика ни сметала паутину, авторъ-паучекъ вновь принимается выматывать изъ себя слабенькія нити разсказовъ, стихотвореній, статей, лѣпя ихъ къ поверхности чего угодно: зданій или деревьевъ, камней или заснувшаго человѣка. Въ силу своей автоматичности, такой писатель невозмутимъ, какая-бы эпоха его ни застигла: мирное процвѣтаніе общества или кровавая распря, кипучій подъемъ народныхъ силъ или голодный моръ. Роль такого писателя—найти первые попавшіеся выступы жизни и связать ихъ своими ниточками яко-бы въ одно цѣлое. Пусть ничего *цѣлаго* изъ этой эфемерной связи не выходитъ, такъ-какъ ничего общаго между связанными точками нѣтъ,—писатель доволенъ, ибо читатель соотвѣтствующей силы все-таки запутывается въ строчкахъ и часто дочитываетъ автора до конца. Такой писатель блаженъ, и настичь его можетъ

развѣ только физическое несчастіе: напримѣръ, зубы заболятъ или закроется журналъ, гдѣ онъ примостился. Другое дѣло—писатель одаренный, и чѣмъ выше его даръ, тѣмъ тяжелѣе крестъ. Ясновидѣніемъ пророка, тонкимъ предчувствіемъ будущаго, проникновеніемъ въ законы волнующейся жизни, такой писатель присутствуетъ какъ-бы на страшномъ судѣ своей эпохи, передъ нимъ вскрыты всѣ язвы ея и тайные грѣхи. Тяжелая эта картина и мучителенъ жребій сознанія:

...Сердце негодуетъ,
Жизнь снимаетъ маску—исчезаютъ грезы,
Соловьи не свищутъ и поблекли розы...

—какъ говоритъ старый, знаменитый поэтъ Я. П. Полонскій, въ поэмѣ, посвященной героическому движенію средины этого вѣка. Вспомните другого, великаго старца съ его «исповѣдью» и всею дѣятельностью послѣ 1885 года. Развѣ это не мученичество, не самоистязанье? А Достоевскій, этотъ «жестокій талантъ», по выраженію одного критика, терзавшій, конечно, прежде всего свою собственную душу? А Тургеневъ? Менѣе убѣжденный,—онъ мучился, можетъ-быть, болѣе Достоевскаго и Толстого. У тѣхъ была религія, вѣра въ окончательное великое, предъ чѣмъ блѣднѣютъ всѣ случайности,—у Тургенева ея не было. Новое, молодое поколѣніе талантовъ не счастливѣе предыдущаго: вспомните, ограничиваясь послѣдними десятилѣтіями, Гаршина, Надсона, А. П. Чехова, В. Г. Короленку. Не говоря о первыхъ двухъ, такъ-сказать истекшихъ кровью сердца,—чѣмъ, какъ не страданіемъ мысли объяснить сумрачное раздумье Чехова, злую нервность Дѣдлова или тихую, затаенную печаль, разлитую въ поэіи Короленки? Появляющіеся новые въ литературѣ таланты оказываются уже захваченными скорбью своего времени. Одинъ авторъ живой и жизнерадостный по натурѣ, ищетъ правды въ

деревнѣ, ѣздитъ благодѣтельствовать мужиковъ, разочаровывается въ нихъ и снова поступаетъ... на службу; другого автора страданіе мысли, поиски свѣжести и тѣни для истомленной души загоняютъ въ дебри метафизики; выдающійся талантъ третьяго еле просвѣчиваетъ сквозь туманныя испаренія души разлагающейся, агонизирующей. Есть родъ скорби, свойственный генію, какъ замѣтилъ еще Аристотель, но, кажется, никто никогда еще не страдалъ такъ, какъ мучатся даровитые люди нашего времени.

Чѣмъ-же вызывается это писательское мученичество, раздѣляемое, конечно, всѣми вздумчивыми интеллигентными людьми? Мнѣ кажется, причина его—глубокое недовольство дѣйствительностью и психическій разрывъ съ нею. Даровитый человѣкъ нашего времени, какого-бы склада и воспитанія ни былъ, живетъ неизмѣнно отрицая настоящее. Если онъ «консерваторъ» по темпераменту, онъ признаетъ прошлое; если «либералъ»—признаетъ будущее. Беру эти устарѣвшіе и неточные термины только по ихъ общепонятности; мнѣ хочется сказать, что мало въ жизни друзей *настоящаго* и всѣ вздыхаютъ о прекрасномъ несуществующемъ. Разрывъ съ своею природой, отрицаніе своего времени и мѣста—развѣ возможно болѣе утонченное мученье? Какъ существа, попавшія въ чуждую для нихъ стихію, медленно задыхаются въ ней, такъ одаренные люди нашей эпохи тоскуютъ и грезятъ о томъ, что прошло или еще не пришло... Являются двѣ какихъ-то тайныхъ вѣры, двѣ правды, раздѣляющія общество на два враждующіе лагеря; одинаковое отвращеніе къ настоящему, какъ болящая рана, не даетъ сростись краямъ его, не позволяетъ слиться образованнымъ людямъ въ мирную семью. Возьмите лучшихъ представителей обоихъ лагерей. Оба могутъ быть искренними, чувствующими иногда одинаково тонко,—но они разошлись на вѣки. И это раздвоеніе духа въ европейскомъ обществѣ роковая черта всей христіанской эпохи. Съ тѣхъ поръ

какъ «галилейскіе рыбаки» провозгласили, что истинная жизнь есть жизнь будущаго,—духъ человѣческій колеблется между земнымъ и небеснымъ, между древнею привязанностью къ преходящему и влеченіемъ къ вѣчности, и никогда эти колебанія не были чаще и больнѣе, чѣмъ въ наше столѣтіе, столѣтіе зари—утренней или вечерней,—объ этомъ идутъ безконечные споры.

Мнѣ кажется, раздвоеніе правды въ нашемъ сознаніи происходитъ оттого, что идеалъ слишкомъ возвышенъ, а дѣйствительность слишкомъ отъ него отдалена. Многіе прекрасные люди признаютъ идеалъ, но отрицаютъ возможность развитія его изъ столь несовершенной дѣйствительности. Посмотрите, какое глубокое недовѣріе къ человѣческой природѣ проникаетъ поэму Полонскаго «Собаки». Поэма эта—сатира на идеалистовъ, сатира благодушная, благоухающая поэзіей природы, но тѣмъ не менѣе сатира рѣшительная и мѣстами даже злая. Прочиталъ я ее, и мнѣ сдѣлалось грустно. Вотъ писатель талантливый, тонко чувствующій, родившійся въ далекія, крѣпостныя времена, помнящій сороковые годы, видѣвшій во-очію наплывъ того горячаго, возвышеннаго настроенія, которое сняло съ народа цѣпи, писатель, пережившій героическій періодъ въ жизни нашего общества. Онъ и самъ участвовалъ въ ликующемъ хорѣ, онъ жилъ и работалъ въ это время, отвѣчая шуму веселыхъ волнъ жизни созвучіями пѣсенъ. Неужели-же къ склону дней онъ изъ этого душевнаго порыва не вынесъ никакой надежды? Неужели такъ-таки одно разочарованье, одно отрицанье?

Познакомлю читателя хоть въ самыхъ краткихъ чертахъ съ содержаніемъ этой поэмы.

II.

«Вдохновеніемъ, говоритъ авторъ, я обязанъ псарнѣ и ея героямъ». Дѣло происходитъ въ нѣкоторомъ цар-

ствѣ, на усадьбѣ воеводы или мирзы Сиваго, на широкомъ, очевидно, крѣпостномъ раздольѣ. У воеводы большая свора собакъ различнѣйшихъ породъ, наслаждавшаяся вмѣстѣ съ бариномъ охотой. Но вотъ грянула бѣда: мирза увлекся какою-то красавицей и забросилъ охоту, а собакъ, чтобы не безпокоили лаемъ, велѣлъ загнать на псарню и удвоить сторожей. Слѣдуетъ описаніе псарни, праздной, тоскливой жизни взаперти, очень похожей на жизнь нашей провинціальной интеллигенціи полвѣка тому назадъ. Мѣтко нарисованы также портреты героевъ: Трезвона (радикалъ), Барбоски (умѣренный либералъ), Сокола, Вопилы (народникъ), Марса, Волкодава, Водолаза, Валетки и пр. Тщетно ждали собаки, что вотъ-вотъ ихъ выведутъ на охоту,—истомились только. «Близкое сосѣдство сумрачной дубравы и привольной степи навѣвало думы — чувствовались цѣпи праздности и рабства...» Обезпеченная жизнь стала казаться острожной. Между собаками начали бродить «толки, что собаки, дескать, тѣ-же волки и что запирать ихъ врядъ-ли благородно...» «Въ лѣсъ дремучій, на просторъ, тянуть ихъ стало такъ, что ныли ихъ собачьи души—и собаки выли...» Странички, посвященныя этой тоскѣ по свободѣ, написаны превосходно, — картинно и тонко изображенъ этотъ нѣмой могучій призывъ природы. Авторъ замѣчаетъ, что «слухъ людей ихъ (собачьимъ) воемъ не былъ озабоченъ», — замѣчаніе важное для характеристики «людей». Неволя и близость простора измучили собакъ:

Даже *амки* (то-есть наши дамы), тоже
Чуя духъ свободы, волновались лежа.

Въ двухъ «потерянныхъ» главахъ авторъ говоритъ, какъ собаки прорыли себѣ лазейку въ лѣсъ и какъ однажды ночью на псарню вбѣжалъ оборотень. Вырвавшись на волю, собаки отдавались счастью, но авторъ спѣшитъ доказать, что свобода эта насолила собакамъ

хуже доѣзжачаго. Одна изъ амокъ, прошмыгнувшая въ сѣни, получила по боку ухватомъ, борзого Ахилла увела цыганка, Марса лѣсники приняли за волка и подстрѣлили ему ногу, Соколъ, гоняясь за зайчихой, заблудился... «Поняли собаки, что блуждать опасно». Составляется заговоръ, происходитъ засѣданіе. Описываются стычки и споры о благосостояньи, мирѣ, просвѣщеньи. Радикалъ Трезвонка подбиваетъ къ бунту во имя братства и свободы. Подъ вліяніемъ разсудительнаго Барбоса, либеральное броженіе разрѣшается, однако, опытами «самопомощи»: описывается, какъ изящная Стрѣлка ищетъ себѣ работы, «и трудиться хочетъ и никакъ не можетъ, и чужую корку поневолѣ гложетъ», тогда какъ «Берфинъ сынъ другую отыскалъ работу: сталъ ловить лягушекъ и, трудясь до поту, сотнями давилъ ихъ; для чего,—признаться, самъ того не вѣдалъ». Описывается «Трезорка — двухъ кротовъ отрывшій, и Карай, сѣдую крысу задавившій», за что и снискали себѣ славу дѣльцовъ. Въ такомъ жалкомъ видѣ поэтъ рисуетъ «самопомощь», увлекавшую наше общество послѣ извѣстнаго романа «Что дѣлать?» Собаки-либералы не покинули, однако, псарни совершенно, такъ-какъ получали кормъ въ ней. Черта тонкая, и къ сожалѣнію, слишкомъ вѣрная.

Вслѣдъ за «самопомощью» выдвинулся «женскій вопросъ»: собаки подмѣтили у куръ свободу любви и завели у себя то-же. Затѣмъ пошло дробленіе партій, и стали появляться «вѣщіе пророки», поднята была идея *звѣрчества*, въ которой соединялися всѣ четвероногіе отъ слона до мыши, выступили—славянофилъ Вопила съ теоріей народности, побиваемый западникомъ — Водолазомъ, представитель служилаго дворянства—карьеристъ Валетка и т. п. Отъ этихъ споровъ собаки стали «вдвое, втрое развитѣе... и у нихъ явилась если не идея, то хоть хвостъ идеи, за который можно жадно уцѣпиться и кой-какъ тащиться по слѣдамъ прогресса...» Далѣе описы-

ваются любовныя интрижки на почвѣ пропаганды. Все это, очевидно, снято съ натуры 60 годовъ и снято точно и правдиво. Радикальные элементы, подхвативъ идею «звѣрчества», рѣшили войти въ союзъ съ волками, медвѣдями, лисицами и пр. для ниспроверженія власти человѣка и домашнихъ животныхъ, поддерживающихъ эту власть. Къ хищнымъ звѣрямъ засылаются послы, но терпятъ разныя приключенія, въ которыхъ обрисовываются животные инстинкты революціонеровъ. Заговоръ не удался. Хитрая лисица, подъ покровомъ союза, передушила на курятникѣ куръ, волки стали рѣзать коровъ и барановъ, медвѣди опустошать пасѣки. Но тутъ старый мирза умеръ. Явился молодой наслѣдникъ, снова заведшій охоту. Собаки, начавшія жить безъ идеала, вдругъ ожили,—въ нихъ проснулась ихъ природа, и революціоннаго броженія какъ не бывало: «Псарня ликовала».

Я пропустилъ всѣ романическіе узоры поэмы, любовные и политическіе эпизоды, подъ которыми поэтъ, повидимому, скрываетъ какія-то позабытыя исторіи 60-хъ годовъ. Опускаю язвительныя каррикатуры тогдашнихъ либераловъ въ лицѣ собакъ (напримѣръ, либеральная Сайга: «Никого не знаю, кто-бъ тянулъ такъ лямку, какъ она тянула новую идею, ту, что ей надѣли какъ хомутъ на шею. Вся она служила дѣлу безотчетно, но прямолинейно и безповоротно»). Собакамъ-либераламъ не удалось переиначить міръ,—«собачьи нравы остаются тѣ-же, даже хуже стали, *потому что мысли не соединяли насъ, а разобщали*,—страсти-же: тщеславье, зависть, похоть жадность, явно довели насъ и до истощенья силъ, и до безславья». Такъ терзаются благомыслящія собаки, Магъ и Пижонъ (авторъ поэмы):—«А еще хотимъ мы вѣковой идеѣ послужить—добиться братства и свободы! Я вздохнулъ глубоко и сказалъ: злодѣи! Онъ вздохнулъ и тихо вымолвилъ: уроды!»

Таковъ суровый приговоръ поэта политическому дви-

женію средины этого вѣка. «Нельзя быть звѣремъ иль собакой, даже злымъ двуногимъ и на зло породѣ видѣть верхъ прогресса въ звѣрческой свободѣ. Нѣтъ, свобода наша пахнетъ своевольемъ, братство—лицемѣрьемъ, равенство—бездольемъ; всюду—или вздохи, или непотребство, самообожанье или раболѣпство»... Поэма оканчивается лирическимъ діалогомъ, гдѣ добрый Духъ, вызванный Магомъ, предвѣщаетъ собакѣ-мудрецу, что она «родится человѣкомъ»,—не тѣмъ плотояднымъ двуногимъ звѣремъ, каково большинство людей, а человѣкомъ въ духовномъ смыслѣ. «Быть имъ, говоритъ духъ, ты всю жизнь стремился;

Жаждая любви и мира, ты затѣялъ
Звѣрчество; но тщетно сѣмена ты сѣялъ.
Никакіе звѣри не пожнутъ ихъ. Вѣчность
Въ очередь за звѣремъ ставитъ человѣчность:
Людямъ лишь дается Богомъ и природой
То, что вы зовете братствомъ и свободой.
Люди только чужды гнѣва и боязни,
Только имъ не нужны ни суды, ни казни...

Такова поэма Я. П. Полонскаго, писанная имъ на протяженіи двадцати лѣтъ и изданная какъ-бы съ Синайской вершины жизни его, въ видѣ скрижалей завѣта потомству. На такой смыслъ поэмы намекаетъ самъ авторъ, говоря въ предисловіи, что самъ не знаетъ, откуда у него взялась настойчивость продолжать этотъ трудъ, не имѣвшій успѣха, и что его одушевляла идея, которая хотя и не составляетъ всего его міросозерцанія, но примыкаетъ къ нему, какъ плодъ «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ». Такимъ образомъ эта поэма имѣетъ особенно серьезное значеніе: это не шалость пера молодого поэта, а чуть-ли не исповѣданіе вѣры.

О художественной сторонѣ «Собакъ» я распространяться не буду; даже изъ приведенныхъ отрывковъ читатель видитъ, что въ поэмѣ есть сильныя, выразительныя мѣста, что въ ней много остроумія и мѣткихъ харак-

теристикъ. Я добавлю, что кромѣ того, поэма—въ общемъ немножко длинная, разбросанная и не свободная отъ вялыхъ мѣстъ — изобилуетъ яркими, напоенными воздухомъ картинками природы, отъ которыхъ какъ отъ нѣжныхъ акварелей дышетъ прелестью жизни; и психологія характеровъ вѣрна, и правды въ поэмѣ много и мысль возвышенна, но...

III.

Все-же грустно, господа, когда у такого прославленнаго писателя, какъ Полонскій, не нашлось добраго слова для того памятнаго поколѣнія и той удивительной эпохи! Неужели такъ-таки ничего и не дало то время, кромѣ звѣриныхъ инстинктовъ? Что эти инстинкты и тогда были,—кто-же объ этомъ споритъ! Но какое время отъ нихъ избавлено? Неужели, однако, эти «молодые годы русской интеллигенціи», этотъ громъ освобожденія и сбрасыванья цѣпей, это впервые восторжествовавшее и пронесшееся по землѣ слово человѣческаго братства—неужели все это настолько выдавалось передъ другими, сосѣдними временами своимъ «звѣрчествомъ» что понадобилось подчеркнуть эту черту, увѣковѣчить въ цѣлой большой поэмѣ—книгѣ въ одиннадцать печатныхъ листовъ? Вѣдь были-же у насъ и пятидесятые, и сороковые, и тридцатые годы, которые захватилъ еще на своемъ вѣку почтенный поэтъ,—помнитъ-же, вѣроятно, онъ ту тяжелую истому, въ которой коснѣли и общество и народъ. Крѣпостные гаремы и конюшни, шпицрутены и кнутъ, «неправда черная» судовъ и чиновниковъ, пожизненная солдатчина, безобразный разгулъ и самодурство сильныхъ, забитая до подлости приниженность слабыхъ—неужели это мрачное время было менѣе обильно «звѣрчествомъ», чѣмъ эпоха «правды и милости», хотябы и съ ошибками, свойственными всякому увлеченію? По совѣсти, почтенному поэту слѣдовало-бы мягче отне-

стись къ этой порѣ и ужь если брать въ ней самую характерную черту, то не ту, которую онъ взялъ. Я ничуть не думаю вступаться здѣсь за 60-е годы; лично я ихъ не помню и сужу о нихъ по отблеску на дальнѣйшія десятилѣтія, по случайнымъ, до сихъ поръ кое-гдѣ сохранившимся типамъ того времени, по документамъ въ исторіи и литературѣ. Эпоха эта—буйная и молодая—не была лишена грѣховъ, но грѣхи эти большею частью были наслѣдственные, историческіе и даже первородные: «тщеславье», «похоть» и т. п. стары какъ міръ, и упрекать за нихъ только 60-е годы немножко несправедливо. Новизна, присущая этимъ годамъ, какъ ихъ особенная черта—подъемъ гуманныхъ чувствъ и стремленіе къ справедливому порядку жизни—вовсе не грѣхъ, и если даже и не хватило душевнаго порыва у того общества—не намъ вышучивать эту неудачу. Самъ Полонскій въ заключительномъ монологѣ, словами Духа, бесѣдующаго съ Магомъ, признаетъ, что источникъ либеральнаго движенія былъ добрый. Собакѣ, поднявшей идею «звѣрчества», Духъ говоритъ: «*Человѣкомъ* быть ты всю жизнь стремился; жаждая любви и мира, ты затѣялъ звѣрчество». А если такъ, то неужели заслуживаетъ осмѣянья хотя-бы и неудавшееся движеніе изъ столь чистаго источника?

Надо замѣтить, что въ самомъ существѣ поэмы Полонскаго лежитъ нѣкоторое противорѣчіе. Онъ хочетъ доказать, что люди—звѣри и пока не сдѣлаются *людьми* въ возвышенномъ значеніи этого слова,—великія начала добра, свободы, истины останутся имъ чуждыми. Но вѣдь это—тавтологія, повторенье одной и той-же посылки. Это все равно, что сказать; до тѣхъ поръ пока я не выучусь по-турецки, я не буду понимать турецкаго языка. Люди только тогда будутъ совершенны, когда будутъ совершенны. Это вѣрно, но не заслуживаетъ утвержденія. Такая-же тавтологія — часто встрѣчающаяся обратная фраза: «пока люди не устроютъ жизнь на началахъ добра и свободы, они не будутъ людьми въ

истинномъ смыслѣ слова». Все это само-собою разумѣется и одно другому равносильно,—посвящать подобной мысли цѣлую поэму не было необходимости. Слѣдовало-бы разсказать о томъ, какъ нужно достигать осуществленія правды и любви, или какъ достигать совершенства, что одно и то-же. Полонскій доказываетъ, что либералы хотѣли достигнуть этого искренно («Человѣкомъ быть ты всю жизнь стремился»), но потерпѣли неудачу въ силу своей природы, и эта неудача роковая, вѣчная, зависящая отъ самаго типа человѣческаго существа. Люди—звѣри, и пытаться быть истинными людьми для нихъ такъ-же безполезно, какъ рыбѣ пытаться летать или птицѣ жить подъ водою. Стремленіе къ идеалу, по смыслу поэмы, выходитъ противоестественнымъ. Можетъ-быть, никто не ожидалъ такой мысли отъ столь возвышеннаго и нѣжнаго лирика, какъ Яковъ Петровичъ, вся поэзія котораго—влеченіе къ идеалу. Однако, фактъ на-лицо. Вотъ какъ характеризуетъ Полонскій человѣка (это подобіе Божіе, по словамъ святого преданія): Онъ звѣрь, да и изъ звѣрей-то самый низкій: «Суетный, ревнивый, ненасытно-жадный, вѣчно-похотливый. Рабъ-ли онъ, тиранъ-ли, все равно—*преступнѣй всякой Божьей твари*, во сто разъ доступнѣй всякому соблазну». Если повѣрить почтенному поэту, то всѣ люди въ сущности оборотни изъ звѣрей: «Левъ, лисица, котъ, собака, крыса, тигръ, овца и волки, видъ людей пріемля и другъ-друга видя и другъ другу внемля, не позабываютъ, что они сошлися ѣсть и пить, и если не передралися, и не истребили до конца другъ-друга, то кому спасибо? Только сила власти—страхъ передъ закономъ укрощаютъ страсти звѣрскія»... Въ другомъ мѣстѣ поэтъ подтверждаетъ, что «перерождаясь въ человѣка, звѣри тѣмъ-же остаются, чѣмъ и были».

Изъ всего этого какъ-бы слѣдуетъ, что Полонскій въ самой основѣ отрицаетъ всѣ попытки подвинуть человѣчество впередъ и написалъ поэму просто, чтобы

позабавиться надъ этими жалкими попытками. Но на дѣлѣ этого нѣтъ. Въ той же поэмѣ Яковъ Петровичъ энергически зоветъ на проповѣдь правды всѣхъ безкорыстныхъ людей, стало-быть не сомнѣвается въ успѣхѣ такой проповѣди. Предупредивъ, что

Все-же и до-нынѣ цѣльнымъ человѣкомъ
Быть въ народѣ страшно; чтобъ идти за вѣкомъ
Или съ нимъ бороться, надо быть титаномъ,
Чтобъ изъ состраданья прикоснуться къ ранамъ
Ближнихъ и сказать имъ: исцѣлитесь, братья!
И затѣмъ спокойно выносить проклятья—
Надо быть блаженнымъ...

предупредивъ, что

... Участь человѣка
Чистаго быть жертвой звѣрческаго вѣка,

авторъ, устами Духа, возглашаетъ:

Но гряди, счастливецъ! На словахъ, на дѣлѣ
Будь сотрудникъ Божій и въ согбенномъ тѣлѣ.
Силу вѣчной правды и любви постигнутъ
Только люди; только вѣра и усилья
Пробиваться къ свѣту придадутъ имъ крылья
Быть вездѣ со всѣми; лишь они достигнутъ
Цѣли—формамъ жизни дать то совершенство,
Что создастъ народамъ высшее блаженство
Знать, любить и вѣрить и искать дорогу
Въ безднѣ безконечныхъ переходовъ къ Богу...

Но если все это вѣрно (а можно-ли не согласиться съ этимъ вдохновеннымъ, пророческимъ призывомъ?), то, значитъ, «не одинъ страхъ передъ закономъ укрощаетъ страсти звѣрскія», а укрощаетъ ихъ и гуманная мысль. А изъ такихъ гуманныхъ мыслей отчасти и состояло движеніе половины XIX-го вѣка. Лучшіе изъ героевъ его поэмы были одушевлены именно тѣми цѣлями, какіе указываетъ Духъ, именно «людьми стремились быть»,—а если такъ, то смотрѣть юмористически на нѣкоторыя странныя, неудачныя средства этихъ героевъ несправедливо.

Какъ видите, поэма Полонскаго не лишена противорѣчій. Однако нельзя ни на минуту сомнѣваться, что эти противорѣчія—искренни, что поэтъ въ одно и то же время, выражаясь ходячими опредѣленіями, и консерваторъ, и либералъ въ душѣ,—не сочувствуетъ прогрессу и въ то-же время жаждетъ его. Это раздвоеніе, какъ я замѣтилъ выше,—черта, характеризующая современное общество, составляетъ физіономію и отдѣльныхъ людей, и такихъ очень много. Отшатываясь душой отъ настоящаго и ища жизни лишь въ прошломъ или грядущемъ, поэтъ не выноситъ, когда его призраки воплощаются, переходятъ въ дѣйствительность. Мечты, сведенныя съ эѳирныхъ высей въ земную, блѣдную обстановку и преображаясь въ вещи, становятся слишкомъ простыми и не интересными, какъ «тучка золотая», столь прелестная издалека, вблизи оказывается холоднымъ и противнымъ паромъ. Свобода, одинъ звукъ которой зажигалъ благороднымъ пламенемъ сердца лучшихъ людей, разъ она добыта, начинаетъ казаться своевольемъ, добро—ханжествомъ и т. д. Однимъ этимъ секретомъ исторической перспективы—скрашивать далекіе предметы, облекать ихъ таинственною дымкою—объясняется устойчивость двухъ основныхъ настроеній нашего времени—консерватизма и либерализма, чередующихся съ довольно строгою правильностью, а иногда и проникающихъ другъ-друга.

IV.

Объ политическихъ теченіяхъ, въ обществѣ нынче не принято говорить; насколько прежде это было въ модѣ, настолько теперь какъ-бы предано забвенію. Для однихъ это старая, незаживная рана, для другихъ-же духовная сторона названныхъ явленій даже и не существуетъ: вопросъ сводится къ циническому разсужденію на тему «наша взяла!» Если-же и заходитъ иногда рѣчь о завѣтныхъ цѣляхъ того или другого настроенія, то какъ-

то такъ случается, что на поверхность споровъ выплываютъ не перлы и янтарь, а соръ и мутная пѣна, выдаваемые за *существо* ученій.

Мнѣ кажется, консерватизмъ и либерализмъ, сколько ни были-бы затасканы ихъ клички, должны всегда и неизмѣнно интересовать общество. Это явленія органическія, неотдѣлимыя отъ умственнаго строя, и какъ люди говорятъ прозой, иногда не зная этого, подобно Мольеровскому мѣщанину, такъ точно каждый человѣкъ со сколько-нибудь оформленнымъ сознаніемъ, независимо отъ своей воли,—или консерваторъ, или либералъ; или романтикъ, тоскующій по величавой старинѣ, влюбленный въ ея живые остатки, или утопистъ, грезящій о Царствіи Божіемъ (или «Солнечномъ Царствѣ»,—суть не въ оттѣнкахъ). Натуры широкія и утонченныя способны обнять оба настроенія и постичь обѣ правды, таящіяся въ нихъ и какъ-бы отрицающія другъ-друга. Получается третій, на видъ весьма странный и трудно разгадываемый типъ—консервативно-либеральный, если можно такъ выразиться. Въ литературѣ къ такому типу принадлежатъ почти всѣ наши великіе писатели, даже Тургеневъ, называвшій себя «постепеновцемъ». Читая, напримѣръ, Достоевскаго или Л. Н. Толстого, и ярый консерваторъ и отъявленный либералъ могутъ найти и то, что имъ нравится, и то, что ихъ возмущаетъ. Обоихъ великихъ писателей то называютъ ретроградами, то поражаются ихъ радикализмомъ. Въ смягченной степени тоже представляетъ изъ себя и Полонскій. Другіе, мелкіе писатели опредѣленнѣе, одноцвѣтнѣе, такъ-какъ самостоятельною жизнью не живутъ, а лишь придерживаются готовыхъ формулъ, дѣлая изъ нихъ себѣ талмудъ. Это, впрочемъ, ничуть не обезпечиваетъ ихъ отъ совершеннаго непониманія истинной сути «своего» направленія, и какъ человѣкъ, называющій себя «убѣжденнымъ либераломъ», такъ и «строгій консерваторъ», — часто представляютъ одно и то-же: людей, тягающихся за ку-

сокъ общественнаго пирога; только одинъ тянетъ справа, другой—слѣва. Консерваторъ очень часто отстаиваетъ вещь, которая, при большей вдумчивости, является враждебною интересамъ консерватизма, а либералъ часто отрицаетъ то, за что онъ долженъ былъ-бы ухватиться какъ за знамя именно своего міросозерцанія. Оба лагеря, не вдумываясь въ самихъ себя, а тѣмъ болѣе въ истинный смыслъ противника, борятся не умственно, а почти физически, поражая другъ друга заготовленными еще въ давнее время положеніями и выводами, которые, какъ и артиллерійскіе снаряды, часто разбиваютъ логику противника, но ничего на мѣсто ея не создаютъ. Тутъ нѣтъ органическаго воздѣйствія двухъ стихій, а есть только столкновеніе, почему нѣтъ и роста, нѣтъ развитія обоихъ принциповъ, а происходитъ лишь взаимное ослабленіе. Въ концѣ концовъ мысль общества видитъ себя среди замолкшихъ лагерей, превращенныхъ въ развалины, гдѣ на вой шакаловъ отвѣчаетъ вой гіенъ.

Истинная суть консерватизма и либерализма... Вы скажете, что эта тема не литературная. Но увы, «нелитературной» она была *когда-то,* когда не было общества въ теперешнемъ смыслѣ этого слова, когда въ психологіи человѣка не было особыхъ, теперь столь острыхъ броженій. Я лично изъ опыта жизни вынесъ къ политической страсти такое же предубѣжденіе, какъ и къ другимъ страстямъ, — но мы живемъ въ вѣкѣ очень широкаго распространенія этой страсти, до того широкаго, что она даетъ тонъ эпохѣ. Въ литературѣ нашего времени политика почти столь-же важна, какъ и эстетика: въ этой области политика теперь играетъ ту-же роль, что религія для живописи Возрожденія или исторія для эпохи романтизма. Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, Писемскій—не говоря о болѣе мелкихъ—создали политическій романъ, до сихъ поръ преобладающій, и даже Левъ Толстой въ «Аннѣ Карениной» и «Плодахъ Про-

свѣщенія» является выразителемъ общественныхъ теченій. Но не понимая ясно подлинной сути консерватизма и либеральнаго направленія, можно-ли понять Рудина, Инсарова, Базарова, героевъ «Дыма» или «Бѣсовъ», интригу «Обрыва» или «Плодовъ Просвѣщенія»? Мнѣ кажется, нельзя понять, а потому я считаю законнымъ правомъ критики говорить и объ этомъ столь важномъ элементѣ литературы—психологіи политической страсти.

V.

Консерватизмъ и либерализмъ, когда они принимаютъ болѣзненныя формы, похожи на ознобъ и жаръ одной и той же хвори. Если въ тридцатые и сороковые годы общество было погружено въ ознобъ, заставлявшій кутаться, топтаться на мѣстѣ, ограждать себя отъ внѣшнихъ вліяній,—то въ слѣдующія десятилѣтія мы видимъ цѣлыя поколѣнія съ явно повышенной температурой, горѣвшія огнемъ и часто бредившія, точно въ пароксизмѣ лихорадки. Кто изъ нынѣшнихъ пожилыхъ людей не пережилъ хоть нѣсколькихъ лѣтъ своей юности въ этой душевной бурѣ?

Но кромѣ лихорадочныхъ, страстныхъ формъ консерватизмъ и либерализмъ встрѣчаются и какъ спокойныя, здоровыя состоянія. Здоровый консерватизмъ есть охраненіе жизни общества. Здоровый-же либерализмъ—усовершенствованіе этой жизни, развитіе ея началъ. Очевидно, оба направленія въ ихъ чистомъ видѣ рѣшительно необходимы для общественной жизни, какъ въ механикѣ для движенія нужна нетолько сила, но и масса. Консерватизмъ есть сохраненіе настоящаго. Если представить себѣ, что настоящее безусловно прекрасно, то всякое стремленіе измѣнить его будетъ преступно, и либерализмъ заслуживаетъ всяческихъ стрѣлъ сатиры. Наоборотъ, если настоящее дурно, то отстаивающій его консерватизмъ вреденъ, а сила, стремящаяся

дать другое, лучшее настоящее—благодѣтельна. Вотъ и всѣ, поставленныя въ ихъ предѣлы, главныя условія этого вопроса. Такимъ образомъ одно и тоже направленіе можетъ быть или добромъ, или зломъ, смотря по обстоятельствамъ. Правда, консерватизму иные безусловно отказываютъ въ правѣ на существованіе. Какъ-бы порядокъ вещей ни былъ хорошъ, но непремѣнно возможенъ лучшій, а если такъ, то нужна реформа. Жизнь должна быть непрерывнымъ, безконечнымъ прогрессомъ, шествіемъ по «безднѣ вѣчныхъ переходовъ къ Богу», говоря словами Я. П. Полонскаго. Какъ-бы жизнь хорошо ни сложилась, стоитъ ей остановиться, чтобы сейчасъ-же превратиться въ Китай—нѣчто мертвое и затхлое; порядокъ, повторяющій самого себя, есть машина, и люди, живущіе въ немъ,—автоматы. Поэтому консерватизмъ существовать не долженъ, а люди неустанно должны стремиться къ развитію формъ жизни.

Я не думаю, чтобы этотъ взглядъ былъ вѣренъ. Безконечное развитіе безусловно непонятно; всѣ эти «переходы къ Богу»—очень звучные аккорды, но не болѣе того. Міръ существуетъ вѣчно, и еслибы онъ все время развивался, то имѣлъ достаточно времени развиться до какого угодно совершенства. И я думаю, что все сущее въ планѣ своемъ настолько совершенно, насколько это возможно, и весь міръ въ своемъ цѣломъ идеаленъ. Поэтому для дерева нѣтъ иного идеала, какъ дерево, для животнаго—какъ животное, для человѣка—какъ человѣкъ. Міръ вовсе не развивается, а все сущее въ немъ колеблется въ извѣстныхъ предѣлахъ, «ихъ-же не прейдеши». Человѣческое общество и самъ человѣкъ въ состояніи прогрессировать, но лишь до извѣстнаго, опредѣленнаго свойствами природы, предѣла. Далѣе слѣдуетъ либо остановка, либо обратное шествіе. Если остановка, то либерализму нечего дѣлать, и всецѣло властвуетъ консерватизмъ. Во второмъ-же случаѣ, при реакціи, этотъ консерватизмъ, старающійся отстоять высшую ступень куль-

туры, есть начало благодѣтельное, борющееся съ вреднымъ движеніемъ. Опредѣлить въ каждый моментъ—которая изъ партій на истинномъ пути, не легко. Какъ въ океанѣ, здѣсь необходимъ компасъ, и имя ему—совѣсть.

Чтобы оцѣнить роль истиннаго консерватизма, нужно припомнить великое значеніе культуры. Культура — это наслѣдственный опытъ даннаго народа, создающій безразлично—дикій или цивилизованный образъ быта, но прочный и привычный. Такой прочный бытъ стѣснителенъ, быть можетъ, для отдѣльныхъ, геніальныхъ натуръ, но для массы человѣческой онъ рѣшительно необходимъ. Въ самомъ дѣлѣ, средній человѣкъ по природѣ уже есть массовый человѣкъ, единица чего-то цѣлаго, съ чѣмъ онъ кровно связанъ, какъ клѣточка съ тѣломъ; для счастья его жизни необходимо, чтобы вся остальная масса клѣточекъ заняла вполнѣ опредѣленное положеніе, собралась въ опредѣленный бытовой организмъ. Разъ такой организмъ общества сложился, каждый отдѣльный членъ чувствуетъ себя прочно на своемъ мѣстѣ, поддерживаемый и направляемый окружающими членами. Существуютъ готовыя движенія, готовыя указанія,—простора нѣтъ, но зато не можетъ быть и колебаній. Отдѣльная личность направляется внѣшнею волей—неизмѣнными условіями быта; не имѣя личной настойчивости, человѣкъ кажется сильнымъ, двигаясь въ общемъ потокѣ и достигая въ немъ далекихъ цѣлей. Въ готовомъ руслѣ государства, сословія, вѣры, профессіи, человѣкъ сосредоточиваетъ всю энергію въ данномъ направленіи, какъ паръ въ трубѣ, не разбрасываясь въ пространствѣ. Въ культурномъ обществѣ каждый человѣкъ имѣетъ свою судьбу, свое предопредѣленіе, и это удивительно упрощаетъ, облегчаетъ жизнь. Вы живете такъ, какъ всѣ, одѣваетесь какъ всѣ, ѣдите то, что нравится другимъ, разговариваете, даже думаете такъ, какъ всѣ, т. е. вамъ не приходится самому придумывать тысячу вещей и формъ отношеній, а все это вы получаете готовымъ. Человѣку

выдающемуся, оригинальному можно задохнуться въ такой обстановкѣ; зато средній счастливъ вполнѣ; каждый шагъ его направленъ по опредѣленному пути: ни сомнѣній, ни мученія выбора, ни необходимости рѣшаться. Въ этомъ отношеніи до-революціонная эпоха была несравненно культурнѣе теперешней, бытъ людей опредѣленнѣе, общественное сознаніе тверже. Въ старину ктò гдѣ родился, тамъ обыкновенно и оставался: въ томъ-же округѣ, сословіи, профессіи, при тѣхъ-же общественныхъ связяхъ, условіяхъ и привычкахъ. Для огромнаго большинства доступенъ былъ лишь ближайшій околотокъ, для всѣхъ была одна и та-же школа, всѣ воспитывались по одной программѣ—а это составляетъ первое условіе нормальной общественной конкурренціи. Всѣ ходили въ церковь, всякій въ извѣстный возрастъ непремѣнно женился, и такъ-какъ, благодаря неподвижности, у каждаго былъ обширный кругъ знакомствъ и наслѣдственныхъ связей, то выборъ невѣсты дѣлался легче и удачнѣе. Въ силу того, что профессіи и права были болѣе или менѣе наслѣдственны, каждый отдавалъ себя извѣстному дѣлу еще съ юныхъ лѣтъ, каждый воспитывался въ своемъ ремеслѣ, имѣлъ въ немъ долгую школу практики и совершенствовался до предѣловъ всѣхъ способностей. Въ старину принципъ раздѣленія труда и вообще всѣхъ условій жизни былъ проведенъ съ цеховою строгостью. Словомъ сказать, рождаясь на свѣтъ, всякій попадалъ въ каждомъ важномъ отношеніи жизни на готовые рельсы, и ему оставалось только катиться по нимъ; сила характера, сосредоточенная volens-nolens по данному направленію, цѣликомъ выливалась въ силѣ дѣйствія—храбрости на войнѣ, благочестіи въ кельѣ монаха, усидчивости на мирныхъ промыслахъ. Культурное общество можетъ быть очень нецивилизованно и невѣжественно,—какъ наша древняя Русь; эта культура можетъ быть близка къ варварству; но невѣжество не мѣшаетъ образованію общаго духовнаго уклада, об-

щаго міросозерцанія, сплоченія въ «едино тѣло и едину душу». Вслѣдствіе долгаго уединенія среди сосѣдей и долгаго внутренняго мира, общество отливается въ огромный монолитъ; отдѣльные элементы его, какъ зерна кварца, шпата и слюды въ гранитѣ, вкраплены въ него неподвижно, создавая могучее сопротивленіе всякимъ внѣшнимъ вліяніямъ. Таковъ Китай, такова «прекрасная Франція» въ XVI—XVII вѣкахъ, «старая Англія», «святая Русь» тѣхъ временъ, когда это выраженіе еще не звучало фальшиво.

Когда такой крѣпкій порядокъ утверждался среди звѣриныхъ нравовъ и въ невѣжественномъ обществѣ, культура была гибелью благороднѣйшихъ элементовъ, и хотя средній человѣкъ жилъ недурно, но таланту и развитію не было простора. Душно и жутко существовать въ такомъ обществѣ человѣку оригинальному,—культура отрицаетъ оригинальность, принося ее въ жертву посредственности. Но зато, когда культура устанавливалась на достаточно-высокой ступени образованности' заставала добрые обычаи,—жизнь принимала прекрасный обликъ, и каждому родившемуся была обезпечена извѣстная доля достатка, уваженія, любви согражданъ и равное участіе въ общемъ капиталѣ духа. Консерватизмъ, свойственный каждой культурѣ, могуче поддерживалъ общій строй жизни на разъ достигнутой высотѣ, не давая ему падать; нетолько среднимъ, но и лучшимъ людямъ жилось легко, такъ-какъ уровень «посредственности» въ такомъ обществѣ очень высокъ и она не слишкомъ тянетъ выдающіяся головы книзу. Такая культура—счастливѣйшая пора въ исторіи народовъ, и добиваться ея—долгъ ихъ.

Надо замѣтить, что культурѣ въ смыслѣ закрѣпленія хорошихъ привычекъ у насъ придаютъ обыкновенно слишкомъ мало значенія, а между тѣмъ это—все. Даже люди высоко-оригинальные и одаренные, какъ-бы отъ природы просвѣщенные, и тѣ безъ воспитанія гибнутъ

или выходятъ уродами,—главная-же масса человѣчества, подавляющая большинствомъ, шагу не могла-бы ступить внѣ своей культуры; она не могла-бы нетолько трудиться (всякій трудъ требуетъ выработанной техники), но даже развлекаться, обмѣниваться мыслями: вѣдь все рѣшительно, до мельчайшаго жеста, до оттѣнка чувства или мысли—все это въ среднемъ человѣкѣ не его, а общественное, воспринятое имъ или путемъ подражанія изъ внѣшней среды, или наслѣдственностью. Добръ-ли человѣкъ, золъ-ли онъ, вѣжливъ или грубъ, даже уменъ-ли онъ или ограниченъ (если говорить о среднемъ человѣкѣ)—все это продуктъ извѣстной культуры, взаимнаго воздѣйствія, которое столь могуче, что почти совершенно придавливаетъ личное творчество души, отпускаемое заурядному человѣку лишь въ ничтожной дозѣ.

VI.

Возьмите эпоху какого-нибудь культурнаго разстройства, напримѣръ время послѣ нашествія варваровъ на образованныя страны или хотя-бы наше столѣтіе — время развалинъ послѣ великаго взрыва цивилизаціи послѣднихъ двухъ вѣковъ,—особенно-же теперешнюю Россію, которая отъ Азіи отстала, а къ Европѣ еще не пристала. Въ такія времена общество не кристаллизовано, аморфно, строй духовный и даже внѣшній разбитъ. Какъбудто въ живомъ, сложившемся тѣлѣ порваны артеріи и вены, и клѣточки крови свободны течь по какому имъ угодно направленію. Вы родились напримѣръ, гдѣ-нибудь въ глухомъ уѣздѣ, въ какой-нибудь помѣщичьей семьѣ. Въ прежнее, хотя и варварское, но культурное время, вы, обыкновенно, оставались на родинѣ, сплетая свои молодые корни съ вѣковыми корнями своей фамиліи, своей «вотчины и дѣдины», поднимаясь отъ родной почвы вмѣстѣ съ поколѣніемъ сверстниковъ, столь-же неподвижныхъ, сплетая свои вѣтви съ ихъ побѣгами въ

одно дружное и цѣпкое сообщество, и своевременно давая жизнь новымъ и новымъ отпрыскамъ, тѣснящимся у вашихъ ногъ. Такъ было прежде; нето теперь: родители изъ всѣхъ силъ бьются, чтобы выбросить ребенка изъ родного гнѣзда, изъ наслѣдственной колеи, безъ пощады рвутъ нѣжные корешки, пускаемые имъ въ почву, его завязывающіяся связи и знакомства, начинающуюся дружбу и любовь,—и выбрасываютъ, предположимъ, въ уѣздный городъ, въ приготовительный пансіонъ какого-нибудь нѣмца или француза. Юный, не окрѣпшій еще въ домашней культурѣ организмъ попадаетъ въ совершенно новый мірокъ, въ чужое общество съ пестротой чужихъ обычаевъ и привычекъ. Но юность беретъ свое: тотчасъже проростаютъ новые корешки въ новую почву, завязываются новыя отношенія, устраивается извѣстный укладъ жизни. Но прошло два-три года, мальчика пора везти въ гимназію, въ губернскій городъ, за сто верстъ отъ уѣзднаго. Снова рвутся завязи и побѣги, и разбивается духовная постройка юноши. Пусть читатель вспомнитъ свое дѣтство и ту невыразимую боль души, съ которою приходилось отрываться отъ родной семьи: это была боль разрыва по живому, такъ-сказать, тѣлу, разрыва органическихъ, кровныхъ связей. Въ губернскомъ городѣ маленькій организмъ опять кое-какъ приспособляется, неистребимая жажда жизни заставляетъ его и здѣсь искать тепла и свѣта среди товарищей и учителей, пускать отростки чувствъ въ мѣстное общество, тѣмъ болѣе, что подходятъ годы для таинственнаго процесса любви, завязыванія вѣчныхъ связей. Но въ губернскомъ центрѣ столько разбрасывающихъ, центробѣжныхъ вліяній. Тутъ есть и реальное училище, и кадетскій корпусъ, и какая-нибудь техническая школа. У родителей начинаются колебанія: что́ окончательно выбрать? Какъ-бы не промахнуться! Путей столько и всѣ съ такими далекими, заманчивыми перспективами, и всѣ они расходятся такъ далеко, что разъ пошолъ по извѣст-

ной дорогѣ—сворачивать поздно. Въ гимназіи мальчикъ хирѣетъ, засиживается по два года въ классѣ: не онъ одолѣваетъ латынь, а она его. Является у родителей соблазнъ: не перевести-ли его въ реальное училище? Вѣдь оттуда можно въ тотъ или другой институтъ — карьера прекрасная... И вотъ едва мальчикъ началъ устраиваться въ гимназіи, входить въ колею, его часто снова вырываютъ оттуда и бросаютъ въ новую обстановку; а случается, что юноша перебываетъ въ цѣлой полдюжинѣ училищъ, прежде чѣмъ добьется высшаго образованія. Это послѣднее снова требуетъ ломки жизни: изъ губернскаго центра съ только что начавшимися, не окрѣпшими связями юноша прямо переносится на совсѣмъ иную планету—въ столицу. Все, что сложилось въ ранней молодости—знакомства, привязанности, привычки, или совсѣмъ, или на очень долгое время отходитъ, исчезаетъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ молодой человѣкъ, ухватившій наконецъ дипломъ—цѣль столькихъ терзаній и разрывовъ—уже не возвращается въ родное гнѣздо, какъ упорхнувшій въ пространство птенецъ. Да и гдѣ его настоящее гнѣздо? Родительскій домъ, можетъ быть, уже опустѣвшій за долгіе годы разлуки, домъ, окруженный незнакомыми, новыми людьми? Или уѣздный пансіонъ, или губернская гимназія, гдѣ тоже похоронено много сладкихъ и грустныхъ воспоминаній? Или, наконецъ, мѣсто послѣдняго пріюта, «святыя стѣны» almae matris? Оказывается, «гнѣздъ» много—и всѣ раззоренныя для юноши, опустѣвшія. Но пойдемъ дальше. Съ окончаніемъ высшаго курса (который часто мѣняется: выборъ учебныхъ заведеній и карьеръ — большой, и тутъ ошибиться еще непростительнѣе, т. е. направленіе жизни ломается еще разъ), молодой человѣкъ не остается въ столицѣ—иначе она была-бы мгновенно наводнена интеллигентнымъ людомъ,—а отправляется «на мѣсто», въ огромномъ большинствѣ случаевъ совершенно для себя неожиданное и далекое. При обширности Россіи и обиліи окраинъ, ко-

торыя требуютъ обрусенія и охраны,—молодому «интелли-генту» приходится заѣзжать Богъ-знаетъ въ какую даль и глушь, совершенно въ иной міръ, въ иное общество, порывая окончательно связи и направленія, сложившіяся въ столицѣ. А затѣмъ переводы еще съ мѣста на мѣсто въ видахъ карьеры и движенія по службѣ. Посчитайте-ка, сколько разъ, сколько десятковъ разъ ломается жизнь современнаго культурнаго человѣка и начинается новая жизнь, которую начать—все-же не то, что надѣть на себя свѣжую рубашку.

Ничѣмъ инымъ, какъ именно этимъ постояннымъ раздергиваніемъ русской интеллигенціи въ послѣднее столѣтіе и невозможностью сложиться человѣку, я объясняю себѣ изобиліе у насъ всѣхъ этихъ «лишнихъ людей», гамлетиковъ, нытиковъ и слабняковъ, потомство которыхъ получилъ въ наслѣдство отъ Тургенева и значительно пріумножилъ въ литературѣ А. П. Чеховъ,—этотъ Гомеръ разслабленнаго нынѣшняго поколѣнія, поколѣнія не-героевъ. Разбродъ интеллигенціи есть разстройство культуры, расхищеніе вѣками складывавшагося типа расы, который служитъ фундаментомъ каждаго отдѣльнаго характера.

VII.

Эта сторона культурнаго быта у насъ еще не изучена, но крайне любопытна. Непрерывная перетасовка населенія, не дающая ему нигдѣ сложиться въ прочныя, сильныя общественныя группы—условіе, разъясняющее многое въ русской исторіи. Человѣкъ живетъ обществомъ, а общество у насъ постоянно расползается и разбредается. Я, напр., уроженецъ Псковской губерніи; но мои товарищи дѣтства и друзья молодости разбросаны теперь по всему свѣту, отъ Царства Польскаго до Сахалина включительно. Одинъ изъ нихъ, напр., родился въ Лугѣ, воспитывался въ Псковѣ и Кронштадтѣ, служилъ въ Финляндіи и Петербургѣ, пока не попалъ во

Владивостокъ. Другой родился въ Таганрогѣ, учился въ Полтавѣ и Петербургѣ, служилъ въ Кронштадтѣ, переведенъ былъ въ Казань, а оттуда въ Семирѣченскую область, теперь-же собирается попасть на пятитысячный окладъ въ Читу. А ему всего еще тридцать лѣтъ. Третій родился въ Петербургѣ, воспитывался подъ Петербургомъ, служилъ въ Москвѣ, Варшавѣ, Одессѣ, странствовалъ заграницей и основался, «пока что», снова въ Петербургѣ. Четвертый другъ, уроженецъ Одессы, воспитывался въ Петербургѣ, хозяйничалъ въ Подольской губерніи и собирается на службу въ Баку. Пятый, уроженецъ Архангельска, воспитывался въ Кронштадтѣ, попалъ, на службу въ Николаевъ, перевелся въ Архангельскъ и затѣмъ снова въ Николаевъ. Утомительно перечислять всѣхъ; замѣчу только, что еще очень недавніе близкіе мои знакомые—теперь кто въ Средней Азіи, кто въ Сибири, одинъ очутился въ Лондонѣ, другой—въ Нью-Іоркѣ, и изъ тѣхъ, съ кѣмъ я выросъ, никого уже нѣтъ возлѣ, и это за какія-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ. Каждый читатель, я думаю, можетъ подтвердить на кругѣ своихъ связей этотъ законъ разсѣянія русской интеллигенціи, кромѣ развѣ немногихъ, особенно удачно устроившихся счастливцевъ. Тѣ, кто нынче остается на мѣстѣ, гдѣ выросъ, обыкновенно—самые ограниченные люди, на которыхъ нигдѣ нѣтъ спроса: эти вростаютъ въ почву и живутъ довольно крѣпко и благополучно.

Спрашивается, есть-ли возможность при такихъ условіяхъ сложиться какой-нибудь сильной и единодушной корпораціи, какой-нибудь прочной собирательной единицѣ? Возможно-ли живое общеніе между полузнакомыми или и вовсе незнакомыми людьми, возможны-ли общіе интересы и задачи, взаимная поддержка и совокупныя усилія? Возможно-ли живое, настоящее общество? Невозможно, и такого общества у насъ и нѣтъ, такъ-же какъ нѣтъ и крѣпкой общественной культуры. Всѣ мы живемъ «по-запечью», каждый по себѣ и всѣ враздробь,

и ни до чего общественнаго намъ, поэтому, и дѣла нѣтъ. Живое общество, въ настоящемъ смыслѣ его, складывается тамъ, гдѣ каждый «знавалъ вашего папеньку, вашу почтенную матушку, хлѣбъ-соль ихъ кушалъ», гдѣ всѣ знаютъ ваши корни и вы знаете корни всѣхъ — не по формуляру только, а живымъ общеніемъ съ давнихъ временъ. Теперь, въ разстроенномъ, смѣшанномъ быту даже и при знакомствѣ не образовывается общества: всѣ знаютъ одинъ другого лишь одной точкой, знаютъ формально, всѣ homo-novus'ы другъ для друга. Этого достаточно для дѣланія взаимныхъ визитовъ или даже для партіи картъ, но не болѣе того. Глубокихъ историческихъ связей, преданій, опыта отношеній нѣтъ, а безъ нихъ нѣтъ и общества; вотъ почему наша молодая интеллигенція столь безсильна и наша образованность столь безплодна. У насъ есть заимствованныя идеи, но нѣтъ характера, или, говоря языкомъ Шопенгауэра, у насъ, можетъ-быть, и есть «представленія», но нѣтъ «воли», нѣтъ могучихъ накопленныхъ рядомъ людскихъ наслоеній общественныхъ привычекъ, перешедшихъ въ инстинктъ, нѣтъ живой исторіи изъ рода въ родъ, нѣтъ достаточно крѣпкихъ ни хорошихъ, ни дурныхъ традицій: большинство изъ насъ чувствуютъ себя пріѣзжими, чужими въ своей странѣ, такъ-какъ родная связь съ мѣстностью, стихія кровныхъ отношеній къ людямъ не успѣваетъ сложиться.

Наплывъ западной цивилизаціи втеченіе послѣднихъ столѣтій не только не упрочилъ нашу культуру, но страшно ее разстроилъ, рѣшительно выбивъ изъ колеи всѣ сословія, всѣ міросозерцанія, всѣ старыя формы жизни. Я говорю это не для того, чтобы превознести старую жизнь, но чтобы напомнить, что мы вышиблены изъ колеи, что хотя прежняя дорога была кривая и узкая, но теперь мы сброшены вовсе съ дороги и плетемся внѣ ея, по цѣлинѣ болотъ и лѣсовъ. Бываютъ, конечно, случаи и въ исторіи, когда дороги дотого непроѣздны, что

громадные обозы объѣзжаютъ ихъ прямо по-полю, по ступицу въ землѣ; но нормальный путь—все-таки дорога, пробитая рядомъ поколѣній, и которая постепенно должна расширяться и выпрямляться. Нынѣшній моментъ исторіи особенно даетъ это чувствовать. Взрывъ открытій и изобрѣтеній двухъ вѣковъ потрясъ до основанія весь европейскій міръ,—и въ особенности Россію: человѣчество переживаетъ страшный культурный переломъ, историческое бездорожье, когда древній путь разрушенъ, а новый не проложенъ. Но въ Европѣ, по ея небольшому пространству, переполненному людьми издавна культурными, нынѣшнее разстройство быта не такъ чувствительно: слишкомъ глубокіе корни имѣла тамъ старая культура, сама по себѣ достаточно высокая. У насъ не то: на необъятномъ пространствѣ России населеніе безпрерывно растекалось, разсѣивалось, бродило, не будучи въ состояніи сколько-нибудь насытить собою этого безбрежнаго пространства и испаряясь въ немъ, какъ разлившаяся по степи лужа. То печенѣги и половцы, оттѣснившіе насъ еще на зарѣ исторіи отъ наиболѣе удобнаго для гражданской жизни берега моря, то удѣльная система съ постоянною перекочевкою князей и ихъ дружинъ, то татары, оборвавшіе завязи культурнаго быта, то затѣмъ собираніе земель, тщательно стиравшее мѣстныя особенности, то эпоха нѣмцевъ при Петрѣ и послѣ Петра, то крѣпостное право, расколъ, кровавыя войны, жестокіе поборы и притѣсненія, то, наконецъ, раззоренье и безземелье разстраивали и постоянно сгоняли русскую народность съ насиженнаго мѣста. Даже нашъ государственный центръ—столица—каждыя 200—300 лѣтъ перекочевываетъ съ мѣста на мѣсто (Новгородъ—Кіевъ—Владиміръ—Москва—Петербургъ), и даже послѣдній ея привалъ какъ-разъ пришелся среди финскихъ болотъ, въ негостепріимнѣйшемъ, отдаленномъ захолустьи, такъ что весьма возможно, что столица снова будетъ перенесена куда-нибудь, о чемъ уже множество разъ заходила рѣчь.

При подобной неустойчивости исторіи, безпрерывномъ взбалтываніи ея, наша народность не успѣла кристаллизоваться, отлиться въ свойственныя ея природѣ грани и до сихъ поръ пребываетъ безформенною, съ крайне слабо выраженнымъ національнымъ типомъ. Возьмите англичанина, француза, нѣмца: куда-бы они ни попали, они остаются самими собой; точно отлитые изъ бронзы, они не подчиняются чужой культурѣ, и нужно нѣсколько поколѣній, чтобы, напримѣръ, обрусить такого европейца. Наоборотъ, русскіе очень охотно сливаются со всѣми народами: въ Парижѣ — офранцуживаются до потери языка, въ Якутской области—объякучиваются и даже дотого, что бросаютъ избы и становятся кочевниками; въ Эстляндіи и Финляндіи—очухониваются, и въ Гельсингфорсѣ, напримѣръ, въ двухъ шагахъ отъ Петербурга, дѣти православнаго купца Синебрюхова уже не понимаютъ по-русски. Достоевскій, влюбленный, кажется, до самозабвенья въ русскаго человѣка, считалъ эту черту «всечеловѣчествомъ», хотя правильнѣе было-бы понимать ее какъ «недочеловѣчество», недоразвитіе, зоологическую невыработанность, словомъ—некультурность. Русскій человѣкъ—«недочеловѣкъ», tabula rasa, сырой, недоконченный человѣкъ, въ котораго слишкомъ мало вложено извнѣ исторической обработки: «природа не мудрила долго: хватила топоромъ—вышелъ носъ, ударила другой разъ—вышли губы, да такъ и пустила въ свѣтъ: живетъ, молъ». И въ городѣ, и въ деревнѣ, какъ справедливо замѣчаетъ Леруа-Болье, русскія массы не чувствовали надъ своими головами вѣянія ни эпохи Возрожденія, ни реформаціи, ни другихъ теченій,—все это для нихъ какъ-бы не бывшее. Отчего европейскій человѣкъ такъ проченъ, силенъ и развитъ, отчего земля его, домъ, обстановка столь упорядочены, устроены, когда русскій человѣкъ такъ рыхлъ и ненадеженъ, а земля его истощена, домъ и обстановка подперты кольями, еле держатся? Да все оттого, что въ

европейца очень много вложено всякаго капитала, умственнаго и матеріальнаго, тогда-какъ въ русскаго вложенъ грошъ. Въ европейца вложено наслѣдство античной цивилизаціи, которое онъ затѣмъ постоянно пріумножалъ, накапливая тысячу или полторы лѣтъ, обращая въ нетлѣнное золото искусства, науки, законодательства, промышленности. Весь этотъ огромный капиталъ постоянно вкладывался въ почву, возвращался съ лихвой и снова вкладывался и т. д. Какъ въ электрическомъ аккумуляторѣ, въ среднемъ европейцѣ наслѣдственно накоплялась энергія, выдержка, неутомимость, сознаніе своей силы и подобающихъ силѣ правъ. Какъ огородъ французскаго крестьянина цѣнится въ сто разъ дороже русскаго и даетъ въ сто разъ больше дохода, такъ и самъ французъ, въ среднемъ, несравненно работоспособнѣе русскаго—по одной, общей причинѣ: французъ и его почва—культурны, русскій-же съ своей землицей еще дики, несмотря на ровесничество съ Западомъ.

Этимъ я вовсе не хочу сказать, что мы совсѣмъ некультурны, что у насъ нѣтъ никакихъ нравовъ, никакихъ обычаевъ, никакой наслѣдственности. Все это есть (иначе мы давно-бы сошли со сцены исторіи), но все это или некрѣпко, или еще первобытно и потому обречено роковымъ образомъ уступать и отставать. Мы и уступаемъ, мы и отстаемъ, и едва-ли во всей нашей исторіи, даже при татарахъ, мы отставали отъ Европы больше, чѣмъ теперь. Европа уже завладѣла главною твердыней нашей національности — міросозерцаніемъ верхняго нашего слоя, его образованіемъ, идеалами. Наша интеллигенція психически уже не русская, почему она такъ плохо понимаетъ народъ и народъ такъ плохо понимаетъ ее. Начиная съ Петра I мы уступили болѣе сильному Западу, и сколько-бы ни сопротивлялись остатками своей старинной самобытной культуры — неудержимо будемъ подчиняться и уступать: сила солому ломитъ.

Таковъ смыслъ историческаго воспитанія, духовной выработки, культуры: она вооружаетъ каждую отдѣльную личность силою рода, психическими свойствами цѣлой расы. Только въ опредѣлившейся расѣ человѣкъ является въ расцвѣтѣ своей природы, въ полнотѣ типа. Но всякое накопленіе, всякая организація требуетъ извѣстнаго спокойствія, постоянства условій, т. е. консерватизма. Это требованіе до такой степени безусловно важно, что индусы освятили его въ видѣ божества. Второе лицо индусской троицы—Вишну—богъ консерватизма, равносиленъ Брамѣ—творящему богу. Эта основная важность консерватизма составляетъ его правду, чувствуемую всѣми, и только этою правдою консерватизмъ—какой-бы онъ ни былъ — и держится. Только въ силу этого безсознательнаго признанія огромное большинство людей столь недовѣрчивы къ новизнѣ и дотого консервативны, что эта черта иногда принимаетъ даже болѣзненный характеръ. По словамъ Ломброзо, большинство людей страдаютъ *мизонеизмомъ*, т.-е. отвращеніемъ къ новизнѣ, какова-бы она ни была, и болѣзненною приверженностью къ старинѣ, опять-таки не разбирая—хорошей или дурной. Всѣмъ извѣстный примѣръ—наши старообрядцы. Убѣдившись въ ряду поколѣній въ безусловной важности накопленія опыта и хорошихъ навыковъ, люди свое уваженіе къ культурѣ переносятъ изъ сознанія въ инстинктъ, т.-е. самую культуру дѣлаютъ предметомъ культа. Но разъ она становится священной и неприкосновенной, она останавливается, и изъ живой, движущей силы, становится энергіей задерживающей, тормозящей человѣчество. Какъ поѣздъ, въ которомъ вы ѣдете: пока онъ движется, онъ несетъ васъ какъ-бы на крыльяхъ вѣтра,—но разъ онъ испортился и сталъ—онъ является главнымъ препятствіемъ дальнѣйшему вашему движенію. Прикованные къ поѣзду своей исторіи люди чувствуютъ себя безпомощными внѣ его; они дѣлаются дотого консервативными, что сростаются сердцемъ иногда

даже съ уродливою, противуестественною культурою, отстаиваютъ рабство, невѣжество, насиліе, нищету, подобно тому какъ старообрядцы отстаиваютъ явно-искаженные тексты и священныя изображенія. Привычка — вторая природа. Только идолопоклонствомъ предъ истиной консерватизма можно объяснить странную непослѣдовательность нѣкоторыхъ высоко-гуманныхъ, утонченныхъ нашихъ писателей, вздыхающихъ о временахъ завѣдомо-мрачныхъ, завѣдомо-несчастныхъ (если говорить не объ отдѣльныхъ лицахъ или сословіяхъ, а обо всей землѣ). Истина очень часто защищаетъ ложь, и я думаю даже, что только правдой, вступившейся за зло, по великодушію или простотѣ, зло и держится, и лишись оно поддержки жизненнаго, любовнаго начала—оно бы рухнуло.

Возвращаясь къ «Собакамъ» Я. П. Полонскаго, я съ грустью думаю, что мы имѣемъ передъ собой именно такой случай, когда знаменитый и возвышенный поэтъ побуждается внутренней, глубокой правдой—къ несправедливости, къ одностороннему отрицанію эпохи, наименѣе этого заслужившей, имѣвшей на своемъ знамени свою не менѣе великую истину.

IX.

Въ нерасположеніи къ либерализму Полонскій не одинокъ среди поэтовъ. Почти всѣ наши великіе и даже просто талантливые художники слова были консерваторами. Державинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ, Тютчевъ, Майковъ, Фетъ (не говоря о болѣе мелкихъ созвѣздіяхъ поэтовъ), какъ настоящія свѣтила, держались *тверди* — вполнѣ твердой и установленной традиціи. Чтобы не подтверждать это излишествомъ примѣровъ, ограничусь Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Титаны поэзіи, они стояли цѣлымъ корпусомъ выше современнаго общества, глубоко и тонко презирали это общество, задыхались въ немъ и даже

задохлись—и тѣмъ не менѣе оставались вѣрными этому обществу до мелочей, до пожертвованія жизнью передъ призракомъ qu'en dira le monde. Вѣдь ни болѣе ни менѣе какъ кровью своей оба великіе поэта засвидѣтельствовали свою беззавѣтную преданность общественному консерватизму, и это свидѣтельство тѣмъ ярче, что жертва были принесена не за величайшіе принципы традиціи, а за мельчайшіе. Съ одной стороны вы видите удивительно свѣжее, облагороженное чувство и лучезарный умъ, глубокій и ясный, а съ другой, тутъ-же рядомъ, ихъ покорное рабство самымъ мизернымъ суевѣріямъ тогдашняго общества. Нужды нѣтъ, что оба великіе поэта будировали, подвергались ссылкѣ и въ ѣдкихъ—впрочемъ, весьма немногихъ—стихахъ, изливали свою жолчь: это не мѣшало имъ самимъ оставаться строгими консерваторами, нетолько любившими, но просто влюбленными въ первоначала тогдашней жизни. Быть можетъ, въ молодости Пушкинъ (въ 1821 году) и позволялъ себѣ повторять ходячіе либеральные взгляды (« Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный и рабство падшее по манію Царя» и пр.), но войдя въ полноту развитія, въ возрастѣ за 30 лѣтъ, онъ уже открыто защищаетъ то-же самое рабство *. Такова уже была тогда эпоха, возразитъ на это читатель: консервативное время — и поэты были консервативны. Я это именно и хочу доказать: что поэты только выражаютъ эпоху, а не ведутъ ее впередъ. Хотя тотъ періодъ, дѣйствительно, былъ погруженъ въ гипнозъ т. н. «реакціи», однако до полнаго ея «транса» ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не дожили, и втеченіе всей ихъ жизни въ томъ-же кругу, гдѣ они вращались, довольно ярко мерцало и либеральное настроеніе. Пушкинъ былъ даже близкій пріятель многихъ декабристовъ, хотя они и остерегались посвящать его въ

* См. „Александръ Радищевъ“, „Мысли на дорогѣ“, „Разговоръ съ англичаниномъ“ и пр. замѣтки Пушкина.

свои планы, какъ человѣка «легкомысленнаго». Точно также не сошолся Пушкинъ и съ предтечами либеральнаго движенія «сороковыхъ годовъ», и даже, напротивъ, враждовалъ съ ними (съ Надеждинымъ и Полевымъ). Что до декабристовъ, это были кровные аристократы, превосходно образованные и возвышеннаго характера; нельзя отказать и предтечамъ «сороковыхъ годовъ» въ замѣчательныхъ дарованіяхъ и благородствѣ души. И тѣмъ не менѣе Пушкинъ не сошолся ни съ тою, ни съ другою партіей: прекрасные люди этихъ партій были настроены отрицательно къ окружающей дѣйствительности, а Пушкинъ — положительно. Въ минуты душевнаго подъема Пушкинъ иногда проклиналъ свое общество («Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ» и пр.), но въ обыкновенное время онъ самымъ нелицемѣрнымъ образомъ погружался «въ забавы свѣта», и растворялся въ массѣ. Онъ былъ глубоко проникнутъ и вѣрою, и суевѣріями своего вѣка. Услышавъ о готовящихся событіяхъ въ 1825 г., Пушкинъ рѣшилъ-было ѣхать и пристать къ движенію (по долгу дружбы), и даже выѣхалъ изъ Михайловскаго, но на дорогѣ встрѣтился попъ—дурная примѣта; перебѣжалъ дорогу заяцъ—это ужь совсѣмъ было плохо, и смущенный поэтъ приказалъ повернуть назадъ... Вотъ до какихъ глубинъ своего существа это былъ приверженецъ традиціи, плоть отъ плоти своего времени. Мятежъ 14-го декабря впослѣдствіи онъ порицалъ вполнѣ искренно и даже горячо (Извѣстный стихъ въ «Посланіи» къ декабристамъ: «Темницы рухнутъ и свобода васъ приметъ радостно у входа, и братья мечь вамъ подадутъ»—всего проще понимать, какъ картину возвращенія арестованнымъ шпаги). Хотя въ высшемъ-же свѣтѣ, по словамъ кн. Вяземскаго, былъ кружокъ лицъ, благоговѣвшихъ предъ поэтомъ за его талантъ, Пушкинъ неизмѣнно оставался въ надменныхъ, пренебрегавшихъ имъ слояхъ, или среди кутилъ самаго безпечнаго пошиба. Почему это? А потому,

что всѣ эти возвышенно-настроенные люди тянули въ сторону отъ дѣйствительности, отрицали ее — конечно, въ очень условной степени, — тогда-какъ Пушкинъ всѣмъ сердцемъ принадлежалъ ей. Увлеченіе Карамзинымъ, погруженіе въ исторію, созданіе «Бориса Годунова» — національнѣйшей русской драмы, патріотическія оды послѣднихъ лѣтъ жизни — все это говоритъ за то, что Пушкинъ—живи онъ до нашихъ дней — явился-бы искреннимъ противникомъ либеральныхъ движеній, какъ скрытыхъ (сороковые года), такъ и открытыхъ (шестидесятые). Подобно Тютчеву, Фету, Майкову и самому Полонскому, Пушкинъ или отошелъ-бы отъ новаго теченія, или сталъ-бы во всей силѣ огромнаго таланта, чтобы, подобно Алексѣю Толстому, вызвать «теченіе встрѣчное». Онъ выполнилъ-бы свою завѣтную мечту — написалъ-бы классическій романъ или рядъ романовъ изъ русской жизни первой четверти нашего вѣка, гдѣ отразилась-бы вся поэзія тогдашней дворянской культуры, еще только чуть тронутой скептицизмомъ (мечту эту, до извѣстной степени, осуществилъ гр. Л. Н. Толстой въ «Войнѣ и Мирѣ»). Пушкинъ создалъ-бы національную драму и комедію, до сихъ поръ, строго говоря, отсутствующія; онъ, можетъ быть, далъ-бы героическую эпопею,—но все, что онъ ни оставилъ-бы, было-бы лишь отраженіемъ лучшихъ сторонъ существовавшаго, закрѣпленіемъ ихъ въ чарующіе образы, въ ясную формулу тогдашней патріархальной культуры. Нѣтъ сомнѣнія, что и Лермонтовъ—хотя болѣе отзывчивый къ вѣяніямъ запада—остался-бы далеко позади общественнаго настроенія, какъ остался позади его и Гоголь, пережившій обоихъ поэтовъ. Огромною силою таланта эти столь рано отшедшіе великіе писатели тянули-бы назадъ, къ красотѣ существующаго; они «воспѣли»-бы и закрѣпили эту красоту, придавъ крѣпостной культурѣ художественную, такъ-сказать, чеканку въ національномъ стилѣ и блескѣ своего генія. Не будучи въ

силахъ задержать освободительный порывъ общества, великіе поэты со своею школою значительно умѣрили-бы его, или, лучше сказать, урегулировали-бы, уравновѣсивъ стремительность какъ разгара, такъ и охлажденія общества къ реформамъ. Еслибы старая, до-реформенная эпоха получила всестороннее свое выясненіе въ литературѣ, сознаніе образованныхъ людей 60-хъ годовъ оказалось-бы болѣе воспитаннымъ, нежели заимствованымъ, и можетъ быть періодъ реформъ прошелъ-бы спокойнѣе, полнѣе и длился-бы дольше: не было-бы преувеличеній либерализма, но не было-бы и смѣнившго ихъ паралича интеллигенціи.

Надо замѣтить, что не одни поэты, но и замѣчательные романисты наши, въ большинствѣ — консерваторы: не враги либеральнаго движенія, но далеко и не друзья. Вспомните «Переписку съ друзьями» Гоголя, политическіе романы Достоевскаго, Гончарова («Обрывъ»), Писемскаго, Лѣскова. До девяностыхъ годовъ и гр. Л. Н. Толстого считали консерваторомъ, и какъ художникъ, онъ и есть таковъ. Даже Тургенева упрекали, какъ извѣстно, въ отсталости, въ томъ, что онъ мало сочувствуетъ своимъ либеральнымъ героямъ, почти осмѣиваетъ ихъ. Правда, «крѣпостные типы» у него тоже отрицательны, но на лучшихъ изъ нихъ, особенно на женщинахъ, какъ и на всемъ дворянскомъ бытѣ положена печать глубокой поэзіи и прелести. Какъ «постепеновецъ», Тургеневъ былъ консерваторомъ культуры иностранной на русской почвѣ. «Передовыхъ людей», Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева онъ терпѣть не могъ. Дальше англійской системы общества онъ не шолъ, а подъ конецъ жизни отдался, какъ Гоголь и Достоевскій, мистикѣ.

X.

Мнѣ кажется, эта склонность къ консерватизму изящныхъ писателей объясняется прежде всего характеромъ

ихъ дарованія. Художникъ—консерваторъ уже въ силу своего художественнаго темперамента, какъ философъ долженъ быть новаторомъ по природѣ. Въ самомъ дѣлѣ, художественный инстинктъ есть повышенное чувство прекраснаго; прекрасное-же заключается въ формѣ, а не въ содержаніи вещей. Прекрасная форма (эстетика вещи) есть нѣкоторая прочно установившаяся, гармоническая видимость, которую я позволилъ-бы себѣ назвать *внѣшнею* истиной данной вещи въ отличіе отъ *внутренней* истины или *этики* ея. Эстетика далеко не всегда совпадаетъ съ этикой; прекрасная наружность, по народному опыту, бываетъ обманчива. Аполлонъ Бельведерскій прекрасенъ, но когда вы разгадаете содержаніе его позы и жеста (истребленіе дѣтей Ніобеи), то они внушатъ вамъ иное чувство. Можно любоваться древними стѣнами какого-нибудь величественнаго зданія, но если вы узнаете, что это тюрьма, восторгъ вашъ поубавится. Для художника прекрасна какая-нибудь боевая сцена и онъ вполнѣ удовлетворяется красотою ярости человѣческой, но на мыслителя она производитъ гнетущее впечатлѣніе. «Делибашъ уже на пикѣ, а казакъ безъ головы»... Поэтъ срисовалъ этотъ моментъ, не скрывая восхищенія:—Каковы?! восклицаетъ онъ. Извѣстный художникъ Верещагинъ, какъ самъ признается, очень желалъ, чтобы повѣсили въ его присутствіи двухъ турецкихъ шпіоновъ и страшно досадовалъ на то, что ихъ простили: онъ потерялъ случай подглядѣть рѣдкія и выразительныя позы.

Чистый художникъ, вполнѣ удовлетворяется внѣшностью вещей, ихъ формой, и проникновеніе въ глубь вещи скорѣе вредитъ его работѣ. Въ то время какъ методомъ мыслителя служитъ анализъ, методомъ художника — чистое созерцаніе, вполнѣ освобожденное отъ условій времени и мѣста. Задача художника — въ безформенной дѣйствительности какимъ-то наитіемъ отыскать форму, нѣкоторый средній, вѣчный типъ мѣняющейся вещи и воплотить это видѣніе въ краскахъ,

звукахъ, мраморѣ или другомъ матеріалѣ искусства. Вѣчный типъ вещи и есть красота ея, элементъ устойчивый, неизмѣнный. Самая красивая форма есть въ то-же время и самая уравновѣшенная и пригодная для тѣла. Органическій міръ полонъ примѣрами борьбы формъ, причемъ побѣдившая — наиболѣе красивая форма — становится типомъ породы или вида на несчетные вѣка. Художники, мнѣ кажется, служатъ выраженію именно этого свойства природы, ея формирующаго начала. Проникнутые духомъ формы, поэты по самой своей натурѣ полярно-противоположны мыслителямъ, задача, которыхъ — постичь отношеніе вещей, вѣчно мѣняющееся и условное. Духъ истины есть въ существѣ своемъ «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья»; это ангелъ познавшій, возмутившійся, смятенный въ отличіе отъ свѣтлаго ангела, блаженнаго однимъ лишь созерцаніемъ небесныхъ высей. Анализъ философа есть разложеніе, родъ смерти, при которой изъ распавшагося явленія или вещи исходитъ ихъ чистая душа, ихъ идея, тогда какъ созерцаніе художника есть какъ-бы нарожденіе идеи въ свѣтъ и воплощеніе ея въ матеріальной формѣ. Но подобно тому, какъ и въ воплощеніи человѣческой души (по древнему вѣрованію) она погрязаетъ въ тѣлѣ, какъ въ тюрьмѣ, скованная плотью,—такъ и идея, матеріализовавшаяся въ предметѣ искусства, является прикрытой, часто загадочной и спорной. Одна и та-же картина художника часто толкуется на множество ладовъ: въ лицѣ Сикстинской Мадонны находили и чистоту, и милосердіе, и любовь, и божественность, и человѣчность, а один великій русскій писатель нашолъ въ немъ даже чопорность и ханжество. Вспомните также безконечныя толкованія Гамлета или Фауста. Какъ художественныя картины, онѣ ясны, но въ качествѣ символовъ философіи жизни до сихъ поръ составляютъ предметъ споровъ. Каждое поколѣніе, являясь въ міръ и находя въ немъ великое произведеніе искусства, влагаетъ въ него нѣко-

торый особый смыслъ, особое пониманіе: для Вольтера— тонкаго цѣнителя и знатока литературы—Шекспиръ былъ «пьяный дикарь», а лѣтъ черезъ сто Шекспира называли царемъ и богомъ поэзіи, превзошедшимъ природу и т. д., а можетъ быть мы еще доживемъ до того времени, когда это странное идолопоклонство смѣнится болѣе трезвымъ взглядомъ на англійскаго драматурга. Точно такъ-же измѣнились взгляды на Расина и Корнеля, на романтизмъ и т. д. Давно-ли торжествовалъ натурализмъ, а нынче и его значеніе уже отрицается, т. е. понимается иначе, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ.

Такимъ образомъ перемѣнною величиною въ искусствѣ, какъ и въ органической жизни, является содержаніе, а постоянною—форма. Правда, часто говорятъ, наоборотъ, объ *измѣнчивости* формъ, но это неточность понятія и языка. Формы не мѣняются, а лишь *смѣняются*, что совсѣмъ не одно и то-же. Одна школа въ искусствѣ можетъ смѣнить другую, но если это были истинныя школы (т. е. выражались великими талантами), то онѣ неизмѣнны, какъ установившіяся породы животныхъ или растеній. Готическій стиль можетъ смѣнить греческій или византійскій, но это не измѣненіе, а только смѣна и пока человѣчество существуетъ—великіе стили будутъ неизмѣнны и какъ-бы замкнуты въ самихъ себѣ.

Таковъ консерватизмъ истинно-прекрасныхъ формъ; неистинныя, ложныя формы—дѣло плохихъ и ложныхъ поэтовъ и о нихъ нѣтъ рѣчи. Настоящій, такъ сказать химически-чистый поэтъ—консерваторъ поневолѣ; это— свойство его природы. Не только наши, но и всѣ великіе поэты міра были лишь выразителями, но не реформаторами своихъ эпохъ. Данте въ своей великолѣпной поэмѣ излилъ религіозный духъ среднихъ вѣковъ, далъ для нея безсмертный и безспорный документъ. Ту-же задачу выполнилъ Мильтонъ для послѣдующей эпохи, и для странъ германскихъ. Шекспиръ отразилъ всю свѣтскую сторону тѣхъ-же вѣковъ. Но реформація

вытекла не изъ Данте, англійская революція не изъ Шекспира, французская революція не изъ Корнеля и Расина. Начиная съ Гомера и аѳинскихъ трагиковъ, закрѣпившихъ іонійскую культуру, продолжая поэтами двора Августа и т. д., кончая поэтами двухъ послѣднихъ вѣковъ до Гюго и Теннисона включительно—всѣ поэты являлись пѣвцами существующаго или существовавшаго, носителями національнаго духа, пророками традиціи; какъ древне-еврейскіе пророки, они формулировали и уясняли законченную національную культуру, группировали ея жизненныя черты въ созданіяхъ искусства, чтобы передать въ отдаленные вѣка сѣмена прекрасныхъ формъ, содержаніе которыхъ было близко къ увяданію. Всѣ великія историческія эволюціи произведены не художниками, а философами: ни Моисей, ни Будда, ни Зороастръ, ни Конфуцій, ни Сократъ, ни иные еще болѣе великіе учители и начинатели новыхъ теченій не были поэтами, не исключая и Магомета. Лютеръ и Руссо не были поэтами, а поколебали вѣковыя міросозерцанія. Гёте едва-ли уступалъ Дарвину въ степени геніальности (авторъ «Происхожденія видовъ» вовсе отрицалъ свою геніальность, утверждая, что его умъ не выше, чѣмъ у средняго адвоката или учителя), а между тѣмъ кто-же станетъ сравнивать «землетрясеніе» душъ, произведенное Дарвиномъ, съ тихимъ и—въ общемъ—незначительнымъ вліяніемъ на нихъ веймарскаго олимпійца? Очень можетъ быть, что Гёте, какъ Гомеръ и Горацій, будутъ читаться и черезъ тысячу лѣтъ, когда о Руссо и Дарвинѣ будутъ знать лишь ученые, но это не мѣняетъ вопроса: идеи Гёте всегда будутъ закрѣплять жизнь, успокаивать ее, тогда какъ идеи Руссо и Дарвина—раскрѣплять жизнь, выводить ее изъ застоя. Поэты вѣчно будутъ консерваторами—въ лучшемъ смыслѣ, какъ мыслители—либералами, въ лучшемъ-же смыслѣ.

XI.

Многіе никакъ не согласятся съ такимъ распредѣленіемъ ролей въ оборотѣ человѣческаго духа. Поэтовъ, одно имя которыхъ звучитъ какъ нѣжная мелодія,— просто жаль выпустить изъ лагеря прогрессистовъ, учителей и двигателей человѣчества, изъ дружины передовыхъ вождей цивилизаціи. Поэтъ—«пророкъ», и въ этой роли всѣ поэты себя настойчиво рекомендуютъ: какъ-же они могутъ быть консерваторами?—воскликнетъ читатель. Вспомните, наконецъ, Байрона, Гейне, Шиллера, Гюго, Лонгфелло, а у насъ — Некрасова Развѣ это консерваторы? Развѣ Гёте съ его насквозь идейною поэзіей, обнявшею всѣ скорби вѣка, консерваторъ?

На все это я замѣчу, что и эти сейчасъ названные пѣвцы свободы и скорбей — консерваторы. То, что у нихъ истинно цѣнно и безспорно художественно — это картины окружавшей ихъ жизни, картины старой культуры или новыхъ теченій, но уже достаточно упрочившихся и отвердѣвшихъ. То, что воспѣвали эти поэты какъ элементъ свободы, была мораль, т. е. вещь очень старая въ своихъ общихъ формулахъ, а именно общими-то мѣстами поэты и ограничивались. Байронъ, Леопарди являются, правда, пессимистами, т. е. какъ-бы отрицателями тогдашней жизни. Но, во-первыхъ, обыкновенный пессимизмъ не новаторство, а простая болѣзнь духа, встрѣчавшаяся еще въ эпоху Екклесіаста. Этой болѣзнью названные поэты были заражены отъ мыслителей англійской школы (Гобсъ, Локкъ, Юмъ): роль Байрона состояла лишь въ разнесеніи этой заразы по Европѣ, и если зараза кое-гдѣ оказалась благодѣтельной, то это дѣло случая. Байронъ жестоко осмѣивалъ ханжество и узость тогдашней Англіи, сражался за свободу грековъ, но это не мѣшало ему гордиться своимъ лордствомъ больше, нежели талантомъ, и соотвѣтственно

тому и жить. И Байронъ, и Гёте попали въ эпоху небывалаго возбужденія мысли,—я сказалъ-бы даже воспаленія мысли, до такой степени приливъ идей былъ обиленъ и кипучъ. Какъ отражатели существующаго, поэты не могли не отразить и идейнаго броженія своего вѣка, причемъ, сообразно культурѣ каждаго, должны были отразиться и либеральныя мысли. Онѣ и отразились, но—доказательство того, что онѣ были не рождены поэтами, а лишь отражены—эти либеральныя идеи вошли въ ихъ поэзію механически, во всей своей отвлеченной необразности, какъ инородныя тѣла въ совершенно чуждой стихіи. Попробуйте сдѣлать опытъ—отдѣлите у либеральнаго поэта его либеральныя идеи и посмотрите, много-ли ихъ наберется и богаты-ли онѣ качествомъ? Все это—мораль или повтореніе ходячихъ, хотя можетъ быть и «забытыхъ словъ». Подобные опыты, безъ ехидной, правда, цѣли, продѣлывались многими компиляторами, извлекающими изъ великихъ авторовъ «мнѣнія», «изрѣченія» и «мысли» по разнымъ вопросамъ. Сборники такихъ мыслей—именно въ отношеніи новизны послѣднихъ — поражаютъ своею скудостью. Замѣчательно также, что такъ-называемые либеральные поэты какъ у насъ, такъ и заграницей—второстепенныя и даже третьестепенныя величины, а нѣкоторые даже — просто стихотворцы, съ поэзіей неимѣющіе ничего общаго. Болѣе крупные изъ нихъ, вродѣ нашего Некрасова, сами признавали себя слабыми поэтами («Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной» и пр.), гордясь лишь ролью гражданскихъ дѣятелей. Освободительное движеніе, созданное христіанствомъ, западною культурой и философіей XVIII вѣка, заключаетъ въ себѣ слишкомъ много красивыхъ моментовъ, чтобы не привлечь къ себѣ художниковъ; роли учителей человѣчества—пророка, провозвѣстника, жреца, мыслителя слишкомъ заманчивы, чтобы поэты не захотѣли примѣрить къ себѣ ту или иную величавую тогу. Инымъ эти тоги были если и не по фигурѣ, то

хоть подъ ростъ: огромный созерцательный талантъ казался не слишкомъ страненъ и въ роли абстрактнаго мышленія; но огромное большинство менѣе даровитыхъ поэтовъ оказались совсѣмъ неудачными мудрецами. Даже Шиллеръ и Гюго, при выдающемся умѣ, только портили свою поэзію модной претензіей того времени поучать общество. Дидактическія—и въ сущности заурядныя — мысли не растворялись въ ихъ поэзіи, какъ кремни въ водѣ, и остались въ ней навсегда въ сыромъ видѣ, къ великому неудобству читателя. Постоянно-взвинченныя, возвышенно-вычурныя риторическія разсужденія на меня, по крайней мѣрѣ, наводятъ унынье. Къ несчастью, и наши молодые поэты заразились этой дурной манерой изображать изъ себя философовъ и пророковъ. Гг. Минскіе, Мережковскіе и множество менѣе извѣстныхъ стихотворцевъ изъ всѣхъ силъ бьются, чтобы открыть какія-то тайны природы и загадки мудрости, нѣчто непостижимое и трансцендентальное, они ежеминутно перемножаютъ вѣчность на безконечность, громоздятъ религію на философію, буддизмъ на психологію, произносятъ страшныя мало понятныя слова и вообще сильно ломаются передъ публикой. Результатъ выходитъ нетолько жалкій, но даже прямо отрицательный: при назойливѣйшемъ желаніи «дать идею», именно идеи-то и не получается, а выходитъ иногда явный наборъ словъ, лишенный всякаго подобія мысли. Чуть только поэты захотятъ высказать вѣрную мысль, она оказывается старой и въ устахъ поэта— холодной, разсудочной; а разъ попробуютъ высказать непремѣнно новую идею — она выходитъ сумбурной и даже противоестественной; словомъ, обнаруживается декадентство, эстетическое помѣшательство. Нѣтъ сомнѣнія, нѣкоторые изъ нашихъ молодыхъ поэтовъ обладаютъ художественнымъ дарованіемъ, и отдайся они своей природѣ прямо и просто, изъ подъ ихъ пера могли-бы выходить серьезныя вещицы, правдивыя и *умныя* картинки окрѣпшихъ сторонъ теперешней жизни. Не

взваливая на себя «бремена тяжкія и неудобоносимыя»— миссію проповѣдниковъ, философовъ, вождей человѣчества, они сразу почувствовали-бы себя сильнѣе и ближе къ истинѣ: они подошли-бы къ ней съ имъ свойственной *внѣшней* стороны, преимущественно для нихъ доступной. Для жизни необходимо знаніе, но необходима и красота, которая есть то-же знаніе, только образное. И у мыслителей, и у художниковъ одна верховная цѣль: открыть абсолютную правду жизни, благороднѣйшее содержаніе для нея въ наиболѣе возвышенной формѣ. Мыслитель какъ и художникъ, достигаетъ своей задачи или наитіемъ, или путемъ анализа, и если нѣтъ налицо желаемаго содержанія, онъ создаетъ его въ возможности, могуществомъ воображенія, какъ ученый даетъ не существующія въ природѣ, но возможныя математическія, механическія или біологическія обобщенія. Дѣйствительно-великіе поэты обнаруживаютъ огромный умъ, какъ и настоящіе мыслители — недюжинное чутье къ красотѣ, но въ обоихъ случаяхъ второстепенное качество находится въ служебномъ отношеніи къ спеціальному. Умъ великаго художника не болѣе какъ подмастерье его таланта, какъ и художественное чувство у мудреца. Пушкинъ обладалъ сильнымъ и свѣтлымъ умомъ, но безсмертіе его основано не на образцахъ мысли, а на образцахъ поэтическаго творчества: этотъ умъ менѣе замѣтенъ въ стихотвореніяхъ и выступаетъ въ блескѣ лишь въ дневникахъ, литературныхъ замѣткахъ и т. п. Точно также и Руссо или Шопенгауэръ несомнѣнно обладали художественнымъ темпераментомъ, но заслуга ихъ заключается не въ изяществѣ ихъ твореній, а въ ихъ глубинѣ. Люди вообще думаютъ не одинаковымъ способомъ: одни — въ зрительныхъ представленіяхъ, другіе—въ слуховыхъ, одни помнятъ вещи какъ картины, другіе—какъ ихъ названія. Мнѣ кажется, первый разрядъ людей обладаетъ по преимуществу художественною натурой, тогда-какъ вто-

рой—идейною. И тѣ, кто рождены съ зрительнымъ сознаніемъ, хорошо сдѣлаютъ, если удовлетворятся этимъ типомъ его и не станутъ во что-бы ни стало напрягать зародыши своей слуховой памяти. Каждый можетъ стать во весь свой духовный ростъ только по главной, такъ-сказать, своей оси, въ направленіи главной способности, а наши поэты хотятъ быть во всѣ стороны одинаковаго діаметра—претензія праздная.

Какъ человѣкъ, разрабатывающій еле замѣтную серебряную руду, въ то время когда кругомъ богатѣйшія залежи желѣза, неизмѣнно проигрываетъ, такъ и поэтъ, эксплоатирующій свое мышленіе вмѣсто художественнаго инстинкта. Правда, въ послѣднее пятидесятилѣтіе мыслительныя способности въ европейскомъ обществѣ взяли верхъ надъ созерцательными, развитіе политической жизни, журналистики, науки отодвинуло поэзію на задній планъ (какъ и другія созерцательныя настроенія). Поэты и художники, игравшіе когда-то при дворахъ роль любимцевъ, посланниковъ боговъ, потонули въ толпѣ новой интеллигенціи равныхъ сортовъ и званій. Пророки и судьи общества, они видятъ себя развѣнчанными; они боятся, что, отказавшись отъ поученій на манеръ философовъ, они навсегда уступятъ послѣднимъ скипетръ духовной власти. Я думаю, что опасеніе это неосновательно. Поэзія—не прихоть извѣстнаго времени или страны; она составляетъ въ организмѣ духа неотдѣлимое отправленіе, и человѣчество всегда будетъ нуждаться въ сладкихъ ощущеніяхъ красоты. Истинные поэты всегда останутся пророками и вождями, но ихъ пророчество не въ томъ, чтобы давать отвлеченныя формулы природы или общества, а въ томъ, чтобы уже дѣйствующимъ идеямъ давать полноту развитія, служить сложившейся культурѣ раскрытіемъ ея тончайшихъ свойствъ и тончайшихъ возможностей. Пусть основной смыслъ жизни даютъ великіе вѣроучители или философы,—роль поэтовъ разработать этотъ смыслъ и отыскать ему прекраснѣйшее выраженіе.

Всѣ великіе художники закрѣпляли свою культуру—и въ этомъ ихъ прямая миссія; великіе мыслители расшатывали омертвѣвшіе устои—и это ихъ призваніе. Поэты, какъ консерваторы по природѣ, не могутъ пожаловаться на скромность ихъ роли въ живомъ организмѣ исторіи, и если-бы они этою ролью ограничивались, было-бы прекрасно.

XII.

Какъ человѣкъ старой дворянской культуры и свидѣтель ея расцвѣта, теперь увядшаго, Полонскій, помимо таланта, имѣетъ огромное преимущество передъ поэтами-молодежью. Послѣдніе явились во времена развалинъ, ничего цѣльнаго и крупнаго не застали, ни къ какой культурѣ не пріобщились. Ему есть что сказать,—имъ, можетъ быть, и нечего. Онъ заканчиваетъ собою извѣстный историческій процессъ, а они явились въ самомъ началѣ новаго, выросли среди груды строительнаго матеріала. Русская молодежь — и даже поколѣніе средняго возраста—почти не помнитъ старыхъ хоромъ русской жизни, а Полонскій ихъ помнитъ. Онъ могъ-бы поразсказать многое въ жанрѣ Пушкина, Лермонтова, Гоголя или хоть въ жанрѣ Тургенева и Фета, которые, выражаясь языкомъ спиритовъ, извлекли изъ своей эпохи астральное ея тѣло, ея невѣсомую субстанцію, способную принимать всѣ тѣлесные образы прежней жизни. Видѣнія этой жизни—самое дорогое, что сохранила изъ прошлаго память русской интеллигенціи. Нынѣшніе поэты и рады-бы повторить подобный сеансъ съ теперешней эпохой, и можетъ-быть, какъ медіумы поэзіи, они достаточно сильны, да нѣтъ существа, духъ котораго можно было-бы вызвать. У теперешней эпохи еще нѣтъ духа, потому-что не сложилось еще и тѣло ея,--нѣтъ культуры, организующей бытіе въ живое существованье. Но ужь если молодые поэты не въ силахъ отразить въ себѣ духа времени, истолковать его (за его отсутствіемъ), то почтенному Я. П. По-

лонскому это тѣмъ труднѣе: онъ и родился, и сложился совсѣмъ подъ иными небесами, подъ иными созвѣздіями.

Что у Полонскаго, какъ и у всѣхъ старыхъ писателей, есть наклонность идеализировать старину, это въ высшей степени естественно и доказываетъ только чистоту его поэтической природы. Какъ поэтъ и консерваторъ, онъ и долженъ быть влюбленнымъ въ старину, какова-бы она ни была, лишь-бы это была прочная система жизни. А крѣпостная старина, если на минуту забыть о ея порокахъ, и сама по себѣ была явленіе красивое и колоритное. Во множествѣ усадебъ завязывался прочный и изящный бытъ, создавалось глубокое міросозерцаніе и свойственная всякому культу поэзія. Такъ называемые «крѣпостники» не безъ основанія полагаютъ, что тридцатые и сороковые годы были эпохой единственнаго въ исторіи и самаго высокаго подъема нашей національной культуры, и что едва-ли въ ближайшіе вѣка повторится сочетаніе такихъ рѣдкихъ условій: патріархальнаго «лона природы» съ утонченностью образованнаго быта, суроваго рабства съ сѣменами гуманной цивилизаціи. Въ особенности трудно ждать повторенія рабства въ прежней его наивной формѣ, а между тѣмъ такое рабство, родъ живого идолопоклонства, придавало старинному быту миѳическій обликъ. Тогда жили нетолько простые смертные, но и какъ-бы живые полубоги, существа какой-то иной природы, иного, высшаго происхожденія. Это мистическое неравенство исповѣдывалось какъ вѣра и вверху, и внизу, и возвышало верхи культуры такъ, какъ никогда уже не подыметъ ихъ никакое другое неравенство—экономическое, образовательное и т. п. Для поэзіи жизни не будетъ въ ней чудеснаго элемента безграничной власти человѣка надъ человѣкомъ, элемента человѣкобожія, отмѣченнаго Пушкинымъ въ «Анчарѣ». Не повторится также и глубокое невѣжество народное, и дѣвственность природы—все элементы молодые, со свойственною юности способностью очарованія. Въ старину земля

наша была велика и обильна, природа еще была дѣвственна и не расхищена, еще цѣлы были «лѣса, поля, долины, горы, воды», таинственная жизнь которыхъ, сливаясь съ жизнью человѣка, придаетъ послѣдней столько величія и красоты. Не было фабрикъ, казармъ, заводовъ, трактировъ, лавокъ, ситцевъ и самоваровъ. Народъ былъ еще не тронутъ гноемъ городовъ, сидѣлъ дома, пахалъ землю, пѣлъ тысячелѣтнія пѣсни, слушалъ вѣковыя былины и сказки, ковыряя въ досужные вечера, при неровномъ свѣтѣ лучины, свои липовые лапти. Міросозерцаніе было сведено до двухъ-трехъ формулъ, но зато прочныхъ и неподвижныхъ какъ три кита̀, на которыхъ въ то время земля держалась. Мужикъ былъ глубокій варваръ, но варваръ культурный, установившійся, и притомъ свѣжій и непосредственный, какъ дикая степная лошадь, какъ крѣпкій дубъ, купающійся въ солнечномъ воздухѣ. Мужикъ былъ явленіемъ природы и входилъ въ разрядъ стихій. Среди этихъ неотравленныхъ еще стихій. стояла усадьба—колыбель русской поэзіи и литературы. Просторный старый домъ съ тесовою крышею, осѣненный вѣковыми липами, съ разбѣгающимися полями вокругъ и зубчатою стѣною лѣса на горизонтѣ, куда ни взгляни, съ соломенными крышами деревень вдали и сіяющими крестами церквей надъ зеленью. Таинственныя темныя сѣни, террасы, лѣстницы, балконы, вышки, свѣтелки, горенки, терема́, дорожки сбѣгающія въ садъ, съ его насыщенною медомъ растеній атмосферою, глухими уголками и бесѣдками, съ вьющейся за садомъ рѣчкой, заросшей тростникомъ и лозою, съ старою банею надъ обрывомъ и легендами о лѣшихъ и утопленникахъ. Въ домѣ—старинная мебель, ряды темныхъ портретовъ предковъ, сіяющіе въ ризахъ образа, старинная утварь, толпы преданныхъ слугъ, ласковыхъ нянюшекъ и дядекъ,—стихія покорности и угодливости. Какія преданія передавались въ этихъ дворянскихъ семьяхъ, какія сказки разсказывались въ долгіе зимніе вечера при сальной свѣчкѣ въ

дѣтской, какіе сантиментальные романы читались въ горенкахъ и свѣтелкахъ, какъ горячо молились передъ освѣщенными лампадкой серебряными ризами! Кто помнитъ въ своемъ дѣтствѣ то простое, но широкое изобиліе, деревенскій просторъ, цвѣтущія майскія утра, лѣтніе долго гаснущіе вечера, прогулки въ лунныя ночи среди призраковъ и волшебныхъ заклинаній соловья, «пѣвца любви, пѣвца своей печали»,—кто не забылъ росистыя зори, шумныя охоты, зимнія вьюги, кто помнитъ веселое, безпечное общество съ играми и затѣями, дышущее здоровьемъ, вѣрой и простотой семейнаго патріархальнаго быта—кто все это помнитъ и сравнитъ съ унылою прозой теперешняго оскудѣнья, съ недостатками и недохватками, съ необходимостью работать что прикажутъ и работать много, съ нынѣшней жизнью въ тѣснотѣ городской сутолоки, въ противномъ, загнившемъ воздухѣ, «на второмъ дворѣ» гдѣ-нибудь,—тотъ пойметъ чувства стараго, уже сходящаго со сцены поколѣнія.

XIII.

Не мудрено, что наши выдающіеся поэты — консерваторы. Какъ поклонники красоты, они должны предпочитать прошлыя, феодальныя времена теперешнимъ. Въ отношеніи формъ жизни тѣ жестокія и темныя времена были несравненно богаче и ярче теперешнихъ, какъ старинные средневѣковые города—красивѣе нынѣшнихъ съ ихъ утомительною правильностью и опрятностью. Въ старую крѣпостную эпоху, по пословицѣ, что ни городъ, то былъ норовъ, что деревня то обычай. При крайней затруднительности сообщеній, отдѣльныя страны и провинціи были замкнуты и вырабатывали волей-неволей свою особую культуру, свой стиль, одежду, образъ жизни и образъ души. Тогда образовалось нѣсколько характерныхъ, неподвижныхъ человѣчествъ, отдѣльныхъ міровъ, гдѣ все было свое и все особое. Изъ страны

шелковыхъ камзоловъ, готическихъ соборовъ и мрачныхъ замковъ вы могли попасть въ страну живописныхъ тюрбановъ и фустанеллъ, въ край минаретовъ и куполовъ, увѣнчанныхъ луной. Оттуда вы могли отправиться въ землю колоколенъ и золотыхъ маковокъ, боярскихъ шапокъ и сарафановъ; далѣе шли таинственныя царства халатовъ и тюбетеекъ, много-этажныхъ фарфоровыхъ башенъ, каменныхъ идоловъ и плоскихъ крышъ. Сравните тогдашній необычайно пестрый и разнообразный міръ съ теперешнею монотонностью цивилизаціи, при которой всюду васъ встрѣчаютъ тѣ-же каменные крытые желѣзомъ дома, тѣ-же мостовыя, конки, телеграфы, тѣ-же котелки, цилиндры и пальто съ одинаковыми тросточками и зонтиками какъ въ Парижѣ, такъ и въ Нагасаки, какъ въ Архангельскѣ, такъ и на мысѣ Доброй Надежды. Конечно, кое-гдѣ на Востокѣ еще осталось немножко національныхъ чертъ, и я, напр., еще видѣлъ на придворномъ балу въ Аѳинахъ министра въ бѣлой юбкѣ (старинный греческій костюмъ), но это была своего рода дерзость: тотъ-же министръ въ другое время одѣвался по парижскому журналу. Даже султанъ турецкій изъ всего національнаго обряда жизни сохранилъ только гаремъ да феску,—да и то одалиски въ гаремѣ одѣваются уже у Ворта и играютъ на роялѣ. Даже японская микадесса, судя по портретамъ въ иллюстраціяхъ, изъ прелестнаго, художественнаго керимона передѣлась въ безобразнѣйшее европейское платье, и даже съ болѣе громаднымъ, чѣмъ требовалось модой, турнюромъ. Королева Мадагаскара Ранавало, курчавая негритянка, тоже одѣла корсетъ и пышный шлейфъ. Я боюсь даже, что загадочный Далай-Лама, когда до него наконецъ доберутся европейцы, предстанетъ передъ ними во фракѣ... Индійскіе раджи, вѣдь, уже облачились въ этотъ «вертихвостъ».

Такъ болѣе сильная, можетъ быть, болѣе хищная цивилизація стираетъ всѣ особенности духовно ею по-

коренныхъ странъ, устанавливаетъ однообразные, обязательные шаблоны. При этомъ исчезаютъ цѣлые міры красивыхъ, картинныхъ формъ—и нетолько костюмовъ и зданій, но и идей, преданій, обычаевъ, настроеній. Замѣтьте, что не всегда высшая форма побѣждаетъ низшую, такъ-какъ борьба идетъ между содержаніями культуръ, а не формами ихъ. Если болѣе сильное и молодое существо одной культуры одолѣетъ обветшавшую или болѣзненную суть другой, то неуклюжая внѣшность первой, — напримѣръ фракъ—можетъ вытѣснить болѣе живописную — второй, какъ въ одеждѣ, такъ и въ духовномъ обличьѣ. Черный сюртукъ Франклина — представителя честной, трудовой культуры — вытѣснилъ розовые и голубые кафтаны французскихъ маркизовъ съ кружевами и золотомъ ихъ, а отсутствіе всякой прически, нынѣшняя безвкусная стрижка подъ гребенку замѣнила пышные парики и букли. Новая эпоха несравненно блѣднѣе и монотоннѣе прошлой; художнику и поэту, когда-то видѣвшему воочію иную жизнь или, по крайней мѣрѣ, изучившему эту жизнь на сценѣ, въ музеяхъ, литературѣ—болѣе чѣмъ кому-либо ясно раззоренье, внесенное протестантской цивилизаціей въ область красоты, какъ вещественной, такъ и идейной. Саксонская раса, наиболѣе вдумчивая, не отличается вкусомъ, и печать этого безвкусія легла на весь современный культурный міръ, подавивъ изящество духа католической, арабской и японской цивилизацій. Внутренняя правда нѣмецкой культуры разрушила въ области идей еще болѣе живописныхъ формъ, нежели въ области внѣшняго обряда. Раціонализмъ протестантства, неизбѣжно приведшій къ отрицанію всякаго рода культа—политическаго, религіознаго и даже національнаго—разсѣялъ множество иллюзій, психическихъ вѣковыхъ привычекъ, суевѣрій и предразсудковъ, имѣвшихъ одну дорогую человѣку черту: они ему были *милы*. Эти суеверія составляли часть психическаго организма человѣка, и отнятіе

ихъ оставляло въ его сердцѣ пустоту и раны. А протестантизмъ отнималъ у стараго общества самыя интимныя вѣрованія, не замѣняя ихъ ничѣмъ. Вся идея протестантства, постепенно развившаяся въ политикѣ и философіи заключается въ словѣ «нѣтъ», которое, какимъ-бы громовымъ голосомъ ни было произнесено, никогда не замѣнитъ самаго крошечнаго «да», хотя-бы вполнѣ ошибочнаго. Атеизмъ въ религіи (продуктъ крайней лѣвой отрасли гегельянства), анархія въ политикѣ (продуктъ той-же отрасли: Бакунинъ воспитался на Гегелѣ), матеріализмъ въ наукѣ, натурализмъ въ искусствѣ—все это великія отрицанія нѣмецкаго духа, вытекшія изъ протестантства. Общій итогъ этихъ отрицаній—гартмановскій пессимизмъ—всего глубже выражаетъ суть современной по преимуществу германской цивилизаціи; онъ буквально повторилъ отчаянный вопль буддизма и воскресилъ для человѣчества гнетущій призракъ смерти, разсѣянный-было христіанствомъ. Можетъ-быть, это—истины, всѣ эти отрицанія, но отъ нихъ человѣку не легче, а тяжелѣе. Вѣдь азотная кислота тоже истина, но соприкасаясь съ тѣломъ, она его жжетъ и убиваетъ. Микробъ холеры—тоже истина, но вводить его въ организмъ гибельно. Есть идеи-яды, идеи-микробы, которые, войдя въ міросозерцаніе человѣка, въ организмъ его души, пожираютъ его и убиваютъ. Таковы эти дѣтища протестантскаго раціонализма. Какъ мышьякъ въ малой дозѣ не ядъ, а лѣкарство,—идея отрицанія сослужила свою пользу; но въ большихъ дозахъ это сущая отрава, остановка творческаго процесса жизни. Что можетъ взять для своего счастья жизнь у философіи, доказывающей, что лучше не жить вовсе? А вѣдь это—въ своемъ родѣ заключительное слово прогресса,—amen протестантской культуры.

Итакъ, художники съ своей точки зрѣнія совершенно правы въ недовѣріи къ новой эпохѣ и въ консервативной привязанности къ старой. Тамъ больше красоты, больше надежды, жизненнаго начала; здѣсь-же пока—пу-

стыня, холодъ... Задолго до «Собакъ» Полонскаго, болѣе полувѣка тому назадъ, великій поэтъ предвидѣлъ печальную участь поколѣнія, вступавшаго тогда въ новую эпоху, предсказалъ пустоту и тьму, ожидавшія его въ будущемъ, и наконецъ, бездѣйствіе «подъ бременемъ познанья и сомнѣнья». Относительно того поколѣнія (40-хъ годовъ) это была ошибка: именно то-то поколѣніе и оказалось наиболѣе дѣятельнымъ и свѣтлымъ, можетъ-быть потому, что въ новый міръ внесло одушевленіе, собранное еще въ старой, крѣпостной колыбели. Въ немъ еще жили въ инстинктахъ и вѣра въ міровую тайну, и чувство долга, и умиленіе къ прекрасному, и чувство самоотверженія — все то, что даетъ человѣку культъ и чего не можетъ дать ему нынѣшнее безкультурное время. Именно этою силою духа и совершилось все хорошее въ Россіи за послѣднюю половину вѣка: создалась литература, искусство, начала наукъ, и этою-же встарину сложившеюся силою были подняты реформы и поколеблены вѣковые устои. Некультурное поколѣніе, вродѣ нашего, воспитавшееся на развалинахъ, не смогло-бы выполнить, быть можетъ, и этой задачи,—нетолько задачи творчества, но даже разрушенія. Поэты правы въ своемъ консерватизмѣ.

XIV.

Однако, пора показать, въ чемъ они и неправы, выпуская, какъ это сдѣлалъ Полонскій, «Собакъ» на либераловъ. Либерализмъ или — возьму болѣе широкій терминъ—реформація не есть произвольное измышленіе злоумышленниковъ, заговоръ кучки горячихъ головъ. Это тоже продуктъ культуры, да пожалуй, еще и лучшій продуктъ. Въ этомъ огромномъ историческомъ движеніи на пространствѣ четырехъ вѣковъ, взволновавшемъ все христіанское человѣчество, были глубокія и справедливыя причины, была самая заслуженная необходимость. Кромѣ внѣшней правды, красоты вещей,

есть, какъ я сказалъ выше, и внутренняя правда, нравственность вещей, а ея-то и недоставало старой эпохѣ. Культура дѣло великое и святое, но она должна быть основана на великомъ и святомъ началѣ, а этого-то и не было въ феодальномъ строѣ: онъ держался на грѣховномъ принципѣ, безусловно противоположномъ христіанству. Либерализмъ въ его жизненной, средней мѣрѣ не отрицаетъ культа ни въ религіи, ни въ политикѣ, ни въ искусствахъ,—онъ только требуетъ, чтобы это былъ добрый культъ, а не злой, чтобы сердцемъ его была не языческая, а христіанская правда. Феодальный міръ, далеко еще не весь исчезнувшій и до сихъ поръ, былъ основанъ на завоеваніи, на правѣ сильнаго, на римскомъ и древне-германскомъ обычаѣ; основною осью тогдашняго общества было поставлено насиліе, и къ ней уже пристраивались всѣ бытовыя подробности. Даже само христіанство (католическое) перестроилось на этотъ языческій принципъ и пыталось внести въ область совѣсти тотъ-же произволъ силы, какой господствовалъ въ политическомъ устройствѣ. Но это было уже покушеніемъ нетолько на тѣло, но и на душу людей, и духъ человѣчества возсталъ. Какъ ни предана старинѣ людская масса, какъ ни глубокъ былъ тысячелѣтній гипнозъ средне-вѣковой культуры, но Европа пробудилась и пожелала свѣжаго воздуха. Отчего произошло это чудесное пробужденіе? Вопросъ крайне интересный, но трудно-разрѣшимый. Переломъ духа приписываютъ вліянію античной литературы, вошедшей въ моду; но мнѣ кажется еще болѣе глубокимъ источникомъ возрожденія была религія. Наряду съ торжествующими языческими принципами во всѣ средніе вѣка подавалъ свой божественный голосъ и Христосъ—черезъ Евангеліе, книги Апостоловъ. Этотъ кроткій голосъ, среди звона мечей о желѣзные шлемы, говорилъ о красотѣ любви, о красотѣ братства человѣческаго, объ отрадѣ жертвы за ближнихъ, о томъ, что это-то и есть царство небес-

ное, всѣмъ и всегда доступное. При всемъ стремленіи папъ заслонить собою небесный авторитетъ, церковь настойчиво говорила о существованіи вѣчнаго великаго Бога, передъ властью котораго — ничто всѣ земныя власти и тлѣнныя величія. У язычества не было этой единой для всѣхъ людей верховной инстанціи, къ которой могло апелировать все обиженное и возмущенное, а у христіанъ она была. Вспомните слова Тэна относительно воспитанія человѣчества христіанствомъ. Со временъ язычества, по его мнѣнію, измѣнилась *самая глубина душъ*, явились психическія требованія, непримиримыя съ древними порядками. Создались два великихъ, чуждыхъ язычеству инстинкта: *совѣсть* и *честь*. Что касается чести, она еще могла сосуществовать съ несправедливостью, но совѣсть вступила съ ней въ великую борьбу. «Одинъ въ присутствіи Бога, говоритъ Тэнъ, христіанинъ почувствовалъ, что въ немъ какъ воскъ растаяли всѣ связи, соединявшія его съ жизнью его общества; онъ увидѣлъ себя предъ лицомъ непогрѣшимаго судьи, который видитъ души и судитъ ихъ каждую отдѣльно, а не въ общей кучѣ. Передъ судомъ Божіимъ ни одна душа не отвѣчаетъ за другую и ей вмѣняются лишь ея поступки. Эти поступки имѣютъ безконечное значеніе, и сама душа, искупленная кровію Божіей, имѣетъ безконечную цѣнность, и смотря по тому, оцѣнила она или нѣтъ жертву Божію, ее ожидаетъ вѣчная награда или такая-же казнь. Очевидно, это величайшій интересъ души, предъ которымъ ничто всѣ другіе интересы: главная забота души— оказаться праведной не передъ людьми, а передъ Богомъ. Каждый день въ душѣ начинается трагическій разговоръ, въ которомъ судья спрашиваетъ а грѣшникъ отвѣчаетъ. Діалогъ этотъ тянется восемнадцать вѣковъ; совѣсть изострилась, и человѣкъ постигъ безусловную справедливость».

Такъ въ душѣ средневѣковаго человѣка зарождался инстинктъ гуманности и протеста противъ порядка, ос-

нованнаго на насиліи. Высшій авторитетъ подавлялъ всѣ низшіе, высшій долгъ—всѣ земныя обязательства. Я позволилъ-бы себѣ прибавить къ приведенной мысли Тэна, что собственно инстинктъ совѣсти, могуче развитый христіанствомъ, въ своемъ зернѣ вообще прирожденъ человѣку, какъ естественный продуктъ лучшихъ началъ общественности. Еще задолго до христіанства этотъ инстинктъ проявлялся на верхахъ язычества; тоска по божеству души своей, по потерянному внутреннему раю, томила пиѳагорейцевъ, стоиковъ, эпикурейцевъ, неоплатониковъ, и благороднѣйшіе элементы язычества выдвинули такія «апостольскія» фигуры, какъ Будда, Зороастръ, Конфуцій, Пиѳагоръ, Сократъ, Эпиктетъ, Сенека, Маркъ Аврелій—эти языческіе предтечи «благовѣстія правды». Истинное христіанство бросило свои сѣмена не на безплодную почву; хотя тысячу лѣтъ эти сѣмена лежали *озимью*, не созрѣвшей нивой, но въ послѣдніе четыре вѣка изъ-подъ стаявшихъ снѣговъ римско-германскаго варварства показалась святая зелень и зрѣетъ уже, хотя жатва ея еще впереди. Что такое либерализмъ? Я не понимаю и не признаю этого явленія иначе, какъ то, чѣмъ оно называлось при своемъ появленіи,—иначе какъ гуманизмъ, человѣчность въ благородномъ значеніи этого слова. Можетъ быть, подъ терминъ «либерализмъ» подставляли разныя содержанія, и иногда безсовѣстныя, но я считаю это такимъ-же злоупотребленіемъ, какъ подстановку инквизиціи подъ христіанство. Истинный либерализмъ, по моему мнѣнію, есть развитіе нравственнаго лозунга, даннаго двѣ или двѣ съ половиной тысячи лѣтъ тому назадъ и неисчерпаннаго еще до сихъ поръ. Либерализмъ, какъ я его понимаю, есть стремящаяся воплотиться совѣсть. Рожденная вмѣстѣ съ человѣкомъ, вскормленная религіей, совѣсть явилась въ XV столѣтіи силой, требующей себѣ права жизни. Совѣсть потребовала, что-бы «Слово плоть бысть» и явилось въ міръ какъ дѣло, какъ реальный фактъ. Человѣкъ увидѣлъ, что праведнымъ передъ Богомъ

онъ можетъ быть только среди праведнаго общества, что грѣхъ поддеживать то, что есть грѣхъ, и что несправедливыя формы жизни, какъ-бы онѣ ни были милы сердцу и привычны, должны быть измѣнены. Честь перваго нравственнаго пробужденія принадлежитъ именно самой безвкусной расѣ—саксонской, болѣе всѣхъ чуткой къ добру, болѣе всѣхъ одаренной совѣстью. Германія—родина возстанія противъ мертвящаго духа католичества, Англія—родина обновленія феодальнаго строя: XVIII вѣкъ Франціи—порожденіе XVII-го вѣка Англіи. Наша либеральная эпоха, особаченая Я. П. Полонскимъ, есть ничто иное какъ дуновеніе нѣмецкой совѣсти на холодъ нашей жизни, на суровость крѣпостного быта. Европа не всегда одѣляла насъ полезными дарами, но въ общемъ играетъ роль духовнаго Гольфстрема: принося иногда бури, какъ эта океанская рѣка, западная культура обвѣвала приполярныя условія нашей исторіи тепломъ и влагою, вѣяніями справедливости и свободы. И въ особенности мы должны быть благодарны Германіи. «Люди сороковыхъ годовъ» были духовнымъ порожденіемъ нѣмецкой философіи. И до сихъ поръ, не смотря на временное омраченіе національнымъ эгоизмомъ, въ нѣдрахъ нѣмецкихъ массъ совѣсть продолжаетъ свою работу, медленно и постепенно выдвигая новый видъ реформаціи—соціальной. А взгляните на Англію съ ея грандіозною по нравственному значенію ирландскою реформой. Единственный источникъ этой реформы—возмущенная совѣсть. Что въ Англіи нашолся государственный дѣятель и даже правитель, отказавшійся отъ права насилія — это неудивительно: благородная страна эта—родина цѣлаго ряда Канинговъ и Уильбефорсовъ; но что на сторону великаго старца стала цѣлая половина націи—это мнѣ представляется удивительнымъ. Это явленіе огромное и краснорѣчивое, крайне новое въ исторіи и знаменательное. За реформаціей соціальной, лишь въ видѣ зари показавшейся на Западѣ, уже предчувствуется торжество свѣта и наступленіе новаго, можетъ-быть уже

окончательнаго вида реформы: нравственнаго преображенія людей. Что означаютъ эти недавно возникшія, но быстро развивающіяся движенія вродѣ университетскихъ поселеній въ Лондонѣ, сальвешіонистовъ, трезвенниковъ, вегетаріанцевъ, союзовъ вѣчнаго мира, этическихъ кружковъ, интелигентныхъ землѣдельческихъ колоній, кочующихъ университетовъ и пр. пр.? Воздержаніе, милосердіе, миръ, цѣломудріе, самопожертвованіе въ пользу темныхъ классовъ—эти девизы изъ прекрасныхъ книжекъ уже вышли въ жизнь и творятъ свое дѣло. Все это какъ мнѣ кажется, доказываетъ одно: что недавно явившаяся на сцену исторіи сила—совѣсть—ростетъ какъ зерно горчичное, ведя передовое человѣчество къ цѣли, предсказанной Христомъ.

XV.

Гуманизмъ есть не разрушеніе, а возстановленіе жизни. Какъ пробившаяся у отжившаго древеснаго листка почка выпускаетъ свой зеленый листочекъ, новое направленіе въ сущности есть возродившаяся молодость стараго и отличается отъ нея лишь цѣломудренною чистотой юности, яркой зеленью, сочностью и *внутреннимъ* ростомъ. Распускающійся листикъ построенъ по тому-же плану, какъ и его предшественникъ, хотя и не повторяетъ его буквально,—все отличіе въ томъ, что онъ не покрытъ еще дорожной пылью, не выросъ, не загрубѣлъ еще подъ солнечнымъ зноемъ и холодомъ ночи. Либерализмъ вѣдь тоже признаетъ и власть, и порядокъ, и законъ, и заслуженную аристократію, и свою семью, и религію—всѣ «основы», но живыя, еще не увядшія и не засохшія. Либерализмъ считаетъ эти основы такими-же священными, какъ и консерваторы, но требуетъ, чтобы эта святость истекала изнутри самого явленія, а не придавалась ему насиліемъ извнѣ: только то можетъ быть священно, что дѣйствительно безупречно. Порядокъ только тогда порядокъ, когда основанъ на нрав-

ственной истинѣ, иначе это узаконенный безпорядокъ. Законъ тогда лишь нравственно-обязателенъ, когда вытекаетъ изъ совѣсти, иначе онъ превращается въ обязательное беззаконіе. Вы аристократъ—такъ и будьте же имъ, т.-е. человѣкомъ выдающейся души (такъ-какъ человѣка составляетъ не тѣло его, а душа),—человѣкомъ возвышенной совѣсти прежде всего, затѣмъ таланта, ума, образованія и энергіи. Истинный аристократизмъ—лучшая роскошь природы, проявленіе великаго духа — пророка, апостола, мудреца, поэта, и во всякомъ случаѣ благодѣтеля общества. Но что такое аристократизмъ, пріобрѣтаемый, напримѣръ, покупкою баронскихъ правъ въ Германіи? Точно также и семья. Если мужчина и женщина связаны сердечной связью и дѣйствительно составили «плоть едину», если союзъ ихъ безупреченъ не по принужденію, а по любви и даетъ одно счастье—кто изъ либераловъ усомнится въ святости и ненарушимости такого брака? Но вѣдь въ жизни нерѣдко видишь иное: бракъ безъ влеченья, лишь видъ торговой сдѣлки, бракъ имуществъ и общественныхъ положеній, въ лучшемъ случаѣ лишь однихъ тѣлъ, а не душъ, бракъ. основанный на систематической измѣнѣ, съ истребленіемъ дѣтей еще въ утробѣ или забрасываньемъ ихъ. Что-же это за «основа», что въ ней святого? То-же и съ какимъ хотите культомъ, въ религіи, политикѣ, искусствѣ: вмѣсто благодати, когда-пустое мѣсто — и даже не пустое, а наполненное «мерзостью», т.-е. тѣмъ содержаніемъ, отрицать которое культъ и призванъ. Въ древней, иногда прекрасной формѣ, окаменѣвшей до неподвижности, царитъ духъ смерти и разложенія. И вотъ, когда это обнаруживается, является освободительный порывъ, который приходитъ «не нарушить законъ, а исполнить».

Чтобы понять опасность неистиннаго, ложнаго консерватизма, нужно только вспомнить общій органическій законъ для всего живущаго. Культура (т.-е. вся система

культовъ) подчинена закону зарожденія, развитія и одряхлѣнія. Даже самая лучшая, самая совершенная культура невѣчна. Разъ установившись и исчерпавъ логику своей основной мысли, изживъ все творчество живыхъ клѣтокъ, великій организмъ постепенно превращается въ механизмъ, т.-е. движущуюся систему абсолютно постоянную, несравненно болѣе правильную и уравновѣшенную, чѣмъ организмъ, даже болѣе сильную, но лишенную одного характернаго свойства живого тѣла—способности возстановлять свои части, энергію ихъ и волю. Механизмъ можетъ все, кромѣ этого, а въ этомъ-то и есть жизнь, броженіе, отличающее одухотворенное тѣло отъ вещи. Слишкомъ старыя культуры обыкновенно превращаются въ мертвыя машины, гдѣ человѣкъ уже не клѣточка тѣла съ ея особою замкнутою жизнью, съ микрокосмомъ идей, а лишь частица матеріала, сжатая какъ молекула въ желѣзныхъ формахъ общества. Такая участь можетъ постигнуть и нашу культуру,—по крайней мѣрѣ, многіе мыслители съ печалью предсказываютъ подобный исходъ. «Если, говоритъ Милль, индивидуализмъ не устоитъ проивъ стремленій нынѣшняго режима, то Европа, несмотря на все свое прекрасное прошедшее и несмотря на весь свой христіанизмъ, сдѣлается вторымъ Китаемъ» («О свободѣ»). Эту-же мысль раздѣляетъ Тардъ въ своемъ замѣчательномъ трудѣ («Законы подражанія»). «Современное государство, говоритъ онъ, переживъ состояніе подвижности, благопріятное развитію индивидуума, стремится перейти въ состояніе неподвижнаго обычая, которымъ и закончится работа всеобщаго объединенія». Вотъ какую угрозу заключаетъ въ себѣ консерватизмъ даже для либеральнѣйшихъ, демократическихъ обществъ. Это будетъ подобіе психической смерти или одичанія на вершинахъ культуры. Что такое дикарь, какъ не окостенѣвшій психически человѣкъ? Душа его неподвижна; все, что онъ знаетъ, что онъ любитъ и чего онъ

хочетъ—изъ года въ годъ, изъ вѣка въ вѣкъ остается въ одинаковомъ качествѣ и объемѣ, какъ у каменнаго идола его черты. Можетъ быть, съ космической точки зрѣнія это и есть настоящее *бытіе*, устойчивый покой, блаженство растенія или минерала, ощущающихъ нирванну, но для человѣка теперешняго типа въ Европѣ этотъ исходъ ужасенъ. Вѣчная неподвижность хотя-бы въ высокихъ и совершенныхъ формахъ претитъ даже непримиримымъ консерваторамъ. Европейская раса слишкомъ индивидуальна, слишкомъ геніальна въ семьѣ народовъ, чтобы помириться съ остановкой навсегда. Надо надѣяться, что все развивающееся образованіе народныхъ массъ, сближая таланты съ источниками знанія, будетъ выдвигать все большій процентъ оригинальныхъ людей, геніевъ и новаторовъ, такъ что творческое начало, можетъ быть, будетъ достаточно для борьбы съ косностью, для преодолѣнія того вѣчнаго сна, къ которому клонитъ человѣчество.

XVI.

Но можетъ случиться еще горшая опасность отъ возобладанія консерватизма: гипнозъ традиціи можетъ застать общество и не на вершинахъ цивилизаціи, а на среднихъ и даже низшихъ ея ступеняхъ, какъ, напримѣръ, у насъ въ московское время или теперь въ Абиссиніи. Въ такихъ случаяхъ на цѣлыя тысячелѣтія застываютъ порядки мрачные и жестокіе, нравы грубые, техника первобытная, наука зачаточная. Возникаетъ даже движеніе назадъ, къ давно-пройденнымъ формамъ, такъ-называемый регрессъ. Въ мірѣ органическомъ, особенно въ зоологіи, есть законъ физіологической инерціи, по которому любой органъ или его отправленіе, бывшіе вначалѣ необходимыми, иногда развиваются сверхъ нужнаго, переростаютъ потребность и становятся уже обременительными, мучительными и даже гибельными для организма. Есть маленькое животное изъ мягкотѣлыхъ, волоски котораго съ нижней

стороны до того разрослись втеченіе безчисленныхъ поколѣній, что превратились въ щетку, которая страшно затрудняетъ движеніе животнаго; ученые предсказываютъ, что еще рядъ поколѣній—и типъ этого животнаго исчезнетъ, вытѣсненный болѣе стройными и дѣятельными формами. Существуютъ молюски, выдѣляющіе изъ себя такъ много известковыхъ солей, что скорлупа ихъ превращается постепенно въ увѣсистую раковину; послѣдняя дѣлается дотого тяжелою, что животное уже не въ силахъ сдвинуть ее съ мѣста и умираетъ, замуравленное въ своихъ доспѣхахъ. Многочисленные примѣры этого страннаго, трагическаго закона встрѣчаются въ самыхъ различныхъ областяхъ, не исключая и исторіи народовъ. То, что нѣкогда было источникомъ крѣпости и величія государствъ, впослѣдствіи, переростая мѣру, становится причиною ихъ упадка. Греческая цивилизація погибла отъ изнѣженности, вытекшей изъ культа прекраснаго; Римъ былъ возвеличенъ завоеваніями и ослабленъ ихъ-же послѣдствіями; религіозный фанатизмъ далъ османамъ могущество, но онъ-же и погрузилъ ихъ въ замкнутость, поведшую къ спячкѣ и пр., и пр. Какъ отдѣльная личность, такъ и почти каждый народъ можетъ сказать:

„Что любилъ, въ томъ нашелъ
Гибель жизни своей...“

Законъ инерціи примѣнимъ, конечно, и къ либерализму, и тѣ крайнія отрицанія, о которыхъ я говорилъ выше, есть именно продуктъ этой инерціи; но особенно опасенъ онъ въ консерватизмѣ. Всѣ либеральныя крайности по природѣ своей не долговѣчны и не могутъ войти въ кодексъ жизни. Можетъ-ли, напримѣръ, шопенгауэровскій пессимизмъ сдѣлаться настроеніемъ массъ? Исторія не даетъ примѣра широкой распространенности отрицаній, тогда-какъ примѣровъ консервативныхъ крайностей въ ней сколько угодно. Я уже говорилъ о положи-

тельныхъ и цѣнныхъ сторонахъ консерватизма, генія-охранителя культуры, но въ силу инерціи это охранительное свойство постепенно превращается въ раковину тридакны или въ броню черепахи, душащую организмъ въ его собственномъ тѣлѣ. Изъ ложнаго чувства страха за свое существованіе, нація развиваетъ, напримѣръ, огромныя средства внѣшняго могущества, доводитъ ихъ до чудовищныхъ размѣровъ, постепенно подрывая всѣ свои жизненные источники; внѣшняго завоеванія нѣтъ, но незамѣтно наступаетъ внутреннее завоеваніе, домашній плѣнъ, ничуть не легче иноземнаго. По мнѣнію Пушкина, ходячему въ его время, крѣпостное право было необходимо для рекрутскихъ наборовъ; ему и въ голову не приходило, что непройдетъ и тридцати лѣтъ, какъ право это рухнетъ, а армія, тѣмъ не менѣе, увеличится втрое и рекруты сами будутъ являться въ призываемые участки. То-же крѣпостное право держалось ложнымъ чувствомъ страха за внутренній порядокъ: на помѣщиковъ смотрѣли какъ на «сто тысячъ полицмейстеровъ» (выраженіе императора Павла), однако внутренній порядокъ несомнѣнно возросъ съ паденіемъ крѣпостныхъ узъ. «Сначала образуйте народъ и тогда уже давайте ему свободу», кричали въ пятидесятыхъ годахъ,—однако опасенія бунта и истребленія дворянъ, вслѣдствіе реформы, безусловно не оправдались: невѣжественный народъ и пальцемъ не тронулъ своихъ бывшихъ господъ. Точно также изъ преувеличенной заботливости о порядкѣ въ иныхъ странахъ введена чрезмѣрная централизація; вся государственная дѣятельность вручена бюрократіи, классу наемныхъ чиновниковъ, далекихъ и чуждыхъ живому теченію жизни. Все остальное населеніе, т. е. вся нація лишена прикосновенія къ самымъ возвышеннымъ интересамъ своей общей судьбы, отчуждена отъ благороднѣйшихъ задачъ жизни — политическихъ и культурныхъ, а это сильно понижаетъ народную самодѣятельность, низводитъ общество къ низкому и грубо матеріальному уровню. Бездѣйствующія

высшія способности націи, согласно общему біологическому закону, атрофируются, отмираютъ. Все это очень ярко можно наблюдать на прекрасныхъ нѣкогда странахъ Востока, «родъ людской гдѣ спитъ глубоко ужъ девятый вѣкъ». Чѣмъ объяснить себѣ, что расы столь высоко-одаренныя, доказавшія уже свои государственныя способности, на цѣлые вѣка дѣлаются лѣнивыми, вялыми, нищими и безпомощными, ожидающими завоевателя какъ избавителя? Я думаю, тайна этого страннаго упадка духа заключается именно въ чрезмѣрномъ развитіи консерватизма. Надо замѣтить, что инертное по своей природѣ человѣчество охотно поддерживаетъ всякій консерватизмъ. Упорно противясь всякой новизнѣ, массы безспорно признаютъ все установившееся, даже собственное несчастье: огромное большинство обращеннаго въ рабство народа свыкается даже съ рабствомъ и находитъ его естественнымъ, чѣмъ и объясняется его прочность. Такимъ образомъ, консерватизмъ всегда имѣетъ просторъ нетолько для развитія, но и для переразвитія. Одна изъ постояннѣйшихъ чертъ этого явленія—потеря духа общественности, болѣе или менѣе полное отдѣленіе власти отъ народныхъ массъ. На Востокѣ народъ совершенно лишенъ самоуправленія. Дѣлаясь безвольнымъ, онъ въ силу этого постепенно теряетъ всякій интересъ, всякое вниманіе къ своему государственному бытію. Какъ-бы кастрированные въ отношеніи способности высшей общественной инициативы, эти народы-евнухи теряютъ инстинкты общественнаго творчества, лишаются широкой предпріимчивости и, какъ кастраты, коснѣютъ въ низменномъ эгоизмѣ, въ кромѣшной грызнѣ, въ хищничествѣ, ведущемъ къ нищетѣ. Вся воля, весь импульсъ, все зачатіе народной судьбы сосредоточены гдѣ-то въ Тегеранѣ, въ невѣдомой для народа дали; государственная душа какъ-бы отдѣлена отъ ея естественнаго тѣла и управляетъ послѣднимъ извнѣ: не органически, а механически. Машина вѣдь и отличается отъ живого тѣла

тѣмъ, что управляющая сила въ ней—внѣ ея. Въ психическомъ отношеніи такое упраздненіе народной воли существенно измѣняетъ народный характеръ, обездушиваетъ его и автоматизируетъ. Вспомните извѣстный физіологическій опытъ лишенія животныхъ большихъ полушарій мозга. Когда эти полушарія вынуты, животное не теряетъ способности къ жизни: оно ѣстъ, пьетъ, рефлекторно двигается, даже работаетъ (исключительно въ привычныхъ формахъ), идетъ, куда его ведутъ, хотя-бы въ пропасть—но все это безсознательно, безотчетно. У народовъ глубокаго Востока какъ будто вынуты большія полушарія мозга; это — народы-сомнамбулы, у которыхъ общественное сознаніе замерло въ видѣ неподвижнаго фатализма. Довольно близка къ подобному состоянію была Европа среднихъ вѣковъ, и чудо ея возрожденія говоритъ, что и Востокъ проснется.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не подивиться быстротѣ и роскоши разцвѣта жизни на старомъ Западѣ, лишь только повѣяло духомъ свободы. Двѣсти-триста лѣтъ тому назадъ Европа была погружена въ настоящее варварство; народъ былъ почти поголовно безграмотенъ, города тонули въ грязи, ни больницъ, ни вообще медицины не было, голодовки и эпидеміи истребляли населеніе стольже неотвратимо, какъ и теперь въ Персіи. Ни путей сообщеній, ни библіотекъ, ни музеевъ, ни выставокъ, ни даже школъ не было: рѣдкіе университеты и монастыри давали схоластическую начитанность лишь ничтожной части населенія. Промышленность была, правда, мѣстами развита (вѣдь и до сихъ поръ Персія славится коврами и шелкомъ), но служила спросу лишь высшихъ классовъ. Страшная грубость нравовъ начиналась тотчасъ-же за стѣнами дворцовъ; крайнее суевѣріе освѣщалось кострами инквизиціи; тишина мысли нарушалась лишь лязгомъ оружія да воплемъ разоряемыхъ деревень. Аристократія увядала въ распутствѣ, простонародье—въ рабствѣ. Но Европу спасло ея политическое разъединеніе.

Консерватизмъ, при всѣхъ стараніяхъ католичества, не могъ централизовать эту безконечно пеструю, разноплеменную, разноязычную семью народовъ, раздробленныхъ феодалами на десятки и сотни тысячъ независимыхъ единицъ. Власть хотя и была отдѣлена отъ народа, но была слишкомъ близка къ нему: всякій виланъ видѣлъ чуть не ежедневно своего сеньора, зналъ его душу и мысли, зналъ всю политику своего миніатюрнаго государства и участвовалъ въ ней ежеминутно. Кромѣ феодаловъ жили и развивались множество городскихъ общинъ, торговыхъ союзовъ, цеховъ и т. п., почти независимыхъ республикъ, гдѣ власть и слѣдовательно свобода была еще ближе къ народу. Эти мелкія самостоятельныя державки стремились превзойти другъ друга, были одушевлены горячею любовью къ своему маленькому уголку, который каждый гражданинъ лично зналъ вдоль и поперекъ и гдѣ онъ сознательно участвовалъ во всѣхъ интересахъ. Все населеніе втягивалось въ кругъ священныхъ задачъ своей родины, политическихъ и культурныхъ, а это удивительно облагораживаетъ всякое сознаніе, и единичное и общественное. Народная мысль, будучи выведена изъ области будничныхъ, узко-эгоистическихъ цѣлей на высоту горизонтовъ общаго блага, расширяется, одухотворяется и даетъ могучую природную интеллигенцію, которая никакимъ инымъ путемъ народиться не можетъ. Всюду въ христіанскомъ мірѣ извѣстная доза свободы не разрушала жизни, а возрождала ее: вызывала творческія силы, которыхъ никто до этого и не предчувствовалъ. Развязанный отъ оцѣпенѣнья, геній народовъ разливался надъ хаосомъ стараго быта и оплодотворялъ его.

XVII.

Въ настоящемъ бѣгломъ очеркѣ я, конечно, и не пытаюсь исчерпать всю глубину обѣихъ «правдъ»—истиннаго консерватизма и истиннаго либерализма. Въ особенности стѣснительно говорить о послѣднемъ. Мнѣ толь-

ко хотѣлось, говоря о литературныхъ нападкахъ на эпоху освобожденія, замѣтить, что литераторамъ—особенно столь почтеннымъ, какъ авторъ «Собакъ»,—не слѣдовало-бы относиться односторонне къ тому или другому великому настроенію въ исторіи. Я. П. Полонскій даетъ понять, впрочемъ, что онъ осмѣиваетъ не самый либерализмъ, что онъ противъ него ничего, пожалуй, не имѣетъ, а не довѣряетъ лишь быстрымъ переворотамъ, которыхъ будто-бы добиваются либералы. Маститый поэтъ предпочелъ-бы постепенное движеніе впередъ, растянутое на безконечность, на «бездну безконечныхъ переходовъ къ Богу». Но кто возьмется разрѣшить, что̀ такое постепенность въ ходѣ прогресса? До Бертольда Шварца стрѣляли изъ луковъ, а сейчасъ-же послѣ него стали стрѣлять изъ ружей. До Флавіо Джойо плавали безъ компаса, а̀ послѣ него сейчасъ-же стали употреблять компасы. До Уатта и Стефенсона ѣздили на лошадяхъ, а потомъ поѣхали на машинѣ. Возможно-ли прослѣдить здѣсь «безконечность переходовъ» отъ одного порядка явленій къ другому? Между вчерашнимъ и сегодняшнимъ днемъ въ исторіи часто нѣтъ никакого промежутка, но иногда залегаютъ настоящія пропасти и неизмѣримыя пространства. Припомните всѣ дѣйствительно великія открытія—Ньютона, Галилея, Лавуазье, Фарадея, Дарвина, Пастера и пр. и пр.—всѣ эти ученые совершили нетолько блестящіе, но и стремительные перевороты въ своихъ спеціальныхъ областяхъ. Великая идея—плодъ могущественнаго напряженія человѣческаго духа,—есть *откровеніе*, ключъ къ природной тайнѣ, позволяющій легко и быстро раскрыть то, что еще наканунѣ считалось недоступнымъ, непостижимымъ. Историческіе результаты, какъ и геологическіе, могутъ быть продуктомъ и крайне медленнаго наростанія причинъ, и быстраго подъема земныхъ силъ. Совпаденье внѣшнихъ условій съ внутренними иногда очень быстро измѣняетъ столь тонкую стихію, какова культура даннаго народа; втеченіе двухъ-трехъ поколѣній одинъ культъ смѣняется

другимъ, невѣжество превращается въ образованность, глубокое рабство—въ равноправность. Появленіе всего одной крупной личности иногда сдвигаетъ ходъ исторіи на совершенно новый путь; между Петромъ I и Пушкинымъ промежутокъ всего семьдесятъ лѣтъ по времени. Припомните, во что́ обратились Соединенные Штаты всего въ одну сотню лѣтъ изъ довольно жалкихъ колоній, или Австралія изъ мѣста ссылки каторжниковъ, или наконецъ всѣ западные наши сосѣди. Изъ невѣжественныхъ и нищихъ странъ съ неосвѣщенными грудами лачугъ, вмѣсто городовъ, они перестроились въ цвѣтущія хозяйства съ центрами наукъ и искусствъ, гдѣ въ иномъ переулкѣ больше чудесъ свѣта, чѣмъ было во всемъ древнемъ мірѣ. Жизнь, конечно, можетъ двигаться крайне слабо и даже стоять на мѣстѣ, какъ гдѣ-нибудь въ центрѣ Африки. Но она можетъ идти и сильнымъ, жизнерадостнымъ ходомъ, какъ курьерскій поѣздъ, обгоняющій крестьянскую клячу, какъ электричество телеграфа, обгоняющее пѣшаго земскаго почтаря. Разъ мы имѣемъ великое изобрѣтенье,—въ нашей волѣ или пренебречь имъ, какъ китайцы желѣзными дорогами, или пустить сейчасъ-же въ дѣло, и мнѣ кажется, нужно торопиться вводить великія идеи въ жизнь, если народъ не хочетъ отставать отъ сосѣдей. Какъ золотая руда, нечаянно открытая, подобная идея должна сейчасъ-же разрабатываться, и каждый годъ отсрочки есть прямой убытокъ. Пастеръ открылъ прививку бѣшенства, причемъ въ лѣченіи этой болѣзни произошелъ безконечно быстрый скачокъ. Предположимъ, что испугавшись этой быстроты, мы стали-бы вводить какую-то постепенность пользованія этимъ средствомъ: начали-бы съ средневѣковыхъ лекарствъ, продѣлали-бы всѣ совѣты латинской кухни и лѣтъ этакъ черезъ тысячу позволили-бы лѣчить мужика прививкой... Но вѣдь рѣшительно то-же самое и во всѣхъ областяхъ жизни: всюду существуютъ великія открытія, ключи къ счастью, и весь вопросъ въ томъ:

пользоваться ими или не пользоваться? Еще Наполеонъ I-й считалъ идею пароходовъ сумбурной. Тьеръ хохоталъ въ парламентѣ отъ одной мысли, что желѣзныя дороги можно будетъ примѣнить къ перевозкѣ тяжестей и пассажировъ. Какъ видите, даже замѣчательные люди часто боятся нововведеній и иногда при этомъ дѣлаютъ грубыя ошибки ко вреду своихъ народовъ. Но если простительно колебаться предъ идеей хотя-бы и великой, но новой, не испытанной, то тѣмъ печальнѣе пренебреженье старыми великими открытіями, всесторонне испытанными...

Изящная литература уже по природѣ своей консервативна. Но консерватизму этому пора уже обратиться къ выраженію *новой* культуры, установившейся въ христіанскомъ мірѣ, къ защитѣ хотя еще слабыхъ, но истинно-народныхъ и гуманныхъ началъ освободительныхъ. Начала эти еще не вылились въ стройную и сильную культуру, но это вопросъ не столько времени, сколько нашихъ усилій. Литература слишкомъ дорогой продуктъ національной жизни, чтобы тратить ее на вздохи о невозвратной, да притомъ еще и недоброй красотѣ: когда-же, господа, мы начнемъ создавать *свою собственную* и красивую, и добрую культуру? Когда-же мы разберемся среди развалинъ?

Я думаю, что освободительная эпоха, осмѣиваемая «Собаками» Полонскаго, плохо-ли, хорошо-ли,—именно задавалась этой высокой цѣлью: построить новое, просторное и свѣтлое зданіе для великаго русскаго племени, вывести его изъ развалинъ въ домъ съ «европейскими удобствами», не исключая удобствъ сердца, ума и совѣсти. Либерализмъ желалъ создать то, что консерватизму стоило-бы защищать.

Литературная хворь.

Н. С. Лѣсковъ по поводу моихъ взглядовъ на консерватизмъ искусства («Двѣ правды») прислалъ мнѣ письмо, въ которомъ выражаетъ недоумѣніе—какъ связать съ консерватизмомъ художниковъ такія явленія, какъ «Хижина дяди Тома» или «Записки Охотника», «воспитывавшія умы и сердца».

Я позволю себѣ замѣтить, что и эти, столь гуманныя, содѣйствовавшія низверженію рабства книги были глубоко консервативными. Онѣ явились продуктомъ долгой нравственной культуры, голосомъ весьма прочной, хоть и не господствующей традиціи. Въ самомъ дѣлѣ, въ Америкѣ хотя и существовало рабство со всѣми его ужасами, но одновременно съ нимъ существовалъ и духъ благочестія. Коренные сѣверо-американцы—потомки религіозныхъ, нѣкогда гонимыхъ въ Европѣ общинъ. Эти общины еще на старой родинѣ выработали въ ряду поколѣній нравственное міросозерцаніе, до такой степени устойчивое, что имъ пришлось искать себѣ новаго отечества. Это была культура старая, слагавшаяся постепенно въ средніе вѣка и отлившаяся въ стройныя формы въ вѣкъ реформаціи. Американизмъ начала этого вѣка, кромѣ торгашества, былъ еще сильно проникнутъ пуританизмомъ. Возвышенное и строгое настроеніе пуританъ, этого новаго Израиля, отъ поколѣнія къ поколѣнію передавало

завѣты совѣсти, вынесенные изъ Библіи. Старый пуританизмъ — расцвѣтъ души самой совѣстливой изъ расъ — германской. Никогда—если не считать временъ апостольскихъ—бóльшія массы населенія не охватывались столь жгучимъ, пламеннымъ стремленіемъ къ Божьей правдѣ, и какъ ни тяжки были цѣпи противоположной традиціи — рабства и насилія — возмущенная совѣсть преоборола ихъ. Бичеръ-Стоу, какъ и множество другихъ менѣе извѣстныхъ «мятежниковъ совѣсти», явилась не либераломъ, не новаторомъ, а выразительницей стараго, окрѣпшаго уже теченія—иначе ея книга (въ художественномъ отношеніи слабая) не произвела-бы столь необъятнаго волненія. Доброе сѣмя упало на добрую почву и дало плодъ сторицей, но и само оно могло появиться лишь изъ доброй почвы, а не изъ безплодной.

Тоже самое и «Записки Охотника». Несомнѣнно, онѣ проникнуты состраданіемъ къ крѣпостному рабу, но это состраданіе во времена молодости Тургенева и въ обстановкѣ, гдѣ онъ воспитывался, было уже традиціей и довольно прочной. Нельзя забывать, что Тургеневъ, какъ и Л. Н. Толстой и большинство нашихъ классиковъ явились дѣтьми далеко не одной лишь русской стихіи, какъ совершенно невѣрно, хотя и весьма настойчиво утверждаютъ нѣкоторые современные критики. Наши великіе писатели имѣли большое счастье явиться нетолько среди установившагося родного быта, но и въ эпоху могущественныхъ западныхъ вѣяній, которыя они впитывали въ себя чуть не съ колыбели. Безобразная сторона крѣпостного рабства въ благоустроенныхъ дворянскихъ усадьбахъ была удалена отъ дѣтскихъ очей; ни тяжкій трудъ на барщинѣ, ни истязанія въ конюшнѣ, ни оргіи въ домашнихъ вертепахъ, ни горькая судьба ссылаемыхъ въ Сибирь, заковываемыхъ въ солдаты, продаваемыхъ какъ скотъ крестьянъ не оскверняли ихъ глазъ и не входили въ души какъ элементъ воспитанія. Кое-что доходило до ушей, а иногда и до глазъ дѣтей,

но полуприкрытое и неразъясненное. Зато въ своемъ гнѣздѣ, въ дѣтской, въ классной, въ спальнѣ, въ библіотекѣ, въ кабинетѣ отца и комнатѣ матери маленькіе Тургеневы и Толстые дышали совсѣмъ инымъ воздухомъ, инымъ свѣтомъ. У Тургенева, правда, была несчастная семья, но и около него были, по обычаю, съ самыхъ юныхъ лѣтъ представители иной цивилизаціи, посланники иного міра: дядька-французъ, гувернантка-англичанка, учитель-нѣмецъ. Въ болѣе счастливыхъ семьяхъ сама мать, воспитанная въ институтѣ въ правилахъ религіи и морали, на иностранныхъ сентиментальныхъ романахъ, любвеобильныя чувствительныя тетки окружали подроставшее поколѣніе стихіей гуманности; въ томъ-же духѣ вліяли нянюшки, гувернантки и гувернеры. Что-бы ни говорили о низкомъ уровнѣ развитія прежнихъ иностранныхъ гувернеровъ, о томъ, что барабанщики великой арміи становились у насъ чуть не профессорами, но все-же это были люди иной культуры, иного міросозерцанія. Надо помнить, что даже маленькіе люди той эпохи, какіе нибудь капралы великой арміи, были одушевлены передовыми идеями; выброшенные изъ кипучаго котла тогдашней Европы, воспламененные тѣми или иными идеалами, начитавшіеся популярныхъ писателей, они являлись и «въ снѣгахъ Россіи» апостолами свободы, правъ человѣка, человѣческаго достоинства, состраданія къ несчастнымъ, и т. п. То огромное вліяніе, какое имѣлъ Лагарпъ на Александра I, въ миніатюрѣ повторялось во множествѣ дворянскихъ усадебъ. Внося не мало глупыхъ западныхъ обычаевъ и привычекъ, пріучая къ пороку слѣпого подражанія, эти нѣмцы, французы и англичане, вздыхавшіе о своей родинѣ, давали своимъ воспитанникамъ и все лучшее, что сами вынесли изъ родной культуры, въ общемъ, все-же болѣе гуманной, нежели тогдашняя русская. А главное, они давали дѣтямъ свой языкъ, т. е. если не плоть, то кровь своего духа, несущую, какъ кровь въ тѣлѣ, кислородъ

свѣжаго воздуха Запада въ самые потаенные уголки русской души. Для дворянскихъ дѣтей того времени иностранные языки были такими-же родными, какъ и русскій, а иногда и роднѣе его: Пушкинъ выучился по-русски уже послѣ того, какъ началъ говорить по французски. Конечно, между иностранными гувернерами попадались и настоящіе негодяи, но тѣ не уживались долго на скромныхъ педагогическихъ должностяхъ,—они пристраивались къ болѣе доходнымъ источникамъ, въ камердинеры, управляющіе, секретари пожилыхъ барынь, въ чиновники, — или, проворовавшись, изгонялись. На бѣдно-оплачивавшихся мѣстахъ дядекъ и учителей оставались обыкновенно честные, добросовѣстные, недалекіе субъекты, неудачники - идеалисты вродѣ толстовскаго Карла Ивановича или тургеневскаго Лемма, столь трогательно и нѣжно описанныхъ великими ихъ учениками. Они вносили вмѣстѣ съ прописной моралью, съ tenez vous droit и sei artig, можетъ-быть, безсознательную, но уже прочную нравственную традицію западнаго человѣка — отвращеніе къ рабству. Тургеневъ и Толстой явились только выразителями этой традиціи, не новаторами ея, а какъ-бы продолжателями.

Я намѣренно поставилъ вліяніе этихъ маленькихъ, незамѣтныхъ человѣчковъ—нянекъ и гувернеровъ—на первомъ планѣ, такъ-какъ по моему мнѣнію, никакая школа, никакой университетъ, никакое общество не кладутъ своей печати на человѣка въ такой степени, какъ кучка лицъ окружавшая его дѣтскую кроватку и дѣтскій столикъ. Но чрезвычайно важны, конечно, и дальнѣйшія вліянія юности, и дворянская усадьба давала ихъ въ томъ-же родѣ, какъ и европейцы-воспитатели. Надо вспомнить, что кромѣ дядекъ и гувернеровъ многіе изъ нашихъ писателей встрѣчали иностранцевъ въ дѣтствѣ въ лицѣ близкихъ родныхъ. Пушкинъ и Лермонтовъ—внуки нѣмокъ, Жуковскій, Григоровичъ, Герценъ, Некрасовъ, Фетъ и мн. и др. были полурусскіе по

крови, и въ чисто-русскую культуру ихъ дѣтства все-же вторгалась замѣтная иная стихія. Дворянство наше, никогда не отличавшееся чистотой крови, со временъ Петра сильно перемѣшалось съ нахлынувшими къ намъ нѣмцами, остзейзами, шведами, французами и теперь, напримѣръ, трудно всрѣтить дворянина, у котораго не было-бы какой-нибудь примѣси. Вмѣстѣ съ кровью наше дворянство заимствовало отъ иностранцевъ нѣчто и отъ культуры Запада. Воспитаніе укрѣпляло эти вліянія. Вооруженный иностранными языками и согрѣтый симпатіями къ родинѣ разсказаныхъ нѣмцами чудныхъ сказокъ и преданій, юноша отправлялся въ домашнюю библіотеку и наталкивался тамъ на такихъ-же нѣмцевъ, французовъ и англичанъ, лучшихъ выразителей цивилизаціи. Онъ встрѣчалъ тамъ сентиментальные романы, героическія драмы и поэмы, нѣжныя баллады, пламенныя рѣчи энциклопедистовъ, религіозныя, философскія, ученыя откровенія—и ото всего этого вѣяло отрицаніемъ рабства, воззваніемъ къ чести и совѣсти человѣка, къ его разуму, права которыхъ были попраны тогда въ жизни слишкомъ рѣзко. Чѣмъ талантливѣе былъ юноша, тѣмъ тѣснѣе онъ прилѣплялся къ книжнымъ шкафамъ съ иностранцами и въ свою русскую душу вливалъ иную, забытую, хотя и родственную своей расѣ стихію. Тогдашніе университеты продолжали эти вліянія: въ нихъ уже ровно ничего не было русскаго; это были уже настоящія посольства отъ западной культуры, гдѣ все было, начиная съ языка, иноземное. Вступивъ въ самую жизнь, талантливый юноша того времени оказывался болѣе чѣмъ полуевропейцемъ: художнически онъ могъ быть влюбленнымъ въ свой родной общественный бытъ, но въ то-же время влюбленъ былъ и въ начала своей второй родины—западно-европейскія. «Тѣло мое принадлежитъ Россіи, говорилъ одинъ изъ героевъ Фонвизина, душа-же—коронѣ французской». Если въ прошломъ вѣкѣ и началѣ нынѣшня-

го преобладала еще старая, московская культура (не слишкомъ далекая отъ тогдашней западной), то въ нынѣшнемъ столѣтiи въ русскомъ человѣкѣ выросла какъ-бы вторая душа, начинавшая тѣснить первую и временами даже вытѣснять ее. Въ Пушкинѣ еще довольно крѣпко держался москвичъ стараго типа, въ Тургеневѣ преобладалъ уже новый европеецъ, консерваторъ того, что въ Европѣ уже перестало быть «новостью».

II.

Такимъ образомъ, какъ мнѣ кажется, прирожденный консерватизмъ художниковъ не мѣшаетъ имъ являться въ качествѣ зачинателей новыхъ движенiй: для этого имъ нужно только быть представителями культуры *высшей*, нежели та, среди которой они дѣйствуютъ. Художникъ-писатель, какъ выразитель своей культуры, представляетъ ея лучшую энергiю; если эта культура высока, она приподнимаетъ и общество читателей до своей высоты. Художникъ въ этомъ случаѣ даже могущественнѣе мыслителя. Онъ покоряетъ своему внушенiю несравненно бо́льшую массу людей и несравненно крѣпче, нежели философъ, проповѣдующiй то-же самое, только въ символахъ мысли. Языкъ отвлеченныхъ понятiй, какъ алгебра, несвойственъ толпѣ, тогда-какъ картина понятна каждому. Картина художника дѣйствуетъ, какъ сама жизнь, на чувства; какъ и жизнь, она—происшествiе, событiе, разоблаченiе, а все разоблаченное потому-лишь притягиваетъ къ себѣ, что оно даетъ *полное* понятiе о вещи, вѣрное и почти научное по точности. Созерцая въ картинѣ художника какъ-бы раскрытый механизмъ жизни, толпа слѣдитъ за ходомъ безчисленныхъ колесиковъ и пружинъ жизни, и только такое разсматриванье можетъ дать настоящее понятiе о механизмѣ, его идею. Люди воочiю должны видѣть ту культуру, которую писатель носитъ въ себѣ, ея

точные контуры, черты и краски, трепетъ ея живого тѣла, что очень трудно объяснимо отвлеченнымъ способомъ. Можно прочесть сотни томовъ исторіи и законодательства старой Россіи, но вы извлечете изъ нихъ менѣе живое и вѣрное представленіе о тогдашнемъ бытѣ, нежели изъ одного разсказа Пушкина или Гоголя. Сколько-бы вы ни читали описаній, напримѣръ, океана, египетскихъ пирамидъ или Везувія, но одинъ взглядъ на нихъ въ нѣсколько мгновеній дастъ вамъ безконечно болѣе точное о нихъ понятіе. Но все видѣть и все наблюдать самому невозможно. Тутъ и приходятъ на помощь художники. Какъ настоящіе органы чувствъ общества, они отражаютъ въ себѣ формы, цвѣта, краски, всю картину жизни и ставятъ эту картину передъ глазами отдѣльныхъ людей, продолжая ограниченное зрѣніе ихъ во всѣ стороны на необъятныя разстоянія. Не сходя съ мѣста, вы видите жизнь кавказскихъ горцевъ или общество генераловъ, обѣдающихъ въ Баденъ-Баденѣ («Дымъ»), вы видите пиръ во время чумы и слышите хватающую за сердце пѣсенку Женни; раскрыли другую книгу—передъ вами бѣгство французовъ изъ Москвы, Пьеръ Безухій и солдатикъ Каратаевъ, причемъ вы видите самую глубину ихъ душъ, куда собственный вашъ глазъ при встрѣчѣ съ ними и не проникъ-бы. Другой художникъ раскрываетъ вамъ жизнь принца датскаго и свирѣпыхъ англійскихъ лордовъ, третій даетъ передъ вами сраженія съ маврами, воскрешаетъ Сидовъ, Роландовъ, Баярдовъ и т. п. Какъ великій живописецъ или скульпторъ даютъ возможность видѣть иные міры и иныя существа, какъ великій музыкантъ позволяетъ подслушивать такія движенія души, которыя иначе никогда не услышалъ-бы самъ — талантливый писатель-художникъ переноситъ васъ въ ту эпоху, въ то общество и культуру, которыми онъ самъ проникся. Талантливые художники, подобно индійскимъ факирамъ, обладаютъ чудесною спо-

собностью вызывать галлюцинаціи у совершенно трезвыхъ и здоровыхъ людей. Какъ факиръ, взмахнувъ нѣсколько разъ палочкой, заставляетъ васъ видѣть человѣка, идущаго по воздуху, такъ истинный поэтъ, взмахнувъ перомъ, заставляетъ васъ переживать совсѣмъ несуществующую жизнь, любоваться природой и людьми, отдѣленными отъ васъ и временемъ, и пространствомъ. Чудная, могучая власть! Но секретъ ея не такъ простъ какъ кажется. Чтобы навѣвать чары, необходимо самому быть очарованнымъ, одержимымъ духомъ, необходимо самому до иллюзіи, сосредоточить въ себѣ образъ, который желаешь вызвать. Нѣкоторые люди съ сильнымъ воображеніемъ, напряженно представляя себѣ извѣстнаго человѣка, въ состояніи вызвать галлюцинаціи у этого человѣка за тысячи верстъ, чѣмъ и объясняются призраки. Нѣчто подобное этому происходитъ и въ художественномъ творчествѣ. Овладѣвшая художникомъ иллюзія отражается, какъ свѣтъ или звукъ въ физикѣ, подъ тѣмъ-же угломъ и въ душѣ читателя. Но чтобы такая иллюзія создалась въ первоисточникѣ — воображеніи художника—необходимо, чтобы онъ превосходно зналъ то, что изображаетъ, чтобы съ его памятью органически срослись всѣ стороны его культуры, чтобы онъ сотни разъ наблюдалъ лично или наслѣдственно, чрезъ предковъ, каждую ея черту и заучилъ-бы ее совершенно отчетливо. Только при этомъ условіи иллюзія получится яркая; иначе, при не полномъ знакомствѣ художника съ жизнью, которую онъ взялся изображать, отраженіе получится неполное, уродливое, не явится настоящей иллюзіи ни у самого художника, ни у читателя. Вотъ этою-то причиною—невѣжествомъ иныхъ талантливыхъ художниковъ въ отношеніи «натуры»—и объясняются ихъ неуспѣхи. Невѣжество это всегда невольное; если художникъ даровитъ, онъ имѣетъ потребность изучать жизнь, но не всегда это возможно, не всегда на лицо есть *натура*, пригодная для изученія.

III.

Лучшая школа для художника — такая обстановка, которая облегчаетъ ему запоминаніе постоянныхъ формъ существующаго. Не всякая дѣйствительность есть «натура», а только та, которая сложилась въ опредѣленныхъ и прочныхъ формахъ, съорганизовалась и приняла «бытіе». Хаосъ недоступенъ наблюденію; мы не въ состояніи ни запомнить, ни передать ничего безформеннаго. Въ жизни общества, чтобы она отразилась въ искусствѣ, необходимо постоянство формъ, необходимъ прочный бытовой укладъ, словомъ — культура. У насъ нѣтъ, къ сожалѣнію, такой культуры. Съ конца прошлаго столѣтія и особенно въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ въ просвѣщенномъ свѣтѣ происходитъ настоящій разгромъ бытовыхъ формъ, вѣрованій, законовъ, міросозерцаній и даже внѣшности жизни. Такая жизнь — плохая школа для художника; какъ «натура», она не даетъ себя запомнить, бепрерывно мѣняется, разсыпается, и дѣло дошло до того, что каждыя десять, даже пять лѣтъ появляются новые общественные типы, новые характеры и теченія. Кромѣ рухнувшаго древняго зданія жизни, развалины котораго стоятъ неубранными, со всѣхъ концовъ свѣта, изъ всѣхъ эпохъ и народовъ свезены груды новаго идейнаго матеріала, можетъ быть, дорогого и даже драгоцѣннаго, но не связаннаго въ общій планъ. Какого быта художникъ возьмется быть выразителемъ, «пѣвцомъ» какой культуры? Какая иллюзія возможна для картины, мѣняющей и краски, и тѣни, и самое содержаніе? Немудрено, что художники держатся за то, что осталось еще отъ великаго крушенія, за болѣе крупные уцѣлѣвшіе обломки, за болѣе грубыя части, въ силу грубости своей менѣе потерпѣвшія. Когда рушится храмъ, прежде всего дробятся самыя тонкія, дорогія, его части,—такъ и въ старой культурѣ прежде всего исчезли

интеллектуальные типы; менѣе пострадали средніе слои и еще менѣе фундаментъ зданія — народъ. Среди мелкаго чиновничества и купечества нынче болѣе цѣльныхъ и характерныхъ явленій, чѣмъ среди интеллигенціи, а въ народѣ и еще больше. Но едва-ли хватитъ надолго этихъ обломковъ прошлаго. Нашему поколѣнію пора создавать свое настоящее, свою культуру, и такъ-какъ для художниковъ это еще важнѣе, нежели для простыхъ смертныхъ, то они и должны стать впереди этого дѣла. Необходимо разобраться въ строительномъ матеріалѣ, что-то такое выбрать оттуда, собрать хаосъ въ новыя стройныя формы, которыя, по выраженію Гончарова, «повторили-бы древность». Необходимо показать воочію тотъ храмъ жизни, который долженъ подняться на мѣстѣ развалинъ былой культуры.

Къ сожалѣнію, среди нашихъ художниковъ незамѣтно *сознательнаго* стремленія къ этой великой работѣ. Какъ подмастерья среди заготовленнаго матеріала, растерявшіеся безъ архитектора, художники не знаютъ съ чего начать, какому общему плану слѣдовать; прежнимъ художникамъ этотъ планъ давала прочная культура ихъ времени, теперь-же ея нѣтъ. Но такъ-какъ инстинктъ и нужда требуютъ дѣла, художники начинаютъ работать что попадетъ, отражать въ своемъ объективѣ безъ всякаго выбора весь мусоръ, какимъ полна эпоха развалинъ. Литература вмѣсто застроеннаго, воздѣланнаго міра жизни, какъ нѣкогда, превращается въ свалочное мѣсто безчисленныхъ обломковъ, въ обширный строительный дворъ, еще мертвый въ ожиданіи строителей. Ихъ нѣтъ, а они нужны. Необходимъ какой-нибудь руководящій, обобщающій принципъ, который собралъ-бы разсѣянныя силы искусства.

Мнѣ кажется, этимъ руководящимъ принципомъ, этимъ Духомъ, носящимся надъ хаосомъ, служитъ *нравственное начало* новой жизни, та назрѣвшая въ старину новая совѣсть, работа которой превратила старую жизнь въ

развалины.—Работа совѣсти не должна остановливаться на разрушеніи зла: ея цѣль—созиданіе добра, осуществленіе нравственнаго идеала, иначе эта работа безплодна. Для созданья-же добра необходимо брать только лучшее, только совершенное, что можно найти вокругъ въ неисчерпаемыхъ матеріалахъ цивилизаціи, по примѣру нашихъ классиковъ, впитавшихъ въ себя только лучшее молоко своей матери-Россіи и только лучшій воздухъ Запада. Для постройки прочнаго, вѣкового зданія необходимъ лучшій камень, лучшая известь, лучшее желѣзо. Свойствами матеріала въ значительной степени опредѣляется самый планъ зданія, его архитектура: нельзя изъ дерева строить готическаго собора или изъ глины — Эйфелевой башни; даже для камня и желѣза существуютъ предѣлы давленій, изъ которыхъ выходить нельзя. Трудно, невозможно напередъ начертить зданіе будущей культуры,—какъ стихія, она строится массовыми, стихійными силами всей расы. Художники не должны смущаться тѣмъ, что имъ самимъ не ясны контуры того великаго цѣлаго, которое они призваны, во главѣ общества, создать: лишь-бы они искренно вѣрили въ основной законъ своей работы—тотъ, что жизнь есть жизнь по стольку, по скольку она осуществленіе совѣсти, такъ-какъ только совѣсть указываетъ лучшее и совершенное, наиболѣе жизнеспособное и счастливое.

Нето мы видимъ въ современномъ искусствѣ вообще и въ литературѣ—въ частности. Для отраженія въ искусствѣ берутъ далеко не лучшее, а иногда дурное и даже худшее. Дѣти своего времени, художники выражаютъ главную черту его — разстройство; проникшись смѣшеніемъ формъ, они даютъ бредъ идей и образовъ. «Въ концѣ вѣка» въ душѣ европейца замѣчается нездоровое, странное настроеніе. Появились декаденты, символисты, мистики, порнографы, эстеты маги, визіонеры, пессимисты — множество мелкихъ школокъ несомнѣнно психопатическаго характера. Какъ всякая психическая

зараза, эта гниль души быстро овладѣваетъ какъ европейскою, такъ и нашей интеллигенціей, вліяя даже на огромные таланты вродѣ Гюи-де-Мопасана. Общая черта всѣхъ этихъ болѣзненныхъ оттѣнковъ — противоестественность, отрицаніе жизни, извращеніе природы. Какъ въ кучкѣ сумасшедшихъ архитекторовъ, одни изъ художниковъ (крайніе натуралисты) отрицаютъ всякій планъ и признаютъ только матеріалъ, другіе (декаденты) разлагаютъ его на молекулы и атомы, наслаждаясь распаденіемъ вещества, третьи (мистики) задаются въ чертежѣ зданія безконечною осью и матеріаломъ берутъ туманъ и дымъ, четвертые (пессимисты) отрицаютъ и матеріалъ, и планъ, и самую возможность какой-либо постройки, воспѣвая величіе пустоты. Связанные общею чертою—недовѣріемъ къ природѣ, какъ она есть, эти помѣшанные разныхъ оттѣнковъ проникаются маніями другъ друга: декаденты въ то-же время и мистики, крайніе натуралисты — декаденты; даже пессимисты въ сущности не что иное, какъ вывороченные наизнанку мистики. Творенія нѣкоторыхъ нынѣшнихъ поэтовъ, беллетристовъ, философовъ и даже ученыхъ естествовѣдовъ свидѣтельствуютъ о несомнѣнномъ навожденіи на нихъ душевной «порчи», какъ говоритъ народъ. Послѣ яснаго и строгаго языка, выработаннаго безконечными усиліями классиковъ, въ литературу начинаетъ вводиться языкъ нашептываній и наговоровъ, жаргонъ заклинателей и сивиллъ, пріемы и обстановка средневѣковыхъ сказокъ съ заколдованными принцессами, гномами, вѣдьмами, демонами. Талантливые и искренніе поэты начинаютъ грезить какъ лунатики; подобно нашимъ юродивымъ, они стараются произвести впечатлѣніе страннымъ и страшнымъ наборомъ словъ, безпрерывно мѣшая молитвы съ цинической грязью; изъ самыхъ возвышенныхъ эмпиреевъ неба они бросаются въ самые смрадные подонки праха и въ противоестественномъ ищутъ своего лучшаго меда. Здравый и трезвый смыслъ, простая логика, здоровое чувство

кажутся имъ пошлыми и непріятными; они ищутъ идей внѣ разума, ощущеній внѣ нормальныхъ чувствъ. Болѣзненные сладострастники духа, декаденты влюблены въ безуміе, въ призраки, въ наркозъ человѣческой рѣчи, превращенной въ паръ, разложенной на элементы. Каждое слово есть идея или элементъ идеи; сдѣлайте такой опытъ: нарѣжьте изъ картона вычурныхъ и звучныхъ словъ, страшныхъ заклинаній, проклятій и благословеній, всыпьте въ обыкновенный калейдоскопъ и вертите его: арабески словъ дадутъ вамъ понятіе о самой модной поэзіи символизма. Поэзія-ли она? Увы, да, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ элементовъ поэзіи—упоенье:

Есть упоеніе въ бою,
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы...
Все, все, что гибелью грозитъ
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья...

IV.

Декаденство есть единственная возможная поэзія упадка культуры, разложенія общественной жизни. Развѣ развалины не имѣютъ своей поэзіи? Въ дикомъ, стихійномъ потокѣ словъ у декадентовъ нѣтъ мысли, но есть музыка, есть какой-то тонкій и сладкій ядъ, вызывающій у привычныхъ къ нему нездоровыя, но плѣнительныя настроенья. Вѣдь и въ обыкновенной музыкѣ нѣтъ мысли, но извѣстный наборъ и ритмъ звуковъ заставляетъ дрожать отвѣтно самыя интимныя струны человѣческаго сердца. Вѣдь и музыка въ извѣстномъ количествѣ—ядъ, особенно культурная, переутонченная до Вагнеровской «диссоціаціи звуковъ». На этомъ основаніи

декаденты и строютъ свою школу, и очень быстро, втеченіе одного десятилѣтія завоевали огромныя области искусства, поднимая флаги свои даже на неприступныхъ твердыняхъ философіи, морали и науки. Отбросивъ шутовство этой школы, ограничившись безспорными талантами, слѣдуетъ признать въ декадентствѣ серьезную потребность нашей эпохи. По какой причинѣ совершается этотъ поворотъ вкусовъ? Почему послѣ увлеченія яснымъ, законченнымъ, реальнымъ, начинаетъ нравиться туманное, сырое, блеклое, загадочное? «Въ поэзіи, какъ утверждаетъ одинъ поэтъ-декадентъ, то, что не сказано и мерцаетъ сквозь красоту символа, дѣйствуетъ сильнѣе на сердце, чѣмъ то, что выражено словами»; «мысль изрѣченная есть ложь»; «людямъ нужно священное безуміе героевъ и мучениковъ» и т. п. Новое искусство имѣетъ, по его словамъ, три главныхъ элемента: «мистическое содержаніе, символъ и расширеніе художественной впечатлительности». Другой поэтъ въ своихъ «Сонетахъ» признается, что «есть мысли—въ нихъ зіяетъ разрушенье, есть музыка безумно-дерзкихъ словъ», и что «лишь внемля имъ», онъ «живъ и жить готовъ». Третій, самый выдающійся изъ нашихъ молодыхъ поэтовъ временами буквально заговаривается, доходитъ до голубыхъ и розовыхъ звуковъ, до полной безсмыслицы, хотя звучащей и красиво. За этими молодыми извѣстностями тянется длинный рядъ поэтиковъ меньшей величины (между ними, впрочемъ, есть искренніе и значительные таланты); слѣдуя необоримой модѣ, и они предаются оргіи звуковъ, поэтическому распутству.

Чѣмъ объяснить это явленіе? Я объясняю его глубокимъ разстройствомъ вѣковой европейской культуры. Когда старая культура начинаетъ дряхлѣть, т. е. становиться для новыхъ поколѣній чуждой, то какъ-бы она ни цвѣла когда-то, какъ-бы ни казалась прекрасной, она начинаетъ неудовлетворять. Самый возвышенный культъ начинаетъ казаться бездушнымъ, самые лучшіе вкусы въ

искусствѣ—натянутыми, предвзятыми. Хочется чего-то болѣе простого, непосредственнаго, наивнаго, первобытнаго, какъ изнѣженному городской жизнью селадону хочется деревенской природы и пастушеской любви. Декадентство въ лицѣ лучшихъ представителей есть влеченіе къ первобытному. Поглядите на картины этой школы, послушайте стиховъ или музыки. Въ картинахъ—почти рабское подражаніе лубочной живописи: тѣ-же яркіе безъ полутоновъ цвѣта, тѣ-же рѣзкіе контрасты между ними, тотъ-же наивный дѣтскій рисунокъ и дѣтская незаконченность. Послѣ академической, выдѣланной живописи, гдѣ видишь вполнѣ серьезное, какъ бы окаменѣвшее подражаніе природѣ,—на выставкѣ декадентовъ чувствуешь себя точно передъ ларемъ простонародныхъ картинъ или за ребячьею тетрадью рисованія. Тутъ дикая свобода воображенія, неподчиненность натурѣ, желаніе сказать не все, а только то, что мелькнуло въ душѣ художника, какъ-бы странно, отрывочно, примитивно оно ни было. Никакой иллюзіи, какъ на дѣтскомъ рисункѣ, гдѣ кружокъ и двѣ палочки внизъ изображаютъ человѣка. Тутъ всего намекъ, одна вырванная изъ природы черта. Взрослаго зрителя эта поддѣлка взрослыхъ подъ ребячество кисти возмущаетъ; въ этой дѣланной растлѣнности кисти, въ желаніи выдать бредъ красокъ за обликъ живой природы иногда кажется что-то мошенническое. Невольно спрашиваешь себя: да не простые-ли это шарлатаны, бьющіе на простоту публики, на тираннію моды? Но хотя между декадентами есть и шарлатаны, лучшіе изъ нихъ искренно подчиняются неодолимому требованію духа своей эпохи. Прежняя остановившаяся культура давитъ своею мертвою законченностью, духъ общества ищетъ первыхъ началъ жизни, жаждетъ свѣжести полубытія, неумѣлости, безъискусственности. Пусть намъ, которые родились и выросли въ культурѣ старой, эта погоня за новизной кажется крайне искусственной и безвкусной,—для молодыхъ людей это живая потребность *своего* творчества. Они

родились среди развалинъ, они впитали въ себя впечатлѣнія хаоса, и какъ дѣтямъ или народу, едва начинающему искусство, имъ хочется отразить то, что въ нихъ есть: душу неоформленную, стихійную, для которой все въ природѣ еще живетъ и говоритъ, и дышетъ, все символизируетъ что-то неизрѣченное, и на языкѣ чувствъ принятомъ въ старой культурѣ—непонятное. Декадентство—школа промежуточная; оно явленіе вовсе не нашего только времени. Оно встрѣчалось во всѣ вѣка на переломѣ цивилизацій, при смѣнѣ религіозныхъ культовъ и философій. Какъ упадокъ отъ изысканнаго до первобытнаго, декадентство неизбѣжно заканчиваетъ одну органическую эпоху и начинаетъ другую. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что пройдутъ десятки лѣтъ и духъ европейскаго общества во всѣхъ областяхъ жизни выработаетъ себѣ новыя законченныя формы, столь-же стройныя, закономѣрныя, отчетливыя, ясныя, какъ въ античную эпоху или въ вѣкъ Возрожденія, но *иныя*, и въ нихъ изъ современнаго декадентства многое останется упроченнымъ. Какъ ни уродливо, какъ ни болѣзненно, какъ ни глупо многое въ этой модной школѣ,—отъ нея, какъ отъ новорожденнаго ребенка вѣетъ почти минеральной свѣжестью природы. Въ старыхъ школахъ чувствуешь, что творящій духъ исчерпалъ свои источники, здѣсь—онъ начинаетъ ихъ. Прослѣдите исторію развитія какого-нибудь эмбріона: какія странныя, чудовищныя, иногда отвратительныя формы принимаетъ онъ, прежде чѣмъ созрѣть въ существо живое. Декадентство вѣрнѣе было-бы назвать эмбріонизмомъ: это искусство не одряхлѣвшаго, а едва лишь возникающаго, первобытнаго творчества.

V.

Что декадентство не есть настоящее искусство, не смотря на завлекающую свою силу, это понятно безъ объясненій: иначе пришлось-бы къ искусству причислить

и такіе виды «упоеній», какъ пьянство, куреніе опія, и развратъ, которые втягиваютъ въ себя еще большія массы людей и бороться съ которыми еще труднѣе. Физіологи учатъ, что сознаніе людей есть продуктъ внѣшнихъ ощущеній, тогда-какъ *аффекты*, эмоціи имѣютъ источникомъ внутреннія ощущенія растительной жизни. Поворотъ отъ сознанія къ чувству, отъ увлеченія идеями въ срединѣ этого столѣтія къ увлеченію иллюзіями «конца вѣка» есть признакъ возобладанія растительной природы человѣка надъ высшей, духовной природой, и трудно охарактеризовать это явленіе иначе, чѣмъ словомъ «decadence». Максъ Нордау обобщаетъ всю перечисленную группу психопатическихъ вѣяній въ словѣ «Entartung» (вырожденіе), причисляя сюда и другіе виды общественнаго броженія (анархизмъ, толстовство), но одно слово «вырожденіе» столь-же мало объясняетъ, какъ и «упадокъ». Отчего вырождаются расы и что такое вырожденіе? Сказать, что люди вырождаются отъ крайней нищеты—нельзя, такъ-какъ вырожденіе начинается ранѣе нищеты, и эта послѣдняя является слѣдствіемъ, а не причиной упадка. Антропологическое вырожденіе встрѣчается особенно часто среди старой аристократіи, т.-е. въ классѣ далекомъ отъ нищеты; наоборотъ, наименѣе обезпеченный слой — простонародье — часто поражаетъ своимъ цвѣтущимъ видомъ. Правда, и среди простонародья вырождаются цѣлые милліоны населенія, но отъ чего? Отъ причины общей съ аристократами: вѣдь и народъ—«аристократъ» по древности своего происхожденія. Еще сильнѣе вырождаются дикари, но это уже совсѣмъ аристократы по чистотѣ расы. Я думаю, что общая, глубокая органическая причина вырожденія состоитъ въ томъ, что выработавшійся втеченіе вѣковъ типъ породы, какъ законченный, останавливается и начинаетъ тѣснить живое начало духа. Самый благородный, совершенный, утонченный типъ, самый сильный, красивый, самый, наконецъ, здоровый становится не вполнѣ своимъ; онъ дѣ-

лается чуждымъ, и переродившемуся духу хочется его сбросить, какъ созрѣвшему насѣкомому—совершенно здоровую кожу гусеницы. Прекрасное тѣло, прекрасная душа (животная) начинаютъ неудовлетворять духъ расы, и въ стремленьи стряхнуть съ себя эту матеріальную культуру, чтобы создать изъ себя какую-то иную, духъ начинаетъ работать на разрушеніе тѣла. Развивается—какъ среди аристократовъ, такъ и простонародья и среди дикарей—неутолимая потребность пьянства, всевозможныхъ наркозовъ, распространяется половой развратъ, азартныя развлеченія, безчисленные способы «прожигать» жизнь, и нищета является только слѣдствіемъ этого процесса, а не причиной его. Въ чаду этой грубой чувственности, въ страданіяхъ страстей, пороковъ, преступленій духъ человѣческій, можетъ быть, набирается нужныхъ ему стихійныхъ ощущеній, окунается въ матерію, въ хаосъ, чтобы вынести оттуда элементы для постройки новаго тѣла, новаго типа расы. Пусть порода «выродится», «вымретъ»;—отъ какихъ-нибудь уцѣлѣвшихъ клѣтокъ разовьется новое поколѣніе, которое вернется къ трезвости и добродѣтели далекихъ предковъ и выработаетъ новыя формы красоты и силы.

Современное декадентство, можетъ быть, лишь частная черта всеобщаго и *неизбѣжнаго* вырожденія европейской расы, всеобщей перестройки человѣческаго типа, физическаго и душевнаго. Намъ, еще неизжившимъ этого типа, носителямъ старой культуры, этотъ процессъ кажется дикимъ, страшнымъ, болѣзненнымъ,—но пройдутъ десятилѣтія и если не мы сами, то дѣти наши вѣроятно будутъ вовлечены въ это новое теченіе. Можетъ быть вся великая эпоха скептицизма, отрицанія прошлаго, исканія новыхъ идеаловъ въ общественной жизни была предвѣстіемъ не подъема, а окончательнаго упадка старыхъ формъ, всеобщаго декаданса, изъ котораго, какъ фениксъ изъ пепла, должна родиться новая цивилизація.

VI.

Одинъ изъ видовъ декадентства—возрождающійся мистицизмъ. Это не возвращеніе къ религіи, какъ иные думаютъ: религія (христіанская, по крайней мѣрѣ) отрицаетъ мистицизмъ и считаетъ его хуже безвѣрія. Религія есть вѣра, т.-е. хотя недоказанное, но прочное *знаніе* извѣстныхъ конечныхъ данныхъ, тогда-какъ мистицизмъ есть незнаніе, возведенное въ принципъ. Для мистика все—тайна, все—загадка; онъ не вѣритъ ни разуму, ни совѣсти, ни чувству,—все для него не реально, даже сама тайна, которая очаровываетъ его лишь неизвѣстностью — существуетъ-ли еще она. Мистикъ — не тотъ, который вѣритъ въ духовъ (какъ спиритъ), — онъ былъ бы страшно раздосадованъ, еслибы сверхъестественная сила обнаружилась когда-нибудь: она перестала-бы уже быть сверхъестественной; для него важна лишь дымка, скрывающая что-то, хотя-бы пустоту, но лишь-бы онъ не былъ увѣренъ, что это пустота. Мистики наслаждаются неувѣренностью, какъ религіозные люди — вѣрой. Какъ декаденты влюбленны въ противоестественное, такъ мистики — въ сверхъестественное; въ сущности это одно и то-же — одинаковое отвращеніе отъ естества. Мистицизмъ есть какъ-бы недовѣріе къ Создателю, твореніе себѣ кумировъ помимо Его, — почему церковь такъ энергически и осуждаетъ всякое волшебство.

Опять и здѣсь, въ неестественномъ, нездоровомъ чувствѣ есть оправдывающее его очарованіе. Человѣкъ не можетъ не ощущать своей ничтожности на землѣ и узкихъ предѣловъ разума. Самый спокойный и трезвый матеріалистъ не можетъ не видѣть всюду великихъ тайнъ, и если относится къ нимъ иначе, чѣмъ мистикъ, именно какъ къ тайнамъ естественнымъ, то глубина ихъ отъ этого не исчезаетъ. Многіе серьезные мыслители думали, что разумъ человѣка достаточенъ для постиженія загадки міра,

что это вопросъ лишь времени и науки, — однако до сихъ поръ это только предположеніе. Огромное большинство мыслителей, и притомъ наиболѣе мощныхъ, признавали вѣчную недостаточность разума для уясненія основной тайны, и что не по размѣрамъ разума, а по самой его природѣ существо міра для него сокрыто. Дѣйствительно, законы природы не связаны съ человѣческимъ разсудкомъ, основныя категоріи — время, пространство, причинность — безусловно непонятны, какъ и само движеніе, основа жизни, какъ и матерія—ея плоть, какъ и сила—ея душа. Стоя въ центрѣ двухъ безконечностей—времени и пространства—человѣкъ, вродѣ Канта, думающій серьезно объ этихъ вещахъ, на всѣхъ предѣлахъ мышленія видитъ нелѣпость, и даже двоякую, безвыходную. Какъ тутъ успокоиться, не сдѣлаться мистикомъ? Бездна, какъ извѣстно, увлекаетъ, а для вдумчиваго человѣка каждый атомъ представляетъ бездну. И, мнѣ кажется, вполнѣ нормальный человѣкъ долженъ быть немного мистикомъ: не бросаясь въ бездну, онъ не долженъ отрицать ея существованія. Игнорировать міровую тайну можетъ развѣ ужь слишкомъ ограниченный человѣкъ, или слишкомъ безпечный, вродѣ Лапласа, который «обслѣдовалъ телескопомъ все небо и не нашелъ тамъ Бога». Предчувствіе великаго неизвѣстнаго, съ чѣмъ человѣкъ всѣмъ существомъ своимъ связанъ, ощущеніе безконечности и населяющихъ ее чудесъ — можетъ-быть, и естественныхъ, но для насъ сокрытыхъ — вноситъ въ душу человѣка самую важную черту естества — полноту сознанья, благородство его и величіе. Можно не вѣрить въ демоновъ, гномовъ, загробный міръ и т. д., но не вѣрить въ Вѣчность, quia absurdum, вообще нельзя, хотя нѣмецкіе философы (Дюрингъ) покушаются и на это. Напоминать почаще нашей бѣдной жизни, ея слабому, еле мерцающему сознанію о міровой загадкѣ полезно, какъ напоминать плохому ученику, чтобы онъ не забывалъ икса въ своихъ алгебраическихъ уравненіяхъ.

Несомнѣнно, какъ и декаденты, мистики имѣютъ право на существованіе, но они до крайности имъ злоупотребляютъ, превращая потребность въ порокъ, въ болѣзненное преувеличеніе. Мелодія словъ прекрасна, когда входитъ въ составъ гармоніи мысли, но декаденты отбрасываютъ мысль и ограничиваются одними словами, одной матеріей мысли, если можно такъ выразиться. Точно также міровая тайна мистиковъ имѣетъ великое значеніе, но лишь въ согласіи съ частью самой этой тайны—человѣческимъ разумомъ, т. е., какъ и его,—ее слѣдуетъ считать естественной. Чтобы *тамъ* ни существовало, разъ оно существуетъ, должно быть естественно, закономѣрно, и стало-быть, *нестрашно* для человѣка. Въ этомъ отношеніи образованные мистики могутъ позавидовать здоровому чувству простонародныхъ суевѣрій. Простой народъ дотого свыкся съ мыслью о лѣшемъ, домовомъ и т. п., что считаетъ ихъ уже совсѣмъ естественными явленіями, какъ и колдовство, и боится ихъ не болѣе, чѣмъ всякой естественной вещи, которая можетъ быть и опасной, и полезной. Мужикъ бросаетъ корку хлѣба домовому подъ печь или поросенка водяному на рѣкѣ, считая себя затѣмъ обезпеченнымъ отъ козней духа, точь-въ-точь какъ еслибы дѣло шло о взяткѣ уряднику. Это — суевѣріе, но не мистицизмъ; въ немъ нѣтъ страха невѣдѣнія—основной черты мистицизма, а напротивъ, есть спокойствіе увѣренности. Допуская неизвѣстное и непонятное, здоровый человѣкъ не боится его, а старается пристроить къ своей потребѣ: заставляетъ вѣтеръ ворочать крылья мельницы, огонь—печь хлѣбы, домового—стеречь лошадей. У язычниковъ даже боги ихъ имѣютъ опредѣленную роль въ хозяйствѣ; вмѣстѣ съ людьми, они спеціализируются: одни завѣдуютъ погодой, другіе—скотомъ, третьи—войной, охотой и пр. И эта точка зрѣнія самая правильная: доходить до черты, отдѣляющей насъ отъ пропасти неизвѣстнаго, но не переходить ея. А мистики бросаются въ пропасть. Увлекаясь

игрою мысли по всѣмъ направленіямъ возможностей, они всюду доходятъ до абсурда, до ирраціональныхъ выраженій, до многомѣрныхъ пространствъ. Видя однако, что абсурдъ мыслимъ, мистикъ охватывается страхомъ неизвѣстности; если онъ мыслимъ, то не существуетъ-ли онъ и на самомъ дѣлѣ? Разумъ, перейдя свою черту, отказывается служить далѣе, какъ лоцманъ въ неизвѣстномъ ему морѣ, — и человѣкъ чувствуетъ себя передъ таинственнымъ чѣмъ-то, что, можетъ-быть, и не существуетъ. Нѣтъ ужаснѣе ощущенія этого загадочнаго страха; безъ всякой видимой причины настроившій себя мистикъ испытываетъ какъ-бы гибель свою и даже нѣчто несравненно ужаснѣйшее гибели. На смерть идутъ бодрѣе, нежели здѣсь: тамъ причина опасности извѣстна, а здѣсь нѣтъ. Вспомните, какъ Мопасанъ подъ конецъ жизни измучилъ себя этимъ мистическимъ ужасомъ (прочтите его разсказъ «Le chien» или «Horla»). Тутъ уже начинается душевный распадъ, манія, и всего опаснѣе изъ всѣхъ видовъ умственнаго наркоза шутить именно этимъ ядомъ — опіемъ страха.

VI.

Мистицизмъ, какъ разновидность декадентства, отъ времени до времени овладѣваетъ литературой; онъ отвѣчаетъ броженію переходной эпохи и исчезаетъ вмѣстѣ съ нею. Спорадически, конечно, онъ встрѣчается всегда, такъ-же какъ и всѣ переходные моменты духа. Въ наше время мистицизмъ захватываетъ широкую область—живописи, музыки, литературы. Печатаются уже романы подъ диктовку духовъ, романы, наполненные видѣньями, призраками и волшебствомъ въ старинномъ вкусѣ.

Возьмите послѣдній романъ г. С.—«Въ концѣ вѣка. Любовь», гдѣ и герой, и героиня, и нѣсколько второстепенныхъ лицъ видятъ призраки, къ героинѣ слетаетъ ангелъ или дьяволъ въ видѣ ангела и т. д. Правда, эти

призраки обрисованы какъ-бы на истерической почвѣ, но въ такой увлекательной, соблазнительной обстановкѣ, что возводятся въ норму, если не въ идеалъ. Героиня, дочь богатаго помѣщика — обольстительная красавица, имѣетъ «гибкій станъ и необыкновенно граціозную шею», жгучіе глаза, нѣжный и звучный контральтъ, и пр. и пр. Сверхъ того она необыкновенно умна, необыкновенно образована, знаетъ ботанику, геологію, астрономію, житія отцовъ, философію, много поетъ и играетъ, прекрасно рисуетъ, пишетъ стихи, до крайности религіозна, превосходно ѣздитъ на лошади и... что еще? Ну, словомъ, совершенство; а главное, она — какой-то таинственный, загадочный человѣкъ. Уже въ минуту ея появленія на свѣтъ отецъ ея видитъ вѣщій сонъ, будто какая-то необыкновенно яркая звѣзда скатилась съ неба и обожгла его. Уже семи лѣтъ Варенька «говорила на нѣсколькихъ языкахъ и удивляла взрослыхъ своими умными вопросами и заключеніями». Она обладала зоркостью «рѣшительно необыкновенной и видѣла звѣзды, которыхъ никто не видалъ»; она не чувствовала страха, когда ей разсказывали о страшномъ и молила еще и еще разсказать, — все фантастическое ей казалось естественнымъ. Ангела-хранителя она даже чувствовала на своемъ плечѣ, говорила съ нимъ какъ съ братомъ Когда она увидѣла впервые на картинѣ разныя странныя существа допотопнаго міра, она нисколько не удивилась и сказала, что она уже видѣла ихъ. Мать ея убѣжала съ однимъ итальянцемъ, и Варенька видѣла эту сцену бѣгства во снѣ, находясь въ противоположномъ концѣ дома. Еще дѣвочку, ее соблазнялъ къ погибели какой-то духъ, и она чуть не утонула. Когда ей было 17 лѣтъ, пожираемая какимъ-то внутреннимъ безпокойствомъ, она поступила въ монастырь, въ послушницы, работала, пѣла на клиросѣ, «молилась какъ вдохновенная, никого въ церкви не замѣчая и вся уносясь къ Богу», читала «житія святыхъ», спала на голыхъ доскахъ, мо-

рила себя голодомъ, не спала по обѣту цѣлыя ночи, читая молитвы и молясь. Въ одну изъ такихъ ночей ей и ея подругѣ Анѣ явился ангелъ, увлекшій ихъ къ рѣкѣ, гдѣ ихъ встрѣтили другіе ангелы, оказавшіеся, впрочемъ, злыми духами, желавшими утопить дѣвицъ. Видѣнія продолжали являться, но все мужскія, хотя сама Варенька рѣшила остаться въ дѣвствѣ, будучи увѣрена, что она призвана Богомъ на особое служеніе человѣчеству. Затѣмъ она ушла изъ монастыря, но и дома продолжала обнаруживать волшебныя свойства, такъ-что народъ прозвалъ ее вѣдьмой. Дома она знакомится съ петербургскимъ молодымъ карьеристомъ Видалинымъ, пріѣхавшимъ въ командировку. Происходятъ безконечные разговоры о религіи, о Ренанѣ, о звѣздахъ, онъ ей признается въ любви, она отталкиваетъ его, но явился психологическій моментъ, когда они оба были охвачены страстью, и... Затѣмъ идутъ три недѣли плотскаго блаженства. Видалинъ уѣзжаетъ въ Петербургъ. Для приличія онъ предлагаетъ бракъ, но она гордо отказывается, признавшись во всемъ игуменьѣ. Снова начинаются чтенія отцевъ церкви, философовъ и поэтовъ, и внутреннее броженіе, вызванное ея несчастіемъ. Тутъ выступаетъ на сцену герой романа Алексѣй Муринъ. Какъ и она, онъ не человѣкъ, а совершенство: молодой, красивый, богатый помѣщикъ, образованный, высоконравственный, *цѣломудренный* даже физически, и тоже провиденціальный, съ великими цѣлями въ жизни. Отказавшись отъ блестящей карьеры, Муринъ поступилъ въ духовную академію, чтобы затѣмъ пойти въ простые священники своего села. Происходятъ безконечные разговоры о религіи, Муринъ подавляетъ Вареньку своею богословскою ученостью и нравственной чистотой, молодые люди влюбляются другъ въ друга, происходитъ признаніе, но она, терзаясь тѣмъ, что уже не невинна, отказываетъ ему въ своей рукѣ. Вся эта вычурная фабула расцвѣчена яркими сценами, видѣніями, галлюцинаціями, участіемъ полупомѣшанной мо-

нахини, едва не зарѣзавшей Вареньку въ мистическомъ припадкѣ; драма ведется въ высокомъ и бурномъ тонѣ, въ вихрѣ глубочайшихъ душевныхъ ощущеній, гдѣ знаніе, вѣра, любовь, служеніе человѣчеству, возмущеніе противъ человѣчества оспариваютъ другъ друга. Не помню, чѣмъ оканчивается романъ, да и не въ этомъ дѣло: онъ интересенъ лишь какъ знаменіе времени. Даровитый и вліятельный журналистъ за цѣлое почти десятилѣтіе до конца вѣка спѣшитъ уловить его психопатію, выставить ее, изукрасить цвѣтами и распространить въ публикѣ. Нужно-ли это? При средствахъ, которыя даетъ писателю талантъ, образованіе, знаніе вкусовъ публики, можно обставить мистическую тему еще соблазнительнѣе, но нужно-ли это?

За писателями и ученые понемногу заговариваютъ о чертовщинѣ, о сверхъестественномъ, загробномъ, хотя именно въ послѣднее десятилѣтіе точной наукѣ удалось сдѣлать въ этой области свои величайшія открытія. Передо мною, напримѣръ, лежитъ книга астронома Фламмаріона «По волнамъ безконечности». Напыщеннымъ языкомъ въ этой книгѣ разговариваютъ двое: авторъ и душа астронома Люмена. Душа разсказываетъ, что съ нею случилось за послѣднимъ вздохомъ ея тѣла, описываетъ свои путешествія по міровому пространству и т. п. Тутъ излагаются самыя невѣроятныя вещи. Во всей вселенной, напримѣръ, а также и въ человѣкѣ дѣйствуютъ три отдѣльныхъ начала: тѣло и двѣ души: жизненная сила и собственно душа. Первая душа есть таинственное нѣчто, заставляющее матерію группироваться и дѣйствовать, но оно смертно, тогда-какъ настоящая душа, проживающая въ тѣлѣ какъ на квартирѣ, безсмертна. Смертная душа изображается въ формѣ веретена, тогда-какъ безсмертная — въ формѣ параболы. Душа остается въ томъ самомъ мѣстѣ пространства, гдѣ ее застигла смерть тѣла: земля уходитъ отъ нея со скоростью 26,800 миль въ часъ (книга вообще

изобильно снабжена цифрами съ цѣлью придать ея сумбуру ученую доказательность). Передвигаются души въ небесномъ пространствѣ съ быстротою мысли, мгновенно, и даже съ «отрицательной скоростью», т. е. раньше, чѣмъ начнутъ куда-нибудь двигаться, онѣ уже у цѣли. Поймите это, пожалуйста, если можете. Прибывъ на Капеллу, главную звѣзду въ созвѣздіи Возничаго, Люменъ наблюдаетъ за развитіемъ великой французской революціи на землѣ, наблюдаетъ свое собственное появленіе на свѣтъ, свою молодость, женитьбу и т. д. до момента смерти. На Капеллѣ астрономъ встрѣчаетъ свою Сильвію и пр. и пр. Изъ дальнѣйшихъ путешествій оказывается, что міры населены воплощенными духами высшей и низшей человѣка организаціи, что есть люди съ крыльями стрекозы или въ видѣ плавающихъ въ розовой атмосферѣ тюленей. Въ одномъ изъ воплощеній астрономъ, по его словамъ, былъ женщиной, былъ среди одушевленныхъ растеній, думающихъ и говорящихъ, и самъ «имѣлъ честь быть разсуждающимъ деревомъ» (!). На звѣздѣ ѳита Оріона люди похожи на канделябры или кактусы и передвигаются при помощи щупальцевъ. Есть міры, гдѣ мужчины не переживаютъ дня свадьбы, а женщины несутъ яйца и т. д. и т. д. Все это разсказывается не въ сказочномъ, не въ сатирическомъ и вообще не въ предвзятомъ тонѣ, а искренне, вдохновенно, молитвенно, очевидно, вѣруя, что все это не просто бредъ больного воображенія. Фламмаріонъ написалъ уже нѣсколько подобныхъ пустыхъ книжекъ и онѣ у насъ обязательно переводятся и распространяются. Очевидно, есть спросъ на эти мистическія розсказни, и представители какъ изящной, такъ и ученой литературы спѣшатъ удовлетворить этому спросу. Хорошо еще, что большинство мистиковъ плохо пишутъ: еслибы ихъ заманчивую и втягивающую ложь вооружить большимъ художественнымъ талантомъ, она могла-бы натворить не мало кутерьмы въ слабыхъ головахъ заурядной читающей массы. Вѣдь масса—существо

зачаточное, инертное, ее такъ легко настроить на всякій нелѣпый ладъ, особенно нашу русскую малообразованную толпу.

VII.

Не менѣе мистицизма омрачаетъ нынѣшнюю интеллигенцію и верхи ея, философію и литературу—пессимизмъ, стародавній «порокъ сердца» европейскаго общества. Дѣтище безбожія, грубаго матеріализма, эта хворь была можетъ быть первою стадіей декаданса; она мучила нѣкогда благороднѣйшіе умы, которые заразили ею и образованное общество. Вспомните вѣкъ Чайльдъ-Гарольда и Печорина. Самые дюжинные, благополучные люди, видя скорбь великихъ душъ, начинали тоже скорбѣть, воображая, что такъ и надо, что это не болѣзнь, а признакъ высшаго здоровья. А между тѣмъ, къ несчастію, это болѣзнь, если взглянуть ей прямо въ глаза: вѣдь она—страданіе, боль. Человѣка не радуетъ его существованье: ему не милъ сіяющій, полный жизни міръ, золотое солнце, голубое небо; ничего не говорятъ ему вѣчныя звѣзды, ни ропотъ волнъ, ни шелестъ дубровы; равнодушно слушаетъ онъ и лепетъ ребенка, и стыдливыя признанія женщины, и голоса друзей, и молитвенные гимны въ храмѣ; все это для него пустая, бездушная видимость, буддійская майя. Отравленный, кислый, бродитъ пессимистъ «въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ», заживо погребенный въ немъ, какъ въ склепѣ, снѣдаемый какими-то душевными червями. Люди заурядные, захваченные этимъ недугомъ, впадаютъ въ меланхолію, ипохондрію — словомъ, уже на-чистоту сходятъ съ ума. Люди съ сильною душою начинаютъ въ мѣру таланта служить демону отчаянія — таковъ Шопенгауэръ и его школа. Они находятъ своеобразное наслажденіе въ безконечной хулѣ на міръ, въ неустанномъ отыскиваніи всѣхъ его язвъ и болячекъ и раскапываніи ихъ до нервовъ, до мозга костей. Въ ихъ глазахъ нѣтъ свѣта,—все

сплошная тьма, сплошное страданіе, а если есть радости, то онѣ презрѣннѣе страданій. Самое лучшее, что можетъ сдѣлать человѣкъ — это не родиться вовсе или возможно быстрѣе умереть, и міръ оказалъ-бы себѣ величайшее благодѣяніе исчезнувъ вовсе. Гартманъ договорился, какъ извѣстно, до необходимости вселенскаго самоубійства въ человѣчествѣ. Эта философія нѣчто вродѣ предсмертной тоски, длящейся всю жизнь: какъ и всякія иныя психическія ирраціональности, пессимизмъ имѣетъ свою логику, свою дозу полезнаго дѣйствія на здоровый, слишкомъ благополучный организмъ, но въ большомъ количествѣ это то, надъ чѣмъ въ лабораторіяхъ наклеиваютъ ярлыкъ съ адамовой головой, эмблемой смерти. Ядъ это и самый подлый изъ ядовъ, томящій безъ сладострастія декадентства, безъ грезъ мистики.

Такъ-какъ пессимизмъ есть омертвѣніе чувства по преимуществу, выдохлость аромата жизни, ея поэзіи, то тѣмъ шире просторъ въ немъ холодному разсудку, и на почвѣ разсудка бороться съ этой философіей нельзя. Противъ каждаго вашего плюса она выставитъ минусъ, и въ результатѣ получится то, чего она добивается— нуль, небытіе. Сражаться съ пессимизмомъ можно лишь въ области чувства, гдѣ онъ безсиленъ. «Хочу жить!» Этими двумя словами самый крошечный ребенокъ, даже послѣдняя инфузорія, если-бъ она говорила, могла-бы свалить все грандіозное и мрачное зданіе пессимизма. Въ этой простой формулѣ простѣйшаго чувства лежитъ всесильная правда жизни. Пусть міръ ужасенъ, пусть онъ сплошное зло, люди—звѣри, небо—бездонная пустота, земля—глыба камней. Пусть нѣтъ ни безсмертія, ни воздаянія, ни смысла, ни цѣли, но «жить такъ хочется!»—и этого достаточно. Пусть вся жизнь состоитъ въ проглатываніи и выбрасываніи окружающей стихіи, какъ у медузы, но пока это нравится живущему—онъ правъ. А вѣдь, кажется, большинству человѣческаго рода, большинству всего живого—нравится жизнь. Пусть

это будетъ побѣдою «воли» надъ «представленіемъ», низшаго начала надъ высшимъ и т. д.,—не мудрствуя лукаво, родъ людской хочетъ жить, и мнѣ кажется, слѣдуетъ снизойти къ его скромному желанію, и даже слѣдуетъ украсить цвѣтами эту, какъ думаютъ пессимисты, безконечную похоронную процессію человѣчества — его мимолетную жизнь земную.

Философскій пессимизмъ—отрицаніе жизни — отразился на литературѣ и искусствѣ весьма печально. Изъ этого источника, которому предшествовалъ скептицизмъ послѣднихъ столѣтій, выросли въ сущности всѣ литературныя хвори и самая крупная изъ нихъ, которую можно назвать иронической школой, аналитической, обличительной. Эта школа восторжествовала съ паденіемъ романтизма, хотя первымъ ея блестящимъ дебютомъ слѣдуетъ считать «Донъ-Кихота», и еще ранѣе—романъ Петронія. Въ нашемъ вѣкѣ эта школа упрочилась и господствуетъ вотъ уже второе пятидесятилѣтіе. Она воюетъ съ декадентствомъ, не подозрѣвая, что сама составляетъ одну изъ его разновидностей. Если основная черта декаданса—неестественность, то она-же характеризуетъ и ироническую школу. Въ качествѣ сатиры эта школа постоянно сбивается на каррикатуру, т.-е. въ искаженіе нетолько идеала, но и дѣйствительности, какъ она есть. Каррикатуру можно назвать отрицательнымъ идеаломъ—и что-же это такое какъ не декадансъ, хотябы еще въ не полной фазѣ разложенія? Обличительная школа въ погонѣ за правдой жизни именно эту-то правду и потеряла. Поэты и беллетристы этого душевнаго склада пишутъ или въ озлобленно-бравурномъ, или въ негодующе-минорномъ тонѣ. Съ особенной радостью они останавливаются на уродливыхъ явленіяхъ жизни, привязываютъ къ нимъ вниманіе читателя, бережно списываютъ всѣ нравственныя бородавки, прыщики, шишки и искривленія человѣка, выворачиваютъ его грязное бѣлье, скрытыя раны подъ бѣльемъ, раздвигаютъ края ранъ и любуются

дикимъ мясомъ въ нихъ, а если находятъ червей, то тѣмъ превосходнѣе. Приэтомъ одни (юмористы) ехидно подсмѣиваются, издѣваются надъ пойманнымъ уродцемъ, ставятъ его въ глупыя и неприличныя позы; другіе (сатирики) озлобленно смѣются и дразнятъ его, честятъ и позорятъ; третьи (натуралисты) смотрятъ на него съ мрачной укоризной и непрочь прочесть бѣдняку проповѣдь: «Свинья, братъ, ты! Образа человѣческаго въ тебѣ нѣтъ» и т. п.

VIII.

Всѣ оттѣнки пессимистической школы имѣли своихъ выдающихся и даже великихъ представителей. Всѣ они имѣли громкій, побѣждающій успѣхъ и всѣ признаны вполнѣ законными, здоровыми и даже единственно здоровыми видами словесности. Я-же позволяю себѣ думать, что это—больныя и стало-быть незаконныя формы искусства, что онѣ сродни декадентству. Побѣждающій успѣхъ и общепризнанность на протяженіи нѣсколькихъ десятилѣтій ровно ничего не доказываютъ, или говорятъ даже не въ пользу обличительной школы: для писателя или для писателей понравиться сразу большой толпѣ современниковъ признакъ плохой, это значитъ подойти къ посредственному вкусу большинства. Истинность той или иной школы въ искусствѣ должна выдержать испытаніе вѣковъ: наиболѣе великія произведенія толпѣ обыкновенно вовсе не нравятся и признаются великими спустя много времени, да и то лишь со словъ болѣе интеллигентныхъ цѣнителей. Выдержитъ - ли господствующая обличительная школа испытаніе вѣковъ—большой вопросъ.

Изъ живыхъ представителей обличительнаго жанра у насъ самый крупный А. П. Чеховъ, изящный и сильный талантъ котораго составляетъ гордость Россіи. Такъ-какъ я цѣню очень высоко его замѣчательное дарованіе, то

тѣмъ грустнѣе видѣть его на несовсѣмъ вѣрномъ пути. Г. Чеховъ просто мучитъ русскихъ читателей. Напечатаетъ онъ маленькій разсказецъ—перлъ, полный тонкой и высокой красоты,—читатели въ восторгѣ и раздражены желаніемъ большого такого-же разсказа,—а г. Чеховъ въ отвѣтъ напечатаетъ дѣйствительно большой, но вялый разсказъ. Читатели въ досадѣ. И малые, и большіе разсказы посвящены неизмѣнно одной мысли: показать, до какой степени дряненъ и дряблъ современный русскій интеллигентъ. Изъ подъ творческаго пера родятся одинъ за другимъ пошленькіе, слабенькіе, дрянненькіе герои безъ малѣйшихъ признаковъ какого-либо героизма. Въ маленькомъ разсказѣ-перлѣ, уже по размѣрамъ его, можно помѣстить только одного дрянненькаго, и онъ, въ сіяніи солнца и торжествующей природы, кажется не такимъ несчастнымъ, его можно любить, на него можно надѣяться и хоть немножко вѣрить въ него. Но въ длинномъ, вяломъ разсказѣ, гдѣ природа отходитъ на второй планъ, гдѣ выступаетъ сложная интрига, появляется сразу цѣлая толпа пошляковъ, и вамъ дѣлается тошно. Надо быть ужь очень благополучнымъ, чтобы прочесть длинный разсказъ г. Чехова и вынести пріятное чувство. Но, можетъ быть, авторъ вовсе и не задается цѣлью вызывать пріятное настроеніе? Можетъ быть, онъ умышленно старается вызвать въ читателѣ мучительныя чувства, болѣзненные, неотвязчивые вопросы? Если это такъ, то нужно спросить — зачѣмъ это продѣлывается. Если для пробужденія читателя, то это цѣль благая, но я сомнѣваюсь, чтобы она была достигнута этимъ путемъ. У художника слишкомъ могучія средства, чтобы выдержать при мучительной операціи съ читателемъ необходимую осторожность, полезную норму дѣйствія, перейдя которую мученіе дѣлается уже вреднымъ. «Мы ослабѣли, мы опустились, говоритъ герой одного разсказа г. Чехова,—мы пали, наконецъ. Наше поколѣніе всплошную состоитъ изъ неврастениковъ и ны-

тиковъ; мы только и знаемъ, что толкуемъ объ усталости и переутомленіи...» «Мы слишкомъ мелки, чтобы отъ нашего произвола могла зависѣть судьба нашего поколѣнія...» «Мы неврастеники, кисляи, отступники»; повторяетъ онъ. «Нашему поколѣнію—крышка», подчеркиваетъ онъ энергично свое отчаяніе. Какъ капля точитъ камень, г. Чеховъ точитъ русское общество внушеніями, что оно ни на что не годится, что оно сгнило до корня. Средства у г. Чехова большія: сила таланта, глубокая вдумчивость и знаніе русскаго человѣка. Если онъ задастся цѣлью внушить что-либо обществу, то онъ въ состояніи это выполнить. Но предположимъ, что его завѣтное желаніе исполнилось, внушеніе подѣйствовало,—всѣ теперешніе интеллигенты убѣдились насквозь въ своей негодности. Я желалъ-бы знать, что послѣдуетъ дальше. Подъемъ духа, вы полагаете? Приливъ энергіи? Проясненіе совѣсти? Конечно, нѣтъ! Это противорѣчило-бы самой элементарной психологіи. Человѣкъ, которому доказали, что онъ безнадежно погибъ, что ему—«крышка»,—дѣйствительно погибъ, и какъ завороженный въ гипнозѣ, онъ уже не можетъ подняться. Вѣдь убѣжденіе въ чемъ-нибудь есть уже первая половина дѣйствія, и даже все дѣйствіе въ своемъ зачатіи. Общество наше, конечно, одержимо многими и опасными болѣзнями и должно знать это; но представьте себѣ, что у постели не совсѣмъ здороваго человѣка явились серьезныя физіономіи да еще докторовъ, да еще знаменитыхъ докторовъ, каждое слово которыхъ—голосъ оракула; представьте что этому человѣку начинаютъ говорить: «Что съ вами? Эге, дѣло-то плохо. Давайте-ка я васъ послушаю... Хм!.. Неладно,—тифъ, или воспаленіе легкихъ, а не то и оба вмѣстѣ». Подобными разговорами можно сразу раздуть искру болѣзни въ цѣлый пожаръ, чему существуютъ безчисленные примѣры. Бывали случаи смерти отъ внушенія—вспомните смерть Климента V и Филиппа. Несомнѣнно то-же самое и

въ области болѣе широкаго внушенія — литературнаго. Настойчивыя утвержденія пессимистовъ безповоротно убѣждаютъ толпу—существо, находящееся какъ-бы въ вѣчномъ трансѣ—въ ея безсиліи и ничтожествѣ. Художники полагаютъ, что безпрерывнымъ обличеніемъ они доведутъ общество до раскаянія, за которымъ, если оно искренно, слѣдуетъ обыкновенно подъемъ духа. Но у раскаянія совсѣмъ иная психологія. Раскаяніе невозможно безъ надежды, т.-е. безъ увѣренности, что еще не совсѣмъ погрязъ, что еще есть силы бороться съ грѣхомъ. Только такое раскаяніе искренно, не лицемѣрно, и только такое благотворно. Кто отчаялся, тому уже поздно каяться: послѣдняя ступень его паденія становится для него нормальной и даже удовлетворительной; несчастный на днѣ отчаянія почерпаетъ спокойствіе. Посмотрите, какъ спокойны бездомные бродяги, закоренѣлые пьяницы, профессіональные воры и проститутки и т. п. Это спокойствіе людей какъ-бы умершихъ для прежней, высшей жизни, потерявшихъ и тѣнь надежды къ возврату въ нее. Вотъ почему въ практикѣ христіанскихъ подвижниковъ, какъ и у стоиковъ, отчаяніе считалось однимъ изъ смертныхъ грѣховъ и кощунствомъ передъ Богомъ. У Ефрема Сирина духъ *унынія* стоитъ вмѣстѣ съ духомъ праздности во главѣ пороковъ. Уныніе есть параличъ воли и совѣсти. Ничего нѣтъ опаснѣе такого состоянія, и поднять народъ или общество, павшее до привычки къ неуваженію себя, къ безнадежности,—ужасно трудно. Тутъ ужь потребуется совсѣмъ иное, великое внушеніе, потребуется громкій голосъ разслабленному: встань, возьми одръ свой и иди! Ты вовсе не разслабленный, ты здоровъ!

IX.

Что наитіе духа талантливыхъ людей на общество дѣйствуетъ неотразимо, каково-бы оно ни было, хо-

рошее или дурное, это общеизвѣстно,—на этомъ держится вся исторія, и способъ этого наитія есть подражаніе. Наши молодые беллетристы оказали-бы себѣ большую услугу, еслибы внимательно изучили книгу Тарда о подражаніи. Это—книга секретовъ вліять на общество. Нетолько отдѣльныя, незначительныя поколѣнія, но цѣлые народы и группы народовъ бывали заворожены какою-нибудь одной идеей, однимъ созерцаніемъ. Привязывая вниманіе народовъ къ блестящимъ точкамъ человѣчества—Цезарю, Александру Великому, Наполеону и пр., удавалось погружать его надолго въ настоящій гипнозъ. Литература, именно изящная, даетъ для созерцанія читателей подобныя блестящія точки—типы героевъ, людей совершенныхъ. Если эти типы нарисованы творческою рукою, они жизненны и дѣйствуютъ какъ живые, все равно—хорошіе это типы, или дурные. Вертеръ, изображенный Гете, вызвалъ къ жизни цѣлыя тысячи живыхъ Вертеровъ; Чайльдъ-Гарольдъ и Печоринъ наплодили поколѣнія себѣ подобныхъ. Надутость и напыщенность нашихъ псевдо-классиковъ, приторная чувствительность сантименталистовъ, разочарованность байронистовъ, злобная иронія гоголевской школы, все это очень быстро, почти сряду-же по проникновеніи книгъ въ толпу, вызывало безчисленные живые слѣпки съ модныхъ героевъ: появлялись даже въ уѣздныхъ захолустьяхъ бѣдныя Лизы, Амалатъ-беки, Глинскіе, Милославскіе, Вадимы, Онѣгины, Чацкіе и пр. и пр. И особенно устойчивы модныя настроенія отрицательныя. До сихъ поръ еще, напримѣръ, въ среднемъ кругу и ниже донашивается пустѣйшая мода на иронію, на колкое остроуміе, на саркастическій тонъ; о чемъ-бы вы ни заговорили съ одержимымъ этою модой, онъ дѣлаетъ видъ, что не принимаетъ этого серьезно; насмѣшка кривитъ его губы, языкъ ищетъ желчнаго каламбура, остраго словца и, не находя ихъ, разражается какою-нибудь рѣзкостью, парадоксомъ, а то и прямо грубостью. Раз-

говаривать съ такимъ человѣкомъ, иногда хорошимъ по природѣ, ужасно тяжело: ни словечка у него не выходитъ безъ ужимки, ни одной мысли искренней. Вы можете на него даже обидѣться, хотя слѣдуетъ пожалѣть его: это—жертва старой литературной моды, уродливаго стиля эпохи отрицанія и обличенія. Помимо его сознанія, онъ настроенъ на извѣстную тональность и выйти изъ нея ему не легко: потребуется «настройщикъ изъ Петербурга». Для всѣхъ очевидно, что люди одѣваются по модѣ, но хотя менѣе очевидно, но столь-же вѣрно, что и душу свою людская масса одѣваетъ по модѣ-же; подобно articles de Paris или вѣнской мебели, англійскимъ смокингамъ и вздутымъ рукавамъ, вывозятся изъ за-границы и изъ столицъ въ провинцію модныя идеи, фасоны мысли и даже фасоны чувствъ и вкусовъ. Особенно печальнаго въ этомъ нѣтъ, разъ это уже неотъемлемое свойство средняго человѣка; но нужно стараться, чтобы изъ центровъ культуры подавалась хорошая мода, а не дурная, чтобы фасонъ мысли былъ естественъ и красивъ, чтобы не было стѣсняющихъ дыханіе мысли корсетовъ, неприличныхъ обнаженностей, безвкусной пестроты.

Беллетристъ — присяжный arbiter elegantiarum духа своего времени; владѣетъ-ли онъ тонкимъ и высокимъ вкусомъ, или неуклюжимъ и бѣднымъ воображеніемъ, это сейчасъ-же отражается на толпѣ. Художникъ, какъ человѣкъ тонко - впечатлительный, улавливаетъ новый типъ еще въ предчувствіи, иногда задолго до его упроченія въ обществѣ; онъ беретъ еще его зародышъ, который, можетъ-быть, въ обществѣ и не развился-бы, и уже самъ даетъ ему силою творчества законченный образъ. Общество, конечно, предрасположено къ развитію даннаго типа, но оно предрасположено обыкновенно къ многимъ возможностямъ одновременно. Талантливый писатель, которому доступны откровенія всѣхъ культуръ и цивилизацій, вся роскошь человѣче-

ской природы, можетъ издалека перенести новое зерно народную почву; онъ можетъ выбрать вовсе не выдающуюся черту своего общества и, излюбивъ ее, одухотворить, облечь плотью, и эта черта, поражая вниманіе общества, становится уже господствующей. Въ кипучей борьбѣ за существованіе разныхъ идей, модъ, настроеній сейчасъ-же получаетъ страшный перевѣсъ та идея, на помощь которой приходитъ могучій талантъ. Кажется, ясно, что ужь если приходить чему-нибудь на помощь, то хорошему, если подчеркивать какую-нибудь черту и вводить ее въ моду, то для этого нужно брать сильное, доброе, благородное, героическое настроеніе. Вы скажете, что брать то, чего нѣтъ въ дѣйствительности, будетъ ложью: что если общество состоитъ изъ людишекъ слабыхъ, пустыхъ, низкихъ, то рисовать героевъ будетъ грубою неправдой.—Почему? отвѣчу я на это. Литература вовсе не обязана быть художественной статистикой и изображать все подрядъ. Литература должна изображать достойное созерцанія, недостойнымъ-же пренебрегать. Въ обществѣ самомъ дурномъ встрѣчаются всегда удивительные характеры, благородныя сердца,—вѣдь ими и держится жизнь. Не толпа, а именно эти свѣтлыя души, затерянныя въ толпѣ, составляютъ *правду* жизни: люди слабые и пустые—какъ-бы ни было многочисленно ихъ скопище—составляютъ *ложь* и не заслуживаютъ вниманія.

X.

Искусство, чтобы помочь обществу въ величайшей задачѣ времени—въ созданіи новой культуры, опредѣленнаго духовнаго уклада, должно отказаться отъ ложнаго теперешняго принципа—быть отзывчивымъ на все безъ разбора: «реветъ-ли звѣрь въ лѣсу глухомъ, трубитъ-ли рогъ, гремитъ-ли громъ». Поэтъ, какъ живое зрѣніе и живой слухъ природы, не можетъ, конечно, не видѣть и не слышать тѣхъ или иныхъ вещей, но

какъ живая совѣсть той-же природы, онъ можетъ тѣ или иныя вещи оставлять безъ вниманія, не давать имъ дальнѣйшей жизни, поскольку отъ него зависитъ. Искусству конца вѣка недостаетъ нравственнаго сознанія, недостаетъ взвѣшеннаго рѣшенія — что слѣдуетъ поддержать и чѣмъ пренебречь. Недостаетъ пониманія того, что литература и не въ силахъ охватывать всѣ настроенія, всѣ вѣянія въ обществѣ, больныя и здоровыя. Литература никогда не исчерпывала всѣхъ общественныхъ явленій и типовъ, всѣхъ зачаточныхъ и неудавшихся формъ, да и не въ состояніи это сдѣлать: вѣдь ихъ несмѣтное множество. Въ громадномъ бассейнѣ народной жизни кишатъ непрерывно творческія и разрушительныя силы, вступая въ безконечныя сочетанія. Великое множество рѣдкихъ и странныхъ характеровъ, нравовъ, оттѣнковъ исчезло навсегда и исчезаетъ поминутно; нарождаются и умираютъ постоянно новыя радости и печали—гдѣ тутъ услѣдить за всѣмъ? Да и зачѣмъ это? Въ томъ, что погибло, многое заслуживало-бы сохраненія въ искусствѣ, и жаль, что оно не уцѣлѣло, но большинство формъ, характеровъ, разновидностей не стоили вниманія. Это неудавшіеся наброски природы, lapsus'ы ея, ошибки и недодѣлки. Это—хламъ, который не стоитъ даже регистровать: какъ отъ сора въ жилищѣ, отъ иныхъ явленій духа слѣдуетъ освобождаться возможно поспѣшнѣе, выметая навсегда изъ своей памяти. Оставаться въ сознаніи, какъ и въ жилищѣ, должно только пригодное, удачное, прочное, изящное, и чѣмъ больше вниманіе общества занято совершенными формами, тѣмъ болѣе эти формы становятся его собственностью, органическою частью духа. Талантливый художникъ, прежде чѣмъ создать свою вещь, дѣлаетъ множество эскизовъ, и въ самой работѣ каждый ударъ рѣзца, каждое движеніе кисти мѣняютъ вещь. Какой интересъ было-бы сохранять каждое изъ безчисленныхъ приближеній и попытокъ ихъ? Довольствуются вещью окончен-

ной, такъ какъ въ нее вложено все лучшее и отнято все худшее, что возможно. Въ художественномъ отраженіи жизни нужно держаться того-же правила: возсоздавать не все, а лишь значительное и достойное нравственнаго вниманія. Не думайте, что его нѣтъ: прекрасное неисчерпаемо, и отъ насъ зависитъ вызвать его къ жизни и населить имъ міръ. Оставаться обществу среди уродовъ нельзя безнаказанно: видъ уродовъ только уродуетъ; совершенствуетъ-же и общество, и отдѣльнаго человѣка, лишь созерцаніе совершенства, общеніе съ нимъ. Та черта, которую излюбилъ и «возвелъ въ паѳосъ» г. Чеховъ (и менѣе талантливые его товарищи)—черта дряблости и безволія русскаго человѣка—несомнѣнно существуетъ, но не заслуживаетъ ни закрѣпленія, ни увѣковѣченія. Еслибъ эта черта сейчасъ исчезла, самъ г. Чеховъ первый былъ-бы очень радъ, а между тѣмъ онъ дѣлаетъ все, чтобы задержать ея исчезновеніе. Онъ выпускаетъ одного за другимъ дряблыхъ героевъ и натворилъ ихъ уже легіонъ, напрягая свой геній, чтобы этимъ фикціямъ вдохнуть жизнь, заставить ихъ войти въ интимное общество читателя, въ кругъ его семьи, къ домашнему очагу. Будь г. Чеховъ бездарный авторъ, эти фигурки были-бы безжизненны: совершенно безвредно, подобно фарфоровымъ китайчикамъ на этажеркѣ, они кивали-бы головками, никого не смущая. Но, къ несчастію для даннаго случая, г. Чеховъ большой талантъ, и его герои не игрушки, не куклы: ихъ нельзя выселить изъ своей памяти, и приходится поневолѣ жить съ ними, заражаясь ихъ психическою дряблостью: вліяніе среды неотразимо.

Нашей эпохѣ нужно, какъ и всякой эпохѣ, *органической* силы прежде всего. Необходимо, чтобы общество въ цѣломъ и отдѣльные люди создавали около себя здоровье, красоту и счастье, а не только кривлялись въ декадансѣ, обличали да отрицали. Природа не терпитъ пустоты, и за отрицаемымъ сейчасъ же должно стать нѣчто

утверждаемое, иначе первое возвратится на прежнее мѣсто. Только могучимъ ростомъ положительнаго, обильнымъ нарожденіемъ новыхъ и болѣе здоровыхъ явленій, нежели теперешнія, можно постепенно освободиться отъ душевной гнили и хворн. Литература можетъ сдѣлать далеко не все, но она много значитъ въ психикѣ общества: она уясняетъ, указываетъ, ставитъ примѣръ, т. е. то, что всего нужнѣе во всякомъ общественномъ прогрессѣ. Необходимо удовлетворить основному инстинкту въ обществѣ—инстинкту подражанія, которымъ строится всякая культура,—а для этого нужны не отрицательные, а положительные образцы. Необходимо для подъема жизни, чтобы въ ней присутствовали реально живые образы желательнаго, совершеннаго, идеальнаго, и если ихъ нѣтъ, то недочетъ должна возмѣстить иллюзія искусства. Такая иллюзія есть святыня, ведущая жизнь впередъ. Многіе-ли видѣли въ самой жизни образъ Мадонны? Многіе-ли встрѣчали героевъ, людей божественныхъ? Вообразите-же, что изъ нашего міра навсегда исчезли картины великихъ художниковъ, античныя статуи, величественные храмы, грезы поэтовъ, композиторовъ и мудрецовъ. Міръ обѣднѣлъ-бы и осиротѣлъ. Почувствовалось-бы отшествіе куда-то безцѣнныхъ, хотя и безтѣлесныхъ благъ. Но если такъ, то слѣдуетъ нетолько сберегать, но и увеличивать это святое одушевленіе, необходимо самимъ создавать побольше свѣта, красоты и правды и населять ими нашу мрачную жизнь. Богъ не создалъ тьмы, она была дана отъ вѣка; первое-же начало творчества: «да будетъ свѣтъ!»

Больная воля.

(„Палата № 6“. Разсказъ *А. П. Чехова)*.

I.

Нигдѣ въ свѣтѣ для образованныхъ людей нѣтъ болѣе широкаго поприща для работы, чѣмъ въ Россіи. Отъ своей древней, вѣковой культуры мы отступились, чужой-же пока еще не приняли сколько-нибудь прочно. Когда не существуетъ условій, при которыхъ слагается организованный бытъ, то человѣческая энергія не накапливается, не переходитъ въ творчество, не осуществляется въ вещахъ. Она разсѣивается безслѣдно, какъ сила сырая, стихійная. Россія, не смотря на тысячелѣтіе своей исторической жизни, все еще не сложилась окончательно. Неустроенная, огромная страна съ почти первобытнымъ населеніемъ, съ почти нетронутыми богатствами почвы, съ едва народившимися наукою, искусствомъ и литературою... Казалось-бы, какое необъятное поле для труда, для творческой, созидательной работы! Тутъ возможны во всѣхъ областяхъ открытія и первыя начинанія:—стоитъ захотѣть, и вы во множествѣ захолустій можете явиться своего рода Кадмомъ или Кекропсомъ, однимъ изъ тѣхъ миѳическихъ насадителей культуры, которые «научили жителей ковать желѣо и пахать землю», «научили письменамъ и музыкѣ». Въ самомъ дѣлѣ, въ любомъ уѣздномъ городѣ вамъ разскажутъ не одну

исторію о томъ, какъ еще въ недавніе годы не было ни одного мѣдника: пришелъ нѣмецъ съ инструментомъ, и съ тѣхъ поръ пошли слесарныя мастерскія; или о томъ, какъ недавно еще и помину не было о книжныхъ лавкахъ, — явился ссыльный полякъ и завелъ библіотеку; не было парикмахера — пріѣхалъ еврей и пр. и пр. Такихъ Кадмовъ и Кекропсовъ втеченіе этого столѣтія, особенно съ войны 12-го года, разсѣяно было по Россіи великое множество, и всѣ они вышли въ купцы, разбогатѣли и теперь ворочаютъ милліонными дѣлами, исподволь забравъ у насъ всю хлѣбную, всю нефтяную, каменноугольную, желѣзную, сахарную и всякую иную промышленность и торговлю. И времена Кадмовъ еще далеко не прошли; во всѣхъ сферахъ жизни у насъ, благодаря отсталости, таятся цѣлыя пустыни, дѣвственные лѣса и дикія трущобы, «гдѣ не ступала нога европейца». Я говорю не о какихъ нибудь вятскихъ и пермскихъ захолустьяхъ, а могъ-бы указать ихъ на самыхъ вершинахъ нашей общественности, гдѣ цвѣтутъ будто-бы науки и искусства. Всюду непочатые углы работы и почти полное отсутствіе работниковъ. Когда вышелъ въ русскомъ переводѣ томъ извѣстной Всемірной Географіи Рэклю, посвященный Россіи, русскіе профессора приложили къ нему особый томикъ дополненій и обзоровъ. Одинъ профессоръ говоритъ о русской метеорологіи, другой о почвахъ, третій о хозяйствахъ и пр. и пр. И каждый профессоръ поговоривъ о своемъ предметѣ, съ грустью замѣчаетъ, что подробныхъ данныхъ еще не имѣется, что та или другая сторона еще не изучена, ждетъ изслѣдователей. До такой степени все у насъ еще нетронуто культурой, что даже въ самомъ Петербургѣ ученые дѣлаютъ иногда открытія какъ-будто гдѣ-нибудь въ центрѣ Африки: вспомните исторію съ анализами невской воды или открытіе новаго уклона рѣки Невы. А наши книгохранилища, неразобранныя цѣлыя сотни лѣтъ библіотеки, архивы,—тамъ вѣдь тоже

не ступала «нога европейца». А нашъ общественный и народный бытъ! Для интеллигенціи дѣятельной, даровитой, нигдѣ въ свѣтѣ нѣтъ условій болѣе благодарныхъ для труда. Возьмите Европу съ ея старою культурой и длиннымъ рядомъ образованныхъ поколѣній: тамъ все уже давно начато, устроено и десятки разъ повторено,—тамъ самая захолустная сторона быта разработана и освѣщена, тамъ нѣтъ и пяди земли, не утоптанной ногою европейца. Въ Европѣ страшный избытокъ интеллигенціи, и даже среди околодочныхъ встрѣчаются доктора философіи; тамъ нѣтъ репортера, нѣтъ школьнаго учителя, даже писаря у мирового судьи, который не прошолъ-бы чрезъ «святыя стѣны университета». Тамъ тѣсно; тамъ до такой степени все открыто и изучено, что открыть что нибудь новое, неизвѣстное такъ-же трудно, какъ открыть въ Атлантическомъ океанѣ новую Америку. Чтобы создать новыя возможности, найти себѣ выгодный трудъ, западному европейцу приходится перестраивать очень удовлетворительный культурный бытъ въ хорошій, хорошій въ лучшій, лучшій въ еще лучшій и т. д. или бѣжать въ иныя, дѣвственныя страны—Америку, Африку, Россію.

И такъ, несомнѣнно, нѣтъ страны, гдѣ-бы образованные люди были поставлены въ лучшее положеніе для работы. А спросите любого русскаго интеллигента, особенно провинціальнаго, «не сдѣлавшаго карьеры»: тономъ глубочайшаго, задушевнаго убѣжденія онъ станетъ доказывать, что нѣтъ на свѣтѣ страны, гдѣ интеллигентному человѣку жилось-бы хуже, чѣмъ въ Россіи, гдѣ его дѣятельность была-бы болѣе стѣснена тысячью препонъ и запретовъ и гдѣ она задыхалась-бы отъ непобѣдимой тупости и дикости «среды». Среда «заѣла» не одного, а чуть-ли не всѣхъ русскихъ хорошихъ людей, и до сихъ поръ продолжаетъ заѣдать. Одинъ мой другъ пишетъ мнѣ изъ В.: «Здѣшнее общество всколыхнулось смертью директора гимназіи Н. Въ молодости онъ былъ очень ученымъ чешскимъ патріотомъ, бѣжалъ

отъ преслѣдованія австрійскихъ властей и умеръ въ русской глуши отъ пива, ожирѣнія и ничего-недѣланія. Какъ корова воду дулъ пиво,—болѣе ведра въ день: только въ этомъ и проходило его время. Подумаешь, какое вліяніе имѣетъ русская жизнь даже на западнаго человѣка! Изъ передового бойца превращается въ самаго рутиннаго педагога и въ пивную бочку. Вообще здѣсь странныя смерти, то-бишь, преподлѣйшія: за два года пребыванія моего умерло четверо интеллигентовъ и всѣ отъ пьянства: *докторъ* И. (сосланный за соціализмъ), *аудиторъ* Ф., *ветеринаръ* М. и *директоръ* Н. Каково? И все либеральныя профессіи...» Другіе знакомые, наѣзжающіе иногда изъ провинціи «освѣжиться», поютъ ту-же грустную пѣсню: «Просто задыхаешься въ нашемъ болотѣ! На цѣлый городъ—ни библіотеки, ни книжнаго магазина, ни газеты, ни даже журнала порядочнаго никто не выписываетъ. Какое-же тутъ можетъ быть общеніе?»—Ну, а вы сами—пробовали-ли вы устроить библіотеку, книжную лавку, завести газету? Какой журналъ вы выписываете?—задаю я эти нескромные вопросы; но въ отвѣтахъ не нуждаюсь: они мнѣ слишкомъ знакомы и даже надоѣли. «Гдѣ ужъ мнѣ! Не дотого, что вы! Да и не по средствамъ...»

Лѣнивы мы и не любопытны, говорилъ Пушкинъ. Къ добру и злу постыдно равнодушны, говорилъ Лермонтовъ. Чуткая душа обоихъ великихъ поэтовъ поняла печальную правду русскаго характера. Вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ вся литература безъ исключенія не перестаетъ оплакивать лѣнь и бездѣятельность русскаго человѣка. Обломовщина насъ душитъ. И это вовсе не случайная черта, а культурная, продуктъ вѣками слагавшагося, какъ геологическая формація, своеобразнаго быта. Древняя, средневѣковая наша культура, отъ которой мы—верхніе слои—отказались, была несравненно дѣятельнѣе, предпріимчивѣе, одушевленнѣе: упадокъ духа обнаруживается въ XVII вѣкѣ и идетъ вмѣ-

стѣ съ отмираніемъ органическихъ началъ нашей старинной, болѣе свободной общественности, и съ развитіемъ крѣпостнаго права. Крѣпостная эпоха обезсилила и народъ, и еще больше образованные слои. Начиная съ Тентетникова, продолжая Ильей Ильичемъ и цѣлымъ рядомъ «лишнихъ людей», рефлектиковъ и гамлетиковъ, литература даетъ портреты обездушенной, обезволенной интеллигенціи, кончающей именно такъ, какъ описываетъ мнѣ пріятель изъ В. Молодые беллетристы продолжаютъ рисовать тѣ-же типы: доказательство, что эти типы еще живы въ русскомъ обществѣ и даже преобладаютъ. Прочитайте замѣчательный разсказъ г. Антона Чехова «Палата № 6». Въ этомъ разсказѣ, какъ во всѣхъ своихъ вещахъ, — «Скучной Исторіи», «Дуэли», «Женѣ,» «Сосѣдяхъ», «Страхѣ»—талантливый художникъ выводитъ на-подборъ слабыхъ и дряблыхъ русскихъ людей, новѣйшихъ Обломовыхъ, рѣшительно не умѣющихъ жить, не умѣющихъ устраивать ни своего, ни чужого счастья при самыхъ прекрасныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ. «Палата № 6» — это, можетъ-быть, самая удачная вещь Чехова: это—горькая драма, заслуживающая не только прочтенія, но глубокаго, внимательнаго изученія. Позвольте передать здѣсь содержаніе этого разсказа.

II

Мѣсто дѣйствія—захолустный русскій городъ въ двухстахъ верстахъ отъ желѣзной дороги; время — ближайшіе къ намъ годы. Въ захолустномъ городѣ существуетъ «богоугодное заведеніе»—больница, а въ ней одинъ флигель назначенъ для душевно-больныхъ. Это и есть палата № 6.

Запущена она до чрезвычайности: окружена цѣлымъ лѣсомъ репейника и крапивы, ступеньки у крыльца сгнили, штукатурка совершенно обвалилась. Однимъ-фасадомъ флигель обращонъ къ больницѣ, другимъ «глядитъ въ

поле, отъ котораго его отдѣляетъ сѣрый больничный заборъ съ гвоздями»—все это особаго, «унылаго, окаяннаго вида» нашихъ больницъ и остроговъ. Въ сѣняхъ, на грудѣ гніющаго больничнаго хлама—матрацахъ, изорванныхъ халатахъ, истасканной обуви и отрепьяхъ обыкновенно валяется сторожъ Никита. Отставной старинный солдатъ, въ полной власти котораго находятся всѣ пятеро душевно-больныхъ, Никита «принадлжитъ къ числу тѣхъ простодушныхъ, положительныхъ, исполнительныхъ и тупыхъ людей, которые больше всего на свѣтѣ любятъ порядокъ и потому убѣждены, что *ихъ* надо бить. Онъ бьетъ по лицу, по груди, по спинѣ, по чемъ попало и увѣренъ, что безъ этого не было-бы здѣсь порядка». Самая палата помѣшанныхъ—грязная комната съ закопченымъ, какъ въ курной избѣ, потолкомъ, съ желѣзными рѣшотками въ окнахъ и занозистымъ поломъ. «Воняетъ кислою капустою, фитильною гарью, клопами и амміакомъ, и эта вонь въ первую минуту производитъ впечатлѣніе, какъ-будто вы входите въ звѣринецъ».

Помѣшанные всѣ, кромѣ одного,—мѣщане: прогрессивный паралитикъ, дурачокъ «жидъ Мосейка», почтальонъ, вообразившій себя крупной особой, бывшій студентъ Иванъ Дмитричъ, одержимый маніей преслѣдованія, да сосѣдъ его—«оплывшій жиромъ, почти круглый мужикъ, съ тупымъ, совершенно безсмысленнымъ лицомъ, котораго Никита бьетъ страшно, со всего размаха, не щадя кулаковъ, и это отупѣвшее животное не отвѣчаетъ на побои ни звукомъ, ни движеніемъ, ни выраженіемъ глазъ, а только покачивается, какъ тяжелая бочка».

Жизнь заключенныхъ въ этомъ забытомъ, заброшенномъ углу течетъ безконечно уныло и однообразно. Больные изо дня въ день видятъ только полупьянаго сторожа Никиту, никто сюда не заглядываетъ цѣлыми годами, новыхъ больныхъ докторъ давно уже не принимаетъ и самъ никогда сюда не заходитъ. Но вдругъ разнесся странный слухъ, что докторъ сталъ посѣщать палату...

«Докторъ Андрей Ефимычъ Рагинъ принялъ эту больницу и палату умалишенныхъ двадцать лѣтъ тому назадъ, по окончаніи медицинскаго факультета. «Когда онъ пріѣхалъ въ городъ, «богоугодное заведеніе» находилось въ ужасномъ состояніи. Въ палатахъ, коридорахъ и въ больничномъ дворѣ тяжело было дышать отъ смрада. Больничные мужики, сидѣлки и ихъ дѣти спали въ палатахъ вмѣстѣ съ больными. Жаловались, что житья нѣтъ отъ тараканов, клоповъ и мышей. Въ хирургическомъ отдѣленіи не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра; въ ваннахъ держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшеръ грабили больныхъ, а про стараго доктора, предшественника Андрея Ефимыча, разсказывали, будто онъ занимался тайною продажей больничнаго спирта и завелъ себѣ изъ сидѣлокъ и больныхъ женщинъ цѣлый гаремъ. Въ городѣ отлично знали эти безпорядки и даже преувеличивали ихъ, но относились къ нимъ спокойно; одни оправдывали ихъ тѣмъ, что въ больницу ложатся только мѣщане да мужики, которые дома живутъ гораздо хуже, чѣмъ въ больницѣ: не рябчиками-же ихъ кормить! Другіе говорили, что одному городу безъ помощи земства не подъ силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни въ городѣ, ни возлѣ, ссылаясь на то, что городъ имѣетъ уже свою больницу».

Скажите, развѣ это не счастливое поприще для интелигентнаго вмѣшательства? Развѣ не кстати тутъ было-бы проявить самую безкорыстную, неутомимую энергію? Молодой врачъ, только что оставившій «святыя стѣны университета» въ годы общественнаго подъема, въ годы освобожденья...

«Осмотрѣвъ больницу, Андрей Ефимычъ пришолъ къ заключенію, что это учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей, По его

мнѣнію, самое умное, что можно было сдѣлать, это—выпустить больныхъ на волю, а больницу закрыть». Но уже тогда, молодымъ человѣкомъ, онъ разсудилъ, что не стоитъ особенно волноваться: «принявъ должность, онъ отнесся къ безпорядкамъ, повидимому, довольно равнодушно. Онъ попросилъ только больничныхъ мужиковъ и сидѣлокъ не ночевать въ палатахъ и поставилъ два шкафа съ инструментами; смотритель-же, кастелянша, фельдшеръ и хиругическая рожа остались на своихъ мѣстахъ». Затѣмъ идутъ годы за годами, цѣлое двадцатилѣтіе, и въ жизни несчастныхъ, попавшихъ въ больницу, все остается по старому...

Чѣмъ объяснить эту преступную бездѣятельность? Недостаткомъ физическихъ силъ, нездоровьемъ? Нѣтъ, Андрей Ефимовичъ какъ и Илья Ильичъ Обломовъ, пользуется вожделѣннымъ здравіемъ. Недостаткомъ образованія, умственнаго развитія? Опять-же нѣтъ, иначе выше его пришлось-бы поставить любого добросовѣстнаго лакея, поддерживающаго порядокъ въ квартирѣ. Еслибы еще Андрей Ефимовичъ, подобно предшественнику, продавалъ больничный спиртъ и устраивалъ гаремъ изъ сидѣлокъ,—его невмѣшательство было-бы сколько-нибудь понятно. Но Андрей Ефимовичъ—человѣкъ отмѣнно порядочный, интеллигентный. Онъ не корыстолюбивъ и отказался даже отъ всякой практики въ городѣ, и изъ разсказа не видно, чтобы онъ взглянулъ когда-нибудь на женщину съ вожделѣньемъ. «Придя домой, онъ немедленно садится въ кабинетѣ за столъ и начинаетъ читать. Читаетъ онъ очень много и всегда съ большимъ удовольствіемъ. Половина жалованья у него уходитъ на покупку книгъ, и изъ шести комнатъ его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего онъ любитъ сочиненія по исторіи и философіи; по медицинѣ-же выписываетъ одну лишь газету «Врачъ», которую всегда начинаетъ читать съ конца. Чтеніе всякій разъ продолжается безъ перерыва по нѣскольку часовъ

и его не утомляетъ. Читаетъ онъ медленно, съ проникновеніемъ, часто останавливаясь на мѣстахъ, которыя ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоитъ графинчикъ съ водкой и лежитъ соленый огурецъ или моченое яблоко. Чрезъ каждые полчаса, не отрывая глазъ, онъ наливаетъ себѣ рюмку водки и выпиваетъ». Послѣ обѣда, плохого и непріятнаго, Андрей Ефимычъ ходитъ по своимъ комнатамъ, скрестивъ на груди руки, и думаетъ—вплоть до вечера, когда къ нему приходитъ почтмейстеръ, «единственный во всемъ городѣ человѣкъ, общество котораго для Андрея Ефимыча не тягостно»; это прокутившійся отставной кавалеристъ, жизнерадостный, пустой, но по крайней-мѣрѣ благовоспитанный человѣкъ. Начинается питье пива и умные разговоры. Докторъ жалуется, что «въ нашемъ городѣ совершенно нѣтъ людей, которые-бы умѣли и любили вести умную и интересную бесѣду. Даже интеллигенція не возвышается надъ пошлостью; уровень ея развитія нисколько не выше, чѣмъ у низшаго сословія».

Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ оказывается, что докторъ—истинный философъ, въ греческомъ значеніи этого слова. «На этомъ свѣтѣ, говоритъ онъ, все незначительно и неинтересно, кромѣ высшихъ духовныхъ проявленій человѣческаго ума. Онъ замѣняетъ ему безсмертіе, котораго нѣтъ. Умъ служитъ ему единственно возможнымъ источникомъ наслажденія». Въ дѣтствѣ Андрей Ефимычъ былъ очень религіозенъ и хотѣлъ поступить въ духовную академію, но, по настоянію отца, тоже доктора, сдѣлался врачомъ. «Мнѣ кажется, что если-бы я тогда не послушался его, говоритъ Андрей Ефимычъ, то теперь находился-бы въ самомъ центрѣ умственнаго движенія. Вѣроятно, былъ-бы членомъ какого-нибудь факультета».

Какъ человѣкъ, не вѣрящій въ безсмертіе души, Андрей Ефимычъ понимаетъ жизнь какъ «досадную ловушку»; онъ мучается безсмыслицей бытія и видитъ

отраду лишь въ умственной дѣятельности. «Какъ въ тюрьмѣ, люди, связанные общимъ несчастіемъ, чувствуютъ себя легче, когда сходятся вмѣстѣ, такъ и въ жизни не замѣчаешь ловушки, когда люди, склонные къ анализу и обобщеніямъ, сходятся вмѣстѣ и проводятъ время въ обмѣнѣ гордыхъ, свободныхъ идей».

Проводивъ пріятеля, Андрей Ефимычъ садится за столъ и опять начинаетъ читать, погруженный въ тишину ночи. «Грубое, мужицкое лицо доктора озаряется улыбкой умиленія и восторга передъ движеніями человѣческагѣ ума». Онъ снова погружается въ проклятый вопросъ—зачѣмъ человѣкъ не безсмертенъ; воображаетъ времена, «когда охладѣвшая земля, безъ смысла и безъ цѣли, будетъ носиться съ землей вокругъ солнца», и приходитъ къ справедливому выводу, что утѣшенья нѣтъ. «Только трусъ, у котораго больше страха передъ смертью, чѣмъ достоинства, можетъ утѣшать себя тѣмъ, что тѣло его современемъ будетъ жить въ травѣ, въ камнѣ, въ жабѣ...»

Но безутѣшность въ будущемъ, казалось-бы, должна была натолкнуть доктора на мысль о безконечной цѣнности настоящаго, о необходимости устраиваться возможно лучше здѣсь, теперь-же, пока еще живо дыханіе жизни. На дѣлѣ этого нѣтъ.

III.

«Невзначай, подъ вліяніемъ хорошихъ мыслей, вычитанныхъ изъ книги, Андрей Ефимычъ бросаетъ взглядъ на свое прошедшее и настоящее. И въ настоящемъ тоже, что въ прошломъ. Онъ знаетъ, что въ то время, когда его мысли носятся вмѣстѣ съ охлажденною землей вокругъ солнца, рядомъ съ докторскою квартирой, въ большомъ корпусѣ томятся люди въ болѣзняхъ и физической нечистотѣ. Быть-можетъ, кто-нибудь не спитъ и воюетъ съ насѣкомыми, кто-нибудь заражается рожей

или стонетъ отъ туго-положенной повязки; быть-можетъ, больные играютъ въ карты съ сидѣлками и пьютъ водку». Пріемъ больныхъ свелся къ пустѣйшей формальности, къ обману, и никакой помощи больные не получали. «Все больничное дѣло, какъ и двадцать лѣтъ назадъ, построено на воровствѣ, дрязгахъ, сплетняхъ, кумовствѣ, на грубомъ шарлатанствѣ, и больница попрежнему представляетъ изъ себя учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей. Онъ знаетъ, что въ палатѣ № 6 за рѣшетками Никита колотитъ больныхъ и оскорбляетъ жида Мосейку, собирающаго милостыню». Съ другой-же стороны, доктору отлично извѣстно, что за послѣднія 25 лѣтъ съ медициной произошла сказочная перемѣна. «Когда онъ читаетъ по ночамъ, медицина трогаетъ его и возбуждаетъ въ немъ удивленіе и восторгъ. Какой неожиданный блескъ, какая революція! Благодаря антисептикѣ, дѣлаютъ операціи, какія Пироговъ считалъ невозможными даже in spe. Обыкновенные земскіе врачи рѣшаются производить резекцію колѣннаго сустава, на сто чревосѣченій одинъ только смертный случай, а каменная болѣзнь считается такимъ пустякомъ, что о ней даже не пишутъ. Радикально излѣчивается сифилисъ... Психіатрія съ ея теперешнею классификаціей болѣзней, методами распознаванія и лѣченія—это въ сравненіи съ тѣмъ, что было, цѣлый Эльборусъ. Теперь помѣшаннымъ не льютъ на голову холодную воду, не надѣваютъ на нихъ горячечныхъ рубахъ; ихъ содержатъ по-человѣчески, устраиваютъ даже для нихъ спектакли и балы. Андрей Ефимычъ знаетъ, что, при теперешнихъ взглядахъ и вкусахъ, такая мерзость, какъ палата № 6, возможна развѣ только въ двустахъ верстахъ отъ желѣзной дороги, въ городкѣ, гдѣ городской голова и всѣ гласные—полуграмотные мѣщане, видящіе во врачѣ жреца, которому нужно вѣрить безъ всякой критики, хотя-бы онъ вливалъ въ ротъ раскаленное олово; въ другомъ-же мѣстѣ

публика и газеты давно-бы уже расхватали въ клочья эту маленькую Бастилію».

Такимъ образомъ Андрей Ефимовичъ «не противится злу» не отъ недостатка сознанія этого зла, не отъ убѣжденія въ невозможности борьбы съ нимъ, не отъ сочувствія ему. Напротивъ, «Андрей Ефимычъ чрезвычайно любитъ умъ и честность; но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватаетъ характера и вѣры въ свое право. Приказывать, запрещать и настаивать онъ положительно не умѣетъ».

Не умѣетъ, или не хочетъ? Вѣрнѣе, я думаю, второе. У него не хватаетъ не то чтобы воли, а *желанія*. Существуетъ психическая болѣзнь—ослабленіе воли, когда человѣкъ страшно хочетъ что-нибудь сдѣлать, но не можетъ; въ данномъ-же случаѣ мы имѣемъ совсѣмъ другое: Андрей Ефимовичъ просто не хочетъ помочь несчастнымъ,—вотъ и все. Это болѣзнь не воли, а, какъ мнѣ кажется, болѣзнь совѣсти. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ тихій, скромный, до крайности уступчивый, высокоинтеллигентный человѣкъ въ сущности ужасно безсовѣстный, какъ вообще всѣ бездѣятельные русскіе люди, всѣ Обломовы, отъ Евгенія Онѣгина и Тентетникова до Рудина, Ильи Ильича, Райскаго, Бельтова и иныхъ. Бездѣятельность, безволіе русскихъ людей, иногда столь прекрасныхъ и невинныхъ, я считаю порокомъ не ума, не образованія, не характера вообще, — а одной особенной черты характера—совѣсти. Вовсе не разочарованіе, не тоска по идеаламъ, не физическая лѣнь, не умственная неразвитость создаютъ Обломовыхъ, а создаетъ ихъ *нравственная бездарность*, недостатокъ въ душѣ нравственнаго сознанія. Русскій человѣкъ «постыдно равнодушенъ» къ добру и злу; погруженный въ какой-то сонъ совѣсти, онъ можетъ глядѣть на вопіющія мерзости и не возмущаться или возмущаться очень слабо. Даже тогда, когда умственное сознаніе подсказываетъ нравственному собственныя вины человѣка, онъ лишь слабо отмахивается отъ нихъ

рукой. «Я служу вредному дѣлу, думаетъ иногда Андрей Ефимовичъ, — я получаю жалованье отъ людей, которыхъ обманываю. Я не честенъ. Но...»

IV.

Тутъ на помощь бездарной совѣсти приходитъ тонкоразвитый умъ. Всѣ Обломовы, сколько ихъ ни есть на свѣтѣ, люди очень интеллигентные; умъ у нихъ не ниже, а скорѣе выше средняго, образованіе прекрасно. Зашищать себя предъ совѣстью они умѣютъ; они непремѣнно оправдываютъ свое вредное существованіе: кто — «независящими обстоятельствами», кто — средой, барскимъ воспитаніемъ, кто—міровою скорбью. Но прежніе Обломовы были все-таки несравненно совѣстливѣе новѣйшаго типа. Печоринъ сознается все-таки, что онъ «не угадалъ своего высокаго назначенія и увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ». Рудинъ кается: «Я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда». Даже Илья Ильичъ, до противности влюбленный въ себя, все-таки сознавалъ, что душевный кладъ его «заваленъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища». Всѣ старые Обломовы не на дѣлѣ, такъ на словахъ, въ душѣ, желали великой дѣятельности, думали, какъ Илья Ильичъ, что «нужно служить, пока станетъ силъ, потому-что Россіи нужны руки и головы для разрабатыванія неистощимыхъ источниковъ». Совсѣмъ нето новѣйшій Обломовъ, Андрей Ефимычъ, нарисованный мастерскою кистью г. Чехова. Сохраняя всѣ крупныя черты родового обломовскаго типа, Андрей Ефимычъ представляетъ въ нравственномъ смыслѣ дальнѣйшую, несравненно болѣе низкую стадію вырожденія. Андрей Ефимычъ уже не угрызается совѣстью и, ясно сознавая умомъ,

что онъ безчестенъ, ничуть этимъ не волнуется. Хорошо-вооруженный умъ является для него искуснымъ адвокатомъ, который по первому требованію обѣляетъ своего кліента. «Я нечестенъ. думаетъ Андрей Ефимычъ, — но вѣдь самъ по себѣ я ничто, я только частица необходимаго соціальнаго зла: всѣ уѣздные чиновники вредны и даромъ получаютъ жалованье... Значитъ, въ свой нечестности виноватъ не я, а время. Родись я двумя-стами лѣтъ позже, я былъ бы другимъ». Вотъ и весь сказъ. Впрочемъ, не весь. На досугѣ, обезпеченномъ страданіями больныхъ и помѣшанныхъ, Андрей Ефимычъ сочиняетъ цѣлую философскую систему въ защиту «непротивленія злу», въ защиту полнаго равнодушія къ горю ближнихъ. Онъ перестаетъ лѣчить, заявляя, что не слѣдуетъ мѣшать людямъ болѣть, сходить съ ума или умирать, не слѣдуетъ вообще бороться со зломъ. Это было еще задолго до знаменитой Толстовской формулы, такъ плохо понятой въ недавніе годы. Андрей Ефимычъ еще двадцать лѣтъ тому назадъ рѣшилъ, что улучшать больницу безполезно: «Если физическую и нравственную нечистоту прогнать съ одного мѣста, то она перейдетъ на другое; надо ждать, когда она сама вывѣтрится. Къ тому-же, если люди открыли больницу и терпятъ ее у себя, то, значитъ, она имъ нужна: предразсудки и всѣ эти житейскія гадости и мерзости нужны, такъ-какъ они съ теченіемъ времени перерабатываются во что-нибудь путное, какъ навозъ въ черноземъ. На землѣ нѣтъ ничего такого хорошаго, что въ своемъ первоисточникѣ не имѣло-бы гадости». Пробовалъ онъ было вначалѣ (какъ и всѣ прежніе Обломовы) заняться практическою дѣятельностью, т. е. лѣченіемъ больныхъ, и даже работалъ очень усердно, но затѣмъ дѣло это наскучило ему своимъ однообразіемъ и безполезностью, совершенно такъ, какъ наскучивало живое дѣло и прежнимъ Обломовымъ. Можно-ли серьезно лѣчить, когда отъ утра до обѣда приходится принять сорокъ больныхъ? Можно-ли лѣчить въ такой больницѣ,

съ ея смрадомъ и грязью, вредною пищей и ворами-помощниками? Уничтожить-же грязь и вредную пищу и воровъ, устроить нужныя условія для успѣха дѣла—на это новѣйшій Обломовъ оказался столь-же неспособнымъ, какъ и прежніе. И въ оправданіе этой неспособности, нынѣшній вооруженный умъ выдвигаетъ снова философію. «Да и къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный и законный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгашъ или чиновникъ проживетъ лишнихъ пять, десять лѣтъ?» (Вспомните, читатель, разсужденія Раскольникова передъ убійствомъ старушонки-закладчицы). «Если же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лѣкарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, страданія ведутъ человѣка къ совершенству; и во-вторыхъ, если человѣчество въ самомъ дѣлѣ научится облегчать свои страданія пилюлями и каплями, то оно совершенно заброситъ религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило нетолько защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастіе. Пушкинъ передъ смертью испытывалъ страшныя мученія, бѣдняжка Гейне нѣсколько лѣтъ лежалъ въ параличѣ, почему-же не поболѣть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матренѣ Савишнѣ, жизнь которыхъ безсодержательна и была-бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если-бы не страданія? *Подавляемый* такими разсужденіями, Андрей Ефимычъ опустилъ руки и сталъ ходить въ больницу не каждый день».

Такова философія новѣйшаго Обломова. Въ ней достаточно ума, начитанности, но совсѣмъ нѣтъ сердца. Разсужденія *подавляли* его: разумъ, оживляемый не совѣстью, а мертвою логикой, есть простая машина, холодная и слѣпая: работа его производитъ мертвую, давящую энергію, простое движеніе, которое недаетъ само по себѣ ни теплоты, ни свѣта. Жизненное зло—а Андрей Ефимычъ былъ окруженъ имъ въ избыткѣ—не вызывало

въ немъ ни отвращенія, ни ужаса. Онъ не возмущался, несострадалъ. Полъ-квартиры ученыхъ книгъ и безконечный молчаливый «обмѣнъ гордыхъ, свободныхъ идей» не подсказалъ нашему Обломову нравственнаго ужаса его состоянія. Напротивъ, въ душѣ онъ, повидимому, любовался отсутствіемъ въ себѣ совѣсти, считалъ это стадіей высшаго развитія. Впервые ему пришлось услышать горькую правду въ глаза—отъ сумасшедшаго, именно въ палатѣ № 6, куда докторъ зашолъ совершенно нечаянно для себя и для больныхъ. Единственный «благородный» помѣшанный, бывшій студентъ Громовъ, узналъ доктора. «Онъ весь затрясся отъ гнѣва, вскочилъ съ краснымъ, злымъ лицомъ, съ глазами на выкатѣ, выбѣжалъ на средину залы.—Докторъ пришелъ! крикнулъ онъ и захохоталъ.—Наконецъ-то! Господа, поздравляю, докторъ удостоиваетъ насъ своимъ визитомъ. Проклятая гадина! взвизгнулъ онъ и въ изступленіи, какого еще никогда не видали въ палатѣ, топнулъ ногой.—Убить эту гадину! Нѣтъ, мало убить! Утопить въ отхожемъ мѣстѣ!.. Воръ! Шарлатанъ! Палачъ!»

Такова благодарность отъ несчастныхъ, заслуженная интеллигентнымъ дѣятелемъ за двадцать лѣтъ «службы обществу». Но Андрей Ефимычъ нравственно неуязвимъ: онъ заинтересовывается студентомъ, съ удовольствіемъ лакомки видитъ въ немъ то, чего не могъ найти въ городѣ — интеллигентнаго и умнаго собесѣдника — и пускается съ нимъ въ длинную бесѣду. Студентъ, какъ одержимый маніей преслѣдованія, въ свѣтлые промежутки владѣетъ всею силою и остротой ума и безпощадно опровергаетъ философствующаго доктора. Андрей Ефимычъ, «наслаждаясь обмѣномъ гордыхъ, свободныхъ идей», идетъ въ палату и на слѣдующій день, и затѣмъ ежедневно, хотя эти посѣщенія ни въ малѣйшей степени не облегчаютъ участи больныхъ. Андрей Ефимычъ старается доказать негодующему Громову, что не слѣдуетъ противиться злу.

— За что вы меня держите?—возмущается истрадавшійся Громовъ.

— За то, что вы больны.

— Да, боленъ. Но вѣдь десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому-что ваше невѣжество неспособно отличить ихъ отъ здоровыхъ. Почему-же я и вотъ эти несчастные должны сидѣть тутъ за всѣхъ, какъ козлы отпущенія? Вы, фельдшеръ, смотритель и вся ваша больничная сволочь въ нравственномъ отношеніи неизмѣримо ниже каждáго изъ насъ,—почему-же мы сидимъ тутъ. а вы нѣтъ? Гдѣ логика?

Въ отвѣтъ на это Андрей Ефимычъ выматываетъ изъ себя такія разсужденія:

— Нравственное отношеніе и логика тутъ нипричемъ. Все зависитъ отъ случая. Кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ,—вотъ и все. Въ томъ-что я докторъ, а вы душевнобольной—нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность... Самое лучшее въ вашемъ положеніи — бѣжать отсюда. Но это безполезно,—васъ задержатъ. Когда общество ограждаетъ себя отъ преступниковъ, психическихъ больныхъ и вообще неудобныхъ людей, то оно непобѣдимо. Вамъ остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребываніе здѣсь необходимо.

— Никому оно не нужно,—возражаетъ Громовъ.

— Разъ существуютъ тюрьмы и сумасшедшіе дома, то долженъ-же кто-нибудь сидѣть въ нихъ. Не вы—такъ я, не я—такъ-кто нибудь другой, третій. Погодите, когда въ далекомъ будущемъ закончатъ свое существованіе тюрьмы и сумасшедшіе дома, то не будетъ ни рѣшетокъ у оконъ, ни халатовъ... Но и тогда законы природы останутся тѣ-же. Люди будутъ умирать такъ-же, какъ и теперь. Какая-бы великолѣпная заря ни освѣщала вашу жизнь, но все-таки, въ концѣ-концовъ, васъ заколотятъ въ гробъ и бросятъ въ яму.

Это философское глумленіе, конечно, возмущаетъ

Громова; онъ говоритъ о своей страстной жаждѣ жизни, о призракахъ лѣсовъ, берегѣ моря, кипучей жизни людской... На это нашъ философъ снова начинаетъ выматывать изъ себя умныя мысли: «Вы—мыслящій и вдумчивый человѣкъ. При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное, глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни и полное, презрѣніе къ глупой суетѣ міра,—вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ, и вы можете обладать ими, хотя-бы вы жили за тремя рѣшетками. Діогенъ жилъ въ бочкѣ, однако-же былъ счастливѣе всѣхъ царей земныхъ».

— Вашъ Діогенъ былъ болванъ,—угрюмо проговорилъ Громовъ.—Идите, проповѣдуйте эту философію въ Греціи, гдѣ тепло и пахнетъ померанцемъ. Доведись Діогену въ Россіи жить, такъ онъ не то что въ декабрѣ, а въ маѣ запросился-бы въ комнату. Небось, скрючило-бы отъ холода.

— Нѣтъ, возражаетъ Андрей Ефимычъ. Холодъ, какъ и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Маркъ Аврелій сказалъ: «Боль есть живое представленіе о боли; откинь его, перестань жаловаться,—и боль исчезнетъ». Мыслящій человѣкъ презираетъ страданіе, онъ всегда доволенъ и ничему не удивляется. Нужно стремиться къ уразумѣнію жизни, а въ немъ—истинное благо.

— Значитъ, я идіотъ, такъ-какъ я страдаю, недоволенъ и удивляюсь человѣческой подлости?—возмущается бѣдный студентъ. Уразумѣніе.. извините, я этого не понимаю. Я знаю только, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую! На боль я отвѣчаю криками и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше,

тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность. Какъ этого не знать? Докторъ, а не знаетъ такихъ пустяковъ!»

V.

Мы не приводимъ здѣсь длинныхъ и страстныхъ опроверженій Громова противъ безмятежныхъ измышленій доктора. Не касаемся превосходно очерченныхъ вводныхъ лицъ разсказа. Для портрета философствуюшаго лежебока достаточно и того, что мы привели выше. Чтобы закрѣпить и орельефить этотъ типъ, авторъ подвергаетъ своего героя жизненному испытанію, выбрасываетъ его изъ обезпеченнаго положенія и заставляѐтъ попасть въ тѣ-же ужасныя условія, въ которыхъ томились его больные. Частыя посѣщенія докторомъ палаты № 6 и длинные разговоры съ помѣшаннымъ студентомъ поразили мѣстныхъ обывателей; до такой степени необыкновенно было это исполненіе врачемъ своихъ обязанностей. Пошелъ слухъ, что самъ докторъ сошелъ съума. Помощникъ доктора, молодой врачъ Хоботковъ, стремящійся на мѣсто своего начальника, укрѣпляетъ этотъ слухъ. За философствующимъ докторомъ начинаютъ слѣдить, наконецъ приглашаютъ подъ пустымъ предлогомъ въ нарочно-созванную комиссію для освидѣтельствованія его умственныхъ способностей. Смущенный докторъ понимаетъ въ чемъ дѣло, на бесѣдѣ въ комиссіи смущается еще болѣе, и его признаютъ за тихаго помѣшаннаго. Затѣмъ, ему предложили «отдохнуть», т. е. выдти въ отставку, и старый лежебокъ, цѣлую жизнь не знавшій страданій, а только кормившійся «какъ пьявица около чужихъ страданій», оказывается безъ всякихъ средствъ, выкинутымъ на улицу. Какъ Илья Ильичъ въ концѣ концовъ очутился на содержаніи своей хозяйки-мѣщанки, такъ и Андрей Ефимычъ: ему пришлось поселиться съ кухаркой Дарьюшкой, жить на продаваемыя тайкомъ ея старыя платья и сты-

диться лавочниковъ, которымъ задолжали. Къ этому присоединились назойливыя посѣщенія, въ качествѣ друзей, Хоботкова и почтмейстера, утверждавшихъ настойчиво, что докторъ боленъ и что ему нужно лѣчиться. Выведенный изъ себя, онъ однажды выгналъ друзей вонъ. Это сочли за приступъ уже буйнаго помѣшательства. Подъ удобнымъ предлогомъ, Хоботковъ приглашаетъ доктора въ палату № 6 и оставляетъ его здѣсь навсегда. Тотъ-же сторожъ Никита приноситъ своему недавнему начальнику обыкновенное больничное одѣяніе, грязное и смрадное, заставляетъ его одѣться. Тутъ только нашего безпечнаго философа охватываетъ ужасъ настоящей, доподлинной жизни, которую онъ двадцать лѣтъ видѣлъ и не понималъ. Онъ пробовалъ себя утѣшить философіей,—тѣмъ, что все на этомъ свѣтѣ вздоръ и суета суетъ, а между тѣмъ у него дрожали руки, ноги холодѣли, и было жутко отъ мысли, что проснется его сосѣдъ по койкѣ, Громовъ, и увидитъ, что и онъ, философъ, сюда попалъ. «Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надѣвать брюкъ, жилета, сапоговъ». «Вотъ онъ просидѣлъ уже полчаса, часъ, и ему надоѣло до тоски; неужели здѣсь можно прожить день, недѣли и даже годы, какъ эти люди? Ну вотъ, онъ сидѣлъ, прошолся и опять сѣлъ; можно пойти и посмотрѣть въ окно и опять пройтись изъ угла въ уголъ. А потомъ что? Такъ и сидѣть все время, какъ истуканъ, и думать? Нѣтъ. Это едва-ли возможно. Андрей Ефимычъ легъ, но тотчасъ-же всталъ, вытеръ рукавомъ со лба холодный потъ и почувствовалъ, что все лицо его запахло копченою рыбой. Онъ опять прошолся.—Это какое-то недоразумѣніе... проговорилъ онъ, разводя руками въ недоумѣніи.—Надо объясниться; тутъ недоразумѣніе». Проснулся. Громовъ и началъ злорадствовать. «Очень радъ. То вы пили изъ людей кровь, а теперь изъ васъ будутъ пить. Превосходно!» Андрей Ефимовичъ снова пытается философствовать, «но отчаяніе вдругъ овладѣло имъ, онъ ухватился обѣими руками за рѣшетку и изо всей силы потрясъ ее. Крѣпкая рѣшетка

12

не подалась.—Я палъ духомъ, дорогой мой, пробормоталъ докторъ, дрожа и утирая холодный потъ. — Палъ духомъ.

— А вы пофилософствуйте, злорадствовалъ Громовъ.

Съ наступленіемъ вечера Андрею Ефимовичу захотѣлось, по обычаю, пива и курить. Онъ не можетъ сидѣть въ темной комнатѣ. Онъ хочетъ выдти.

Тутъ происходитъ возмутительная сцена. Только что Андрей Ефимычъ отворилъ дверь, какъ Никита вскочилъ и загородилъ ему дорогу.—«Не заводите безпорядковъ, не хорошо!» Андрей Ефимычъ упрашиваетъ Никиту выпустить его пройтись по двору. Громовъ возмущается и требуетъ, съ своей стороны, чтобы ихъ выпустили. Просятъ, по крайней мѣрѣ, чтобы пришолъ Хоботковъ. Никита не сдается. «Никогда насъ не выпустятъ! кричалъ Громовъ.—Сгноятъ насъ здѣсь! О, Господи! Неужели-же въ самомъ дѣлѣ на томъ свѣтѣ нѣтъ ада, и эти негодяи будутъ прощены? Гдѣ-же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! крикнулъ онъ сиплымъ голосомъ, и навалился на дверь. — Я размозжу себѣ голову! Убійцы!»

Никита быстро отворилъ дверь, грубо, обѣими руками и колѣномъ отпихнулъ Андрея Ефимыча, потомъ размахнулся и ударилъ его кулакомъ по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его съ головой и потащила къ кровати; во рту было солоно; вѣроятно, изъ зубовъ пошла кровь. Онъ, точно желая выплыть, замахалъ руками и ухватился за чью-то кровать, и въ это время почувствовалъ, какъ Никита два раза ударилъ его въ спину...»

Тутъ слѣдуетъ позднее пробужденіе совѣсти, пробужденіе острое, какъ ударъ ножа въ сердце. «Какъ могло случиться, что впродолженіе больше чѣмъ двадцати лѣтъ онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого?»

На другой день Андрей Ефимычъ умеръ отъ апоплексическаго удара.

Вотъ вамъ ужасная исторія современнаго Обломова. Ужасъ не въ томъ, что докторъ больницы попалъ въ положеніе сумасшедшаго—это случай, конечно, не типическій; несравненно чаще Андрей-Ефимычи доживаютъ свой вѣкъ благополучно, до полной пенсіи или солиднаго капитала—*такъ и не узнавъ* о страданіяхъ близкихъ имъ людей, такъ и не испытавъ укора совѣсти. Это ужасъ. Безвѣстные, потерянные для всѣхъ, беззащитные, забытые болѣе чѣмъ въ могилѣ, томятся бѣдняки, ввѣренные интеллигентнымъ заботамъ, вѣкъ томятся и пропадаютъ. И это не только въ палатѣ помѣшанныхъ,—ее взялъ авторъ для того лишь, чтобы рѣзче отмѣтить свою мысль,—подобными палатами въ большей или меньшей степени запущенности изобилуетъ хирѣющая въ невѣжествѣ русская жизнь, и нетолько провинціальная. И всюду, во всѣхъ сферахъ у насъ встрѣчаются Андреи Ефимычи, съ философіей и безъ философіи, не противящіеся злу, не желающіе ему противиться. Г. Чеховъ вывелъ прекрасно образованнаго Обломова, съ тонкимъ и развитымъ умомъ, съ ненасытною умственною жаждою, но это случай опять-таки крайне исключительный, взятый для рѣзкости; я даже думаю, что съ такою повышенною умственною дѣятельностью нравственная обломовская лѣнь трудно совмѣстима. Параличъ столь центральной способности духа, какъ совѣсть, обыкновенно вызываетъ паденіе и другихъ сторонъ души; общее помѣшательство начинается, а можетъ быть и вызывается нравственнымъ упадкомъ. Потеря интереса къ правдѣ, къ воплощенію ея въ жизни, сопровождается обыкновенно потерею интереса ко всему на свѣтѣ, потому что вѣдь все на свѣтѣ интересно лишь въ мѣру выраженной въ немъ правды. Такимъ нравственно-глухонѣмымъ не до чтенія, не до наслажденія мыслью. Огромное большинство Обломовыхъ не философствуютъ и не читаютъ (какъ Илья Ильичъ, Онѣгинъ, Тентетниковъ, Рудинъ), огромное большинство ихъ не

нуждаются въ логическихъ хитросплетеніяхъ, чтобы оправдать свое бездушье, свою нравственную глухоту.

Въ чемъ-же лежатъ причины этого печальнѣйшаго явленія въ русскомъ характерѣ, вѣковѣчныя причины обломовщины? Хотя въ разсказѣ г. Чехова ниразу не упомянуто имя графа Л. Н. Толстого и даже нѣтъ выраженія «непротивься злу», однако весь разсказъ построенъ какъ-бы ради опроверженія этого принципа. Докторъ Андрей Ефимычъ высказывается характернымъ языкомъ толстовскаго ученія, настаиваетъ на «уразумѣніи жизни», какъ высшей цѣли, ведущей къ «истинному благу», настаиваетъ на подчиненіи обстоятельствамъ, какъ-бы плохо они ни сложились, т.-е. учитъ «не противиться». Можно подумать, что причиною бездушія Андрея Ефимыча, его безучастія къ страданіямъ ближнихъ является именно нравственное ученіе конца вѣка. Г. Чеховъ какъ-бы продѣлываетъ ученый опытъ: заставляетъ идею непротивленія воплотиться въ человѣка современной культуры, отъ природы мягкаго и умнаго, завѣдывающаго судьбою цѣлаго кружка людей. Онъ показываетъ, какъ отражается непротивленье на самомъ человѣкѣ и его окружающихъ. Мы видимъ, что человѣкъ превращается въ безсердечнаго паразита, изъ непротивника злу дѣлается защитникомъ зла, идейнымъ отстаивателемъ всякой мерзости человѣческой, которая, видите-ли, разъ существуетъ, стало-быть, необходима, — а зависящіе отъ него люди гибнутъ. Андрей Ефимычъ мухи не обидитъ, но, краснѣя, десятки лѣтъ подписываетъ завѣдомо «подлые больничные счета», терпитъ воровъ-помощниковъ, терпитъ хирургическую рожу, а когда больные жалуются на голодъ и холодъ, говоритъ: «Хорошо, хорошо... Это какое-нибудь недоразумѣніе», и идетъ домой пить пиво. Болѣе послѣдовательнаго, убѣжденнаго «непротивленца» трудно и вообразить.

Дѣйствительно, «непротивленіе злу», взятое въ его *ходячемъ* смыслѣ, есть ученіе нетолько не умное, но и

глубоко безнравственное. Оно представляетъ отрицаніе самой жизни, которая вся основана на противодѣйствіи вреднымъ вліяніямъ. Но это—*ходячее* пониманіе непротивленія, въ которомъ Левъ Толстой, какъ мнѣ кажется, неповиненъ. Знаменитая формула имѣетъ другой, глубокій смыслъ, какъ и древній евангельскій завѣтъ, котораго она явилась повтореніемъ. На самомъ дѣлѣ, напоминаніе этой старой мысли современному обществу не отрицаетъ борьбы со зломъ, а предлагаетъ лишь новое, болѣе совершенное оружіе для этой борьбы. Старый способъ борьбы со зломъ, согласно этому взгляду, слѣдуетъ считать грубымъ, первобытнымъ, не достигающимъ цѣли. Гасить зло зломъ-же, обиду—обидой, насиліе—насиліемъ-же, это все равно, что огонь гасить огнемъ: происходитъ не уничтоженіе зла, а удваиванье его, нагроможденіе обиды на обиду, мщенія на мщеніе. Предлагается несравненно болѣе тонкое и болѣе могущественное средство—*нравственная борьба* со зломъ, противленіе любовью. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ матеріальная уступчивость, доброе расположеніе сразу обезоруживаютъ злобу, лишаютъ ее пищи. Безчисленныя вспыхивающія искры гнѣва въ атмосферѣ любви тотчасъ-же гаснутъ, какъ пылающія головни въ водѣ. Врагъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ сраженъ обращеніемъ къ его добрымъ, благороднымъ чувствамъ. Ему дѣлается стыдно злобы, иногда онъ дѣлается другомъ своего противника. Таково *правило*; исключенія изъ него возможны, но рѣдки. Въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ человѣкъ уступающій терпитъ зло, но вознагражденъ счастьемъ самому не сдѣлать зла, что для добраго человѣка самая важная изъ выгодъ. Отсюда заповѣдь: любите враговъ вашихъ, не противьтесь злу *зломъ*. Но это, какъ видите, вовсе не значитъ, что люди не должны противиться злу вовсе. Предписывается *любовь*, т. е. дѣятельная сила, направленная противъ зла. Предписывается самое энергическое, неустанное нравственное сопротивленіе, неустрашимое свидѣтельствова-

ніе правды, громкое и доблестное, до терноваго вѣнца, до распятія. «Кто хочетъ быть совершеннымъ, пусть оставитъ отца и мать и идетъ вслѣдъ меня». Предлагается противиться злу пожертвованіемъ имущества, отечества, свободы, даже жизни—но съ условіемъ не дѣлать при этомъ зла врагамъ своимъ, не принуждать ихъ матеріальной силой. Злу нужно противиться добромъ, горячимъ убѣжденіемъ, умоляя, благословляя. Съ общепринятой, нефилософской точки зрѣнія, основываясь на мелкомъ ходячемъ опытѣ, трудно вообразить, чтобы ожесточенная злоба сдалась нѣжной ласкѣ. А между тѣмъ это истина, основанная на тонкомъ пониманіи души человѣческой. Могущество любви и уступчивости являлось не разъ въ исторіи какъ откровеніе, какъ проповѣдь, но любовь и самостоятельно вырабатывалась въ массѣ человѣчества, какъ инстинктъ. Стоило только затихнуть періоду войнъ въ любой странѣ и упрочиться мирному сожительству, какъ тотчасъ-же начинало всюду устанавливаться «смягченіе нравовъ», вѣжливость, гуманность. Эта вѣжливость есть полусознанное пониманіе того, что любовь побѣждаетъ лучше злобы, что любезностью — подобіемъ любви—добьешься скорѣе успѣха, нежели враждебностью. Любезность и вѣжливость являются народными, даже простонародными свойствами во всѣхъ старинныхъ культурныхъ странахъ (Китай, Японія, Аравія, Персія, романскія страны). Это— народный способъ противленія злу, причемъ, какъ напримѣръ въ Японіи или Испаніи, вѣжливость утончается до крайности, доходитъ до степени религіознаго уваженія другъ друга. И въ самомъ дѣлѣ, обыденная жизнь въ этихъ странахъ несравненно пріятнѣе и радостнѣе, нежели въ грубыхъ странахъ варварскихъ или ново-культурныхъ. Стихія общей любезности дѣлаетъ всѣ характеры какъ-бы одинаково красивыми, благородными; встрѣчая отъ всѣхъ знаки почтенія и привѣта, человѣкъ чужой чувствуетъ себя какъ-бы въ родственномъ кру-

гу. Пусть это будетъ не пылкая любовь, а лишь подражаніе ей, но искреннее подражаніе добру есть уже добро. Такая культура характеровъ—вѣнецъ и завершеніе всякой культуры; это еще не Царствіе Божіе, но все-таки замѣтный шагъ къ нему. Конечно, и въ Японіи, и въ Испаніи совершаются тяжкія и гнусныя насилія, но тамъ они несравненно рѣже, и по крайней мѣрѣ, не существуетъ безконечныхъ микроскопическихъ насилій въ затрапезной, обыденной жизни общества. Тамъ мужъ не ударитъ жены, не обзоветъ ее на дню десять разъ унизительною бранью, не щипнетъ ребенка, не пройдетъ мимо упавшаго человѣка. Тамъ стараются быть во что бы ни стало пріятными другъ-другу, и это хорошее стараніе переходитъ въ привычку, становится безотчетнымъ: является обязательное уваженіе къ личности, терпимость къ слову и мнѣнію, чувство солидарности, обязательная готовность помочь въ бѣдѣ, отвращеніе къ стѣсненію чужой свободы, чувство достоинства. Все это усовершенствованіе характеровъ, т.-е. самыхъ душъ, вытекаетъ изъ безсознательной практики непротивленія злу насиліемъ.

Но, можетъ-быть, на этомъ роль древняго закона евангельскаго и останавливается? Можетъ-быть, для того, чтобы преодолѣть большое какое-нибудь зло, — не личное, а напримѣръ, соціальное,—система нравственной борьбы недостаточна? Можетъ быть, бываютъ исключенія, когда врагъ является просто физическимъ препятствіемъ, требующимъ, какъ мертвая преграда,—физическихъ мѣръ? На это я замѣчу, что мнѣ трудно представить себѣ *живыхъ* людей *мертвою* преградой. Когда это бываетъ, мнѣ кажется, что это больше по нашей винѣ, чѣмъ по ихъ. Если-бы мы обнаружили истинно-живое отношеніе къ людямъ, искреннюю любовь къ нимъ, то оживили-бы и ихъ отношеніе къ намъ, воскресили-бы ихъ къ жизни. Во всѣхъ почти случаяхъ насилія надъ нами, если мы провѣримъ собственное поведеніе, то увидимъ, что и мы

не вполнѣ правы, что мы не исчерпали добрыхъ средствъ борьбы и прибѣгли—хоть въ малой степени—къ недобрымъ. Не было-бы ссоръ, говоритъ Ларошфуко, еслибы хоть одна сторона была права. Непротивленіе злу насиліемъ есть потому самое вѣрное средство борьбы со зломъ, что этотъ способъ не прибавляетъ къ вспыхнувшей злобѣ новой злобы и *не даетъ ей пищи*: она гаснетъ, какъ огонь безъ топлива. Въ борьбѣ со всякимъ зломъ—личнымъ и общественнымъ—самое вѣрное средство—не давать матеріала для зла поскольку это отъ насъ зависитъ. Въ общественной жизни нравственная борьба составляетъ самое вѣрное и наиболѣе могучее средство Вспомните, напримѣръ, движеніе реформаціи или недавнюю исторію реформъ въ Англіи, безконечный рядъ петицій, митинговъ и т. п. до тѣхъ поръ, пока ненавистныя народу мѣры не были отмѣнены. Мирная, но непрерывная эволюція политической жизни въ этой странѣ дала ей, какъ и всюду, неизмѣримо больше, чѣмъ насильственные перевороты. Общественное мнѣніе—«Sa Majésté l'Opinion publique»—правитъ міромъ, а что оно такое, какъ не нравственное сознаніе даннаго времени, вѣрное или невѣрное? Сила нравственнаго сопротивленія, разъ она охватываетъ массы людей, необорима: въ исторіи величайшій примѣръ тому представляетъ распространеніе христіанства. Не противься злу, возглашалъ Христосъ; его апостолы, мученики и первые христіане своею любовью, прощеніемъ врагамъ, благостью, покорили всесильный Римъ. Развѣ это не удивительная побѣда? И смыслъ подобныхъ побѣдъ не въ прямомъ значеніи правила: «не противься злу насиліемъ», а въ логически вытекающемъ изъ него законѣ: «противься злу ненасиліемъ».

Нравственная борьба («противленіе не насиліемъ») нетолько тѣмъ хороша, что самая дѣйствительная, но и тѣмъ, что она самая доступная. Она *каждому* доступна безъ исключенія, до послѣдней ступени общественной

лѣстницы, какъ показалъ Христосъ, призвавъ къ апостольскому подвигу людей именно этого круга. Нето борьба насиліемъ, которая—въ сколько нибудь серьезныхъ размѣрахъ—почти никому недоступна. Возьмите Андрея Ефимыча. Что онъ могъ-бы сдѣлать *насильственною* борьбою съ тѣмъ зломъ, для искорененія котораго былъ призванъ,—съ душевными болѣзнями? Онъ могъ-бы продѣлать только то, что и продѣлывалось въ его больницѣ фельдшерами, сидѣлками, сторожами, т.-е. бить больныхъ, обливать ихъ холодною водою, вязать имъ руки и т. п. Все это средства не только гадкія, но и безсильныя вполнѣ. Напротивъ, нравственная борьба была-бы успѣшна, какъ и доказываетъ практика тѣхъ европейскихъ больницъ, гдѣ она принята. Безъ всякаго насилія, Андрею Ефимычу стоило только отказывать въ своемъ согласіи на большинство мерзостей, творившихся въ палатѣ № 6, и онѣ исчезли-бы; стоило бы, напримѣръ, не подписывать завѣдомо-обманныхъ бумагъ, не соглашаться служить съ больничнымъ персоналомъ, который доказалъ свою вредность, стоило-бы самому подать примѣръ неутомимой энергіи и заботливости о больныхъ, и всѣ порядки быстро преобразились-бы. Это было-бы прекрасное, благотворное и для больныхъ, и для самого доктора противленіе злу ненасиліемъ и побѣда надъ зломъ, освобождающая жизнь.

Вотъ этого-то внутренняго смысла непротивленія и не знаетъ русская жизнь. Всѣ наши Обломовы (а они въ разновидностяхъ своихъ преобладаютъ въ русскомъ обществѣ, да вѣроятно, и въ народѣ), всѣ они только *мнимые* непротивленцы злу. На самомъ дѣлѣ это *пособники* злу и самое прочное его орудіе. Какіе-же это «непротивленцы»? Они потому непротивятся злу, что сами составляютъ зло. Они не признаютъ жизненной, безусловной необходимости *нравственнаго противленія*, безконечной, неутомимой работы совѣсти, какъ источника движенія впередъ. Русскій человѣкъ, вродѣ Андрея Ефи-

мыча или Ильи Ильича, мирится со всякой гадостью и мирится *душою*, вслѣдствіе чего глухіе, старосвѣтскіе углы переполнены зломъ, дотого господствующимъ, что его даже не замѣчаютъ. Пробовали-ли хоть когда-нибудь всѣ эти несчастные, спивающіеся въ глуши, бездѣятельные интеллигенты постоять за правду въ своемъ крохотномъ кругу, на своемъ маленькомъ посту? Пробовали-ли они искренно, неустрашимо обнаружить совѣсть свою, съ готовностью пожертвовать всѣмъ для ея торжества? Конечно, никогда не пробовали, иначе не спивались-бы съ кругу и не дохли отъ тоски. Вѣдь стоило-бы Андрей-Ефимычамъ на минуту только искренно, всѣмъ сердцемъ оказать нравственную стойкость, какъ произошло-бы чудо: весь міръ для скучающихъ пьяницъ преобразился-бы, сдѣлался-бы радостнымъ, желаннымъ,— явилась-бы высокая цѣль жизни, уваженіе къ себѣ, любовь къ другимъ. И сейчасъ же явился-бы матеріальный результатъ такого нравственнаго противленья: заглохшая пустыня огласилась-бы человѣческими голосами, исчезли-бы постепенно воры и паразиты, гложущіе бѣдняковъ, и провинція—это «богоугодное заведеніе» стариннаго типа—превратилась-бы въ то, чѣмъ она должна быть: въ веселое и дѣятельное царство свѣжей жизни, вблизи природы, рука-объ-руку съ роднымъ народомъ. Но для этого всю силу, сбереженную на непротивленьѣ физическомъ, человѣкъ долженъ влагать въ противленье нравственное, которое состоитъ въ обнаруженіи правды примѣромъ личной жизни и добрымъ убѣжденіемъ. Тѣ, которымъ нравственное противленіе злу покажется недѣйствительнымъ, пусть только вспомнятъ, что оно не безопасно. Оно обыкновенно вызываетъ *гоненіе* за правду, то самое, которое Христосъ обѣщалъ, какъ видъ блаженства, всѣмъ своимъ послѣдователямъ. Но разъ является гоненіе — вѣрный признакъ, что въ нравственной борьбѣ вы замѣчены, вы *дѣйствуете*—и настолько существенно, что вызываете всѣ средства зла на его защиту.

Если-бы ваше оружіе не было дѣйствительно, оно не вызывало-бы отпора. Нравственная борьба не шутка,—напротивъ, это подвигъ, и нужно имѣть сильную, героическую душу, чтобы ввязаться въ такую борьбу и побѣдить. Если огромное большинство людей позабыли объ долгѣ этой борьбы, то онъ этимъ не упраздненъ; вѣдь имъ держится жизнь. Если жизнь мало-по-малу превращаетея въ захолустье, — въ богоугодное заведеніе съ грязью, клопами, голодомъ больныхъ, хирургическою рожей и кулаками Никиты, если жизнь выдвигаетъ къ центрамъ борьбы со зломъ Андрей-Ефимычей, какъ лучшую соль земли, то знайте, что правда оскудѣла, что первородный долгъ противленія злу забытъ, и жизнь—уже не жизнь, а тлѣніе, разложеніе заживо. Въ самомъ дѣлѣ, хорошъ Андрей Ефимычъ, но хорошо и городское общество, которое десятки лѣтъ знало объ его бездѣльи, его безсовѣстномъ отношеніи къ ввѣренному ему общественному дѣлу, знало о безпорядкахъ и «даже преувеличивало ихъ», но и пальцемъ не двинуло, чтобы вступиться за несчастныхъ. Этому городскому обществу недоставало того-же, чего и Андрею Ефимычу: дѣятельной, работающей совѣсти, нравственной культуры. Если-бы человѣкъ упалъ въ рѣку, то окружающіе догадались-бы, что онъ погибаетъ и бросились-бы спасать; но если человѣкъ попадетъ въ палату № 6, откуда нѣтъ выхода — ни Андрей Ефимычъ, ни мѣстное образованное общество не догадаются, что тутъ тоже гибель, что долгъ велитъ спасать погибающаго. Совѣсть спитъ; чтобы разбудить ее, нужно, чтобы васъ сочли за сумасшедшаго, чтобы сторожъ Никита ударилъ васъ кулакомъ въ лицо!..

Разсказъ г. Чехова не даетъ какого-либо новаго открытія въ русской жизни, но онъ ярко и художественно подтверждаетъ старую, печальную истину о безжизненности нашей такъ-называемой интеллигенціи. Эта безжизненность проявляется одинаково и въ сферѣ прак-

тическаго дѣла, и въ области нравственныхъ отношеній,— и тамъ, гдѣ требуется упорная энергія, неистощимая нервная сила, и тамъ, гдѣ требуется просто совѣсть, благородство души. О, еслибы совѣсть русскаго человѣка пробудилась! Еслибы онъ, спящій съ открытыми глазами, увидѣлъ все нравственное безобразіе своей жизни, всю ложь и грязь, скопившуюся вѣками!

Нравственное вдохновенье.

„Ты истиннаго Бога прозрѣлъ въ угрюмой
мглѣ...“ (*Надсонъ*).

I.

Въ исторіи русской литературы конца XIX вѣка будетъ отмѣчено явленіе поэта, промелькнувшаго какъ метеоръ, незначительный по величинѣ, но оставившій яркій слѣдъ въ умахъ огромнаго круга читающей публики. Это былъ С. Я. Надсонъ, столь безвременно насъ покинувшій. Торжественная встрѣча его перешла тотчасъ въ печальныя проводы.

Всѣ, кто пишетъ о Надсонѣ, поражены шумнымъ успѣхомъ его въ русской публикѣ. Не могутъ надивиться, до какой степени внезапно вспыхнула и засіяла эта слава, какъ въ два-три года изъ простого юнкера военнаго училища выросъ писатель, книгою котораго втеченіе десятилѣтій невозможно было насытить книжный рынокъ, писатель, вызвавшій энтузіазмъ цѣлаго поколѣнія... Писатель хотя и съ несомнѣннымъ, но едва намѣтившимся талантомъ, съ невыработанною формой, писатель-юноша, у котораго все, казалось-бы, впереди и такъ мало въ настоящемъ,—и писатель-кумиръ увѣнчанный, прославленный...

Этотъ интересный литературный случай раскрываетъ психологію славы, какъ она слагается въ толпѣ. Слава,

какъ и всякое жизненное явленіе, есть вещь очень сложная, результатъ не одной, а множества причинъ, удачно сошедшихся. Въ литературной славѣ очень большое, но вовсе не рѣшающее значеніе имѣетъ талантъ; извѣстны геніи (достаточно назвать Шекспира), которые были признаны спустя столѣтія послѣ ихъ смерти. Какъ для добраго сѣмени нужна еще и добрая почва, и влага, и тепло, и свѣтъ, такъ для генія нужна воспріимчивая среда, извѣстное культурное и политическое состояніе современнаго общества. Наконецъ, кромѣ всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ, однимъ изъ существенныхъ условій славы является человѣческая *личность* автора. Всѣмъ извѣстно, какъ много значитъ для актера, пѣвца, музыканта ихъ наружность и манеры; многіе изъ нихъ только этими внѣшними средствами, при заурядномъ дарованіи, пріобрѣтаютъ широкій кругъ поклонниковъ. Писатель—тотъ-же актеръ, но какъ-бы говорящій изъ-за кулисъ; публикѣ слышенъ только голосъ его и даже менѣе—слышна лишь мысль его. Немного, но самое важное, самое проникающее въ душу. Въ искренней мысли, кромѣ существа ея, дѣйствующаго на разумъ читателя, есть нѣчто болѣе могущественное и привлекательное — это *форма* мысли, тотъ особенный оттѣнокъ, какой придаетъ ей индивидуальность автора. Это самая жизненная, самая покоряющая черта, она дѣйствуетъ на чувство читателя, т. е. на индивидуальную сторону его природы. То, что составляетъ стиль автора, настроеніе, міросозерцаніе, цвѣтъ и тонъ его души, въ чемъ слышится живой человѣкъ—вотъ что особенно плѣняетъ или отталкиваетъ въ авторѣ, такъ-какъ въ сущности никто ничего не можетъ разсказать, кромѣ собственной души. И если эта душа добрая, нѣжная, полная любви и восхищенья, полная жажды хорошей жизни, то помимо количества и даже качества мысли, ею высказанной, она вызываетъ къ себѣ широкое сочувствіе. И вотъ я думаю что Надсонъ плѣнилъ русскихъ читателей не столько та-

лантомъ, сколько благородной личностью, своею привлекательною душой.

Жизнь поэта—молодая и печальная—сдѣлалась извѣстна публикѣ одновременно съ его стихотвореньями; не только поэзія его, но и весь онъ, какъ человѣкъ, вошелъ въ общество одновременно съ печальною легендой его жизни. «Надсонъ» — это слово означаетъ въ публикѣ не томъ стиховъ, а цѣлую живую поэму, живой романъ, съ таинственною завязкою, съ увлекательнымъ и нѣжнымъ героемъ, съ едва намѣченными, какъ тѣни, безмолвными героинями, съ грустною фабулой и трагическою развязкой. Неотдѣлимая отъ его музы личность Надсона и жизнь слились въ глазахъ публики въ одно художественное цѣлое. Талантъ—не болѣе, какъ случайная черта этой фигуры, и даже не самая выразительная. Талантъ Надсона симпатиченъ, но не болѣе. Ничего въ немъ нѣтъ поразительнаго, неотразимаго, ничего даже вполнѣ зрѣлаго. Но говоря о талантѣ, людямъ нашего поколѣнія нельзя забыть живой личности автора, которую привыкъ любить всю, съ достоинствами и недостатками, со всею жизнью его и печальной смертью. Именно смерть придала самую глубокую черту жизни Надсона. Великій примиритель, смерть, бросила тихій свѣтъ на все вѣчное, что въ умершемъ было, и поставила его на настоящее его мѣсто. Она пришла для Надсона слишкомъ рано, но упрочила его славу не меньше жизни. Застигнувъ эту едва распустившуюся душу на зарѣ юности, смерть не дала коснуться времени къ ея красотѣ и свѣжести. Поэтъ остается въ памяти нашей тѣмъ-же чистымъ и свѣтлымъ, какимъ простился съ нами...

II.

Обаяніе Надсона—въ особенности среди молодежи и женщинъ—объясняется нравственною красотою его образа, какимъ онъ сложился въ представленіи читателей. Вы

скажете, людей благородныхъ не такъ уже мало на свѣтѣ,—отчего-же они не гремятъ, подобно Надсону, не дѣлаются кумирами цѣлаго поколѣнія?—Я думаю, оттого, что людей истинно-хорошихъ не такъ ужъ и много на свѣтѣ, а главное, мы *не видимъ* этихъ благородныхъ людей, они затеряны въ толпѣ, заслонены простыми смертными. Видятъ ихъ не сотни тысячъ читателей, а всего единицы или десятки ближайшихъ родныхъ и знакомыхъ. Какой-нибудь простой человѣкъ, милый, скромный, сердечный, великодушный, весь вѣкъ работаетъ у себя въ уголку среди своихъ домашнихъ, которые его обожаютъ, весь вѣкъ не фразами, а всѣми поступками и отношеніями разливаетъ вокругъ себя сіяніе добра. Кто знаетъ такого человѣка? Жена, дѣти, внуки — даже правнуки, можетъ быть, вспоминаютъ по портретамъ этого сѣденькаго старичка съ кроткою улыбкой, да знакомые или сослуживцы—и все. За предѣлами маленькаго городка его уже не знаютъ, какъ-будто и нѣтъ на свѣтѣ этого замѣчательнаго человѣка. Его «нѣтъ» только потому, что его не видно, а попробуйте выдвинуть этого человѣка, приподнять его надъ толпою, чтобы всѣ могли разглядѣть его. Вы увидите, какъ всѣ изумятся, какъ всѣхъ поразитъ эта нравственная красота. *Всѣхъ* поразитъ, какъ всѣхъ она плѣняетъ въ томъ маленькомъ уголку, гдѣ ее видитъ только кучка людей. Прислушайтесь, какъ отзываются о хорошемъ человѣкѣ его ближайшіе очевидцы: не просто хвалятъ, а съ трогательнымъ увлеченіемъ. Когда знаешь, какъ скупъ человѣкъ на похвалу своему ближнему, какъ онъ завистливъ къ чужому совершенству, удивляешься, съ какою теплотою вспоминаютъ о такомъ человѣкѣ. И если всѣ эти простые люди, дяди, тетки, кузины, обыкновенно другъ о другѣ злословящіе, клевещущіе, если всѣ они общимъ хоромъ говорятъ, что Иванъ Иванычъ былъ милый и добрый человѣкъ—вѣрьте, что этотъ безвѣстный Иванъ Ивановичъ прогремѣлъ-бы и по всей Россіи,

и по всему свѣту, если-бы какимъ-нибудь способомъ его показали всѣмъ. Непремѣнно всѣ очаровались-бы, еслибы всѣ увидѣли, потому-что противиться красотѣ не въ силахъ человѣческое сердце, разъ увидитъ ее. Красота, можетъ быть, есть единственное безспорное, всѣмъ милое, всѣмъ родное, и можетъ быть, это единственная изъ чертъ Божіихъ, проступающая въ природѣ явно. Въ то время какъ умъ человѣческій столь часто вызываетъ раздоръ и ненависть,—красота всегда примиряетъ, всегда счастливитъ. Такова особенно красота внутренняя, красота души, выражающаяся въ благородствѣ. Если это чистая красота, безпримѣсная, и ее дѣйствительно видятъ — она поражаетъ безъ спора, безъ сопротивленія. Къ сожалѣнію, образчики *чистой* красоты рѣдки, и еще рѣже они видны намъ: тысячи причинъ мѣшаютъ разглядѣть прекраснаго человѣка. Въ лѣсу очень трудно разглядѣть красивое дерево, но уберите лѣсъ кругомъ — и передъ вами раскроется произведеніе высокаго искусства, chef d'oeuvre природы.

III.

Надсонъ былъ хорошій поэтъ и очень хорошій человѣкъ. Счастливыя и несчастныя случайности и особенный характеръ его поэзіивы двинули его изъ толпы, и она ахнула отъ удивленія: такъ онъ былъ привлекателенъ. Кружокъ изъ десятка друзей, любившихъ его какъ славнаго, сердечнаго человѣка, сразу разросся до милліонной толпы. Публика увлеклась имъ до очарованія, увидѣвъ въ поэзіи образъ поэта. Ноеслибы живой Надсонъ вовсе не былъ показанъ толпѣ, еслибы сборникъ его стиховъ былъ найденъ случайно и напечатанъ безъ имени, еслибы въ этихъ стихахъ просвѣчивала иная душа, — нѣтъ сомнѣнія, ни критика, ни публика не обратили-бы на Надсона и десятой доли теперешняго вниманія. Вѣдь у насъ есть почти совсѣмъ неизвѣстные (внѣ христо-

матій) высокодаровитые поэты, напримѣръ, Тютчевъ, Фетъ, которые умерли стариками и еще не дождались и третьяго изданія. Почему? Да потому, что живая личность ихъ или была совершенно невидима большой публикѣ, или казалась непривлекательной. И если-бы не трагическія кончины Пушкина и Лермонтова, сразу выдвинувшія ихъ личность, создавшія легенду, то извѣстность этихъ великихъ поэтовъ и ихъ поэзіи была-бы гораздо меньше. Надсонъ, подобно великимъ поэтамъ, имѣлъ ужасное преимущество «удачно умереть», причемъ смерть —въ видѣ неизлѣчимой болѣзни — сопровождала и всю короткую его жизнь. Собрались всѣ случайности, счастливыя и несчастныя, чтобы выдвинуть поэта предъ очи всей Россіи. Молодость, талантъ, благородство души, столь слышное въ его созвучіяхъ, а съ другой стороны— смертный приговоръ, жестокость судьбы неумолимой. Всѣ данныя для трагической легенды.

Я помню Надсона еще неизвѣстнымъ, и ростъ его изумительной популярности прошолъ на моихъ глазахъ. Я помню его юнымъ армейскимъ прапорщикомъ въ Кронштадтѣ, ходившимъ на ученья, хотя уже писавшимъ въ «Отеч. Запискахъ». Какъ и теперь, въ то время достаточно было какому-нибудь имени появиться нѣсколько разъ въ уважаемомъ журналѣ, чтобы его тотчасъ замѣтили, особенно, если съ именемъ было связано нѣчто талантливое. Замѣтили и Надсона, начали поговаривать о немъ, но не болѣе, а—я хорошо помню—гораздо менѣе, чѣмъ о г. Фругѣ, выступившемъ одновременно съ Надсономъ. Но о Фругѣ знали только то, что онъ Фругъ, его нигдѣ не видѣли и никто не зналъ его, кромѣ редакцій, гдѣ онъ печатался. А Надсона нельзя было не знать. Живой, привлекательный, милый онъ тянулся къ людямъ самымъ разнообразнымъ, ко всѣмъ шолъ съ раскрытыми объятіями, какъ добрый ребенокъ, и всѣ тянулись къ нему съ невольнымъ умиленіемъ. Всѣ чувствовали обаяніе молодой души его,—и видѣли грядущую

гибель его, неизбѣжную гибель. Въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ трудно было не познакомиться съ Надсономъ, а всякій, кто съ нимъ знакомился—влюблялся въ него, вовсе не какъ поэта, а человѣка. Я какъ живого вижу передъ собою этого худенькаго, желтаго юношу южнаго типа, съ ясными, какъ у газели, черными глазами и добренькою улыбкой, съ всегда одушевленной, изящной рѣчью, женственныя интонаціи которой такъ и просились въ сердце. Кроткій и нѣжный, онъ былъ всегда веселъ, всегда уменъ и добръ; прибавьте къ этому то, что онъ—вмѣстѣ съ множествомъ хорошей молодежи—былъ наэлектризованъ любовью къ народу и тогдашнимъ общественнымъ движеніемъ. Въ біографіяхъ говорится, что Надсонъ былъ красивъ, даже красавецъ, но это ужь чистое ослѣпленіе. Лицо его и небольшая фигура были самыя обыкновенныя; если-бы вы встрѣтили такого, какъ онъ, въ толпѣ, вы сочли-бы его скорѣе некрасивымъ. Но онъ очень скоро дѣлался въ вашихъ глазахъ пріятнымъ, милымъ, красавцемъ даже—такъ онъ очаровывалъ внутреннею прелестью своей души. Истинно хорошіе люди не бываютъ некрасивы; какъ неиспорченныя дѣти, они всегда привлекательны. Доброта и умъ, особенно доброта, точно свѣтятъ изнутри и самымъ неправильнымъ, грубымъ чертамъ даютъ прекрасное выраженіе. Надсонъ сіялъ этою красотою, онъ нравился одинаково мужчинамъ и дамамъ, и юношамъ, и старцамъ.

IV.

«Дамы сдѣлали ему успѣхъ», говорятъ недоброжелатели поэта. Да, кромѣ мужчинъ и дамы сдѣлали ему успѣхъ, и можетъ быть дамы по преимуществу, но это дѣлаетъ имъ только честь. Женщины всегда были отзывчивѣе мужчинъ—можетъ быть потому, что онѣ всегда были чище мужчинъ: со временъ тѣхъ едва упомянутыхъ въ Евангеліи ученицъ Христа, которыя «служили

Ему имѣніемъ своимъ» (Лк. 8—6) и которыя первыя, въ лицѣ Магдалины, возвѣстили о воскресеніи Его, съ незапамятныхъ временъ герои, пророки и поэты встрѣчали среди женщинъ самыхъ искреннихъ, безкорыстныхъ послѣдователей. Непосредственная, не огаженная—какъ часто бываетъ у мужчинъ—чуткость къ красотѣ душевной, чуткость къ величію заставляетъ хорошихъ женщинъ безъ всякихъ заподозрѣваній и сомнѣній тотчасъже привѣтствовать замѣчательнаго человѣка, тогда какъ мужская разсудочность, самостоятельность и еще больше зависть, самая скверная зависть, требуютъ очень долгаго времени, чтобы мужчины привыкли переносить чужое достоинство и наконецъ признали-бы его. О, я знаю — и между дамами есть душевно глухонѣмыя, которыя не умѣютъ замѣтить истиннаго величія; очень много и такихъ, которыя увлекаются въ мужчинѣ пошлыми качествами, но тотъ, кто не видалъ чистаго, идеальнаго поклоненія женщины выдающемуся человѣку, не знаетъ самой лучшей черты женской природы. Надсонъ былъ, несомнѣнно, богатоодаренный человѣкъ; кромѣ поэтическаго дара, онъ выдавался еще болѣе яркимъ талантомъ—личнаго благородства. Онъ заслуживалъ вниманія всѣхъ хорошихъ мужчинъ и дамъ, и вниманіе это явилось, какъ явленіе совершенно естественное, безупречное и съ той, и съ другой стороны. Бываютъ, къ сожалѣнію, случаи, когда «дамы дѣлаютъ успѣхъ» литературнымъ бездарностямъ; исторія «Bel ami», пролѣзанье въ извѣстные журналисты, редакторы, издатели, модные поэты при участьи женщинъ практикуется нерѣдко, но и въ этихъ случаяхъ дамы играютъ лучшую роль, чѣмъ мужчины; онѣ являются чаще всего жертвами своей излишней довѣрчивости и преувеличеннаго представленія о мужскихъ достоинствахъ. Даже въ такихъ исторіяхъ женщины увлекаются чаще всего искренно,—вспомните несчастныхъ поклонницъ мопассановскаго героя. Увлекшись великимъ человѣкомъ, истиннымъ или мнимымъ,

женщина, конечно, близка къ «паденію», но вовсе не этого паденія ищетъ, вовсе нѣтъ! Для «паденія есть всегда сколько угодно иныхъ мужчинъ, во всѣхъ отношеніяхъ болѣе удобныхъ, и если порядочная женщина увлекается выдающимися человѣкомъ, то повѣрьте, не изъ низкихъ побужденій. Кромѣ всякихъ иныхъ потребностей, въ женщинѣ, если она не нравственный уродъ—живетъ несознаваемая быть можетъ ею, но сильная и часто страстная потребность въ *настоящемъ* человѣкѣ, прекрасномъ, мужественномъ, богоподобномъ. Въ мужчинахъ эта потребность меньше, такъ-какъ не они, а *онѣ* носятъ въ себѣ творчество будущихъ поколѣній, инстинкты рода, и женщинамъ (какъ въ животномъ мірѣ—самкамъ) принадлежитъ попреимуществу чувство выбора. Глубокія, таинственныя причины заставляютъ безукоризненно чистыхъ женщинъ «мечтать» объ идеальномъ мужчинѣ, и ужь поистинѣ honny soit qui mal y pense. Здѣсь святыня, къ которой прикасаться грязнымъ воображеніемъ грѣшно. Если является человѣкъ истинно достойный, совершенно понятно тяготѣніе къ нему хорошихъ женскихъ душъ.

Съ Надсономъ повторилась исторія, которая случалась со многими замѣчательными людьми: лучшихъ друзей себѣ онъ нашолъ среди женщинъ и юношей (женственныхъ по возрасту и потому болѣе отзывчивыхъ на все прекрасное). Я зналъ два-три женскихъ поклоненія въ самомъ началѣ надсоновской славы, и одно изъ нихъ зналъ хорошо, то самое, которое врагами поэта ставилось ему въ особенную вину и которое вызвало цѣлый потокъ грязи на его (и ея) имя. Это было чистое поклоненіе и безукоризненная дружба! Въ моей жизни я уже не встрѣчалъ другого столь высокаго примѣра самоотверженной преданности безъ всякихъ правъ, безъ всякихъ иныхъ выгодъ, кромѣ созерцанія прекраснаго человѣка, служенія ему. Какъ и многіе выдающіеся люди. Надсонъ былъ открытъ и разгаданъ простыми, чистыми людьми задолго до того, какъ удостоился снисходитель-

наго признанія со стороны профессіональныхъ книжниковъ и раздавателей славы.

V.

«Мы были молоды,—и я, и мысль моя»...—говоритъ Надсонъ, и это лучшее опредѣленіе его поэзіи. Это сама молодость со всею ея прелестью и милыми недостатками. Вслушайтесь въ отдѣльные мотивы надсоновской музы—всѣ они юношескіе. Тутъ и страстное томленье свѣжихъ силъ, ждущихъ выхода, и вѣра въ идеалы, и негодованіе на дѣйствительность, и жажда любви и славы, и тысячи предчувствій, смутный хоръ которыхъ волнуетъ сердце до слезъ, до боли. Все это молодо, наивно, блаженно, все это просится въ музыку и само есть музыка. Не успѣвъ созрѣть и вполнѣ развиться, Надсонъ остался въ литературѣ живымъ типомъ хорошаго юноши начала 80-хъ годовъ. Въ немъ всѣ характерныя черты и его возраста и его времени. Преобладающій тонъ надсоновскихъ стихотвореній—тонъ плачущій, унылый, съ вѣчнымъ сомнѣньемъ и раздумьемъ, то съ призывами «къ борьбѣ» (какой — неизвѣстно), призывами безрадостными, то съ мольбой оставить всякую борьбу. Въ одномъ мѣстѣ вы встрѣчаете горячую вѣру въ идеалъ (какой идеалъ — опять неизвѣстно), въ другомъ — холодное отрицаніе всякаго смысла въ жизни, всякаго идеала. На одной страницѣ поэтъ пылко вѣритъ въ свое призванье, а на другой страницѣ считаетъ себя ничтожествомъ. Поэты вообще не отличаются стройностью мысли; мысль мѣняется у нихъ, какъ чувство, слишкомъ часто: «реветъ-ли звѣрь въ лѣсу глухомъ, трубитъ-ли рогъ, гремитъ-ли громъ»—поэтъ, какъ эхо, отзывается на всѣ раздраженья міра. Мысль, покорная чувству, здѣсь не боится противорѣчій: у поэта она голосъ природы, которая вся состоитъ изъ противорѣчій. Но трудно найти поэта, который противорѣчилъ-бы себѣ столь часто, какъ Надсонъ—

именно потому, что онъ, по молодости, былъ ближе другихъ къ сердцу природы. У Надсона буквально нѣтъ мысли, которой нельзя было-бы опровергнуть его-же словами.

Любимое словечко Надсоновой поэзіи—«борьба». Оно встрѣчается въ разныхъ падежахъ и формахъ буквально въ каждомъ стихотвореніи начала его дѣятельности и затѣмъ почти во всѣхъ его лирическихъ стихахъ. Часто это слово въ одномъ и томъ-же стихотвореніи встрѣчается нѣсколько разъ. Съ кѣмъ или съ чѣмъ борьба—ясно не говорится: съ «неправдой», «мглою», «борьба за идеалъ», «за истину и свѣтъ» и пр. и пр. Но было-бы наивно думать, что у Надсона эта «борьба» когда-нибудь шла дальше бумаги, по которой онъ водилъ перомъ. Послѣ страстныхъ призывовъ къ борьбѣ поэтъ спѣшитъ усомниться—нужно-ли это:

„Не могу отогнать, дорогая моя,
„Отъ души неотступныхъ сомнѣній:
„Я боюсь, что мы горько ошиблись, когда
„Такъ наивно, такъ страстно мечтали,
„Что призванье людей—жизнь борьбы и труда,
„Беззавѣтной любви и печали...

Съ женственною душой Надсона, съ его благородствомъ несовмѣстима была ни житейская борьба, ни тѣмъ болѣе какая-нибудь иная, насильственная. Подростающее поколѣніе конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ было охвачено у насъ пламенною жалостью къ народу, стремленіемъ принести себя въ жертву за него. Въ «борьбѣ» за политическіе и соціальные идеалы видѣли самый благородный удѣлъ, и всѣ сколько-нибудь свѣжіе юноши такъ или иначе мечтали объ этой борьбѣ. Все это были «ранніе человѣколюбцы», говоря словами Достоевскаго. Надсонъ, какъ я слышалъ отъ него, былъ увлеченъ этимъ настроеніемъ очень рано и только года за два до смерти нѣсколько охладѣлъ къ «борьбѣ». Онъ дѣлалъ признанія друзьямъ, которыя, когда они

будутъ напечатаны, удивятъ многихъ его поклонниковъ: до такой степнни онъ далекъ былъ душой отъ того, что принято называть «борьбой». Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не замѣтить, что «борьбы» (въ *извѣстномъ* смыслѣ) никакой у него не было и не могло быть. Онъ это видѣлъ, и сконфуженный, оправдывался: «...Я-бы радъ сойтись лицомъ къ лицу съ грозою, но жизнь вокругъ меня такъ буднично пошла, что даже нѣтъ враговъ могущихъ вызвать къ бою»...

VI.

Поэзія Надсона звучитъ «пронзительно-уныло», я думаю, просто по несчастной случайности. Надо-же придти было этому нѣжному и чуткому человѣку въ эпоху «несбывшихся надеждъ», въ вѣкъ охлажденнаго нигилизма, скептицизма, пессимизма, матеріализма, въ вѣкъ некрасовской музы, музы «мести и печали», надо было ему сойтись съ меланхолическимъ старцемъ Плещеевымъ, который сдѣлался менторомъ нашего поэта,—надо было ему заболѣть чахоткой, чтобы всѣ свои три-четыре года взрослой жизни постоянно ждать смерти. Самое безпечальное сердце пришло-бы въ уныніе отъ такихъ условій. По своей природѣ муза Надсона—его душа—была одна изъ самыхъ безпечныхъ и ясныхъ, какія я встрѣчалъ. Чуть только болѣзнь давала ему передохнуть—онъ превращался въ милаго, шаловливаго ребенка, которому хотѣлось пѣть, шутить, возиться, наслаждаться всѣми впечатлѣніями бытія, которыя для него были еще такъ новы. Онъ безъ конца декламировалъ изъ всѣхъ поэтовъ, восхищался или добродушно подсмѣивался (когда попадались плохіе вирши), разсказывалъ сотни приключеній и анекдотовъ, охотно дѣлилъ всѣ забавы, не исключая дѣтскихъ. Онъ терпѣть не могъ надутыхъ рѣчей, quasi-серьезныхъ дебатовъ, длинныхъ докладовъ и вообще всей той торжественной и тусклой мертвечины,

которая инымъ кажется верхомъ мудрости человѣческой. По характеру онъ многимъ могъ казаться «безумцемъ, гулякой празднымъ», какимъ Моцартъ казался Сальери. И не столько поэзія, сколько именно этотъ характеръ заставляютъ меня думать, что Надсонъ имѣлъ геніальную душу, хотя она при жизни его еше и не раскрылась въ творчествѣ. Пушкинъ былъ безспорно геній; въ лицѣ Моцарта онъ изобразилъ несомнѣнно свой характеръ, и тѣ-же черты были и у Надсона: благородство и наивность, простодушная довѣрчивость и полнота жизни, льющаяся черезъ край. Онъ былъ «изъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй», т.-е. безъ тѣни искусственнаго величія, солидности, надутости, а совсѣмъ ребенокъ. Можетъ быть, отличіе генія отъ простыхъ смертныхъ—въ томъ, что онъ не старѣетъ душой; въ то время какъ всѣ выростаютъ изъ юности и сбрасываютъ ее, какъ дѣтскую курточку, геній остается въ дѣтствѣ, растягивая его на себѣ сообразно росту какъ резиновое платье. Отсюда искренность генія и ненасытная, какъ у дѣтей, жажда жить, отсюда ихъ глубокая вѣра въ міръ, безъ тѣни сомнѣнія и отчаянія. Ничто такъ не чуждо творчеству, какъ пессимизмъ, эта «сѣнь смертная», когда душа истощена и жизнь потому противна, что ея и нѣтъ въ человѣкѣ, она уже изжита. «Непохороненному трупу», разъ человѣкъ дотого дошелъ, ничего не остается, какъ убрать себя въ могилу, что и дѣлаютъ самоубійцы, эти единственные искренніе пессимисты. Всего далѣе отъ такого состоянія геній. «Избытокъ жизни»—его основная черта, какъ у дѣтей—поддерживаетъ его надъ пропастью отчаянія, какъ-бы худо ему ни приходилось. Полнота жизни, дающая дѣтскую безмятежность, незыблемую вѣру въ то, что хорошо жить на свѣтѣ—эта полнота жизни проникала все существо Надсона. Въ самыхъ ожесточенныхъ спорахъ онъ никакого отчаянія, ни унынія не обнаруживалъ, вы не замѣчали на немъ ни «терноваго вѣнца», ни «оковъ каторжника», ни «ранъ не-

исцѣлимыхъ» (душевныхъ), а видѣли очень умнаго, очень сердечнаго юношу, который хорошо горячится, честно волнуется, негодуетъ, но который сейчасъ-же споетъ вамъ романсъ, если его попросить. Онъ былъ веселъ и милъ, но стоило ему взяться за перо и писать риѳмы, какъ совершенно безсознательно онъ начиналъ «ныть», онъ тотчасъ-же впадалъ въ привычный для этого—и только для этого занятія гипнозъ. Можетъ быть, ему неизбѣжно припоминался благородный padre Алексѣй Николаевичъ (Плещеевъ) съ его тоже, вѣроятно, отъ кого-нибудь заимствованною прекрасною грустью, призывами къ «борьбѣ» (хотя и Алексѣй Николаевичъ, какъ и Надсонъ, по мягкости души, былъ чисто комическимъ «борцомъ»),—вспоминалась «муза мести и печали», «сѣйте разумное, доброе, вѣчное» и пр. и пр. Тогдашняя поэзія еще донашивала совершенно устарѣвшій и варварски утрированный байронизмъ, который въ наше время выдохся до декадентства. Надсонъ не избѣгъ участи начинающихъ талантливыхъ поэтовъ—подражанія болѣе виднымъ предшественникамъ. Ни Лермонтовъ, ни самъ Пушкинъ не избѣгли этой участи. Но истинный талантъ быстро освобождается отъ вліяній школы: и Надсонъ (котораго я, конечно, не ставлю рядомъ съ Лермонтовымъ), несмотря на едва развернувшіяся силы, доказалъ, что онъ не второй Плещеевъ, не второй Некрасовъ, «а иной, еще невѣдомый избранникъ». Въ небольшомъ, оставшемся отъ него томѣ законченныхъ и сырыхъ вещей вы ясно видите напряженныя усилія молодого поэта отдѣлаться отъ гипноза подражанія и выйти на свою дорогу. Пронзительно-унылый тонъ, совсѣмъ несвойственный натурѣ Надсона и въ большомъ количествѣ вообще нестерпимый,—этотъ тонъ надоѣдалъ и самому Надсону: ему хотѣлось иногда «бѣжать отъ думъ своихъ тяжелыхъ»:

„Я жажду смѣха ихъ, напѣвовъ ихъ веселыхъ,
„Румяныхъ устъ, цвѣтовъ и радостныхъ рѣчей!
„Друзья, сказалъ-бы я,—я вашъ. Я съ покаяньемъ

„Пришолъ на праздникъ вашъ. Налейте мнѣ бокалъ,
„Друзья, я былъ слѣпцомъ! Необычнымъ мечтаньемъ
„Я долго разумъ свой болѣзненно питалъ...
„Я долго вѣрилъ въ то, во что, какъ въ бредъ, и дѣти
„Не вѣрятъ въ наши дни"...

VII.

Сознаніе человѣческое имѣетъ свои «болѣзни роста». Никогда человѣкъ такъ не томится, не изнываетъ, какъ въ юности, когда, казалось-бы, весь міръ передъ нимъ открытъ и горевать нечего. Но можетъ быть потому-то, что весь міръ открытъ и во всѣ стороны бѣгутъ туманныя дали, юноша испытываетъ тревогу, доходящую до отчаянія: что съ нимъ будетъ впереди? Годы бѣгутъ, «все лучшіе годы», юноша полонъ стремленій, полонъ всѣхъ возможностей, и никакого чуда не совершается. Все кругомъ просто и «пошло», и самъ онъ идетъ по опредѣленной колеѣ. Никогда такъ не жаль жизни, какъ въ молодости, когда жизни такъ много, никогда такъ не страшно за будущее. Что изъ меня выйдетъ? А вдругъ— ничего, и годы пройдутъ безплодно, безслѣдно... И въ страхѣ потерять молодость — сокровище, которымъ онъ возбуждаетъ зависть въ старикахъ,—юноша лихорадочно ищетъ своего призванія, своего мѣста въ природѣ. Но такъ-какъ жизнь внѣ юноши имѣетъ свои интересы и неумолимо ровно движется, захватывая въ свой потокъ и старыхъ и малыхъ,—пылкій юноша испытываетъ ужасныя страданія. Онъ ненавидитъ жизнь еще не зная ея. И чѣмъ талантливѣе юноша, тѣмъ это томленіе тяжелѣе. Забавно читать разсужденія 18 лѣтняго Надсона:

„..... Я жизнь не пряталъ за обманы
„И не рядилъ ее въ поддѣльные цвѣты,
„Но безбоязненно въ зіяющія раны,
„Какъ врачъ и другъ, вложилъ пытливые персты.
„Огнемъ и пыткою правдиваго сомнѣнья
„Я все провѣрилъ въ ней, боясь себѣ солгать—

„И нѣту для меня покоя и забвенья.
„И вѣчно буду я бороться и страдать...“

Видите-ли, какой страшный «итогъ» жизни подведенъ 18-лѣтнимъ знатокомъ ея. Тотъ-же поэтъ, когда ему было 16 лѣтъ, утверждалъ:

„Чего мнѣ ждать, къ чему мнѣ жить,
„Къ чему бороться и трудиться;—

(авторъ былъ въ это время еще въ кадетскомъ корпусѣ)

„Мнѣ больше некого любить,
„Мнѣ больше некому молиться!“

Рѣшительно и безповоротно. Тогда-же, еще до выпускныхъ экзаменовъ, въ отрывкѣ «Изъ пѣсенъ любви», поэтъ рекомендуетъ себя возлюбленной какъ «озлобленнаго бойца», «усталаго путника подъ жизненной грозой», проситъ ее не торопиться отдавать ему любовь и подумать — не испугается-ли она «грядущихъ испытаній»? На свою возлюбленную, очевидно Н. М. Д., въ которую онъ влюбился 15-ти лѣтъ (она была еще моложе, совсѣмъ дѣвочка)—нашъ поэтъ смотритъ свысока: «Дитя мое, говоритъ она ей,—вѣдь ты еще почти дитя...

. . . .
„.... Ты въ міръ глядишь еще шутя,
„И міръ въ очахъ твоихъ и свѣтелъ, и прекрасенъ;
„А я,—я трупъ давно... Я рано жизнь узналъ,
. . . .
„И я усталъ... усталъ... и крылья одряхлѣли“.

Въ 15 лѣтъ поэтъ говоритъ, что онъ уже «трупъ *давно*»... Вѣроятно, въ 13 лѣтъ почтенный поэтъ еще мрачнѣе смотрѣлъ на жизнь и казался себѣ мертвѣе трупа, если только возможно..

Все это забавно и трогательно; такъ и видишь передъ собой этого милаго мальчика въ кадетской курточкѣ и обстриженнаго подъ гребенку, который полонъ предчувствія жизни и томленья, и въ промежуткѣ между

алгеброй и грамматикой воображаетъ себя «озлобленнымъ бойцомъ» какого-то великаго дѣла, и бойцомъ уже усталымъ, истерзаннымъ «борьбой». Все это трогательно, такъ-какъ искренно, но это, конечно, не поэзія, а бредъ юности, игра какъ въ лошадки — въ тѣ или другія настроенія. Съ созрѣваніемъ физическимъ игра переходитъ въ серьезное томленіе, въ психозъ «избытка силъ». Молодая душа рвется къ жизни, какъ горячій конь изъ стойла, который въ нетерпѣніи грызетъ свою ограду. Это болѣзнь роста; психозъ созрѣвающей души проходитъ иногда очень бурно; юноши не сочиняютъ своихъ мученій, они дѣйствительно страдаютъ, и эти чисто органическія страданія осложняютъ иныя явленія роста— такъ-называемую «первую любовь», «переломъ міросозерцанія» (когда выпущенный изъ школы юноша видитъ необходимость полной перестройки искусственныхъ понятій, привитыхъ въ дѣтствѣ) и пр. Этотъ юношескій психозъ невыгодно отражается и на молодомъ творчествѣ, внося въ него путаницу и ложь. Оттого даже въ могучей поэзіи Лермонтова столько незрѣлаго, напускного. Надсонъ-же умеръ тремя годами моложе Лермонтова, едва 24 лѣтъ. Три года въ этотъ возрастъ — періодъ огромный. Надсонъ—вы это чувствуете—едва-едва началъ слагаться изъ юноши въ зрѣлаго человѣка; и поэзія его вся не болѣе какъ хоть и чарующій, но смутный сонъ, послѣ котораго должно было настать прекрасное пробужденіе.

VIII.

Юношеское незнаніе жизни не мѣшаетъ, а скорѣе способствуетъ—какъ всякое незнаніе—рѣзкой опредѣленности рѣшеній, а юношеская чистота придаетъ этой опредѣленности героическій характеръ. Міросозерцаніе Надсона—вы это чувствуете—совсѣмъ еще не сложилось, въ немъ все — хаосъ, но въ хаосѣ этомъ направо и налѣво сыплются самые рѣшительные, самые рѣзкіе приго-

воры. Эти приговоры могли-бы показаться за безнадежное отчаяніе, если-бы не были изложены въ заботливо отдѣланныхъ стихахъ и не были-бы съ милой безпечностью опровергнуты на слѣдующей страницѣ. Въ жаждѣ идеала, напримѣръ, молодой энтузіастъ совершенно искренно доходитъ до мысли, что «міръ (есть) міръ безсмысленныхъ рабовъ», что жизнь «бѣдна какъ нищая и какъ рабыня лжива», что въ ней «царитъ непроглядная мгла», что «могила — вотъ цѣль конечная и міровой итогъ» и пр. и пр. Совершено искренно молодой поэтъ доходитъ до аскетической строгости къ человѣческому счастью, до убѣжденія, что всякая, даже невинная радость есть, съ позволенія сказать, подлость:

„Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья...
„Я презрѣньемъ клеймилъ этихъ сытыхъ людей,
„Промѣнявшихъ туманы и холодъ ненастья
„На отраду и ласку весеннихъ лучей...
„Я твердилъ, что покуда на свѣтѣ есть слезы
„И покуда царитъ непроглядная мгла,
„Безконечно постыдны заботы и грезы
„О теплѣ и довольствѣ родного угла“.

Это юношескій, чистый, благородный, но немножко поспѣшный взглядъ на жизнь. Отрекаться, напримѣръ, отъ счастья подышать весеннимъ воздухомъ только потому, что «на свѣтѣ есть слезы», это значитъ къ одному горю прибавлять другое и не уважать жизни, данной намъ не для страданья. Утверждать, что «въ жизни царитъ непроглядная мгла» — это значитъ не знать жизни, не видѣть свѣта, который всѣмъ свѣтитъ, кто не закрываетъ глазъ,—это значитъ не вѣрить въ добро и не особенно любить людей. Сердце, созрѣвшее въ любви, подсказало-бы тому-же юношѣ, что нужно съ большею кротостью относиться къ міроустройству, какъ-бы оно ни не нравилось, что нужно принимать въ разсчетъ безконечныя въ немъ силы и основанія, которыхъ не сдвинешь гнѣвнымъ словомъ, хотя-бы и красиво сказаннымъ. Опытъ любви

къ людямъ подсказалъ-бы, что міру нужно отъ насъ не проклятіе, не отрицаніе, не презрѣніе, а нужна любовь, которая «все покрываетъ, всему вѣритъ, всего надѣется, все переноситъ» по словамъ апостола,—любовь, которая «никогда не перестаетъ, хотя и пророчества прекратятся». Суровая нетерпимость и къ своему, и къ чужому естественному счастью является въ честныхъ юношахъ преувеличеніемъ, противъ котораго протестуетъ ихъ-же собственная природа. Съ прелестною откровенностью Надсонъ признается, что погорячившись вчера, отрекшись отъ счастья и за себя и за всѣхъ противныхъ «сытыхъ людей»,—онъ сегодня попался на ту-же приманку:

„А сегодня—сегодня весна золотая,
„Вся въ цвѣтахъ, и въ мое заглянуло окно—
„И забилось усталое сердце...
„Милый взглядъ, момолетнаго полный участья,
„Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица,
„И безумно, мучительно хочется счастья,
„Женской ласки, и слезъ, и любви безъ конца!"

Вотъ то-то-же, могъ-бы замѣтить добродушно старый міръ, только-что обруганный 20-лѣтнимъ поэтомъ—и тебѣ, дружокъ, счастья хочется?

IX.

«Страдать» во времена Надсона было нѣкоторою модой. Даровитые юноши, кромѣ естественныхъ страданій своего возраста и своей эпохи, напускали на себя несуществующую скорбь, какъ въ эпоху байронизма они напускали на себя разочарованіе. 20-лѣтній Надсонъ уныло заявляетъ (въ тщательно отдѣланныхъ риѳмахъ), что «блага бытія», столь дорогія другимъ, «чужды и далеки» душѣ его больной, что ему не нужна будто-бы ни слава, ни женская любовь:

„ . . . . и не увлечь имъ вновь
„Прекраснымъ этимъ снамъ души моей собою...

„Я въ нихъ не вѣрую,—я трупъ: въ груди моей
„Ни искры жизни нѣтъ,—я жду лишь погребенья...“

Противъ послѣднихъ строкъ, конечно, всѣ знавшіе Надсона могли-бы громко протестовать, какъ противъ возмутительной клеветы поэта на самаго себя. Всѣ знаютъ, что въ то время—да и до послѣдняго вздоха—онъ вовсе не былъ похожъ на трупъ! Тѣмъ болѣе, что о болѣзни тогда еще не было и рѣчи. Надсонъ только-что выступилъ въ жизнь юнымъ прапорщикомъ и въ литературу—талантливымъ поэтомъ. Передъ нимъ раскрывалась радость бытія, и утверждать, что онъ «ждалъ лишь погребенья», было своего рода кокетствомъ, простительнымъ только юности, которой все прощается.

Любопытно, что унылый пессимизмъ постепенно покидаетъ Надсона, по мѣрѣ возраста. Въ 1883 г. онъ разочаровывается въ грубыхъ идеалахъ матеріализма («Нѣтъ, я больше не вѣрую въ вашъ идеалъ»), а тѣ чисто нигилистическія, базаровскія сомнѣнья—нужно-ли любить и страдать за людей, — сомнѣнья, которыя такъ мучили поэта въ 1880 году («Позабытые шумнымъ ихъ кругомъ...»), разрѣшаются въ жажду жизни («Я жить хочу, хочу волненій»), въ страстную вѣру въ то, что даетъ смыслъ и счастье жизни:

„Вѣрь въ великую силу любви!
„Свято вѣрь въ ея крестъ побѣждающій,
„Въ ея свѣтъ, лучезарно спасающій
„Міръ, погрязшій въ грязи и крови...
„Вѣрь въ великую силу любви!“

Это писано въ 1884 году. Поѣздка заграницу повліяла на молодого поэта крайне благотворно. Несмотря на ростущую въ немъ болѣзнь и неминуемо-близкую смерть, унылый тонъ исчезаетъ; матеріализмъ, нигилизмъ, скептицизмъ, пессимизмъ — всѣ эти накожныя болѣзни духа, продуктъ душевнаго неряшества,—у Надсона проходятъ; онъ начинаетъ пробовать себя въ иныхъ, болѣе

свѣтлыхъ настроеніяхъ, и успѣхъ получается замѣчательный. Самыя лучшія его вещи — пейзажи, элегическіе наброски, воспоминанія; тутъ онъ простъ и ясенъ, полонъ очарованія, которымъ умѣетъ заразить и читателя. Здѣсь и языкъ его теряетъ свою тяжесть, освобождается отъ жаргона «гражданской» поэзіи (съ такими словечками, какъ борьба, невзгоды, гнетъ, глумленіе пошлости, озлобленные бойцы, исходъ, животное чувство и пр. и пр.) Онъ уже начиналъ выходить на торную дорогу поэзіи, благополучно сбрасывалъ съ себя порокъ подражательности — вычурность. Сколько я могу судить, изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ Надсонъ одинъ, можетъ быть, пошелъ-бы въ слѣдъ старой школѣ поэтовъ съ ихъ естественной простотой. Отдавъ дань молодости, онъ непремѣнно отошелъ-бы отъ своихъ плохихъ учителей (Плещеева, Некрасова) и усвоилъ-бы—въ мѣрѣ силъ—единственный у насъ безупречный стиль—пушкинскій. Декадентство, котораго геніальнымъ предвѣстникомъ явился Фетъ, а изъ молодежи всего талантливѣе выражаетъ г. Фофановъ, было не въ духѣ Надсона, хотя онъ и цѣнилъ Бодлера. Во всемъ томѣ стихотвореній Надсона едва найдутся двѣ три «символическія» метафоры.

X.

Одна изъ замѣчательныхъ чертъ поэзіи Надсона — ожиданіе «пророка». Едва выступивъ въ литературу, въ 1883 году, Надсонъ пишетъ:

„Изнемогаетъ грудь въ безплодномъ ожиданьи,
„Отбою нѣтъ отъ думъ, и скорби, и тревогъ,
„О, въ этотъ мигъ я весь живу въ одномъ желаньи,
„Я весь—безумный вопль: „Приди, приди, пророкъ!“.

Увлекшись мрачною поэзіей пессимизма, Надсонъ переболѣлъ всѣми скорбями отрицанья. Не одинъ разъ онъ доходилъ до вывода, что его стремленіе къ идеалу — вздоръ, что любовь — безумство («Какъ бѣлымъ сава-

номъ...») и пр. Но свѣжесть души спасала поэта отъ логики столь мертвеннаго взгляда:

„Не нуженъ ты толпѣ, невѣрующій геній,
„Пророкъ погибели, грозящей впереди.
„Пусть истина слова тебѣ внушаетъ,
„Пусть намъ исхода нѣтъ.—не вѣруй, но молчи...

Что «исхода нѣтъ» — поэтъ, въ глубинѣ своей свѣтлой души, очевидно, не вѣрилъ. Онъ чувствовалъ, что исходъ есть, только онъ, юноша, еще не видитъ его,— онъ вѣрилъ, что кто-то высшій и мудрый могъ-бы указать ему этотъ желанный выходъ. Отсюда страстные призывы:

„Гдѣ-жъ ты, вождь и пророкъ?.. О, приди,
„И стряхни эту тяжесть удушья и сна!
„Дай мнѣ жгучія муки принять,
„Брось меня на страданья, на смерть, на позоръ,
„Только-бъ полною грудью дышать,
„Только-бъ вспыхнулъ отвагою взоръ!..“

Это писано въ 1884 году. А въ 1885 году. Надсонъ пишетъ:

„Напрасно я ищу могучаго пророка
„Чтобъ онъ увлекъ меня,—куда-нибудь увлекъ,
„Какъ опѣненный валъ гремучаго потока,
„Крутясь, уноситъ вдаль подмытый имъ цвѣтокъ.
„На что-бъ ни бросить жизнь, мнѣ все равно. Безъ слова
„Я тяжелѣйшій крестъ безъ ропота приму,
„Но лишь-бы стихла боль сомнѣнья рокового
„И смолкъ на днѣ души безумный вопль: „Къ чему?“
„Напрасная мечта! Пророка нѣтъ...

Наконецъ, передъ самой смертью, одно изъ послѣднихъ стихотвореній, помѣченныхъ 1886 годомъ, говоритъ:

„Пора! Явись, пророкъ! Всей силою печали,
„Всей силою любви взываю я къ тебѣ!
„Взгляни, какъ дряхлы мы, взгляни, какъ мы устали,
„Какъ мы беспомощны въ мучительной борьбѣ!..

Это страстное ожиданіе «пророка» для поколѣнія Надсона — не фраза. Если вѣрно, что великій человѣкъ

есть великій органъ своей эпохи, то отсутствіе его чувствуется органически; лишенное «вождя», поколѣніе испытываетъ растерянность, тяжелое состояніе неизвѣстности, безцѣльности своей. Необходимъ герой — въ лицѣ великаго поэта, мыслителя, «пророка», который сказалъ-бы завѣтное слово, которое объединило-бы лучшихъ людей въ святомъ энтузіазмѣ...

Надо замѣтить, что поколѣніе Надсона имѣло великое несчастіе придти въ вѣкъ промежуточный, междукультурный, когда старое наше міросознаніе превратилось почти въ развалины, а новое еще не успѣло сложиться. Въ такія переходныя эпохи, какъ я уже говорилъ выше, отдѣльный человѣкъ чувствуетъ себя духовно-безпомощнымъ и одинокимъ. Вѣра—продуктъ культуры — изсякаетъ: — вѣра и въ свои силы, не поддержанныя всею массою созвучныхъ ему душъ, и вѣра въ массовую силу, которой нѣтъ. Выброшенный изъ родного культа, изъ великаго внушенія, которое даетъ смыслъ и ясность всему, человѣкъ такого періода впадаетъ въ скептицизмъ, пессимизмъ и даже прямое отвращеніе къ жизни. Taedium vitae всегда является на предѣлѣ культуръ, когда старыя разсыпаются, а новыя еще не сложились. Даже великія души не въ силахъ вынести того одиночества, въ которомъ онѣ оказываются послѣ «гибели боговъ». Подобно тому, какъ тѣлесная индивидуальность вполнѣ устанавливается вмѣстѣ съ видомъ, и какъ она немыслима внѣ вида, такъ и духовная индивидуальность: она только тогда жизненна и опредѣленна, когда существуетъ видовой типъ души, извѣстная раса душъ. И подобно тому, какъ ублюдки далекихъ разновидностей бываютъ безплодны и безобразны, такъ и продукты скрещиванія психическаго. Горе приходящимъ слишкомъ рано или слишкомъ поздно! Въ обоихъ случаяхъ, вмѣсто зданія жизни, они встрѣчаютъ хаосъ: или склады песку и кирпича, или развалины ихъ. Они не знаютъ счастья чувствовать себя въ

согласномъ, милліонномъ хорѣ, гдѣ слабый голосъ каждаго подхватывается могучимъ и сочувственнымъ созвучіемъ. Какъ жалко звучитъ одинокій голосъ, лишенный этой поддержки! Призывы къ «пророку» есть вопль объединеніи, о недостающемъ культѣ. «Пророкъ» всегда лишь простой вѣстникъ высшей силы, забытой людьми, а эта сила неизмѣнна во всѣ вѣка. Каждый истинный поэтъ близокъ къ тому, чтобы быть пророкомъ,—единственно, чего недостаетъ ему—это обращенія къ высшей волѣ, желанія услышать голосъ Вѣчности. И Надсонъ, какъ юноша одаренный и искренній, таилъ въ себѣ пророка для своего времени, и ему недоставало только вѣры, «шестикрылаго серафима», который-бы явился ему «на перепутьи». Искренняя вѣра въ начало міра, въ жизнь вѣчную есть плодъ очень сложнаго развитія, для котораго нужна бываетъ долгая жизнь. Надсону не дано было созрѣть и развиться въ полнотѣ его всѣхъ стремленій; между этими стремленіями увяло въ зародышѣ и его пророческое призваніе.

Остается спросить: явился-ли пророкъ на страстные призывы поколѣнія начала 80-хъ годовъ, поколѣнія растеряннаго, измученнаго отрицаніемъ? На это пусть отвѣтятъ себѣ сами читатели. Нужда нестерпимая въ великомъ объединяющемъ словѣ, но не стыдно-ли ждать его, когда оно уже дано? И на всю эту суету мысли и томленіе духа, на вопли о вождяхъ и пророкахъ, на мечты о какомъ-то новомъ откровеніи, которое будто-бы въ состояніи спасти міръ, мнѣ хочется сказать этимъ раннимъ человѣколюбцамъ съ горящими отъ ожиданія глазами: Человѣколюбецъ уже пришелъ...

XI.

Я глубоко убѣжденъ, что Человѣколюбецъ, пришедшій въ міръ на зарѣ временъ и доселѣ для многихъ скрытый, открылся-бы чистому сердцу Надсона. Поэтъ уже

прозрѣвалъ его юношескими предчувствіями, уже трепеталъ отъ радости и, не смѣя признаться себѣ, уже вѣрилъ.

„Я не Тому молюсь, кого едва дерзаетъ
„Назвать душа моя...“

—говоритъ поэтъ; глубокое сознанье своей ничтожности предъ Вѣчностью смыкало ему уста.

„Меня влечетъ къ себѣ иное обаянье:
„Не власти царственной,—но пытки и креста.
„Мой Богъ—Богъ страждущихъ, Богъ обагренный кровью,
„Богъ-человѣкъ и братъ съ небесною душой,
„И предъ страданіемъ и чистою любовью
„Склоняюсь я съ моей горячею мольбой!“

Надсонъ нигдѣ не называетъ себя христіаниномъ, но настроеніе его поэзіи истинно-христіанское. Оно полно любви и печали, любви жалостливой, сострадающей, стремящейся не какъ языческая любовь—къ счастью съ любимымъ существомъ, а и къ *страданію* съ нимъ.

Въ этомъ центральномъ таинствѣ духовной жизни—отношеніи человѣка къ человѣку—міръ новый рѣзко отличается отъ стараго. Любовь стараго завѣта, любовь языческая, вся выливалась въ наслажденіе, побѣду, сладострастіе, силу, чувственную красоту, славу. «Труждающееся и обремененное» человѣчество—рабы—вызывали къ себѣ въ расѣ побѣдителей искреннее презрѣніе: на нихъ смотрѣли съ тою-же слѣпою жесткостью, съ какою мы смотримъ на униженный нами животный міръ, въ сущности родной намъ и единоправный. Въ рабахъ искренно не видѣли души, не признавали братьевъ: братомъ язычнику могъ быть только сильный, свободный, хищный человѣкъ, который одинъ или съ родомъ своимъ въ состояніи былъ защитить себя. Горе было слабымъ, горе побѣжденнымъ! Стоило родиться въ Спартѣ хилому ребенку—и его забрасывали въ лѣсъ, стоило свободному человѣку впасть въ нужду, одиночество—и онъ неизбѣжно становился рабомъ; враждебность къ нему увеличи-

валась по мѣрѣ его несчастій. Какъ въ стаѣ волковъ всѣ набрасываются на раненаго собрата, такъ въ языческомъ обществѣ чѣмъ безпомощнѣе былъ человѣкъ, тѣмъ менѣе онъ привлекалъ сочувствія къ себѣ и тѣмъ болѣе обиды. Любовь къ ближнему развивалась въ язычникѣ по мѣрѣ того, какъ росло счастье ближняго—его сила, красота, богатство, власть. Любовь эта доходила до идолопоклонства—предъ тріумфаторами, до обожествленія людей всемогущихъ. Слабость считались дотого презрѣнной, страданіе дотого отвратительнымъ, что любовь казалась несовмѣстимой съ ними. Сами слабые искренно гнушались своей немощи. Столь легкое завоеваніе въ древности однихъ государствъ другими, я думаю, объясняется отчасти тѣмъ, что первое-же пораженіе внушало побѣжденнымъ нетолько страхъ, но и любовь къ побѣдителямъ: чувство искренняго восхищенія предъ ихъ силой, тогдакакъ собственные вожди, оказавшіеся безсильными, тотчасъ вызывали къ себѣ презрѣніе. Недаромъ многія битвы древнихъ рѣшались единоборствомъ вождей: какъ львица спокойно смотритъ на грызущихся изъ-за нея львовъ и отдается побѣдителю, полчище обоихъ лагерей безъ ропота подчинялось тому вождю, кто бралъ верхъ надъ противникомъ. Обожаніе силы еще сохранилось отчасти и теперь на языческомъ материкѣ—въ Азіи, гдѣ столь грубо дѣйствуетъ такъ-называемый политическій «престижъ»: европейскіе завоеватели, почувствовавъ, что уваженіе къ нимъ колеблется, стараются учинить какойнибудь разгромъ, крупную рѣзню—и уваженіе туземцевъ къ нимъ возвращается—до такой степени, что вчерашніе непримиримые враги поступаютъ добровольно въ полки побѣдителей. Языческая любовь къ силѣ, въ своей высшей степени—обожаніи, давала религію съ божествами грозными, мстительными, жестокими, всесильными, и напрасно мы думаемъ, что это были религіи *страха*. По самой природѣ своей религія есть любовь (которой страхъ не исключаетъ, а часто ей способствуетъ), и преклоненіе предъ

Молохомъ было, мнѣ кажется, искреннимъ обожаніемъ, т.-е. величайшимъ уваженіемъ этой могущественной жестокости. Трудно найти болѣе пламенную любовь къ Богу, какъ у Давида, а даже этотъ провидецъ представлялъ Іегову какъ «Бога отмщеній», который въ гнѣвѣ «наполняетъ землю трупами» (Пс. 109). У магометанъ Аллахъ, посылая пророка проповѣдовать свой законъ «дрожащей твари», караетъ невѣрныхъ пламенемъ и покрываетъ прахомъ.

Богъ—воплощеніе самой высокой святыни, всего самаго плѣнительнаго и прекраснаго, до чего могло подняться воображеніе самыхъ святыхъ людей,—Богъ понимался въ древности какъ всесокрушающая Сила, творящая нетолько добро, но и зло. Но въ психологіи человѣка на исторической памяти начала совершаться замѣчательная перемѣна. Самое существо любви постепенно перерождается, и то, что внушало презрѣніе, пробуждаетъ безотчетную симпатію...

XII.

Поэзія Надсона—одно изъ все чаще и чаще повторяющихся въ литературѣ предчувствій той общей великой жалости, которая, быть можетъ, охватитъ нѣкогда весь родъ людской и въ пламени состраданія сожжетъ все зло міра. Эта жалость человѣка къ человѣку не есть измышленіе поэтовъ; она—дѣйствительное явленіе и самое важное, какое есть въ исторіи. Эта жалость воспитывается въ вѣкахъ, постепенно накапливается, охватываетъ все большіе круги, внѣдряется въ массы литературою и искусствами, смягченіемъ суровыхъ законовъ, распространеніемъ истинъ христіанской вѣры и нравственной философіи, семейнымъ воспитаніемъ, бытовымъ сближеніемъ народовъ, постепеннымъ исчезновеніемъ войнъ и нарожденіемъ всемірныхъ интересовъ. Послѣ многовѣковаго процесса разъединенія человѣчества,

когда оно, наполняя землю, *расходилось* отъ общаго гнѣзда, давно уже наступилъ обратный процессъ—сближенія, уплотненія, сліянія въ однородное цѣлое. Народы, какъ бассейны, отдѣленные тонкими плотинами, готовы слиться; физическія и психическія преграды, мѣшающія этому, все утончаются и начинаютъ не выдерживать давленія на нихъ раздѣленныхъ массъ. Нельзя не видѣть, что человѣчество уже и теперь составляетъ одну семью, хотя еще и мало согласную, но уже имѣющую нѣкоторый, общій правовой законъ и непрерывное общеніе. Всего тысячу лѣтъ тому назадъ, человѣчество было разъединено на группы, совершенно чуждыя другъ другу, жившія точно на разныхъ планетахъ. Для Франціи Карла Великаго не существовала нетолько Америка съ ея цивилизаціей, но и Китай, и Индія, и Африка, и Австралія, и даже такія миѳическія страны, какъ теперешняя Россія, не имѣвшая тогда даже имени. Поверхность луны для тогдашняго ученаго была болѣе знакома, чѣмъ поверхность Европы. Если и теперь глубины народныхъ массъ еще разъединены, то поверхности ихъ уже смѣшиваются. Въ каждомъ народѣ сложился слой интеллигенціи, почти однородной во всѣхъ странахъ, почти одноязычной, однокультурной. Крестьянинъ англійскій и французскій еще не понимаютъ и не видятъ одинъ другого, но образованный французъ уже говоритъ поанглійски и наоборотъ; оба они носятъ то-же платье (одинаково далекое отъ одежды крестьянъ въ обѣихъ странахъ), оба живутъ въ одинаковой почти обстановкѣ, читаютъ почти однѣ и тѣ-же книги, слѣдятъ за тѣми-же политическими интересами, смотрятъ тѣ-же пьесы, выставки и т. д. Образованные люди во всѣмъ свѣтѣ составляютъ какъ-бы новую, народившуюся націю, разсѣянную по всѣмъ странамъ, но подобно евреямъ составляющую одинъ народъ. Кто, напримѣръ, изъ образованныхъ румынъ интересуется румынской жизнью болѣе нежели европейской? Кто предпочтетъ Парижъ, Вѣну, Лондонъ—Яссамъ

или Бухаресту? Кто позволитъ себѣ одѣваться по-румынски, а не по-парижски? И это не изъ жалкаго подражанія иностранцамъ, а просто потому, что образованный человѣкъ — менѣе румынъ, нежели космополитъ. Въ убѣжденіяхъ онъ еще считаетъ себя чистокровнымъ румыномъ, но въ образѣ жизни, во вкусахъ и желаніяхъ онъ «европеецъ», «всечеловѣкъ», членъ нарождающейся всемірной семьи, у которой одни и тѣ-же лары и пенаты, всѣмъ одинаково родные геніи—Шекспиръ, Гёте, Сервантесъ, Данте, Гюго, Пушкинъ, одинъ и тотъ-же «семейный очагъ» общей науки и общаго искусства. Образованный румынъ, выѣзжая изъ Бухареста, чувствуетъ себя во множествѣ отношеній гораздо болѣе «дома» въ Берлинѣ, Нью-Іоркѣ, Мельбурнѣ, нежели въ румынской деревнѣ, гдѣ онъ не встрѣтитъ ни привычнаго комфорта, ни раздѣляющихъ его міросозерцанія людей. Въ деревнѣ поймутъ его языкъ, но не его мысли и вкусы, не его знанія, которыя легко пойметъ образованный японецъ. Посмотрите на это замѣчательное явленіе нашего вѣка — международные конгрессы и выставки. Изъ всѣхъ странъ собираются неизвѣстные другъ другу люди и оказываются такими близкими по духу, какъ-будто выросли въ одной семьѣ. Они понимаютъ другъ друга съ полуслова, у нихъ общія мечты и предразсудки. Какъ и въ любой современной семьѣ, въ этой нарождающейся всемірной «интеллигенціи» возможенъ раздоръ, борьба мнѣній, споры, антипатіи, но *сходство* все болѣе и болѣе вытѣсняетъ *различіе*, и именно въ самой интимной, внутренней области духа. Это культурное сліяніе ничуть не мѣшаетъ національной свободѣ, а скорѣе усиливаетъ ее: образованный человѣкъ болѣе индивидуаленъ, чѣмъ невѣжда, болѣе самостоятеленъ и менѣе склоненъ терять свою независимость. Какъ въ древней Греціи, въ недавней Германіи или странахъ англійской колонизаціи общая культура, языкъ, религія не мѣшаютъ политической самостоятельности отдѣльныхъ странъ, такъ и духовное объеди-

неніе образованныхъ классовъ всего свѣта: всемірная интеллигенція есть «семья», а самый смыслъ этого слова исключаетъ насильственное объединеніе. Въ семьѣ всѣ отношенія основаны на симпатіи и потому добровольны. Безъ всякаго насилія геній одного народа привлекаетъ къ себѣ геній другого, если хотите—покоряетъ, съ тѣмъ, чтобы самому быть покореннымъ тѣми сторонами побѣжденнаго, которыя вызываютъ симпатію. Оба лагеря въ самой важной области — духовной — съ восторгомъ слагаютъ оружіе и не жалѣютъ усилій, чтобы надѣть на себя «цѣпи рабства». Съ величайшими жертвами—и временемъ и деньгами—мы изучаемъ языкъ Горація, Гомера, Шекспира и Гёте, и четверть жизни тратимъ на то, чтобы отдаться въ плѣнъ культурѣ народовъ, политически намъ чуждыхъ. Мнѣ кажется, изъ текущихъ явленій всемірной исторіи—это самое знаменательное. Интеллигенція всѣхъ странъ ростетъ поразительно быстро, захватывая классъ за классомъ: въ нее вошла нетолько аристократія, но и весь средній классъ, а въ Европѣ—и верхній слой простонародья. Всеобщая грамотность, народные университеты, развитіе печати, упорядоченіе политической жизни и подъемъ богатства низшихъ классовъ неизбѣжно вовлекутъ и эти классы въ кругъ образованности, какъ это уже почти и достигнуто въ маленькихъ культурныхъ странахъ, гдѣ *народная* школа даетъ курсъ нашихъ шести классовъ гимназіи. Это всемірное объединеніе въ области науки, искусства, литературы, техники, образа жизни, вкусовъ и потребностей, преданій и надеждъ, въ области умственной и нравственной—несомнѣнно ведетъ къ накопленію чувства симпатіи въ человѣчествѣ, чувства сострраданія и сорадости. Это «благоволеніе въ человѣцѣхъ» настолько уже замѣтно, что вошло въ поэзію, въ которой выливается только достаточно назрѣвшее настроеніе души народной. Надсонъ изъ современныхъ поэтовъ, какъ мнѣ кажется, яв-

ляется талантливѣйшимъ лирикомъ этого нравственнаго движенія въ человѣчествѣ.

XIII.

Доброта души Надсона открыла ему секретъ сдѣлаться «властителемъ думъ» огромнаго круга читателей, считающихъ его «любимымъ поэтомъ». Секретъ этотъ—сочувствіе къ страданію, *жалость*, о которой я говорилъ выше. Пусть другіе поэты съ неменьшими талантами воспѣваютъ красоту, счастье, величіе и многія другія хорошія вещи,—большинство современныхъ читателей довольно холодно прочтутъ эти далекіе для нихъ восторги и не совсѣмъ повѣрятъ имъ. Хороши эти восторги—для счастливыхъ, но большинство современныхъ читателей люди *неудовлетворенные*, и эта неудовлетворенность—основная черта ихъ души, ждущая къ себѣ участія. Очень многіе изъ современныхъ читателей—люди немножко униженные и оскорбленные, а иногда и сильно униженные, и жгуче-оскорбленные. Когда-то, въ вѣка героическихъ поэмъ и одъ, такихъ читателей вовсе не было. Кто былъ униженъ и оскорбленъ, тотъ не зналъ грамотѣ и не могъ-бы услышать голоса поэта-утѣшителя, если-бы такой и явился. Но—такой утѣшитель и не могъ явиться тогда, если не считать безвѣстныхъ поэтовъ въ самомъ народѣ, которые слагали старинныя, печальныя пѣсни. Тогдашніе читатели не были ни унижены, ни оскорблены; всѣ они принадлежали къ привилегированному сословію, которое, будучи облечено почти всесильной властью надъ остальнымъ народомъ, стояло внѣ самыхъ острыхъ бѣдствій въ человѣчествѣ—внѣ голода, холода, изнурительнаго труда и рабства. Читающій кругъ былъ свободенъ и матеріально обезпеченъ, — естественно, что и поэты въ то время воспѣвали только счастье или тѣ сомнительныя страданія, когда люди «съ жиру бѣсятся»—страданія людей влюбленныхъ, ревнивыхъ, драчливыхъ

и вообще людей незнающихъ, что съ собой дѣлать на Олимпѣ, куда ихъ вознесла судьба. Поэту *жалости* не было-бы мѣста среди олимпійцевъ. Но настали иныя времена и читатель *удовлетворенный* начинаетъ уступать неудовлетворенному. Съ одной стороны прежній читатель, лишившись привилегій, былъ захваченъ «борьбою за существованіе» и философскимъ кризисомъ. Онъ потерялъ свое безпечное отношеніе къ жизни и началъ испытывать невѣдомыя дотолѣ страданія, и матеріальныя, и душевныя. Съ другой стороны образованіе создало внѣ узкаго кружка читателей-дворянъ громадный кругъ читателей-разночинцевъ, а извѣстно, что «разночинецъ» по своей природѣ человѣкъ неудовлетворенный. Огромное большинство читателей Надсона—такіе-же, какъ онъ самъ, разночинные «интеллигенты», люди выбивающіеся изъ невѣжества и бѣдности съ невѣроятными усиліями, терпящіе съ дѣтства столько горя, сколько перестрадалъ самъ Надсонъ: не даромъ онъ такъ остро понималъ чужія страданія. Уже одна эта вѣчная борьба за кусокъ хлѣба, за постоянно ускользающее изъ подъ ногъ соціальное свое мѣсто—чего она стóитъ! Сколько обидъ, униженій, страха и обмана, сколько нервнаго трепета! Но кромѣ матеріальныхъ причинъ неудовлетворенности разночинца есть еще болѣе глубокія *психическія* причины. Разночинецъ—это «овца безъ стада», по выраженію Гл. Успенскаго, человѣкъ безъ общества, отъ народа отставшій, къ аристократіи не приставшій, человѣкъ безкультурный, т.-е. неимѣющій *крѣпкихъ* потомственныхъ традицій, наслѣдственныхъ вѣрованій политическихъ, нравственныхъ и религіозныхъ. Все старое въ немъ есть, но оно надломлено, и ничто новое не сложилось прочно. Смутное недовольство—естественное его состояніе. Разночинецъ даже богатый лишенъ спокойствія духа, какое вы встрѣтите въ двухъ культурныхъ классахъ—въ аристократіи и народѣ. Въ то время, какъ тамъ міросозерцанія сложились прочно и всякому все

ясно, разночинецъ всего ищетъ и во всемъ колеблется. Онъ стремится къ аристократіи, но какихъ усилій и униженій это стоитъ! Въ то время какъ мужикъ и аристократъ чувствуютъ себя равными въ своемъ обществѣ, разночинецъ испытываетъ боль двойного неравенства: зависть къ высшему классу и страхъ смѣшаться съ низшимъ, и въ довершеніе всего—презрѣніе обоихъ классовъ, одинаково ему чуждыхъ. «Не настоящій баринъ»—какъ все межеумочное, промежуточное, возбуждаетъ всегда нѣкотороее отвращніе—какъ нѣчто неоформленное, безъ-óбразное и потому безобразное. «Ненастоящій» и самъ это чувствуетъ и глубоко страдаетъ, какъ метисъ или крещенный еврей, какъ-подростокъ среди взрослыхъ, какъ русскій среди европейцевъ. Да, разночинство — явленіе міровое, и разночинцами бываютъ нетолько отдѣльные люди или сословія, но и цѣлые народы—въ извѣстный періодъ ихъ развитія,—ими бываютъ вообще всякія органическія формы, развивающіяся, но еще не развившіяся. Насколько опредѣлененъ, ясенъ и потому красивъ видъ всякой законченной формы, насколько онъ устойчивъ и удобенъ для представителей этой формы,—настолько смутна и некрасива форма неустановившаяся, элементы которой всегда въ тревогѣ за свою участь, всегда наканунѣ пожертвованія собой ради высшей ступени развитія. Живой элементъ—человѣкъ, когда онъ разночинецъ, чувствуетъ себя всегда не дома, не на родинѣ, не въ обществѣ, а гдѣ-то въ пути, который еще не конченъ. Это классъ людей огромный и быстро ростущій,—къ нему я, какъ видите, причисляю нетолько образованныхъ «мѣщанъ», но и большинство дворянъ, которые не выработались въ аристократію или вышли изъ нея по своему міросозерцанію, которые потеряли культъ или еще не пріобрѣли его. Разстройство культа, какъ я уже говорилъ выше — болѣзнь не только русская, но всемірная, и все просвѣщенное человѣчество теперь — разночинецъ въ сравненіи съ преж-

ними поколѣніями, и останется разночинцемъ исторіи, пока не выработаетъ новаго міросозерцанія, столь-же строгаго и устойчиваго, какимъ было древнее. Слово «разночинецъ», такимъ образомъ, я употребляю не въ обычномъ пренебрежительномъ смыслѣ. Напротивъ, я думаю, что черезъ этотъ типъ пройдетъ весь потокъ человѣчества. Этотъ типъ въ общемъ развитіи и́граетъ ту-же роль, какую punctum vegetationis въ жизни растенія. Разночинецъ — та живая почка общества, черезъ которую оно растетъ; въ то время, какъ черная и бѣлая аристократіи, народъ и патриціи, пребываютъ неподвижными, подобно древесинѣ и корѣ растеній,—неустойчивый средній классъ постоянно бродитъ, преображается, соединяетъ обѣ аристократіи и вливаетъ въ обѣ новый духъ. Роль полная энергіи и жизни, но вся она—сплошная жертва, сплошная *служба* чьему-то чужому благу и потому — почти сплошное страданіе. Раскрывающаяся почка одна въ деревѣ видитъ блескъ солнца и нѣжится въ его сіяніи, но она-же острѣе всего испытываетъ и зной, и холодъ, и пыль, и нападенія паразитовъ, и мимолетность своего существованія. Въ то время какъ мужикъ или аристократъ увѣрены, что и сынъ ихъ и внукъ, и правнукъ болѣе или менѣе повторятъ ихъ личность, перенесутъ ее черезъ мракъ временъ, т.-е. дадутъ своему предку какъ-бы безсмертіе въ родѣ,—разночинецъ не знаетъ, чѣмъ будетъ сынъ его, чему будетъ служить, во что вѣрить, потому что и самъ онъ не похожъ на своего отца и совсѣмъ не похожъ на дѣда...

Изъ промежуточнаго положенія разночинной интеллигенціи вытекаетъ, кромѣ меда всякаго сознанія, еще больше—яда, отравляющаго сладость жизни. Заслуженными и незаслуженными, чистыми и нечистыми страданіями духа хвораетъ современный читатель—и онъ жаждетъ утѣшенія, онъ цѣнитъ всякое отзывчивое сердце, всякую жалость къ нему. Достоевскій изъ большихъ писателей, кажется, первый раскрылъ объятія «униже-

нымъ и оскорбленнымъ», «бѣднымъ людямъ», «подросткамъ», людямъ «изъ подполья», одержимымъ «бѣсами», первый вскрылъ страдающую душу разночинцевъ Раскольниковыхъ и Карамазовыхъ, первый пытался утишить боль ихъ созерцаніемъ совершенныхъ людей и высшаго закона жизни—любви. И читающій міръ отвѣтилъ Достоевскому восторженною благодарностью. Тому-же сочувствію несчастнымъ обязана своей извѣстностью и скромная муза Некрасова, и цѣлый рядъ писателей-народниковъ. Конечно, это сочувствіе несчастнымъ получило жизнь и силу при посредствѣ таланта: бездарные сочувственники—какъ друзья Іова—только раздражаютъ несчастныхъ, и легіонъ ихъ въ литературѣ—легіонъ подражателей Гейне, Достоевскаго, Успенскаго совершенно забыты. Талантъ былъ необходимъ этимъ человѣколюбцамъ, но не онъ преимущественно очаровывалъ читателей, а то нравственное начало, которому служилъ талантъ. Читатель каждой эпохи цѣнитъ въ писателѣ исключительно тотъ смыслъ жизни, которымъ самъ живетъ, злой или добрый. Современный читатель цѣнитъ по преимуществу добрый смыслъ, чувство жалости, въ которомъ онъ такъ нуждается.

XIV.

Человѣка, какъ res sacra, опредѣляютъ три нравственныя «координаты»: отношенія его къ себѣ, людямъ и Богу. Посмотрите, какъ благородны эти отношенія у Надсона. Къ самому себѣ онъ былъ строгъ и требователенъ, полонъ стыда за свое несовершенство, покаянія за него. Въ то время какъ старинные поэты и многіе теперешніе ихъ подражатели напускаютъ на себя мнимое величіе, объявляютъ себя пророками, требуютъ для себя поклоненья, славы — Надсонъ удивительно скромнаго о себѣ мнѣнія. Съ величайшею искренностью онъ дѣлаетъ тяжелое признаніе въ своемъ безсиліи, какъ поэта:

„Милый другъ, я знаю, я глубоко знаю,
„Что безсиленъ стихъ мой, блѣдный и больной:
„Отъ его безсилья часто я страдаю,
„Часто тайно плачу...
„Нѣтъ на свѣтѣ мукъ сильнѣе муки слова...

Эти благородныя мученія артиста, ищущаго выразить свое чувство въ его *идеальной* правдѣ, постоянно томили Надсона и составляютъ признакъ истиннаго таланта. Только таланту свойственна высшая добросовѣстность въ работѣ, стремленіе опредѣлить себя *не приблизительно*, а точно. Надсонъ чувствовалъ неполноту своихъ юношескихъ силъ и терзался ею. Къ мукамъ артиста у него присоединялись еще иныя, невѣдомыя безпечнымъ писателямъ —укоры человѣческой совѣсти, у Надсона столь несговорчивой и неутолимой. Признавъ себя поэтомъ, онъ не освободилъ себя—какъ многіе—отъ всякаго долга передъ ближними,—напротивъ, онъ поэтическое-то призваніе и принялъ какъ великое обязательство. И сколько было силъ, онъ несъ этотъ тяжелый долгъ. Другой-бы на его мѣстѣ удовлетворился, поспѣшилъ пококетничать своимъ подвигомъ, поноситься съ нимъ,—Надсонъ-же все время унывалъ, и каялся, и нылъ:

„Скорблю, что я не могъ, всей страстью, всей душой
„Служить тебѣ, печаль родимаго народа,
„Скорблю, что слабыхъ силъ беречь я не умѣлъ...
. . . .
„И больно мнѣ, что жизнь безцѣльно догоритъ,
„Что посреди бойцовъ—я не боецъ суровый,
„А только стонущій, усталый инвалидъ...

Въ 1885 году, когда онъ пріобрѣлъ уже широкую извѣстность, когда публика уже признала его своимъ любимцемъ,—Надсонъ обрушивается на себя съ суровымъ приговоромъ:

„Къ какимъ итогамъ привела
„Меня пройденная дорога?
„Я развѣ жилъ? Не такъ живутъ!
„Я спалъ,—и всѣ позорно спали...

„Что мы свершили, гдѣ нашъ трудъ?
„Какое слово мы сказали?"

Еще черезъ годъ (въ 1886 г.), послѣ небывалаго въ нашей литературѣ, тріумфальнаго успѣха Надсона, когда втеченіе полутора года было расхватано пять изданій его стиховъ,—послѣ публичныхъ овацій (гдѣ его носили на рукахъ), послѣ увѣнчанія его академическою наградой и восторговъ критики, Надсонъ передъ самой смертью отрекается отъ «заносчивыхъ надеждъ»:

...Мнѣ хватило-бъ силъ на мой завѣтный трудъ,
На незамѣтный трудъ, упорный, муравьиный...

Послѣднія слова, конечно, излишне скромны; судя по блестящимъ задаткамъ, Надсона хватило-бы, несомнѣнно, на болѣе, чѣмъ «незамѣтный трудъ», и его уже «хватило» на нѣчто всѣми замѣченное и оцѣненное. Принижать свой талантъ Надсону не было основаній, но какъ симпатично это трогательное смиреніе молодого поэта, его чувство высочайшей отвѣтственности своего призванія, постоянное чувство неудовлетворенности собою. Ясно, что цѣли его были огромны, стремленія возвышенны дотого, что всѣ имѣвшіяся въ его распоряженіи средства—какъ они ни крупны были—казались ему незначительными. И онъ старался сдѣлать все, что могъ, и сокрушался за свою немощь, и это сокрушеніе двигало его впередъ. Часто сознавая, какъ трудно выразить всю драму жизни, безконечно-сложной, какъ трудно привести въ чувство безчувственную природу, Надсонъ доходилъ до рѣшенія «замолчать»,—

„Но молчать, когда вокругъ звучатъ рыданья
„И когда такъ жадно рвешься ихъ унять,
„Подъ грозой борьбы и предъ лицомъ страданья,
„Братъ, я не хочу, я не могу молчать...
„Пусть я, какъ боецъ, цѣпей не разбиваю,
„Какъ пророкъ—во мглу не проливаю свѣтъ;
„Я ушолъ въ толпу, и вмѣстѣ съ ней страдаю,
„И даю, что въ силахъ—откликъ и привѣтъ...

XV.

Сопоставьте съ этой честной скромностью надутую кичливость многихъ иныхъ поэтовъ, которые, будучи такими-же слабыми смертными, провозглашаютъ себя «вѣстниками боговъ», объявляютъ о своемъ «всевѣдѣньи», о способности «глаголомъ жечь сердца людей». Какъ извѣстно, даже великіе таланты, вродѣ Пушкина и Лермонтова, не въ состояніи были достаточно оправдать этихъ непомѣрныхъ претензій; даже ихъ «всевѣдѣніе» было очень ограниченное и даже ихъ глаголъ жегъ не глубоко. Напускное величіе ставило даже этихъ поэтовъ въ смѣшную роль,—вовлекая ихъ въ поэтическій эгоизмъ, лишенный смысла: «Подите прочь! — кричалъ поэтъ на призывъ братьевъ о нравственной поддержкѣ,— какое дѣло поэту мирному до васъ? Въ развратѣ каменѣйте смѣло!.. Душѣ противны вы какъ гробы» и пр. и пр. Съ изящнымъ безстыдствомъ поэтъ отрекался отъ всякаго участія въ судьбѣ ближнихъ: «мы (поэты) рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ...» Какъ хорошо извѣстно, самъ авторъ этихъ заносчивыхъ словъ, которыя считаются символомъ вѣры тьмою поэтовъ посредственныхъ и бездарныхъ,—самъ Пушкинъ *на дѣлѣ* не былъ такимъ гордецомъ: онъ не отрѣшался отъ жизни, онъ жилъ лучшими житейскими волненіями, лучшею «корыстью» своего времени (и къ сожалѣнію—не только лучшею), онъ вступалъ въ битвы, ему доступныя, онъ старался въ мѣрѣ совѣсти и силъ дѣлать именно то, о чемъ «народъ непосвященный» просилъ поэта («Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ...» и проч.). «Чувства добрыя» и «милость къ падшимъ»— вотъ что пришлось, въ концѣ концовъ, и Пушкину признать своею поэтическою заслугою. Кичливость его была минутнымъ затменіемъ, по природѣ-же своей поэтъ *не могъ*—если бы даже и хотѣлъ—отказаться отъ служенія

человѣчеству, къ которому призванъ всякій искренній талантъ. Вотъ бездарность—дѣло другое: у той кичливость—черта постоянная, такъ-какъ достоинство, которымъ она гордится, мнимое; отсутствующій инстинктъ правды не можетъ побуждать такого поэта къ какому-нибудь нравственному долгу.

Благородная скромность Надсона, какъ и всякая истинная скромность, зависѣла отъ высоты идеала, который былъ врожденъ ему. Когда знаешь, какъ *много* нужно сдѣлать и какъ мало для этого человѣческихъ силъ, не станешь особенно кичиться своими заслугами, онѣ покажутся всегда маленькими, всегда недостаточными. Писательское смиреніе Надсона, какъ смиреніе хорошаго священника предъ престоломъ Божіимъ, давало ему ту молитвенную чистоту мысли, то благоговѣніе къ идеалу, которыя только и дѣлаютъ трудъ писателя священнымъ. Онъ приступалъ къ своей работѣ со страхомъ и трепетомъ, какъ-бы слыша «силы небесныя», которыя «съ нами невидимо служатъ»,—всѣмъ существомъ своимъ повергаясь ницъ предъ святынею своего духа.

XVI.

Для Надсона его призваніе было не предметомъ тщеславія, не профессіей, не способомъ кривляться предъ ближними болѣе или менѣе эффектно, а дѣйствительнымъ служеніемъ своей душѣ, Богу и человѣчеству. Въ то время, какъ наши старые и старикующіе поэты изъ молодыхъ начинали сладострастными стишками, воспѣвая вино, веселье, юныхъ дѣвъ и пр., — посмотрите, какъ рано у Надсона раскрылся серьезный взглядъ на поэзію, и какой чистый взглядъ. Еще 14-лѣтнимъ мальчикомъ онъ обрекаетъ свою музу на служеніе несчастнымъ:

„Иди, не падая душою,
. . . .
„Встрѣчая грудью молодою
„Всѣ бури жизни трудовой.

„Буди уснувшихъ въ мглѣ глубокой,
„Упавшимъ руку подавай,
„И слово истины высокой
„Въ толпу, какъ лучъ живой, бросай...“

Не отрицая красоты, любви, покоя, счастья, юноша-Надсонъ ставитъ поэзіи требованія возвышенныя и строгія; поэтъ по его мысли долженъ быть нравственнымъ вождемъ общества, его утѣшителемъ и вдохновителемъ:

„Пусть онъ ведетъ насъ въ бой съ неправдою и тьмою,
„Въ суровый, грозный бой за истину и свѣтъ...“

Нѣсколько возмужавъ, въ 1883 году, Надсонъ еще рѣшительнѣе отдается нравственнымъ задачамъ поэзіи:

„Я сталъ пѣвцомъ труда, познанья и скорбей,
„Во славу красоты я гимновъ не слагаю,
„Побѣдъ и громкихъ дѣлъ я въ пѣсняхъ не пою,
„Я плачу съ плачущимъ, со страждущимъ страдаю
„И утомленному я руку подаю!“

Надсонъ, какъ видите, не принадлежалъ къ той породѣ милыхъ эстетиковъ, которые вдохновляются только женской ножкой, обломкомъ греческой колонны, да розовыми и голубыми звуками. Онъ не понималъ тѣхъ радостей и страданій, которыми хворають его собратья—гг. Мережковскіе, Бальмонты, Минскіе и пр.—или совѣстился изображать ихъ. Страданія Леды, ждущей въ свои объятія Лебедя—принятыя столь близко къ сердцу г. Мережковскимъ, капризы лучей и тѣней, воспѣтые г. Фофановымъ, или радость меоновъ, абсолютныхъ формъ небытія, придуманныхъ г. Минскимъ—все это было-бы слишкомъ большою роскошью для Надсона; онъ былъ слишкомъ простъ для такихъ «тонкостей», слишкомъ скроменъ. Онъ умиралъ, но не переставалъ мечтать объ иномъ поэтическомъ служеніи:

„ . . . . . . Страна моя родная,
„Когда-бъ хоть для тебя я могъ еще пожить!
„Какъ я-бъ любилъ тебя, всю душу отдавая
„На то, чтобъ и другихъ учить тебя любить!

„Какъ пѣлъ-бы я тебя! Съ какимъ негодованьемъ
„Громилъ твоихъ враговъ!.. Твой песъ сторожевой,—
„Я-бъ жилъ одной тобой, дышалъ твоимъ дыханьемъ.
„Горѣлъ твоимъ стыдомъ, болѣлъ твоей тоской!..“

XVII.

Поэтъ довольствуется ролью *сторожевого пса* своей страны—у порога, конечно, ея лучшихъ сокровищъ,—какая перемѣна въ сравненіи съ временами, когда и большіе, и малые піиты называли себя—по меньшей мѣрѣ—пророками! Невольно вспоминается трогательная сказка Гюго, въ которой вѣрная собака умирая превращается на глазахъ жестокаго человѣка въ свѣтлаго духа. Юному поэту, желавшему быть «псомъ сторожевымъ» своей страны, дано было сказать слово болѣе, чѣмъ пророческое—слово любви, *которому повѣрили*. Не всякое слово о любви доходитъ до сердца читателя, а только искреннее, нелицемѣрное, и зато такое слово творитъ чудеса. Оно волнуетъ, трогаетъ, оживляетъ, воскрешаетъ остановившійся духъ изъ мертвыхъ, заставляя его трепетать новой жизнью. Слову любви Надсона повѣрили сотни тысячъ истомленныхъ людей, нуждающихся въ сочувствіи, тѣхъ людей, что хватаются за книгу поэта и читаютъ ее плача, какъ-бы отдыхая на груди друга. Недаромъ Надсонъ такъ любилъ называть читателя своего «другомъ, братомъ». Я помню трогательный случай. На моихъ рукахъ умиралъ покинутый всѣми человѣкъ, крайне даровитый, но потерянный, опустившійся до мостовой. Жизнь его потрепала жестоко, и онъ умеръ въ горячечномъ бреду. Перебирая оставшуюся послѣ него связку бумагъ—завѣтныхъ писемъ, съ которыми онъ не разставался даже въ трущобахъ и носилъ у сердца—я нашелъ пожелтѣвшій листокъ съ переписаннымъ его рукою стихотвореніемъ:

„Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ!
„Кто-бъ ты ни былъ, не падай душою!
. . . .

Вы, конечно, помните это удивительное стихотвореніе Надсона — одно изъ неуклюжихъ по стилю и одно изъ самыхъ неотразимыхъ, какія есть въ русской поэзіи по силѣ лирическаго чувства. Всякій, кто страдалъ въ жизни и падалъ, и изнемогалъ, кто былъ униженъ и оскорбленъ, кто ждалъ участья и не находилъ его—не можетъ безъ сердечнаго волненья прочесть этотъ горячій, прерывистый монологъ, задушевную мольбу друга искренняго и любящаго. Ничего нѣтъ въ этомъ стихотвореніи—какъ и другихъ подобныхъ — особенно новаго, ни звуковъ сладкихъ, ни великой мудрости — есть только страстное сочувствіе, рвущееся изъ сердца. Не падай душой, говоритъ поэтъ, прижимая бѣдняка къ своей груди, — не плачь-же! Ну, пусть поторжествуетъ зло,—«вѣрь, настанетъ пора—и погибнетъ Ваалъ, и вернется на землю любовь...» Поэтъ не знаетъ, чѣмъ доказать это пришествіе любви всемірной, послѣ котораго «не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды, ни рабовъ, ни мертвящей нужды, ни меча, ни позорныхъ столбовъ». Поэтъ вѣритъ въ это пришествіе глубиною сердца и настойчиво убѣждаетъ въ томъ-же «страдающаго брата»:

„О мой другъ! Не мечта этотъ свѣтлый приходъ,
„Не пустая надежда она:
„Оглянись,—зло вокругъ черезчуръ ужь гнететъ,
„Ночь вокругъ черезчуръ ужь темна.
„Міръ устанетъ отъ мукъ, захлебнется въ крови,
„Утомится безумной борьбой,—
„И подниметъ къ любви, къ беззавѣтной любви
„Очи, полныя скорбной мольбой!

XVIII.

Правъ-ли поэтъ утверждая, что теперь «зло вокругъ черезчуръ ужь гнететъ?» Если-бы зло было теперь такъ сильно, то трудно было-бы предсказывать близкое пришествіе добра. «Зло міра», я думаю, теперь не болѣе, а скорѣе—меньше, чѣмъ когда-бы то ни было, но оно

чувствуется всего больнѣе. Всемірная любовь нетолько «придетъ», но уже и приходитъ, и чѣмъ глубже она проникаетъ въ жизнь, тѣмъ жгучѣе ощущается ядъ остающагося зла, тѣмъ энергичнѣе мы вынуждены бороться съ нимъ. Именно пришедшая въ міръ любовь научила насъ отвращенію къ злу, привила намъ высокія и нѣжныя потребности, и она именно обрекла насъ на страданія—до тѣхъ поръ, пока зло въ человѣчествѣ не будетъ окончательно побѣждено. Что побѣда эта не далека, доказывается остротою боли, которая причиняется зломъ: она почти невыносима для душъ благородныхъ. Когда любовь войдетъ въ міръ во всей полнотѣ ея, зло покажется совсѣмъ невозможнымъ, и оно исчезнетъ:

„Свѣтелъ будетъ праздникъ, праздникъ возрожденья,
„Радостно вздохнутъ усталые рабы,
„И замѣнитъ гимнъ любви и примиренья
„Звуки слезъ и горя, мести и борьбы!

Эту святую вѣру въ пришествіе любви Надсонъ высказываетъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній («Памяти Ѳ. М. Достоевскаго», «Вѣрь въ великую силу любви», «Когда сдвигается вокругъ меня тѣснѣе», «Съ тѣхъ поръ, какъ я прозрѣлъ, разбуженный грозою» и пр.). Самъ Надсонъ, этотъ нѣжный страдалецъ о людскихъ страданьяхъ, этотъ «поэтъ скорбей»—что онъ былъ такое самъ, какъ не одна изъ ласточекъ этой приближающейся всемірной весны, самъ, быть можетъ, того не сознавая? Пусть онъ явился рано въ холодное распутье наше, подъ снѣгъ и вѣтеръ, пусть онъ погибъ въ ненастьи—за нимъ неотразимо, хоть и неспѣшно, подвигается солнечный міръ съ цвѣтами и пѣснями, міръ тепла и свѣта. Это не мечта, а живая реальность, которую ранняя ласточка видѣла въ той странѣ, откуда явилась къ намъ. Вѣдь что такое отъ природы добрый человѣкъ, что такое—добро? И человѣкъ и его вѣра въ добро есть продуктъ очень долгой эволюціи, невидимой и темной, которой мы видимъ лишь послѣдніе моменты. Каждый изъ

насъ заканчиваетъ собою ту или иную вѣточку исполинскаго дерева человѣчества. Одинъ отсталъ, другой выдвинулся далеко, третій вянетъ въ своей почкѣ. Среди насъ, современниковъ, несомнѣнно есть люди совершенно разныхъ вѣковъ, различныхъ культуръ и цивилизацій. Вы встрѣчаете кроткаго великодушнаго человѣка: развѣ онъ похожъ на большинство? Это человѣкъ иного, будущаго вѣка, вдвинутый туда быстрою эволюціей предковъ и его собственной. Онъ перегналъ насъ на нѣсколько столѣтій, онъ принадлежитъ къ несуществующей еще породѣ людей, но которая непремѣнно народится когда-нибудь. Онъ чувствуетъ и мыслитъ какъ-то не по нашему, онъ говоритъ съ величайшею увѣренностью вещи, которыхъ истину и красоту мы едва въ состояніи различить за дальностью разстоянія. Какъ не понятна для насъ жестокость убійцъ—этихъ выходцевъ каменнаго вѣка, такъ точно трудно намъ вмѣстить и великую любовь будущаго. Но оттого, что это трудно, нельзя говорить, что любовь мечта: это фактъ болѣе реальный, нежели, напримѣръ, людоѣдство. Людоѣдство уже *исчезло* (на нашемъ материкѣ), и вѣроятно не повторится вновь, тогда какъ вся полнота любви для насъ еще впереди. Ее провидѣлъ Надсонъ, ею жилъ и къ ней звалъ своихъ друзей и братьевъ...

Не думайте, что эта вѣра въ «миръ на землѣ и въ человѣцѣхъ благоволеніе» далась Надсону безъ всякаго труда. Нѣтъ это былъ тяжелый путь,—даже при его крыльяхъ ласточки, при его нездѣшней природѣ. Какъ всякій честный юноша, Надсонъ переживалъ мучительныя колебанья. Теперешній, ему чуждый вѣкъ, современная дѣйствительность постоянно сбивала его съ толку, путая его представленія о должномъ. Окружающая его низкая душевная культура старалась принизить и его высокій строй души, одичить его. Бѣдный поэтъ страдалъ въ сомнѣньяхъ, пока не отдался во власть своему свѣтлому духу, духу *своей* природы.

„Не разъ переживалъ я тяжкія сомнѣнья,—
„Сомнѣнья въ будущемъ, и въ братьяхъ, и въ себѣ...
„Я говорилъ себѣ: не обольщайся снами,
„Что дашь ты родинѣ, что въ силахъ ты ей дать?
„Твоей ли пѣснею, твоими-ли слезами
„Разсѣять ночь надъ ней и скорбь ея унять?
„А между тѣмъ, молчать въ бездѣйствіи позорномъ,
„Ѣсть хлѣбъ, отравленный слезами нищеты,
„Носить ярмо раба въ смиреніи покорномъ,
„Такъ жить не можешь ты, такъ жить не хочешь ты.
„Гдѣ-жь свѣтъ и гдѣ исходъ?..
„И понялъ я душою,
„Что мысль не прояснитъ мучительный хаосъ,
„И что порывъ ея мнѣ принесетъ съ собою
„Лишь мракъ унынія, да злобу жгучихъ слезъ...
„И проклялъ я тогда безплодныя сомнѣнья,
„И сердце я спросилъ, и сердцемъ я рѣшилъ:
„Услышавъ братскій стонъ, безъ думъ и размышленья,
„Идти и помогать насколько станетъ силъ...
„Я божествомъ избралъ любовь и всепрощенье,
„Святымъ ея огнемъ я каждый стихъ зажегъ...

XIX.

Любовь къ человѣку у Надсона—это воистину *новая* любовь, которая идетъ на смѣну древней, языческой. Любовь эта — какъ пробужденіе живого Бога въ душѣ людей — безконечно разнообразна: она столь-же богата, какъ внѣшнее ея отраженіе — красота. Любовь къ ребенку едва родившемуся не такая, какъ къ нему-же, когда онъ напоминаетъ херувима,—не одна и та-же любовь къ юношѣ, зрѣлому человѣку, старцу. Изъ всѣхъ формъ любви къ человѣку, можетъ быть, самая могущественная—хотя и не самая благородная—это половая влюбленность. Она у всѣхъ народовъ и во всѣ эпохи была любимымъ предметомъ для поэзіи. Поэты внесли въ сознаніе этой формы любви много правды, т.-е. много утонченной красоты и благородства, но вмѣстѣ съ тѣмъ они внесли въ любовь и большую ложь. Они создали волшебный культъ, но не тому началу, которое

было достойно этого культа. Большинство поэтовъ создали поклоненіе чувственности, а не чувству, поклоненіе *женщинѣ* въ человѣкѣ, а не человѣку въ женщинѣ. Поэтому поэзія любви даже у великихъ писателей такъ двусмысленна. Тяготѣніе междуполовое такая могучая, органическая страсть, что достойно владѣть ею могутъ только истинно хорошіе люди,—недаромъ «цѣломудріе», «невинность» выражаютъ чистоту одновременно и тѣла и духа. Поэзія стараго міросозерцанія далека была отъ достойнаго взгляда на любовь. Впечатлительные, страстные поэты преувеличивали до соблазна самую темную, матеріальную сторону этой любви; поэтамъ всего дороже былъ ея физическій процессъ, очарованіе плоти; они не видѣли, какъ вянетъ въ немъ процессъ психическій, очарованіе духа. Короткая исторія нашей поэзіи полна примѣровъ этого оскверненія любви, и повинны въ этомъ грѣхѣ даже великіе поэты, Пушкинъ и Лермонтовъ. Многія изъ ихъ любовныхъ посланій, восторговъ, описаній дышутъ пошлымъ волокитствомъ и нескрываемою похотью. Но уже Пушкинъ и Лермонтовъ показали образцы иной любви, иного отношенія къ предмету страсти. Надсонъ едва-ли не единственный у насъ поэтъ вполнѣ цѣломудренный, внесшій въ свою поэзію отношеніе къ женщинѣ серьезное и христіанское. Онъ не успѣлъ дать ни одного сколько-нибудь опредѣленнаго женскаго образа, ни одной поэмы о любви, но въ рядѣ трогательныхъ и милыхъ стихотвореній разсказалъ свои мечты о женщинѣ. Эти мечты, можетъ быть, нѣсколько теоретичны, отъ нихъ вѣетъ юношескимъ незнаніемъ человѣческаго сердца (и женскаго—въ частности), но онѣ безукоризненно чисты. Въ нихъ нѣтъ той искусственной преувеличенности, какую встрѣчаешь у иныхъ поэтовъ. Прежніе поэты — искренно или нѣтъ — проповѣдывали забвеніе всего міра ради этой сладкой страсти; ихъ влюбленные герои опускались на дно морское, поднимались на облака и продѣлывали вообще забавныя несо-

образности въ доказательство любви (припомните самоистязанія бѣднаго Донъ-Кихота въ горахъ Сіерра-Невады). Въ страсть и безъ того тягостную, поэты старались влагать всю душу безъ остатка. Совсѣмъ иное отношеніе къ любви у Надсона. Онъ чистымъ инстинктомъ своимъ понималъ, какъ опасенъ этотъ пожаръ крови для самыхъ дорогихъ святынь души, какими жертвами оплачивается это болѣзненное блаженство. Силѣ любви въ природѣ Надсона былъ могучій противовѣсъ—совѣсть, которая кладетъ предѣлы эгоизму, въ какую-бы страсть онъ ни выливался. Влюбленный рано, 14 лѣтъ, онъ уже боится отдать всего себя этому чувству:

„Не весь я твой—меня зовутъ
„Иная жизнь, иныя грезы...
„Отъ нихъ меня не оторвутъ
„Ни ласки жаркія, ни слезы.
„Любя тебя, я не забылъ,
„Что жизни цѣль—не наслажденье...

Вспомните любовные стишки прежнихъ поэтовъ въ томъ-же возрастѣ. Любовь сладострастная казалась Надсону соблазнительной, но недостойной человѣка. Столь искренній и юный, поэтъ былъ близокъ къ этому вакхическому обаянью, но еще болѣе плѣняла его нравственная красота.

„...Ты мнѣ еще вдвое дороже съ тѣхъ поръ,
„Какъ печалью и думой зажегся твой взоръ;
„...Въ святынѣ прекрасныхъ стремленій
„И сама ты прекраснѣй, и чище...“

Любовь къ женщинѣ у Надсона не раздѣлима съ высшимъ жизненнымъ призваніемъ:

„Любовь на мигъ... любовь—забава отъ бездѣлья,
„Любовь—не жаръ души, а только жаръ въ крови,
„Любовь—больной кошмаръ, тяжелый чадъ похмѣлья,
„Нѣтъ, мнѣ не жаль ея, промчавшейся любви...
„Я не о ней мечталъ безсонными ночами,
„И не она тогда являлась предо мной,
„Вся—мысль, вся—красота, увитая цвѣтами,
„*Съ улыбкой дѣвственной и дѣвственной душой...*

XX.

У Надсона есть драматическій разсказъ, какъ любовь его была побѣждена совѣстью. Поэтъ шелъ однажды ненастнымъ осеннимъ вечеромъ на свиданіе къ своей возлюбленной. На дорогѣ онъ остановился предъ витриной цвѣточнаго магазина.

„Тамъ, за зеркальнымъ блещущимъ стекломъ,
„Въ сіяньи лампъ, горѣвшихъ мягкимъ свѣтомъ,
„Обвѣяны искусственнымъ тепломъ,
„Взлелѣяны оранжерейнымъ лѣтомъ
„Цвѣли цвѣты... Жемчужной бѣлизной
„Сіяли ландыши... алѣли георгины,
„Пестрѣли бархатцы, нарциссы и левкой,
„И розы искрились, какъ яркіе рубины...“

Юноша-поэтъ замечтался предъ этимъ волшебнымъ міромъ,—его заволновали грезы о настоящей веснѣ и жизни...

„Но дѣтскій мой восторгъ смѣнился вдругъ стыдомъ:
„Какъ!.. Въ эту ночь, окутанную мглою,
„Здѣсь, рядомъ съ улицей, намокшей подъ дождемъ,
„Дышать такимъ безстыднымъ торжествомъ,
„Сіять такою наглой красотою!..“

Благородная душа поэта возмущена, видите-ли, даже высшею святынею поэзіи—красотою, разъ она не всѣмъ доступна: пламенная жалость къ этой «улицѣ, намокшей подъ дождемъ» превозмогаетъ восторгъ предъ всякимъ счастьемъ. Совѣсть поэта пожирала даже его влюбленность:

„Ты помнишь,—я пришелъ къ тебѣ больной,
„Ты ласкъ моихъ ждала и не дождалась:
„Твоя любовь казалась мнѣ слѣпой,
„Моя любовь—*преступной* мнѣ казалась!..“

Немудрено, что такая цѣломудренная, облагороженная любовь не всегда встрѣчала откликъ въ холодномъ

сердцѣ, въ которое стучался Надсонъ. Несмотря на молодые годы, и онъ иногда испытывалъ горькія разочарованья въ женщинахъ, которыхъ любилъ. Вспомните его «Я пришелъ къ тебѣ съ открытою душою...»—одинъ изъ искреннѣйшихъ его лирическихъ монологовъ. Съ какою задушевностью и трогательнымъ довѣріемъ онъ пришелъ къ любимой женщинѣ, какія высказалъ братскія, святыя чувства!

„И сказалъ тебѣ я: будь моей сестрою,
„Будь моей заботой, радостью и другомъ.
„Мы одно съ тобою любимъ съ колыбели,
„Мы одной съ тобою молимся святынѣ,
„О, пойдемъ-же вмѣстѣ къ лучезарной цѣли,
„Вмѣстѣ въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ...“

На этотъ призывъ чистаго сердца мелкая женщина отвѣчаетъ сомнѣньями и страхами. Въ концѣ концовъ бѣдный поэтъ отходитъ отъ нея, разбитый въ лучшихъ мечтахъ:

„Со стыдомъ мою протянутую руку
„Опускаю я, не встрѣтивши пожатья...
„И какъ путникъ, долго бывшій на чужбинѣ,
„И въ родномъ краю неузнанный семьею,
„Снова въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ,
„Я бреду одинъ съ поникшей головою...“

Поэтъ не разъ возвращается къ этой грустной темѣ. Его возлюбленная, которую онъ звалъ къ «лучезарной цѣли», остается глухой къ нему, она отдается пошлому прозябанью въ своей средѣ, забывъ иныя, болѣе свѣтлыя грезы. Поэтъ спрашиваетъ ее:

„Объ этой-ли призрачной жизни слѣпцовъ
„Мечтали съ тобой мы въ нашихъ бесѣдахъ?
. . . .
„Куда-жь они скрылись, завѣтные сны,
„Зачѣмъ оттолкнула ты лучшую долю?
„На что промѣняла ты солнце весны,
„И воздухъ, и силу, и вольную волю?..
„Мнѣ жалко тебя до страданья, до слезъ:

„Съ какой-бы любовью я бѣднаго друга
„Съ собой на рукахъ, какъ ребенка, унесъ
„Изъ этого затхлаго, тѣснаго круга!
„Но тщетно зову я тебя...“

XXI.

Несомнѣнно, идеальный, героически-чистый взглядъ на любовь у Надсона покажется не подсилу большинству мужчинъ и женщинъ—это взглядъ будущаго. Для Надсона любовь была молитвой передъ божествомъ, раскрывающимся въ душѣ любимаго человѣка. «Если любить, говоритъ онъ,—безконечно томиться жаждой объятій и знойныхъ ночей;—я не любилъ: я молился предъ ней, такъ горячо, какъ возможно молиться. Слово привѣта *на чистыхъ устахъ, не оскверненныхъ ни злобой, ни ложью*—все, что къ ея преклоненный подножью робко желалъ я въ завѣтныхъ мечтахъ». Вспомните также дивное стихотвореніе—«Все это было, — но было какъ-будто во снѣ». Рисуется полная нѣжной прелести картина любви чистой и благоуханной, и вотъ смерть похитила его возлюбленную, и поэтъ приходитъ на могилу. Вы думаете, его терзаютъ воспоминанія, грусть объ утратѣ? Да, терзаютъ,—но съ величайшею искренностью поэтъ казнитъ себя за свое охлажденное чувство. Онъ подмѣчаетъ въ себѣ, что время начало исцѣлять его отъ страданія любви, и стыдится этого до ужаса:

„Мнѣ мучительно больно,—мнѣ стыдно до жгучей тоски,
„Что мое сердце мнѣ лгало... Прости мнѣ, моя дорогая,
„Лживыя слезы, на мраморъ могильной доски
„Тяжко упавшія, память твою оскорбляя:
„*Нѣту любви, если годы похитить могли*
„*Чистый твой образъ изъ сердца.. Безъ вѣчности чувства*
„*Смысла въ немъ нѣтъ!..* Если-жь нѣту любви,—нѣтъ искусства:
„Правды, добра, красоты,—нѣтъ души у земли!..“

Дальше этого идеализма, этой абсолютной строгости взгляда на любовь не шелъ ни одинъ поэтъ, кромѣ,

развѣ Данта — ни одинъ не связывалъ любовь къ женщинѣ съ самымъ разумомъ міровой жизни. У Лермонтова влюбленный изъ гроба требуетъ у оставленной женщины вѣчной любви къ себѣ, но любви *для себя* только. У Надсона великая его совѣсть ставила то-же требованіе болѣе правильно, — онъ требовалъ отъ *самого себя*, вѣчной вѣрности и негодовалъ, и возмущался какъ низкою измѣной—самою мыслью о забвеніи. Высота—чисто божественная—такого взгляда на женщину и любовь объясняются тѣмъ, что у Надсона любовь исключительно духовна. Чистѣйшій эстетикъ, — онъ платонизировалъ физіологическій инстинктъ до нравственности. Одно изъ самыхъ чудныхъ его стихотвореній даетъ психологію любви, достойную безплотныхъ духовъ:

„Только утро любви хорошо: хороши
„Только первыя, робкія рѣчи,
„Трепетъ дѣвственно чистой, стыдливой души,
„Недомолвки и бѣглыя встрѣчи,
„Перекрестныхъ намековъ и взглядовъ игра,
„То надежда, то ревность слѣпая,
„Незабвенная, полная счастья пора,
„На землѣ—наслажденія рая!..
„Поцѣлуй—первый шагъ къ охлажденію: мечта
„И возможной, и близкою стала;
„Съ поцѣлуемъ роняетъ вѣнокъ чистота
„И кумиръ низведенъ съ пьедестала;
„Голосъ сердца чуть слышенъ, зато говоритъ...
„Голосъ крови и мысль опьяняетъ...“
. . . .

Поэтъ оплакиваетъ самое дорогое, самое завѣтное и единственное цѣнное въ любви, что гибнетъ въ развитіи страсти, такъ сказать, вытѣсненное плотью изъ души.

„Взглядъ, прикованный прежде къ прекраснымъ очамъ
„И горѣвшій стыдливой мольбою,
„Нагло бродитъ теперь по открытымъ плечамъ,
„Обнаженнымъ безстыдной рукою...
. . . .
„Праздникъ чувства оконченъ... погасли огни,

. . . .
„И томительно тянутся скучные дни
„Пошлой прозы, тоски и обмана!..“

Въ этомъ, столь жестокомъ для огромнаго большинства представленіи о любви высказанъ истинный *идеалъ* ея, вмѣстимый каждымъ въ мѣрѣ нравственнаго совершенства. Вы видите, какъ безконечно далеко отошелъ Надсонъ отъ поэтовъ сладострастной школы, и какъ близокъ его идеалъ къ тому, который указанъ въ Евангеліи. И здѣсь, въ столь центральной для поэзіи сферѣ, Надсонъ остался безсознательнымъ христіаниномъ, не могущимъ освободиться отъ власти совѣсти ни въ чемъ. Работа совѣсти — которая «отсрочки не даетъ» — проникала до глубины всю нѣжную душу Надсона, это былъ тотъ геній, который, подобно демону Сократа, нашептывалъ ему его мудрость...

Надсонъ до конца оставался вѣренъ своему героическому взгляду на любовь. Въ предсмертныхъ его мечтахъ, въ одномъ изъ послѣднихъ вздоховъ его музы, мы находимъ слѣдующее признаніе любимой женщинѣ, своего рода *завѣщаніе* поэта:

„Не принесетъ, дитя, покоя и забвенья
„Моя любовь душѣ проснувшейся твоей...
„Тяжелый трудъ, нужда и горькія лишенья—
„Вотъ что насъ ждетъ въ дали грядущихъ нашихъ дней.
„Какъ сладкій чадъ, какъ сонъ, обманчиво-прекрасный,
„Развѣю я твой міръ невѣдѣнья и грезъ.
„*И мысль твою зажгу моей печалью страстной,*
„*И жизнь твою умчу навстрѣчу бурь и грозъ!*
. . . .
„Отъ мирной праздности, отъ солнца и цвѣтовъ
„Зову тебя для жертвъ и мукъ невыносимыхъ
. . . .
„Зову тебя на путь тревоги и ненастья...
. . . .
„Тупого, сытаго, безсмысленнаго счастья
„Не принесу я въ даръ сложить къ твоимъ ногамъ,
„Но если счастье—знать, что другъ твой не измѣнитъ
„*Завѣтамъ совѣсти* и родинѣ своей,

„Что выше красоты въ тебѣ онъ душу цѣнитъ,
„*Ея отзывчивость къ страданіямъ людей,*—
„Тогда въ моей груди нѣтъ за тебя тревоги,
„Дай руку мнѣ, дитя, и прочь минутный страхъ;
„Мы будемъ счастливы, такъ счастливы, какъ боги
„На недоступныхъ небесахъ...“

XXII.

Не о себѣ писалъ поэтъ эти строки: онъ былъ тогда уже приговоренъ къ смерти, которая и не замедлила. Онъ оставлялъ эту послѣднюю мольбу свою тѣмъ, кому дано любить и быть любимыми. Онъ завѣщалъ имъ свой идеалъ любви, какъ дружескаго союза во имя совѣсти и высшаго жизненнаго долга. Могутъ возразить, что этотъ взглядъ не естественъ, что нравственныя требованія къ физіологической страсти неумѣстны, что нельзя навязывать сердцу соображеній совѣсти. Я думаю, что *навязывать* ихъ нельзя и безполезно, но нужно желать, чтобы совѣсть была достаточно сильна, чтобы безъ внѣшнихъ навязываній проникать все существо человѣка, всѣ страсти и желанія. Живую душу нельзя разлагать каждый разъ на составные элементы и говорить: *теперь* дѣйствуетъ слѣпая страсть, *послѣ* будетъ время для сознанія, затѣмъ для совѣсти и т. д. Вѣдь даже *въ механизмѣ* всѣ составныя части работаютъ нераздѣлимо, каждая влагая свое участіе, каждая регулируя ходъ остальныхъ частей. А душа человѣка выше механизма. Для души живой и гармонической необходима основная сила, которой должны подчиняться всѣ страсти—и въ числѣ ихъ любовь. Внѣ этой нравственной силы любовь извращается въ пресыщеніе, ненависть, ревность, измѣну. обиду—въ развалины счастья. И развѣ это *естественный* порядокъ любви? Нѣтъ, въ самой жизни, хоть и рѣдко, мы однако встрѣчаемъ нравственную любовь,—страсть сердца, подчиненную высшему закону. И если это есть дѣйствительное подчиненіе, нетолько добровольное, но и радостное, то влю-

бленнность вноситъ въ жизнь только красоту, только восторгъ, только свѣтъ и пламень, которые дѣлаютъ жизнь волшебной. Самыя высокія стихіи духа участвуютъ въ этомъ таинственномъ торжествѣ тѣла, и если эти стихіи— совѣсть и разумъ—не удовлетворены, — вѣрьте, что любовь непрочна и ведетъ къ страданію, что она не правда сердца, а его ошибка.

XXIII.

Было-бы трудно—да и не нужно—вспоминать здѣсь всѣ менѣе крупныя черты поэзіи Надсона: всѣ онѣ — того-же благороднаго стиля, того-же нравственнаго вдохновенія. Удивительною *неиспорченностью* дышетъ его книга, и въ этомъ главная причина ея вліянія. Талантъ— вещь великая, и безъ него нѣтъ и писателя,—но нравственная неиспорченность важнѣе таланта. Важнѣе потому что нравственная чистота есть тоже талантъ, и тоже входящій въ писательскую работу, и нетолько входящій, но дающій ей окончательный смыслъ и цѣну. Нѣтъ сомнѣнія, что бездарность компрометируетъ самую высокую совѣстливость писателя, но еще болѣе компрометируетъ его недостатокъ совѣсти. Если допустить безталанную совѣсть, все-же она безвреднѣе безсовѣстнаго таланта, ибо первая ничему не учитъ, тогда-какъ послѣдній соблазняетъ. Въ Надсонѣ я вижу сочетаніе довольно крупнаго таланта съ большою совѣстью, и потому онъ сдѣлалъ своею книгою много добра. Надсонъ былъ отнятъ у насъ слишкомъ рано, чтобы создать что-нибудь великое, но книга его еще долго будетъ украшеніемъ нашей литературы—по ея нравственной прелести, по чистотѣ образа самого поэта, по несравненной задушевности не эстетическихъ, а нравственныхъ идеаловъ, которымъ посвятилъ онъ свое сердце. Еще многіе ряды поколѣній тоскующихъ, разочарованныхъ, рвущихся къ правдѣ найдутъ въ Надсонѣ своего сочувственника и

утѣшителя. Для русской поэзіи Надсонъ остается образцомъ таланта, съумѣвшаго опоэтизировать совѣсть. Не всѣмъ, но нѣкоторымъ стихотвореніямъ Надсона можно предсказать очень долгую будущность.

Надсонъ достаточно послужилъ уже русскому обществу, но его значеніе можетъ еще сильно вырости и упрочиться, если онъ будетъ изданъ когда-нибудь удовлетворительно, если будетъ написана чьею-нибудь художественною рукою біографія поэта. Къ теперешнимъ изданіямъ приложенъ, въ сущности, только сырой біографическій матеріалъ, хотя и старательно собранный. Онъ далеко не полонъ; еще многіе знавшіе поэта не дали своихъ воспоминаній о немъ, а это—нравственный долгъ ихъ, и онъ хоть отчасти будетъ-же когда-нибудь выполненъ,—не изданы дневники поэта, многія письма его и пр. Весь этотъ матеріалъ долженъ быть переработанъ въ *художественную* біографію. Затѣмъ, изъ тома изданныхъ стихотвореній слѣдовало-бы выбросить значительную часть посредственныхъ и слабыхъ его дѣтскихъ опытовъ или позднѣйшихъ черновыхъ набросковъ, неотдѣланныхъ поэтомъ. Они засоряютъ книгу не къ выгодѣ автора, ослабляя блескъ его лучшихъ стихотвореній, какъ сорная трава, попавшая въ букетъ цвѣтовъ. Освобожденная отъ слабаго и ненужнаго, книжка много выиграетъ въ ея внутренней цѣнности. Каждаго даровитаго писателя можно сдѣлать почти классическимъ, если отбросить у него все лишнее. Бояться, что послѣ такой операціи ничего не останется—значитъ не уважать автора. Останется немногое, но зато именно то, для чего авторъ приходилъ въ міръ и чѣмъ онъ долженъ былъ-бы ограничиться. Если онъ самъ не могъ выбрать у себя лучшаго, то должны это сдѣлать издатели, иначе—все равно—ту-же работу придется сдѣлать читателю, который сдѣлаетъ ее поверхностно и не серьезно, и который можетъ просто не найти хорошаго среди посредственнаго. Собственно въ выборѣ лучшаго и должна-бы заключаться творческая работа издателей. И если уже

великіе поэты—Пушкинъ и Лермонтовъ—по общему признанію — сильно терпятъ отъ наваленнаго на нихъ хлама ихъ-же юношескихъ и черновыхъ бумагъ, то тѣмъ болѣе обременителенъ хламъ этотъ для авторовъ меньшей силы, какъ Надсонъ.

Я увѣренъ, что когда будутъ изданы «избранныя» стихотворенія Надсона, онъ всѣмъ покажется какъ-бы выросшимъ, возмужавшимъ, и тогда только начнется послѣдняя, окончательная его жизнь въ потомствѣ.

Старые и молодые таланты.

Nicht Alles was Altes ist gut...

I.

Странныя пошли теперь «литературныя злобы дня». Толкують о томъ, какъ-бы не сократили правъ литературной собственности съ пятидесяти лѣтъ на тридцать-пять, о чемъ ходатайствуетъ петербургскій комитетъ грамотности. Много говорятъ о томъ, нужно или не нужно заключать литературную конвенцію: боятся, что «заимствовать» съ иностраннаго три-четверти литературнаго матеріала будетъ уже не такъ удобно. Поднятъ шумъ о необходимости основать эмеритуру для пишущей братьи. Г. Левъ Тихомировъ настаиваетъ на необходимости особаго офиціальнаго сословія литераторовъ. Г. Григорій Градовскій проповѣдуетъ спасительность литературно-похоронной кассы. Г. Михневичъ что-то горячится о литературномъ фондѣ. Г. Волынскій—о правѣ литератора участвовать на литературныхъ обѣдахъ, хотя-бы его и не звали. Беллетристы разсуждаютъ о собраніяхъ у «Мѣдвѣдя» для художественныхъ закусокъ и выпивокъ, журналисты—о настоятельной потребности всероссійскаго съѣзда журналистовъ и т. п. и т. п.

Всѣ эти «литературные вопросы» связаны общей чертой: матеріальными заботами о своихъ «животишкахъ». Матеріальныя заботы сами по себѣ, конечно, проститель-

ны,—надо-же жить и какъ нибудь устраиваться, и лучше устраиваться хорошо, чѣмъ худо; однако во всемъ этомъ есть и что-то невзрачное. Неприлично и недостойно писателей—публично и громко разсуждать о своихъ кошелькахъ, о «правахъ собственности», обѣдахъ, кассахъ и т. п. Всякая публичная дѣятельность должна быть дѣятельностью *не для себя*, когда-же она направляется въ *свою* пользу, она становится вредной. И если общественные дѣятели свои частные интересы возводятъ на степень общихъ, крича о нихъ публично, то это печальный признакъ того, что нравственный смыслъ ихъ призванія исчезъ, уступилъ мѣсто какому-то иному...

О «животишкахъ» заговорили, конечно, потому, что они всего ближе сдѣлались литераторскому сердцу. Прежде разстояніе между сердцемъ и желудкомъ у писателя было гораздо больше. Можетъ быть потому, что на крѣпостныхъ хлѣбахъ желудокъ литератора не горевалъ, какъ теперь, о немъ и не говорили. Говорятъ всегда о томъ, что всего интереснѣе: въ данное время, повидимому, всего интереснѣе литературныя кассы. Можетъ быть, жизнь общественная не даетъ болѣе важныхъ темъ? Неправда,—эта жизнь, какъ и всегда, полна серьезными, мучительными, едва разрѣшимыми недоумѣньями. Мракъ, окутывающій человѣческую жизнь, никогда не былъ, кажется, гуще, чѣмъ теперь; сколько-бы ни нашлось таланта, ума, образованія и энергіи у писателей—все это безъ остатка могло-бы быть поглощено «проклятыми вопросами» жизни, и если-бы почтенное «сословіе» удесятерилось—достало-бы дѣла всѣмъ «дѣлателямъ». На это говорятъ иногда: «Вся правда жизни была уже когда-то сказана, и погромче насъ были витіи. Трудно сказать что-нибудь новое послѣ нихъ». Но такое разсужденіе похоже на отрицаніе литературы. Вѣдь если все сказано и темы исчерпаны, если вновь ихъ пересматривать не нужно,—тогда надъ литературою ставьте могильный крестъ, а пожалуй—и надъ обществомъ. Но зачѣмъ-

же заживо хоронить себя. Мнѣ кажется, каждое поколѣніе должно переживать всѣ задачи, волновавшія предковъ, пересматривать и пересуживать всѣ великіе вопросы,—и для этого оно нуждается въ помощи живыхъ витій. Вѣдь старые витіи исчезли вмѣстѣ съ своей эпохой: кто станетъ перечитывать этихъ витій, затерянныхъ въ старыхъ, недоступныхъ журналахъ или въ дорогихъ «собраніяхъ сочиненій»? Да и можно-ли увлечься словомъ далекаго, отшедшаго писателя такъ-же сильно, какъ словомъ живого, современнаго, переживающаго вмѣстѣ съ нами текущую драму жизни? Вы укажете на «міровыхъ геніевъ», которые, по выраженію Шопенгауера, подобны неподвижнымъ звѣздамъ на небѣ литературы. Они не гаснутъ въ безднахъ времени и не теряютъ въ нихъ своего мѣста. Это такъ, но вѣдь эти геніи ничего не вѣдали о 1894 годѣ, въ которомъ мы живемъ, не подозрѣвали нашего существованія и нашихъ теперешнихъ нуждъ. Многіе геніи даже и о Россіи не подозрѣвали; поэтому, какъ ни плѣнителенъ немеркнущій свѣтъ этихъ свѣтилъ, все-же при ихъ сіяніи не прочтешь много въ книгѣ текущей жизни. По звѣздамъ удобно находить лишь «пути», общія направленія, но освѣтить пейзажа вокругъ онѣ не могутъ. Для этого нужно присутствіе болѣе близкаго, живого свѣта, присутствіе живыхъ литературныхъ геніевъ, которые шли бы съ нами вмѣстѣ и какъ солнце — освѣщали-бы всѣ преграды на пути, далекія перспективы, близкія пропасти...

О, какъ больно чувствуется отсутствіе истинно-великихъ людей въ теперешнемъ обществѣ! Уже одинъ *живой* великій стóитъ многихъ мертвыхъ, которые, какъбы ни были они геніальны когда-то, — уже не могутъ придти и посмотрѣть вмѣстѣ съ нами на то, что дѣлается вокругъ, утѣшить насъ или научить. Живой великій человѣкъ всегда создаетъ вокругъ себя школу, онъ является возбудителемъ нервной дѣятельности общества, разсыпаетъ электрическіе толчки и искры, бу-

дящія, зажигающія пожаръ мысли. Вспомните у насъ эпоху Пушкина, или въ Германіи — эпоху Шиллера и Гёте, или въ Англіи—Байрона и Шелли... Только этимъ и можно объяснить, что замѣчательные люди появляются группами: они «индуктируютъ» другъ друга, пробуждаютъ токи въ родственныхъ душахъ, которыя иначе, можетъ-быть, такъ и исчезли-бы, не проявивъ своей чудесной силы...

„Когда гремя и пламенѣя
Пророкъ на небо улеталъ,
Огонь могучій Елисея
Живую душу проникалъ.
Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Другого генія полетъ...

Такъ-какъ всѣ люди болѣе или менѣе способны къ духовной жизни — окончательно бездарны только люди вполнѣ безчестные—то вліяніе живого генія разливается волнами по всему современному обществу до отдаленныхъ его предѣловъ. Поэтому ничего нѣтъ драгоцѣннѣе именно живого присутствія великаго человѣка: смерть его, что-бы тамъ ни говорили о душѣ, которая въ «завѣтной лирѣ» его «прахъ переживетъ», — смерть великаго человѣка есть великое, всенародное бѣдствіе, и можетъ-быть величайшая изъ потерь.

II.

Я думаю, будь у насъ живые великіе писатели, у насъ невозможны были-бы громкіе литературные споры объ обѣдахъ и похоронныхъ кассахъ. Въ отсутствіи священнослужителей въ храмѣ заводятся вмѣсто молитвы шушуканье и пересуды, но разъ они явились—просто изъ приличія шумъ смолкаетъ. У насъ есть, правда, одинъ всѣми признанный великій писатель, но и онъ по раз-

нымъ причинамъ какъ-бы отсутствуетъ, увлекшись темами, такъ сказать, *физически* недоступными для публики. Вопреки общему мнѣнію, печалящемуся о такой «ошибкѣ» великаго беллетриста, я думаю, что онъ на вѣрномъ пути. Онъ дѣлаетъ то, чего требуетъ его душа, и что онъ только и можетъ сдѣлать въ этомъ настроеніи хорошо. Такимъ образомъ и этотъ единственный великій изъ живыхъ писателей потерянъ собственно для текущей литературы. А между тѣмъ и эта область—художественное творчество — въ высшей степени нуждается въ живительномъ вліяніи какого-нибудь *современнаго* большого таланта. Я думаю, что появленіе уже *одного* такого таланта очень скоро вызвало-бы и другой, и третій, такъ-какъ почва для этого, мнѣ кажется, есть.

Установилось ходячее мнѣніе, будто у насъ уже болѣе нѣтъ талантливыхъ писателей, что новое поколѣніе беллетристовъ, критиковъ, публицистовъ—все это чуть-ли не сплошная бездарность въ сравненіи съ недавнимъ прошлымъ. Такое безнадежное мнѣніе очень распространено — даже въ тѣхъ кругахъ, которые съ новѣйшею нашей литературой совершенно незнакомы. «Помилуйте, сокрушенно вздыхаетъ иной многолѣтній читатель «Петербургскаго Листка» или «Шута»: какая теперь у насъ литература! Гдѣ наши молодые Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Толстые, Достоевскіе? Кто пришелъ на смѣну великимъ старикамъ?!»—И въ умѣ такого вздыхающаго пессимиста проносятся знакомыя ему имена нынѣшнихъ писателей: Апчхи, Чертенокъ, Тррр..., Кусь-Кусь и т. п. (все псевдонимы излюбленныхъ авторовъ названныхъ изданій). И дѣйствительно, при сравненіи какого-нибудь поэта Тррр... съ Пушкинымъ, первый много проигрываетъ. Но не все-же, однако, Тррр... да Кусь-Кусь въ молодой литературѣ, не все-же одни «Шуты» да «Листки», какъ и въ прежнія времена далеко были не одни Пушкины и Гоголи: водились, и даже въ изрядномъ числѣ, и Апчхи, и Тррр..., законные предки нынѣшнихъ насъ-

комыхъ, исчезнувшіе безслѣдно, какъ исчезнутъ, конечно и нынѣшнія ничтожества изъ памяти людской. И вотъ, когда они исчезнутъ, то въ очистившейся атмосферѣ теперешней эпохи обнаружатся, какъ я думаю, и не слишкомъ ужь мелкія литературныя величины, и даже такія, которыя, уступая предшественникамъ въ *значеніи*, очень мало имъ уступятъ въ *талантѣ*. Въ самомъ дѣлѣ, надо-же дѣлать различіе между *значеніемъ* писателя—зависящимъ нетолько отъ него, но и отъ среды и эпохи, гдѣ онъ дѣйствуетъ,—и талантомъ, личнымъ качествомъ писателя. Ломоносовъ имѣлъ огромное *значеніе*, но появись онъ теперь, а не на зарѣ нашей образованности, — его талантъ не былъ-бы вовсе замѣченъ. Григоровичъ совершилъ большое въ нашей литературѣ дѣло—первый возбудивъ въ ней народное теченіе, но совершилъ это дѣло случайно, съ талантомъ очень скромнымъ, и благодаря тому лишь, что крѣпостное право со всѣми его ужасами къ тому времени созрѣло до степени близкой къ паденію. «Записки Охотника» Тургенева имѣли большое значеніе *тогда*, когда появились; появись онѣ *теперь*, онѣ не доставили-бы автору и десятой доли его славы. Онѣ остались-бы, конечно, образцами изящнаго слова, но были-бы мало извѣстны въ публикѣ, какъ и многіе перлы, явившіеся не во-время. Великій талантъ, скажете вы, всегда найдетъ что сказать въ свое время, онъ всегда отыщетъ еще нетронутое, важное, интересное. Какъ ни скучна наша эпоха, но и въ ней имѣются свои нераскрытые міры, ждущіе своихъ Колумбовъ, есть вопросы обновленія литературы и общества, какъ и во времена Ломоносова и Григоровича. И будь у насъ великіе таланты — они нашли-бы тотчасъ-же способъ завладѣть и вниманіемъ общества, и пріобрѣсти значеніе.

Съ этимъ разсужденіемъ я совершенно согласенъ. Но все-же нельзя вовсе отрицать различіе между эпохами общественнаго возраста. Въ возрастѣ дѣтскомъ, когда вы только-что разцвѣтаете душой и жадно впиваете всѣ

«впечатлѣнья бытія», даже небольшая услуга вашему развитію цѣнится вами чрезвычайно; даже посредственный учитель кажется вамъ мудрецомъ, авторитетомъ; вы искренно благодарны ему за сообщеніе даже прописныхъ истинъ, для васъ новыхъ и важныхъ. Но вотъ вы ростете, мужаете духомъ, вы сами начинаете постигать въ сущности не обширную сферу истины и красоты, и авторитетъ вашего учителя падаетъ; вы начинаете критически относиться къ его учительству и неудвлетворяться имъ. Чтобы возбудить въ васъ то-же обаяніе, какое учитель возбуждалъ въ дѣтствѣ, нуженъ человѣкъ уже съ болѣе сильною душою; а пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, вы вступите въ зрѣлый возрастъ, — новый кумиръ вашъ померкнетъ; вы тщетно будете искать вокругъ себя людей, которые были-бы выше васъ, которые могли бы сказать вамъ что-нибудь новое и важное, — и наконецъ останавливаетесь на геніальныхъ авторахъ, мертвыхъ — если нѣтъ живыхъ, — да и изъ геніальныхъ далеко не каждый въ состояніи увлечь васъ. Такъ точно повышается съ развитіемъ общества и его требовательность въ отношеніи выдающихся людей. «Истолкователь думъ» эпохи вашего дѣдушки для васъ не только старомоденъ, но и недостаточно широкъ и жизнеобъемлющъ. Поэтому, чтобы пріобрѣсти сильное и властное значеніе, писателю мало одного таланта: нужна удача родиться въ подходящую эпоху и въ подходящей средѣ. При послѣднихъ условіяхъ даже мелкіе таланты быстро выдвигались, и наоборотъ: нерѣдко и великіе таланты или хирѣютъ (какъ у насъ Державинъ и Фонвизинъ), или не признаются современниками, и уже долго-долго послѣ ихъ смерти, когда сложатся нужныя условія, забытый авторъ вдругъ начинаетъ гремѣть на весь свѣтъ: яркій примѣръ — судьба Шекспира или въ послѣднее время Шопенгауэра.

III.

Я никакъ не могу согласиться съ ходячимъ мнѣніемъ, что нынѣшняя литературная молодежь бездарна и потому только не можетъ овладѣть сердцемъ общества. Что огромныхъ, міровыхъ талантовъ эта молодежь не заключаетъ въ себѣ, это, быть можетъ, и вѣрно,—но міровые таланты такъ рѣдки, что, по совѣсти, ни одно поколѣніе не имѣетъ на нихъ исключительныхъ правъ. Эти таланты — какъ цвѣты на вершинѣ дерева: не каждый сучекъ украшенъ ими, но и тѣ, которые несутъ ихъ на себѣ, не могутъ *себѣ* приписать честь созданія цвѣтка. Эта честь принадлежитъ всему дереву точно такъ великій человѣкъ принадлежитъ всему народу. Въ явленіи Пушкина участвовало не одно поколѣніе 1799 года, но длинный рядъ предшествовавшихъ, необходимыхъ для подбора исключительно-высокаго типа, такъ-что если нынѣшнее поколѣніе не имѣетъ въ своей средѣ великихъ талантовъ, — что не доказано — виновато не оно, а скорѣе— предъидущія поколѣнія, неуспѣвшія ихъ подготовить. Было-бы неправдой, однако, отрицать среди литературной молодежи довольно длинный рядъ значительныхъ дарованій какъ въ области художественной прозы, такъ и въ поэзіи и публицистикѣ. Въ первомъ еще расцвѣтѣ свѣжихъ силъ находятся А. П. Чеховъ, г. В. Короленко и цѣлый рядъ не столь выдающихся, но все-же видныхъ писателей: гг. Ясинскій, Дѣдловъ, Потапенко, К. С. Баранцевичъ, Вл. А. Тихоновъ и пр. Въ поэзіи менѣе истинныхъ дарованій, но все-же есть нѣсколько молодыхъ поэтовъ, къ сожалѣнію, немогущихъ попасть на настояшую дорогу. Ниже я скажу, что̀ имъ мѣшаетъ въ этомъ, но что касается таланта, то молодые поэты едва-ли уступаютъ старымъ, оставшимся въ живыхъ жрецамъ Парнаса.

Надо принять въ расчетъ, что далеко не всѣ лите-

ратурныя дарованія обнаруживаются въ молодые годы; расцвѣтъ-же таланта обыкновенно приходится на возрастъ отъ 40 до 50 лѣтъ, т.-е. на пору не самыхъ свѣжихъ, а наиболѣе *окрѣпшихъ* силъ. Умри Гончаровъ 36 лѣтъ отъ роду, никто и не подозрѣвалъ-бы о существованіи этого замѣчательнаго таланта: «Обыкновенная Исторія», которою онъ выступилъ, написана имъ 37-ми лѣтъ отъ-роду. Въ пожиломъ возрастѣ написали свои крупныя вещи и Тургеневъ, и Достоевскій: первый большой романъ свой («Рудинъ») Тургеневъ написалъ 36-ти лѣтъ, первый романъ Достоевскаго—«Униженные и оскорбленные»—написанъ имъ 40 лѣтъ, первый большой романъ Л. Толстого («Война и Миръ») написанъ, когда ему было отъ 36 до 41 г. Лучшія вещи Салтыкова и Некрасова были ими написаны въ возрастѣ за сорокъ лѣтъ и т. д. Уже изъ этой маленькой «метрической выписки» великихъ произведеній (потому-что въ сущности нѣтъ великихъ людей, а есть великіе труды) вы видите, что и за нынѣшнюю литературную молодежь отчаяваться нечего: она еще только-что вступаетъ въ свой производительный возрастъ. А. П. Чехову всего еще 34 года, г. Короленко немногимъ старше его. Такъ-какъ возрастъ 36 — 40 лѣтъ оказывается наиболѣе благопріятнымъ для зачатія крупнаго дѣтища, то весьма возможно, что мы находимся наканунѣ появленія выдающихся литературныхъ произведеній, и можетъ быть, въ ближайшіе годы появятся новые «Отцы и Дѣти», новые «Обломовы» и т. п. Для того, чтобы всмотрѣться въ волнующуюся жизнь и увидѣть въ ней постоянныя, неподвижныя очертанія, нуженъ нетолько талантъ, но и нѣкоторая неподвижность его, равновѣсіе, сосредоточенность, а все это является лишь съ замедленіемъ душевнаго роста, когда страсти художника поулягутся. Только спокойное море способно отражать зъ себѣ и небо, и берега. Предсказывать ничтожный удѣлъ Чехову или Короленкѣ по ихъ небольшимъ, хотя и прекраснымъ, но маловажнымъ вещамъ нельзя. Первые разсказы Турге-

нева, напримѣръ, хотя и очень понравились Бѣлинскому, но судя по нимъ онъ предсказывалъ автору очень скромную судьбу, именно что Тургеневъ будетъ вторымъ Далемъ. А Бѣлинскому нельзя отказать, я думаю, въ способности пониманія таланта. Ошибка знаменитаго критика должна предостеречь и нынѣшнихъ зоиловъ отъ слишкомъ мрачныхъ пророчествъ. По «Обыкновенной Исторіи» нельзя было предсказать большой будущности Гончарову, какъ и по «Бѣднымъ людямъ» — Достоевскому, хотя оба названные романа обличали выдающіяся дарованія. Литературная заслуженность требуетъ, кромѣ таланта, кромѣ своевременности его появленія, еще и третьяго условія: долгой жизни, долгихъ лѣтъ работы. Большая разница, числится-ли за авторомъ десять томовъ талантливыхъ произведеній или всего одинъ, хотя-бы не менѣе талантливый. Конечно, *одна* великая вещь неизмѣримо лучше цѣлаго архива мелкихъ, — но все же она меньше значитъ, чѣмъ двѣ великихъ вещи, и еще меньше чѣмъ три и т. д. «Дѣтство и Отрочество», несомнѣнно, великая повѣсть, но представьте себѣ, что Л. Н. Толстой ничего-бы болѣе не написалъ: значеніе его было-бы небольшое. Вотъ почему столь замѣчательныя дарованія какъ Помяловскаго, Кущевскаго, Николая Успенскаго, Курочкина, Мея и многихъ другихъ сравнительно мало цѣнятся. Итакъ при большомъ талантѣ необходимо и достаточно-продолжительное его проявленіе, а для этого нужно долгое время. Дайте срокъ — и нынѣшняя молодежь значительно выростетъ въ вашихъ глазахъ.

IV.

Особенно любятъ дѣлать упреки литературной молодежи пожилые и старые литераторы. Вѣчный припѣвъ ихъ: «Да, были люди въ наше время—не то, что нынѣшнее племя! Богатыри не вы!..» И въ печати, и въ разговорахъ со старыми писателями вы услышите самый стро-

гій приговоръ молодому литературному поколѣнію: оно бездарно, необразованно, грубо, оно писать не умѣетъ, у него нѣтъ ни чувства, ни мысли—все это какія-то «пухлыя ничтожества». Года бѣгутъ, публика ждетъ великихъ трудовъ, а гг. Чеховы да Короленки выжимаютъ изъ себя какіе-то отрывочки да кусочки: на большой замыселъ, на серьезную работу у молодыхъ корифеевъ, очевидно, силъ не хватаетъ...

Упреки эти, можетъ быть, и справедливы, но мнѣ они кажутся ужасно неловкими. Слушая подобныхъ, слишкомъ строгихъ старцевъ, хочется спросить: да имѣете-ли вы-то, господа, какое-нибудь право предъявлять такія требованія къ молодежи? Пусть она не блещетъ талантами, а вы? Пусть она не пишетъ крупныхъ вещей,—а вы развѣ ихъ пишете? Васъ, старыхъ, почтенныхъ, «маститыхъ» писателей не мало: никакъ не меньше, чѣмъ молодыхъ. Не говоря о множествѣ неизвѣстныхъ пожилыхъ писателей, еще живыхъ и бодрыхъ, стоитъ назвать весьма извѣстныхъ: Н. С. Лѣскова, гг. Григоровича, Всеволода Крестовскаго, Златовратскаго, Боборыкина, Авсѣенку, Аверкіева, Крылова, Мордовцева, Саліаса, Е. Маркова, Станюковича, Шеллера (Михайлова), Сергѣя Атаву,—или поэтовъ: Я. П. Полонскаго, г. Майкова, г. Жемчужникова и пр. и пр., — Если посчитать, выйдетъ очень внушительный рядъ писателей стараго, еще не сошедшаго со сцены поколѣнія. Всѣ эти писатели когда-то работали и если говорятъ: «мы кое-что сдѣлали», то это правда; но такая-же правда и то, что *теперь* они почти ничего не дѣлаютъ или несравненно меньше, чѣмъ пренебрегаемое ими молодое литературное поколѣніе. Хочется невольно спросить: вы — заслуженные и признанные писатели, представители стараго литературнаго вѣка, почему-же *вы* не даете великихъ произведеній, въ которыхъ такъ нуждается общество? Годы бѣгутъ вѣдь и для васъ, вы живете на свѣтѣ и здравствуете, вы далеки еще до литературной инвалидности.

Художественное творчество изсякаетъ развѣ въ глубокой старости (примѣры Гете, Гюго, Тургенева, Л. Толстого говорятъ даже какъ-бы противъ возможности «пережить талантъ»). Вы ссылаетесь обыкновенно на усталость, болѣзни, но вы уже очень давно отдыхаете, а болѣзнь, благодаря Бога, васъ милуетъ; большинство старыхъ литераторовъ физически достаточно здоровы—пожалуй, здоровѣе молодыхъ писателей. «Щадитъ еще меня здоровая природа, хоть съ завтрашняго дня мнѣ 72 года!» откровенно признается г. Жемчужниковъ. Старое поколѣніе писателей вышло изъ зажиточной, помѣщичьей среды, вспоено воздухомъ деревни и вскормлено крѣпостнымъ довольствомъ; это поколѣніе физически сильнѣе молодежи, оно получило въ наслѣдство отъ родителей неизношенные нервы, непереутомленный мозгъ, и природнаго запаса здоровья хватаетъ имъ до глубокой старости. Примѣръ Некрасова, Щедрина, Достоевскаго и многихъ другихъ доказываетъ, что нездоровье далеко невсегда мѣшаетъ работѣ: лучшія свои вещи Щедринъ и Достоевскій написали почти на смертномъ одрѣ. Старость и не слишкомъ мучительная болѣзнь, приковывая писателя къ кабинету, удаляя его отъ шумныхъ вліяній свѣта, часто даже способствуютъ творчеству,—какъ на нѣкоторыхъ дѣйствуетъ тюрьма. Но если и допустить, что болѣзни старости нѣсколько мѣшаютъ работѣ, зато у старыхъ писателей есть другія неоцѣнимыя преимущества предъ молодежью: они могутъ отдаваться работѣ не отвлекаясь страстями молодости. Ни влеченіе къ женщинѣ, вносящее столь часто страшное разстройство въ судьбу писателя (вспомните Пушкина и Лермонтова), ни жажда развлеченій, ни честолюбіе и забота устроить себя въ обществѣ,—ничто не волнуетъ старости—если, конечно, она не заражена порочными привычками. Литературные старцы могутъ принять уже безъ колебаній *схиму* писательства: отдаться высочайшимъ цѣлямъ, отринувъ всѣ суетныя, земныя. Огромный опытъ жизни,

вполнѣ сложившійся талантъ, долгая школа писательства, скопленное многими десятилѣтіями образованіе, наконецъ, сравнительный матеріальный достатокъ, обезпечивающій досугъ,—все это преимущества старыхъ талантовъ. Имъ-бы, казалось, на склонѣ лѣтъ, успокоеннымъ и глядящимъ въ вѣчность, и давать завѣты обществу, имъ-бы и разгадывать жизнь: странно требовать откровеній отъ писателей часто едва-соскочившихъ со школьной скамьи. Но какъ ни много удобствъ для великой работы у старыхъ писателей, они точно заклятье дали: не даютъ вотъ уже втеченіе многихъ лѣтъ ни одной значительной вещи. И еслибы они, какъ умный Гончаровъ, вовсе не писали (хотя и у того не хватило выдержки, и онъ передъ смертью присрамилъ себя слабыми вещами),—такъ нѣтъ: старые писатели пописываютъ, и пишутъ даже крайне старательно, иногда промывая свои рукописи въ корректурѣ точно золотыя розсыпи, относясь съ благоговѣньемъ къ каждой своей строчкѣ и черточкѣ. Такъ, конечно, и нужно работать, и ихъ работа цѣнится: гонорары старымъ писателямъ платятся баснословные. Но отнеситесь безъ идолопоклонства къ ихъ трудамъ: какъ они незначительны и часто какъ слабы! Даже столь извѣстный изъ старыхъ писателей — г. Боборыкинъ, хотя и много пишетъ, но не болѣе чѣмъ посредственно. Иной маститый писатель долго молчитъ: годъ, два или даже десять лѣтъ, и вдругъ вы встрѣчаете его имя на обложкѣ журнала. Съ понятнымъ любопытствомъ развертываете страницы, сосредоточиваете вниманіе—и что-же: предъ вами нѣсколько страничекъ «изъ старыхъ бумагъ», какой-нибудь отрывокъ, набросокъ, предисловіе къ чужой статьѣ или воспоминанія, похожія на тощую струю изъ плохо завернутаго крана. Однообразно и жидко текутъ какія-то сплетни и анекдоты, гдѣ на гранъ правды видимо положена унція добродушной клеветы. — Только-то? спрашиваешь себя, съ досадой закрывая журналъ. Неужели на старости лѣтъ, на вершинѣ жизни, не на

шлось у маститаго писателя ничего за душой, кромѣ сплетенъ?

V.

Такимъ образомъ, если взвѣсить творчество старыхъ и молодыхъ современныхъ писателей, то, по совѣсти, молодые не уступятъ старымъ. Конечно, при этомъ взвѣшиваньи нельзя класть на вѣсы *прошлое* творчество старыхъ талантовъ: иначе пришлось-бы на другую чашу положить и *будущее* творчество молодыхъ, котораго значеніе неизвѣстно; возможно, что оно перевѣситъ всѣ прошлые труды стараго поколѣнія. Нужно брать только *теперешнія*, ближайшія работы, ну хоть за послѣднія десять лѣтъ,—и сравнить заслуги старыхъ и молодыхъ. Большинство старыхъ и именно заслуженныхъ писателей на это сравненіе не согласятся: они имѣютъ привычку взбираться на свою чашку вѣсовъ нетолько со всѣмъ багажомъ за 30—40 лѣтъ работы, но и прикладывать сюда-же весь багажъ своихъ геніальныхъ сверстниковъ: Тургенева, Достоевскаго, Л. Толстого и пр.

Но хотя литературная молодежь и не уступитъ старикамъ ни въ талантѣ, ни въ значеніи, все-же и ея производительность довольно ничтожна. Похвалиться и молодежи нечѣмъ, какъ нечѣмъ и старикамъ. И если я позволилъ себѣ сравнить силы литературныхъ «отцовъ» и «дѣтей», то лишь для того, чтобы показать, какъ мало оба лагеря имѣютъ правъ на предпочтеніе. Какъ отцамъ, такъ и дѣтямъ прилично отнюдь не самодовольство, а скромность, сознаніе своихъ крайне незначительныхъ заслугъ въ литературѣ. Это тягостное сознаніе для молодежи было-бы побужденіемъ лучше пользоваться временемъ жизни, а для старцевъ—указаніемъ весь остатокъ жизни посвятить лишь самымъ серьезнымъ, самымъ достойнымъ литературы задачамъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не въ недостаткѣ талантовъ бѣда, а въ неумѣньи распорядиться ими. Среди старыхъ жи-

выхъ писателей есть люди съ крупными дарованіями: Н. С. Лѣсковъ. гг. Крестовскій, Боборыкинъ, Сергѣй Атава. Они пишутъ значительныя по объему и иногда очень интересныя вещи, но все-же несравненно менѣе нужныя и важныя, чѣмъ можно требовать отъ нихъ. Точно также и корифеи молодой беллетристики — гг. Чеховъ, Короленко, Ясинскій, Дѣдловъ. Оба литературныхъ поколѣнія, сходящее и входящее, страдаютъ одною болѣзнью: отсутствіемъ верховнаго, нравственнаго сознанія того, что нужно, что серьезно, что достойно искусства. Нѣтъ этого сознанія—и талантъ прилагается къ мелочамъ жизни, къ незначительнымъ, пустымъ ея явленіямъ и въ этомъ мусорѣ затеривается, изсякаетъ. Китайскіе мастера втеченіе долгихъ мѣсяцевъ вытачиваютъ изъ куска кости, величиною съ бобъ, клѣтку и въ клѣткѣ другую клѣтку, въ которой сидитъ птичка и держитъ въ лапкѣ третью клѣтку: нѣчто невообразимо трудное, требующее энергіи и вниманія гораздо больше, чѣмъ нужно было Колумбу на открытіе Америки. Въ результатѣ—никому ненужная мелочь, хитрая и страшно пустая. Область промышленности сплошь переполнена артиклями, bijouteries, совершенно безсмысленными, ничтожными предметами, на замыселъ и отдѣлку которыхъ потрачены огромныя средства таланта и времени. То-же и въ литературѣ: она постепенно превращается въ фарфоровое, галантерейное и ювелирное производство. Писатель беретъ, напримѣръ, какую-нибудь посуду—пепельницу или песочницу—мелкое человѣческое явленіе вровень съ песочницей—и вкладываетъ весь свой геній, чтобы изъ этого пустяка вышла драгоцѣнность. — Берется соръ и обрабатывается въ перлъ — вотъ обычай теперешней литературы. Оттого все и появляются мелочи, красивенькія вещицы, бездѣлки и ни одной новой великой книги. Весьма талантливые писатели вводятъ дурную моду въ обществѣ на пустяки, на анекдоты, на сплетни, на событія текущаго дня, оставляя въ забвеніи основныя ве-

ликія явленія, въ невидимыхъ предѣлахъ которыхъ только и держится жизнь. Вмѣсто благотворнаго вліянія на общество, талантъ оказываетъ вредное, и эта черта бросается въ глаза всѣмъ, кто «имѣетъ очи и видитъ». Л. Н. Толстой въ одномъ большомъ трудѣ отзывается крайне мрачно о современной литературѣ. «Вся литература, говоритъ онъ, и философская, и политическая, и изящная нашего времени поразительна въ одномъ отношеніи. Какое богатство мыслей, формъ, красокъ, какая эрудиція, изящество, обиліе мыслей и какое нетолько отсутствіе серьезнаго содержанія, но какой-то страхъ предъ всякою опредѣленностью мысли и выраженія ея. Обходы, иносказанія, шутки, общія, самыя широкія соображенія, и ничего простого, яснаго, идущаго къ дѣлу, т.-е. къ вопросу жизни. Но мало того, что пишутся и говорятся граціозныя ненужности,—пишутся и говорятся прямо гадости, дикости, пишутся и говорятся самымъ утонченнымъ образомъ разсужденія, возвращающія людей къ первобытной дикости, къ основамъ жизни нетолько языческой, но даже животной, уже 5 000 лѣтъ тому назадъ пережитой нами... И странно, и страшно сказать—образованные люди своими утонченными разсужденіями въ сущности влекутъ общество назадъ, къ состоянію даже не язычества, а къ состоянію первобытной дикости...»

Этотъ отзывъ о современной литературѣ величайшаго изъ ея представителей суровъ до жестокости, но заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Писатель съ такою искренностью, съ такою прозорливою совѣстью не могъ дать сужденія поверхностнаго — особенно въ области столь ему знакомой. Какъ ни непріятенъ этотъ упрекъ великаго писателя, всѣ его крупные и мелкіе собратья должны глубоко вдуматься въ его слова и пересмотрѣть свою дѣятельность: а что если и въ самомъ дѣлѣ эта дѣятельность, при всемъ ея изяществѣ, ничтожна? А что если она *вредна*? Всѣ мы до такой степени насlово привыкли вѣрить въ возвышенное призваніе на-

шего ремесла, что какія-бы формы ни принимала литературная работа, она всегда кажется благородною. Литераторъ или ученый въ силу уже своего званія, какъ нѣкогда феодальные бароны, разрѣшаютъ себѣ любую фантазію; какъ феодальный баронъ, грабившій проѣзжихъ, насиловавшій женщинъ и кутившій, считалъ себя «благороднымъ и честнымъ» рыцаремъ, а мирныхъ жителей—презрѣнной сволочью, такъ и большинство нынѣшнихъ рыцарей пера, литераторовъ и ученыхъ, признаютъ себя просвѣтителями уже въ силу своего званія. Даже совсѣмъ незамѣтные литературные микробы, вродѣ таганрогскаго поэта К., позволяютъ себѣ печатать гордо:

Не страшенъ мнѣ вашъ губернаторъ,
Вѣдь я не вы,—я литераторъ.

Заблужденіе общее всѣмъ установившимся корпораціямъ и цехамъ: членъ сословія переноситъ на себя предполагаемые девизы сословія, его историческія заслуги, хотя-бы въ личной жизни онъ только и дѣлалъ, что нарушалъ эти девизы. И литераторы не свободны отъ этого сословнаго гонора, жалкаго и ложнаго; они считаютъ себя не такими, какіе они есть, а какими они *должны-бы* быть. О, конечно, они должны-бы быть учителями общества! Но на самомъ дѣлѣ они далеки отъ учительства, и одинаково—какъ старые, такъ и молодые писатели. Таланты есть, какъ и у рыцарей была сила дѣлать добро согласно призванію ихъ, но нѣтъ истиннаго благородства, нѣтъ нравственной воли. Литературныхъ дарованій достаточно было-бы для новой, блестящей школы, которая могла-бы съ честью занять мѣсто покойныхъ «классиковъ», но нѣтъ у этихъ дарованій *совѣсти*, чтобы направить ихъ къ достойной цѣли. Выйдетъ современный учитель жизни на кафедру и начинаетъ вмѣсто заповѣдей передавать болѣе или менѣе веселенькіе анекдоты. Ясно, что ему это ближе къ сердцу,—да вотъ развѣ еще литературныя кассы въ послѣднее время.

Оскорбленный геній.

(По поводу 100-лѣтія со дня рожденія А. С. Грибоѣдова).

> ...Геній и злодѣйство
> Двѣ вещи несовмѣстныя.

I.

Далеко отъ родины, за Кавказскимъ хребтомъ, похороненъ прахъ великаго русскаго человѣка, *перваго* имѣвшаго мужество стать совѣстью русскаго общества и громко сказать ему горькую правду. На забытой могилѣ его, обвѣянной пылью Грузіи, до сихъ поръ видны трогательныя слова жены его:

Для чего пережила тебя любовь моя?

Для чего переживаетъ великаго человѣка любовь къ нему потомства? Для того, я думаю, чтобы въ этой любви, стерегущей мысль писателя, его страдальческая душа наконецъ успокоилась, нашла ту радость признанія, которой была лишена при жизни.

Помянемъ-же первое столѣтіе имени Грибоѣдова, погибшаго такъ рано, размышленіемъ надъ его высокой мыслью, сочувствіемъ ея печали...

Судьба «Горя отъ ума» необычайна. Писанная втеченіе многихъ лѣтъ, запрещенная въ печати, эта пьеса «наперекоръ стихіямъ» ворвалась въ русское общество, облетѣла всю Россію, разсыпалась на тысячу пословицъ и

внѣдрилась въ умы; она *заставила* признать себя, побѣдоносно вошла на сцену, и съ тѣхъ поръ болѣе полувѣка господствуетъ на ней какъ лучшая, *классическая* наша драма. Тощая брошюра, которую прочесть можно въ часъ, дала автору мѣсто рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Очевидно, въ двухъ печатныхъ листахъ Грибоѣдовъ далъ нѣчто *особенно* нужное для русскаго общества. Какъ въ небольшомъ алмазѣ, въ этой маленькой вещи сосредоточено драгоцѣнное сіяніе. И въ самомъ дѣлѣ, «Горе отъ ума» имѣетъ всѣ признаки *великаго* произведенія. Эта комедія не дряхлѣетъ: отъ нея вѣетъ молодостью, какъ и при нашихъ отцахъ и дѣдахъ. Устарѣли, конечно, декораціи, костюмы, рѣчи, но самые характеры и даже нравы остались тѣми-же, и основная мысль пьесы намъ близка и понятна. Не умретъ и языкъ комедіи—естественный, живой языкъ, въ вѣкахъ отчеканенный народной мыслью и геніемъ увѣковѣченный. Умираютъ придуманные, механическіе стили Тредьяковскихъ и Сумароковыхъ, языкъ-же Пушкина и Грибоѣдова есть языкъ народа; онъ безсмертенъ какъ все естественное, принявшее органическія свойства.

Но не только художественная правда типовъ, и не красота и правда языка составляютъ главную цѣнность «Горя отъ ума». Самое дорогое въ ней—*благородный* замыселъ, и въ этомъ отношеніи она несравненна. Я не знаю другой пьесы, гдѣ былъ-бы раскрытъ болѣе важный, *центральный* вопросъ русской жизни и гдѣ-бы онъ проведенъ былъ съ такою возвышенностью, въ связи съ общечеловѣческими, вѣчными задачами. Неговоря о плохихъ пьесахъ Сумарокова, Кукольника и т. п., неговоря о неудавшихся пьесахъ Фонвизина (которому недоставало только мужества, чтобы быть геніемъ), задача русской національной драмы не удалась даже Пушкину, Лермонтову и Гоголю, какъ не удалась она позже и Островскому. У названныхъ писателей были великія силы, достаточныя для этой работы, но не было достаточно *нравственнаго*

сознанія. «Борисъ Годуновъ» (отдѣльныя сцены), можетъ быть чудо искусства, но чудо ненужное, неспособное цѣлительно войти въ нашу жизнь. «Маскарадъ» Лермонтова—незначительная и фальшивая вещь. «Ревизоръ»—великое обличеніе небольшого зла. Только въ «Горѣ отъ ума» художественное зрѣніе направлено на самое большое зло жизни, и только въ этой пьесѣ совершается искренняя, нелицемѣрная, до конца договоренная исповѣдь общества. Великая вещь—та, которая выражаетъ великую мысль; самая великая мысль въ каждое время изслѣдуетъ самый великій грѣхъ времени и самый высокій идеалъ его. Изъ всѣхъ историческихъ грѣховъ русскаго народа самый тяжкій — это упадокъ понятія о человѣческомъ достоинствѣ, пренебреженіе къ нравственному идеалу, въ которомъ вся сила личности, а черезъ нее — и вся сила общества. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Гоголь, ни Островскій, ни даже Л. Н. Толстой (во «Власти тьмы») не ставятъ этого великаго вопроса такъ прямо и ясно, какъ это удалось Грибоѣдову. Ни у кого изъ нихъ не отмѣчено такъ ярко появленіе благороднаго духа въ низкой средѣ и вся драма возникающей отсюда скорби.

II.

Комедія «Горе отъ ума»... Мнѣ кажется, она вовсе не комедія, и горе ея героя вовсе не отъ ума. Въ самомъ дѣлѣ, почему «Горе отъ ума»—комедія? Вѣдь суть ея—не какое-нибудь пошлое разочарованіе, не игра мелкихъ страстишекъ, смѣшныхъ какъ пародія на большія страсти. Въ основѣ пьесы лежитъ *горе,* непритворное, жгучее горе, и души не мелкой, а героической. И темная сила, причиняющая эти мученія,—не призракъ, а дѣйствительная и могучая стихія. Страданія такого порядка составляютъ драму, а не комедію, и не безъ основанія самъ Грибоѣдовъ уклонился назвать свою пьесу комедіей (онъ

назвалъ ее поэмой, что, впрочемъ, такъ-же странно, какъ и названіе поэмой «Мертвыхъ Душъ»). Ниже мы увидимъ, что предметъ мученій Чацкаго высокъ и важенъ, что его горе достигаетъ истинно трагической безвыходности. Что, спрашивается, забавнаго въ этой изящной и строгой пьесѣ? Ни въ самомъ Чацкомъ, ни въ томъ, что его разславили сумасшедшимъ, нѣтъ ни на іоту смѣшного. Въ отрицательныхъ типахъ, какъ они ни ярки, комизма вложено нетолько не больше, но скорѣе меньше, чѣмъ встрѣчается въ самой жизни: всѣ эти Фамусовы, Скалозубы, Репетиловы, Молчалины другимъ талантомъ (напримѣръ, Гоголемъ) могли-бы быть представлены несравненно смѣшнѣе, чѣмъ позволилъ себѣ Грибоѣдовъ. Цѣль послѣдняго была вызвать въ зрителѣ не смѣхъ, не низменную радость увидать на сценѣ нѣчто ничтожнѣе насъ самихъ,—а вызвать вниманіе къ горю благороднаго сердца и сочувствіе ему. Грибоѣдовъ, поэтому, и не хотѣлъ заслонять этой серьезной цѣли комическими преувеличеніями и подчеркиваньями, какъ это сдѣлано Гоголемъ въ его комедіяхъ. «Каррикатуръ ненавижу, въ моей картинѣ ни одной не найдешь», пишетъ Грибоѣдовъ Катенину. Эта воздержность въ пользованіи каррикатурой нетолько не лишаетъ «Горе отъ ума» жизненности, но способствуетъ ей: въ своихъ естественныхъ пропорціяхъ, безъ рѣзкихъ изломовъ, типы Грибоѣдова болѣе живые люди, нежели герои, напримѣръ «Ревизора», гдѣ комизмъ сгущенъ часто до уродства. Въ лучшихъ французскихъ комедіяхъ, гдѣ соблюдена строгая мѣра комизма въ лицахъ, смѣхъ публики поддерживается крайнею забавностью интриги, но интрига «Горя отъ ума» вовсе не забавна. Она остроумна и искусна, но совершенно серьезна, какъ и подобаетъ драмѣ. Если нѣкоторыя отрицательныя лица Грибоѣдова забавны, то это естественный комизмъ, неотдѣлимый отъ характеровъ; нужно вспомнить, что и трагедіи Шекспира изобилуютъ подобными смѣшными лицами. Они необходимы для оттѣненія ужаснаго.

Единственный поводъ считать «Горе отъ ума» комедіей— тотъ, что въ немъ нѣтъ обычной для драмы кровавой развязки. Но мнѣ кажется, пора-бы уже бросить этотъ признакъ драмы, какъ совершенно устарѣвшій. Въ старыя времена, при жестокихъ нравахъ, когда кинжалъ былъ, такъ сказать, простымъ продолженіемъ руки, кровавая расправа естественно заканчивала столкновенія; но въ наше время этотъ исходъ уже необыченъ и если еще не вывелся, то сдѣлался исключительнымъ. Въ кровавой развязкѣ теперь видишь чаще всего не исходъ, а неожиданный *обрывъ* драмы, случайное вмѣшательство безумія, путающаго логику страстей. Убійства, самоубійства теперь понимаются какъ сумасшедшій, судорожный припадокъ души. Исчезаетъ *вмѣняемость* кровавыхъ поступковъ, а вмѣстѣ съ нею и самый источникъ драмы. Ревнивый Чацкій въ древности непремѣнно убилъ-бы соперника, и древній зритель увидѣлъ бы въ этомъ естественную, хотя и страшную необходимость,—современный-же зритель отнесется иначе: какъ ни тяжелы страданія ревности, мы чувствуемъ долгъ щадить жизнь человѣка, и это нравственное сознаніе настолько сильно въ большинствѣ людей, что и при крайнемъ озлобленіи другъ на друга, мысль объ убійствѣ противна. Подавляющее число ревнивцевъ уже не убиваютъ ни соперника, ни предмета ревности, ни самихъ себя, а какъ Чацкій—*отходятъ* въ сторону и страдаютъ душой, пока боль затихнетъ. Это такъ естественно, что убійцу мы во всѣхъ случаяхъ склонны считать безумнымъ; намъ жаль жертву, но не больше, какъ если-бы на нее обрушилась стѣна. Смерть въ этомъ случаѣ является еще не самымъ страшнымъ исходомъ: оставшихся жалѣешь больше. Тихое безвыходное страданіе живыхъ людей дѣйствуетъ на тонко-чувствующаго современнаго зрителя сильнѣе, чѣмъ нагроможденіе труповъ въ концѣ пятаго акта старыхъ трагедій. Нынѣшній человѣкъ такъ далекъ отъ убійства, что даже не въ состояніи прочувствовать психологіи подобной бойни, и то, отъ чего древній зритель

восторгался, въ теперешнемъ вызываетъ отвращеніе. Вспомните, съ какимъ интересомъ описываетъ Гомеръ битвы и поединки своихъ героевъ, не опуская такихъ напримѣръ подробностей, какъ выползли кишки изъ разсѣченнаго брюха, какъ вытекъ мозгъ изъ разбитаго черепа и т. п. Чувствуешь, что кровавый паръ опьянялъ тогдашнюю публику, изъ которой каждый, быть можетъ, убивалъ человѣка неоднократно при тогдашнихъ безпрестанныхъ войнахъ. Всѣ отъ юности тогда готовились къ битвамъ, и убійство входило въ нравственный кодексъ: не убить человѣка въ извѣстныхъ случаяхъ считалось позорнымъ; нравственное чувство требовало крови такъ-же безповоротно, какъ современное нравственное чувство отвергаетъ кровь. Истинно художественное произведеніе во всѣ времена создается на основѣ согласной съ нравственнымъ чувствомъ, и то, что уродливо съ этической точки зрѣнія, не можетъ быть прекраснымъ съ эстетической. Поэтому, съ перерожденіемъ нравственнаго сознанія въ человѣчествѣ, перестраиваются и эстетическія основы. Уже Шекспиръ, повидимому, догадывался о томъ, что времена кровавыхъ трагедій отходятъ. Что такое мученія Гамлета, какъ не протестъ вновь народившагося нравственнаго чувства противъ прежней морали, требовавшей убійства? Гамлетъ стоитъ какъ-бы на рубежѣ варварства и цивилизаціи; тѣнь отца еще шепчетъ ему о долгѣ мести, но внутреннее чувство останавливаетъ его, и онъ невольно восклицаетъ: «Время вышло изъ колеи своей. Горе мнѣ, рожденному для того, чтобы снова заставить его идти прежнею колеей!» Груда тѣлъ въ послѣднемъ дѣйствіи «Гамлета»—самое неожиданное и слабое мѣсто великой трагедіи, и для современнаго зрителя не усиливаетъ, а разрушаетъ нароставшій ужасъ драмы. Вообще кровавыя трагедіи даже великихъ авторовъ кажутся теперь странными и невѣроятными, и если еще даются иногда, то ради нѣсколькихъ прекрасныхъ монологовъ и мирныхъ сценъ. Кровавую-же часть ихъ, если

она исполняется даже такими артистами, какъ Росси, смотрѣть тяжело и противно, какъ на бойню скота: какъ-бы ни были величественны жесты и фразы, гнусность самаго поступка подавляетъ художественное наслажденіе. Въ будущемъ, когда окончательно исчезнутъ войны, казни и дуэли, эти остатки зоологическаго періода въ исторіи,—человѣкъ дотого отвыкнетъ отъ кровавой расправы, что она будетъ ему казаться невозможною гадостью, и тогда великія трагедіи будутъ совершенно сняты со сцены, какъ сняты кулачные и гладіаторскіе бои. Потоки крови—эффектъ чрезмѣрно грубый для современной драмы и разрушаетъ самую ткань художественной картины. Болѣе тонкое и глубокое впечатлѣніе производитъ болѣе намъ знакомое страданіе—психическое, особенно нравственное страданіе. Когда Чацкій убѣгаетъ «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ», художественный образъ его скорби не нарушенъ: вы не разочаровываетесь въ его благородствѣ; сознаніе, что его муки не кончились и никогда не кончатся, углубляетъ трепетъ вашъ предъ его судьбой. Такимъ образомъ отсутствіе кровавыхъ столкновеній въ «Горѣ отъ ума» не препятствуетъ, а скорѣе способствуетъ этой пьесѣ быть истинною драмой.

III.

Въ чемъ заключается сущность этой драмы? Что такое Чацкій? Несмотря на несмолкаемый восторгъ, которымъ сопровождалась комедія на пространствѣ семидесяти лѣтъ,—основной ея смыслъ до сихъ поръ не выясненъ: лицо Чацкаго загадочно и спорно. Грибоѣдовъ, называя комедію «Горемъ *отъ ума*», хотѣлъ дать картину мученій умнаго человѣка въ обществѣ глупыхъ. Но большинство критиковъ—въ томъ числѣ такіе авторитетные голоса, какъ Пушкинъ, кн. Вяземскій, Бѣлинскій, отрицаютъ въ Чацкомъ умъ, какъ характерную черту.

Чтобы разобраться въ этомъ, припомнимъ судьбу Чацкаго по ходу пьесы. Въ основной мотивъ драмы —

борьбу выдающагося человѣка съ его обществомъ—вплетена красною нитью интрига личнаго чувства — любви Чацкаго къ Софьѣ, кровной представительницѣ своего общества. Эта личная драма чрезвычайно трогательно оттѣняетъ общественную и даетъ ей горячую жизненность. Чацкій и Софья—дѣти почти одной семьи; они выросли въ старинныхъ барскихъ хоромахъ, среди крѣпостной дворни, среди сценъ крайняго униженія слабыхъ передъ сильными, среди грубыхъ и жестокихъ нравовъ. Не забудьте, что еще отецъ Фамусова могъ родиться въ допетровской Москвѣ, въ эпоху высокихъ шапокъ и охабней, и всего какое-нибудь одно-два поколѣнія отдѣляли грибоѣдовскую Москву отъ стариннаго варварства. Вотъ въ этакой-то средѣ Чацкому довелось быть воспитаннымъ въ идеяхъ гуманнаго европейскаго образованія. Общественная драма началась для Чацкаго еще въ дѣтствѣ:

Онъ съѣхалъ; ужь у насъ ему казалось скучно,

говоритъ Софья,—скучно, несмотря на то, что они вмѣстѣ съ Чацкимъ были воспитаны, росли, и что «привычка вмѣстѣ быть день каждый неразлучно связала дѣтскою ихъ дружбой». Чацкому скучно стало въ домѣ Фамусова раньше, чѣмъ онъ влюбился въ Софью,—«охота странствовать напала на него», и на водахъ лечился онъ «не отъ болѣзни, чай,—отъ скуки». Даже любовь—первая юношеская любовь!—не помѣшала ему вырваться изъ Москвы, дотого онъ задыхался въ ней,—и три года мученій влюбленнаго едва были достаточны, чтобы привлечь его въ Москву. Онъ ѣхалъ исключительно для нея («Что новаго покажетъ мнѣ Москва?»); онъ разстался съ нею, когда она была еще почти дѣвочкой, въ тотъ періодъ дѣвичьей жизни, когда невинность тѣла и души дѣлаютъ женщину похожей на ангела. Плѣнительная, родная—онъ помнилъ ее въ слезахъ разлуки и съ клятвами вѣчной вѣрности. «Чувствительный» Александръ Сергѣевичъ носилъ дорогой образъ въ сердцѣ среди скита-

нiй; разочарованный и оскорбленный родной Москвой, онъ переносилъ всю нѣжность родственныхъ чувствъ на Софью. Послѣднiя сотни верстъ до Москвы волновали его воображенье, онъ летѣлъ «не вспомнясь, безъ души»... И вотъ награда: его встрѣчаютъ холодно, какъ чужого, какъ постороннее лицо, съ которымъ видались еще вчера. Можетъ быть, онъ готовилъ страстныя изліянія—его принимаютъ какъ простого визитёра. Чацкій ошеломленъ: онъ тотчасъ-же замѣчаетъ, что у Софьи «ни на волосъ любви» къ нему. Но сердце хочетъ любви. Чацкій вспоминаетъ поэзію дѣтскихъ лѣтъ, проведенныхъ съ Софьей, вспоминаетъ Москву, какъ враждебный станъ, и можетъ быть, смутно чувствуетъ, что его сокровище уже плѣнено Москвой, отнято у него безвозвратно. Пылкій Чацкій дѣлаетъ вызывъ Москвѣ и предъ глазами Софьи набрасываетъ рядъ ѣдкихъ каррикатуръ на ея родныхъ и знакомыхъ. Онъ и прежде презиралъ Москву; за три года путешествій онъ укрѣпилъ въ себѣ это презрѣніе своимъ развитіемъ, образованностью, знакомствомъ съ лучшими краями. Отсюда тонъ злорѣчія, въ который впадаетъ Чацкій съ самаго начала встрѣчи и который такъ невыгоденъ для него. Зритель еще не знакомъ съ Чацкимъ, не знаетъ его правъ на отрицаніе этой среды, его превосходства надъ нею. За Чацкимъ пока никакихъ заслугъ и преимуществъ, умъ его предварительно не доказанъ; это просто свѣтскій юноша, начитавшійся иностранныхъ книгъ, отставной кавалеристъ, подававшій какіе-то проекты министрамъ, но безъ успѣха, и въ разочарованіи съѣздившій въ Европу. Но таковъ именно и былъ типъ тогдашняго отрицателя: вѣдь и за Онѣгинымъ, Печоринымъ и Рудинымъ не было никакихъ заслугъ, кромѣ единственной: простого отрицанія тогдашней жизни, нравственнаго возмущенія, на которое немногіе были способны. Невыгодное для Чацкаго впечатлѣніе злоязычнаго критикана пропадаетъ по мѣрѣ хода пьесы, когда вы убѣждаетесь въ горячей искренности и

благородствѣ Чацкаго и въ томъ, что Москва вполнѣ заслужила его гнѣвные сарказмы. По природѣ своей Чацкій добръ, но онъ не кротокъ: онъ вѣдь тоже сынъ своего грубаго вѣка и не умѣетъ прощать врагамъ; онъ преслѣдуетъ ихъ столь-же ожесточенно, какъ они его—только безъ ихъ коварства.

IV.

Лучшій человѣкъ того времени, герой, возставшій противъ толпы, не лишенъ былъ замашекъ фатовства, дендизма, отъ котораго не были свободны (по духовному наслѣдству отъ французскихъ аристократовъ) ни Байронъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни самъ Грибоѣдовъ. Въ европейской семьѣ до сихъ поръ борются два главныхъ типа: иронической и мечтательный; первому дала роскошное развитіе французская культура, галльскій темпераментъ и классицизмъ,—второму—нѣмецкая культура съ ея благочестіемъ и философіей. Въ русскомъ обществѣ эпохи Грибоѣдова попадались люди и второй природы (московскіе масоны, впослѣдствіи—«люди сороковыхъ годовъ», славянофилы), но преобладалъ ироническій типъ, люди насмѣшливаго отрицанія. Къ этому именно типу принадлежалъ Чацкій и главные герои послѣдующаго времени: Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, хотя въ Рудинѣ начинаетъ сказываться мечтательный, германскій духъ, начало творческое въ противовѣсъ разрушительному настроенію скептиковъ. Чацкій еще не дожилъ до разочарованности Печорина: реакція, разбившая въ прахъ всѣ надежды Чацкихъ, была еще впереди. Русское самосознаніе переживало еще зарю туманной юности и было одушевлено пылкой вѣрой. Хотя Чацкій уже скучаетъ, но въ немъ еще нельзя подмѣтить родоначальника нашихъ Чайльдъ-Гарольдовъ до Обломова включительно; столь выродившееся подъ суровымъ гнетомъ потомство еще не просвѣчиваетъ въ Чац-

комъ: онъ еще могучъ и гордъ. Со второго дѣйствія «Горя отъ ума» начинается рядъ жестокихъ битвъ съ родною, московскою культурой, въ которой не было, конечно, ни скептицизма, ни мечтательности. То и другое — продуктъ свободы духа, московское-же общество вышло изъ почти-бухарскаго порабощенія. Самый крупный, монументальный представитель старой Москвы — Фамусовъ — является философомъ ея культуры. Онъ уменъ и искрененъ не менѣе Чацкаго и не менѣе его краснорѣчивъ, и эта искренность (высшее выраженіе культуры) дѣлаетъ его почти симпатичнымъ; онъ высказываетъ страшныя низости, но такъ простодушно и съ такой вѣрой въ свои слова, что ему прощаешь его нравственное безобразіе. Столь-же искренни и всѣ остальные представители Москвы, чѣмъ и устраняется отталкивающее впечатлѣніе, которое могло-бы повредить картинѣ. Великій художникъ придалъ пороку ту теплоту и сочность жизни, какія у нея бываютъ на самомъ дѣлѣ и какими онъ только и держится. Фамусовъ, Молчалинъ, старуха Хлестова, Тугоуховскіе, Хрюмины, — они въ своемъ родѣ великолѣпны, на нихъ любуешься, какъ на породистые экземпляры гориллъ или кенгуру. Они, волею художника, живые, а все живое интересно.

Въ первомъ-же столкновеніи Фамусова съ Чацкимъ послѣдній убѣждается, что Софью за него не отдадутъ:

... не блажи,
Имѣньемъ, братъ, не управляй оплошно,
А *главное*—поди-ка послужи.

Это требованіе: «послужи!» дѣйствуетъ на Чацкаго какъ ударъ бича:

Служить-бы радъ—прислуживаться тошно!

Въ этой гордой фразѣ сказался весь Чацкій, все его поколѣніе, весь новый вѣкъ—правда, скоро задавленный могучимъ отпоромъ стараго вѣка. Чацкій—проснувшійся европеецъ въ московской кожѣ: онъ радъ быть *слугою* об-

щества, но не *прислугою*; ему надоѣло чисто-азіатское холопство въ службѣ, и онъ ставитъ выше всѣхъ выгодъ свое человѣческое достоинство. Черта арійская, черта благородной расы, которая рано или поздно должна была сказаться въ русскомъ. Но въ Фамусовѣ сидитъ еще искренній азіатъ: въ превосходномъ монологѣ онъ рисуетъ идеалъ *достойнаго* человѣка, Максима Петровича:

. . . . Онъ не то на серебрѣ,
На золотѣ ѣдалъ; сто человѣкъ къ услугамъ;
Весь въ орденахъ, ѣзжалъ-то вѣчно цугомъ;
Вѣкъ при дворѣ, да при какомъ дворѣ!..

Возвышенъ идеалъ, и святы для Фамусова средства его осуществленья:

Когда-же надо подслужиться,
И онъ сгибался въ перегибъ.
На куртагѣ ему случилось оступиться —
Упалъ, да такъ, что чуть затылка не пришибъ.
Старикъ заохалъ, голосъ хрипкой...
Былъ высочайшею пожалованъ улыбкой —
Изволили смѣяться. Какъ-же онъ?
Привсталъ, оправился, хотѣлъ отдать поклонъ—
Упалъ въ другой разъ—ужь нарочно!
А хохотъ пуще. Онъ и въ третій также точно.
А? Какъ по вашему?.. По нашему, смышленъ:
Упалъ онъ больно—всталъ здорово.
Зато, бывало, въ вистъ кто чаще приглашенъ?
Кто слышитъ при дворѣ привѣтливое слово?
Максимъ Петровичъ! Кто предъ всѣми зналъ почетъ?
Максимъ Петровичъ! Шутка!
Въ чины выводитъ кто и пенсію даетъ?
Максимъ Петровичъ. Да. Вы, нынѣшніе, нутка!

Этотъ безсмертный монологъ достоинъ быть эпиграфомъ къ цѣлому историческому періоду. Это не рѣчь, это гимнъ, патетическое выраженіе культа строгаго и законченнаго. Горячъ и пылокъ Чацкій, но какъ гранитный утесъ неподвиженъ Фамусовъ въ своемъ міросозерцаніи. Совершенно напрасно Чацкій обрушивается на

«вѣкъ минувшій», на его подлую лесть и низость, напрасно дополняетъ и безъ того яркую картину Фамусова:

А сверстничекъ, а старичекъ
Иной, глядя на тотъ скачекъ
И разрушаясь въ ветхой кожѣ,
Чай, приговаривалъ: ахъ, если-бы мнѣ тоже!

Фамусовъ органически не въ состояніи понять: что-же тутъ недостойнаго въ этой зависти старичка?

Знаменательна фраза Чацкаго, что «нынче смѣхъ страшитъ и держитъ стыдъ въ уздѣ». Значитъ, въ обществѣ начала уже просвѣчивать совѣсть,—если еще и не въ видѣ *любви* къ идеалу, то хоть въ видѣ *страха* передъ нимъ; явился уже *стыдъ*, изъ котораго когда-нибудь разовьется чувство *долга*. Смѣхъ—зачаточное и еще насыщенное зломъ нравственное сознаніе, но онъ уже—отрицаніе зла и жестокій бичъ его. *Смѣхъ* Чацкаго—не пустое злословіе, не bons-mots французскихъ петиметровъ, а горькій смѣхъ возмущенной и оскорбленной совѣсти. Противъ чего возстаетъ Чацкій въ своемъ поединкѣ съ Фамусовымъ? Не противъ глупости и невѣжества «минувшаго вѣка», а противъ подлости его. На этомъ развивается вся идея драмы.

V.

Слѣдующія дѣйствія развертываетъ весь лагерь старой Москвы, необоримую силу, которая должна остаться побѣдителемъ. Выдвигается колоссальная статуя Скалозуба, этого Атласа, поддерживающаго на своихъ могучихъ плечахъ весь міръ фамусовщины:

Я князь-Григорію и вамъ
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ:
Онъ въ три шеренги васъ построитъ,
А пикнете, такъ мигомъ успокоитъ.

Немудрено, что къ такой силѣ льнетъ философія и вѣра Фамусова: самое дорогое, что у него есть, — дочь

свою—онъ мечтаетъ выдать за него замужъ и ухаживаетъ передъ нимъ какъ передъ идоломъ. Скалозуба почему-то играютъ чаще всего въ видѣ стараго бурбона,—но на самомъ дѣлѣ онъ не старъ:

Я съ восемьсотъ-девятаго служу,

говоритъ онъ, такъ-что въ началѣ двадцатыхъ годовъ ему могло быть немногимъ болѣе тридцати лѣтъ. Пусть онъ «хрипунъ, удавленникъ, фаготъ», какъ очерчиваетъ его Чацкій,—но онъ представитель скорѣе молодого поколѣнія тогдашней Москвы, какъ и Молчалинъ. «Они подростутъ», дойдутъ до степеней извѣстныхъ и вложатъ свою силу въ исторію дальнѣйшихъ десятилѣтій. Острый терній впивается въ сердце Чацкаго; онъ видитъ, кому предназначается Софья. Онъ присутствуетъ при великолѣпномъ обмѣнѣ идей между Фамусовымъ и Скалозубомъ, гдѣ рѣчь идетъ о томъ, что мило ихъ сердцу, о чинахъ и наградахъ, о томъ, какъ «Господь вознесъ» полковника, далъ ему «счастливое товарищество»:

То старшихъ выключатъ иныхъ,
Другіе, смотришь, перебиты.

Ни малѣйшей розни во взглядахъ Фамусова и Скалозуба:

Да, чтобъ чины достать есть многіе каналы,
Объ нихъ какъ истинный философъ я сужу—
Мнѣ только-бы досталось въ генералы,

говоритъ Скалозубъ. Фамусовъ восхищенъ этой истинной философіей: «И славно судите, дай Богъ здоровья вамъ и генеральскій чинъ...»

Захлебываясь отъ умиленія, Фамусовъ чуть не прямо навязываетъ Скалозубу свою Софью — тутъ-же, на глазахъ Чацкаго, да еще дѣлаетъ вызовъ послѣднему: «Другой хоть прытче будь, надутый всякимъ чванствомъ, пускай себѣ разумникомъ слыви, а въ семью не включатъ, на насъ не подиви». Мало того, знакомя Чацкаго со

Скалозубомъ, онъ въ пренебрежительномъ тонѣ начинаетъ сѣтовать о первомъ, какъ о пропащемъ человѣкѣ. «Не служитъ, то-есть, въ томъ онъ пользы не находитъ», и пр. Тутъ наболѣвшая душа Чацкаго не выдерживаетъ. Онъ разражается пламеннымъ монологомъ, напоминающимъ по гнѣвной силѣ лермонтовское «На смерть Пушкина»:

А судьи кто? За древностію лѣтъ
Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима... и пр.

Монологъ этотъ прекрасенъ какъ весенній громъ; онъ дышетъ вдохновеньемъ, но вдохновеньемъ не ума только, а оскорбленной совѣсти.

Гдѣ, укажите намъ, отечества отцы,
Которыхъ мы должны принять за образцы?
Не эти-ли, грабительствомъ богаты,
Защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли, въ родствѣ,
Великолѣпныя сооруля палаты,
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ...

Не глупость и не невѣжество бичуетъ Чацкій, а «прошедшаго житья подлѣйшія черты». Какъ идеалъ человѣка, образецъ «отца отечества», Чацкій припоминаетъ одного вельможу, «Нестора негодяевъ знатныхъ», который толпу вѣрныхъ слугъ, спасавшихъ не разъ жизнь и честь его «въ часы вина и драки», промѣнялъ на борзыя три собаки,—того вельможу, что «для затѣй на крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей», которыя потомъ всѣ были за долги распроданы по-одиночкѣ...

Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!

Тутъ Чацкій коснулся самой гнойной язвы тогдашняго быта—крѣпостного рабства, которымъ жило дворянство. Нападеніе на эту «основу русскаго строя», какъ тогда выражались, считалось чуть не государственнымъ преступленіемъ. Фамусовъ дотого ошеломленъ бѣшенымъ натискомъ Чацкаго, что безъ словъ уходитъ «отъ бѣды».

VI.

Но бой не конченъ: онъ только-что начался. Чацкому показанъ во весь ростъ его явный соперникъ на сердце Софьи. Ея рѣшеніе неизвѣстно, но отецъ, распорядитель ея судьбы, съ восторгомъ отдаетъ ее Скалозубу. Вотъ кому предпочтенъ бѣдный Александръ Сергѣевичъ, чувствительный, просвѣщенный, блестящій! Со всѣмъ умственнымъ превосходствомъ онъ—ничто въ сравненіи съ тупымъ фронтовикомъ, шагающимъ въ генералы. Это обида, но главное униженіе еще впереди. Выдвигается фигура настоящаго соперника, избранника самой Софьи. На кого-же палъ ея выборъ? Скалозубъ невѣжественен, ограниченъ, но все-же онъ родовитъ и заслуженъ; на немъ нѣтъ клейма хамства, и хоть въ нѣкоторой мѣрѣ онъ возможенъ какъ соперникъ Чацкаго. Но Молчалинъ!.. Пронырливое, безсловесное животное—соперникъ Чацкаго! Да, нашему герою пришлось испить и эту чашу. Въ рядѣ живыхъ сценъ и встрѣчъ (паденіе Молчалина съ лошади, обморокъ Софьи и пр.) Чацкій прозрѣваетъ, кого любитъ Софья; въ немъ загорается слѣпая ревность, желаніе разубѣдить себя, стремленіе оставить хоть лучъ надежды—пока Софья, ведущая съ нимъ глухую борьбу, не сражаетъ его язвительной остротой (въ концѣ IX явленія). Онъ полонъ страсти къ ней,—она предлагаетъ ему въ подруги жизни старую кокетку, княгиню Ласову, сломавшую ребро и «для поддержки» ищущую мужа. Ударъ тонкій и острый—бѣдный Чацкій сраженъ; растерянный, смятенный, онъ уходитъ бормоча какія-то ненужныя, первыя попавшіяся слова. Въ глазахъ зрителя драма углубляется тѣмъ, что Софья дѣйствительно любитъ Молчалина, и Молчалинъ дѣйствительно презрѣненъ. Сряду послѣ обморока Софьи и тѣхъ нѣжностей, которыми она осыпаетъ Молчалина (явленіе XI), послѣ ея признанія, что ей нѣтъ дѣла до всей вселенной, кромѣ него,—онъ старается соб-

лазнить горничную, признается, что барышню любитъ только... «по должности».

Но Чацкій все еще не сдается и является вечеромъ на балъ, чтобы окончательно убѣдиться въ своемъ пораженіи. Онъ допытывается у Софьи, кто ей милъ, и она почти признается, что любитъ Молчалина. Семнадцатилѣтняя барышня очень умно и тонко обличаетъ Чацкаго и описываетъ Молчалина съ нѣжнымъ сочувствіемъ. Суть ея драмы въ томъ, что Софья обоихъ не знаетъ, въ обоихъ ошибается и человѣка низкаго предпочитаетъ благородному. Она не знаетъ Чацкаго, хоть и росла съ нимъ; завѣты души его для нея скрыты; она видитъ только то, что дѣйствительно непріятно въ Чацкомъ: его нескромную веселость, страсть «шутить и вѣкъ шутить», т.-е. злословить, его «грозный взглядъ и рѣзкій тонъ» и пр. пр. Софья права. Вся эта напускная, нѣсколько наглая бравада, хлесткость рѣчи и манеръ, ломанье изъ себя какого-то Чайльдъ-Гарольда или демона, духа изгнанья,—все это была въ то время модная манера держать себя. Она—одна иаъ манеръ, выработанныхъ выродившимся рыцарствомъ, французскимъ дворянствомъ конца вѣка. Эта неестественная мода вѣроятно страшно нравилась заурядным барышнямъ, но дѣвушки умныя и мечтательныя, вродѣ Софьи, не выносили ея. Что эта манера была несносна—стоитъ вспомнить кривлянья самаго изящнаго изъ тогдашнихъ героевъ — Печорина, стоитъ вспомнить, наконецъ, личный характеръ Грибоѣдова или Лермонтова. То былъ вѣкъ возстанія духа; Фаустъ былъ во власти Мефистофеля и все сатанинское казалось прекраснымъ. Но Софья—дѣвушка съ нѣжною душой, родная сестра Татьяны Пушкина: ей болѣе по душѣ мечтательный герой, нежели иронический. Она выступаетъ горячей защитницей Молчалина: «Я не старалась. Богъ насъ свелъ», говоритъ она—и описываетъ, какъ тотъ пріобрѣлъ дружбу всѣхъ въ домѣ, какъ онъ безмолвіемъ обезоруживаетъ гнѣвъ отца.

Чудеснѣйшаго свойства
Онъ наконецъ: уступчивъ, скроменъ, тихъ,
Въ лицѣ ни тѣни безпокойства.
И на душѣ проступковъ никакихъ:
Чужихъ и вкривь и вкось не рубитъ—
Вотъ я за что его люблю,

чистосердечно говоритъ Софья,—и еслибъ именно *таковъ* былъ Молчалинъ, то онъ былъ-бы человѣкомъ совершеннымъ: вѣдь это портретъ настоящаго праведника. О подломъ существѣ души подъ кроткою личиной этого праведника Софья, ослѣпленная любовью, не догадывалась. Какъ-же отнесся Чацкій къ портрету Молчалина, нарисованному Софьей? «Чудеснѣйшія свойства», уступчивость, скромность, невозмутимость Молчалина показались Чацкому такою низостью, что онъ откинулъ мысль, будто Софья могла полюбить такое чудовище. «Она его не уважаетъ!.. Шалитъ, она его не любитъ!» Въ этой странной ошибкѣ сказался фанатикъ Чацкій, человѣкъ борьбы, человѣкъ той эпохи, когда уступчивость считалась преступленіемъ, а скромность—подлостью. Въ такія эпохи нравственность перестраивается, мирныя, высокія добродѣтели цѣнятся какъ трусость, а ожесточенная злоба—какъ героизмъ. Чацкій искренно презираетъ Молчалина за его *добродѣтели* еще ранѣе, чѣмъ узнаетъ подлую подкладку ихъ. На очной ставкѣ, Чацкій и Молчалинъ, два героя времени, скрещиваютъ свои идеалы: Молчалинъ—«умѣренность и аккуратность», Чацкій—независимость и достоинство. «Умѣренность и аккуратность»—эта фраза сдѣлалась со временъ Грибоѣдова какъ-бы формулой низости, но исходи эти качества изъ глубины великой, обуздавшей себя души, изъ философскаго основанія, они были-бы высокими достоинствами; въ качествѣ орудія для подлой цѣли они отвратительны. Можетъ быть это самая трагическая черта въ жизни, что добро, порабощаясь злу, дѣлается могучимъ пособникомъ для него. Молчалинъ торгуетъ своей незлобивостью, какъ

католическіе монахи благочестіемъ. Чацкій хорошо это видитъ и не скрываетъ своего презрѣнія,—онъ грубъ и даже дерзокъ съ нимъ. На возгласъ Молчалина —

Въ мои лѣта не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть, —

Чацкій пламенно негодуетъ:

Помилуйте, мы съ вами не ребяты:
Зачѣмъ-же мнѣнія чужія только святы?.

На это Молчалинъ удивленно замѣчаетъ: «Вѣдь надобно-жь зависѣть отъ другихъ». — Зачѣмъ-же надобно? восклицаетъ пораженный Чацкій. — «Въ чинахъ мы небольшихъ», смиренно объясняетъ Молчалинъ.

Трудно короче и ярче, чѣмъ въ этомъ живомъ діалогѣ, оттѣнить два разные покроя мысли, враждебные, несогласимые. Чацкій, окрыленный гордымъ духомъ свободы, сознаніемъ священныхъ правъ личности, всматривается еще разъ въ душу своего соперника и еще разъ, поразившись низостью ея, не вѣритъ, что этотъ соперникъ опасенъ. Но вотъ близка послѣдняя, рѣшительная битва: у Фамусовыхъ балъ, вся Москва соберется кругомъ Чацкаго, и прозвучитъ vox populi, приговоръ родного общества своему герою.

VII.

Платонъ Михайловичъ, Наталья Дмитріевна, князь Петръ Ильичъ, княгиня съ цѣлымъ выводкомъ княженъ, графини Хрюмины, бабушка и внучка, Загорѣцкій... Ихъ достаточно назвать, чтобы передъ читателемъ они встали какъ живые. Этотъ кругъ лицъ всѣмъ знакомъ и замкнутъ, «какъ колода картъ», по мѣткому выраженію Гончарова; Фамусовъ, Молчалинъ, Скалозубъ, старуха Хлестова, Репетиловъ «врѣзались въ память такъ-же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ». На пространствѣ нѣсколькихъ страницъ, нѣсколькими фразами очер-

чиваются съ геніальной жизненностью основные зоологическіе представители русской общественной фауны: отъ Грибоѣдовскихъ типовъ пойдутъ, постепенно вырождаясь, Гоголевскіе, Тургеневскіе, Гончаровскіе. Развѣ Фамусовъ въ миніатюрѣ не повторенъ въ образѣ Сквозника-Дмухановскаго? Молчалинъ развѣ не представляетъ прямого предка Чичикова? Скалозубъ современемъ превратится въ Собакевича, а Репетиловъ въ Хлестакова, правда, все въ большомъ, столичномъ масштабѣ. Благородный Чацкій повторится въ нѣкоторой мѣрѣ въ Евгеніи Онѣгинѣ, Печоринѣ и особенно въ Рудинѣ, а Платонъ Михайловичъ въ Тентетниковѣ или Ильѣ Ильичѣ Обломовѣ. Крайне яркое лицо Хлестовой, умной и властной барыни, будетъ повторено почти всѣми романистами. Эти нѣсколько страничекъ Грибоѣдовской пьесы—драгоцѣнный историческій документъ, отъ котораго начинается генеалогія русскихъ литературныхъ типовъ, особенно если прибавить тѣхъ, что остались на дальнемъ фонѣ и о которыхъ говоритъ Репетиловъ. «Секретнѣйшій союзъ», «сокъ умной молодежи», «горячихъ дюжина головъ», которые обсуждаютъ (при Репетиловѣ!) «государственное дѣло»...

Тутъ сатира Грибоѣдова отъ паѳоса негодованія переходитъ въ паѳосъ презрѣнія: болѣе ѣдкой насмѣшки, чѣмъ посвященная тогдашнимъ либераламъ, нѣтъ во всей драмѣ. Во главѣ союза стоитъ князь Григорій — «вѣкъ съ англичанами, вся англійская складка», Воркуловъ Евдокимъ, Иванъ и Боренька, «чудесные ребята». Геніемъ партіи является Удушьевъ, Ипполитъ Маркелычъ, авторъ «Взгляда и Нѣчто».

Но голова у насъ, какой въ Россіи нѣту,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
　　　Ночной разбойникъ, дуэлистъ,
Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ,
　　　И крѣпко на руку нечистъ.
Да умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ!
Когда-жь о честности высокой говоритъ,

Какимъ-то демономъ внушаемъ,
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ.
Вотъ люди, есть-ли имъ подобные? Наврядъ.

Этотъ приговоръ тогдашнимъ тайнымъ обществамъ, изъ которыхъ вышли декабристы, повидимому слишкомъ жестокъ: какъ теперь достаточно извѣстно, въ союзахъ «Спасенія» и «Благоденствія» участвовали русскіе люди, представлявшіе такой подборъ высокихъ характеровъ, какой никогда не повторился. Попадались, конечно, и Удушьевы, и «ночные разбойники», но не они характеризовали тогдашнее молодое общество. Но хотя картинки Репетилова жестоки, ихъ нельзя назвать клеветой: несомнѣнно, и въ либеральныхъ кружкахъ тогда, какъ и въ послѣдуюшія времена, было много репетиловщины, которая и губила ихъ замыслы. Вѣдь Репетиловъ, съ пьяныхъ глазъ, тащилъ за полы даже Скалозуба въ свой «секретнѣйшій союзъ», трезвонилъ на подъѣздахъ и лѣстницахъ объ этомъ союзѣ!..

На балу, въ стихіи московскаго общества, Чацкій держитъ себя попрежнему презрительно, почти дерзко: подсмѣивается надъ нѣжностями Натальи Дмитріевны, оплакиваетъ участь ожирѣвшаго Платона Михайловича, отвѣчаетъ эпиграммой графинѣ-внучкѣ, смѣется надъ замѣчаніями Хлестовой и еще разъ жалитъ сердце Софьи сарказмомъ надъ Молчалинымъ. Чацкій дѣлается ей совсѣмъ ненавистнымъ:

Ахъ, этотъ человѣкъ всегда
Причиной мнѣ ужаснаго разстройства!
Унизить радъ, кольнуть,—завистливъ, гордъ и золъ.

Случайный разговоръ о Чацкомъ, случайная фраза «онъ не въ своемъ умѣ» наталкиваетъ Софью на планъ мести; она бросаетъ въ общество мысль, что Чацкій сумасшедшій.

А, Чацкій! Любите вы всѣхъ въ шуты рядить,
Угодно-ль на себѣ примѣрить?

VIII.

Искра сплетни тотчасъ разносится пожаромъ: въ испорченномъ обществѣ клевета и униженіе другъ друга—замѣняетъ поэзію жизни,—а у Фамусова къ тому-же всѣ вооружены противъ Чацкаго. Фамусовъ первый громогласно подтверждаетъ вѣсть:

О чемъ, о Чацкомъ, что-ли?
Чего сомнительно? Я первый, я открылъ!
Давно дивлюсь я, какъ никто его не свяжетъ!

И приводитъ яркое доказательство сумасшествія Чацкаго:

Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцомъ,
Хоть предъ какимъ ни есть лицомъ,
Такъ назоветъ онъ подлецомъ!

Никто, конечно, не вѣритъ, и всѣ охотно соглашаются. Ищутъ причины безумія Чацкаго и тотчасъ-же, всѣ безъ перекоровъ, находятъ ее:

Ученье—вотъ чума,—ученость—вотъ причина...

Старуха Хлестова, княгиня, Скалозубъ, Загорѣцкій общимъ хоромъ присоединяются къ этой мысли. Книга—вотъ зараза, которой трепеталъ тогдашній русскій міръ,—но какая книга? Не учебникъ, конечно, артиллеріи и фортификаціи, не руководство къ куроводству, а книга XVIII вѣка, великая книга философовъ, будившая человѣческое достоинство—вотъ что казалось страшнѣй чумы.

. . . . Ужь коли зло пресѣчь,
Забрать всѣ книги-бы да сжечь!

— искренно говоритъ Фамусовъ. Тотчасъ послѣ этого приговора является Чацкій,—человѣкъ близкій къ книгамъ, и отъ него всѣ пятятся, какъ отъ зачумленнаго. И въ самомъ дѣлѣ, онъ разстроенъ: онъ измученъ пытками ревности втеченіе дня, горячими столкновеньями, толпою

несносныхъ лицъ и всею пошлою суетою московской жизни, охватившей его тотчасъ-же по-прiѣздѣ. «Миллiонъ терзанiй! Мочи нѣтъ!» восклицаетъ онъ и снова, какъ цвѣтокъ къ солнцу, тянется къ Софьѣ. Одно ея слово — и онъ радъ излиться передъ ней въ мольбахъ, онъ гремитъ на весь залъ, онъ обличаетъ, пока—глядь... онъ оказывается одинъ, съ пламенною рѣчью среди общества, которое кружится въ вальсѣ.

Послѣднiй монологъ Чацкаго страненъ по содержанiю; нападки его на подражанiя Западу здѣсь неожиданны и неумѣстны. Чистый «западникъ» по духу, онъ вдругъ заговариваетъ, какъ «славянофилъ»; отрицатель родной культуры, какъ она сложилась, вдругъ выступаетъ на ея защиту. Но можетъ быть авторъ хотѣлъ отмѣтить, что какъ ни груба была русская самобытность, она была въ то-же время очень дряхлою. Она легко проникалась влiянiями Запада, но попреимуществу дурными, какъ гнилое зданiе впитываетъ въ себя не солнечные лучи, а сырость, способствующую тому процессу, который въ немъ идетъ—гнiенiю. Здѣсь проповѣдь Чацкаго загадочна, но какой-то монологъ тутъ нуженъ, чтобы оттѣнить безвыходное одиночество нашего героя.

До сихъ поръ драма невидимо ростетъ и зрѣетъ; Чацкiй измученъ, но вся горечь яда еще впереди. Вѣдь онъ еще не увѣренъ, *кому* предпочла его Софья, онъ еще не знаетъ ни ея коварства, ни подлости Молчалина. Высшiй моментъ всякой драмы—когда она раскрывается сознанiю дѣйствующихъ лицъ. До этого она матерiальна, въ этотъ-же моментъ одухотворяется и переходитъ въ идею страданiя. До послѣднихъ минутъ Чацкiй и Софья не знаютъ, въ чемъ смыслъ ихъ завязавшагося любовнаго раздора. Чацкiй еще не знаетъ приговора общества и *кѣмъ* онъ подсказанъ, онъ еще не увѣренъ, что Молчалинъ ея избранникъ. Все это обрушивается на него сразу, какъ подтаявшая глыба снѣга. Изъ швейцарской онъ слышитъ, какъ разъѣзжающiеся гости общимъ хо-

ромъ считаютъ его сумасшедшимъ; онъ пораженъ и взбѣшенъ,—первая мысль—знаетъ-ли объ этой клеветѣ Софья. Онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что ей это все равно: ему кажется, что она никѣмъ не дорожитъ и никого не любитъ. Но въ то-же мгновеніе онъ видитъ Софью, вышедшую къ Молчалину на свиданіе... Онъ видитъ ея идола, выбѣжавшаго къ горничной, и оба—и Софья, и Чацкій наблюдаютъ наконецъ во-очію измѣну Молчалина и всю низость его души. Даже Лиза поражена этою низостью: «И вамъ не совѣстно?» спрашиваетъ она. На это Молчалинъ высказываетъ символъ своей вѣры:

Мнѣ завѣщалъ отецъ:
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятья,
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику, для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобъ ласкова была...
. . . .
И вотъ любовника я принимаю видъ
Въ угодность дочери такого человѣка...

«Который, подхватываетъ Лиза, — кормитъ и поитъ, а иногда и чиномъ наградитъ?»

Чацкій имѣетъ злое утѣшеніе видѣть, какъ жестоко наказана Софья, но въ довершеніе драмы ему остается узнать, что это она именно разславила его сумасшедшимъ и вооружила общество на него. Страданье ревности и обиды углубляется жгучей болью оскорбленнаго самолюбія:

Вотъ я пожертвованъ кому!

Пылкая любовь, свѣтлый умъ, честныя убѣжденія, благородство души — отвергнуты, а счастье достается хаму, готовому пресмыкаться предъ собакой дворника. Несправедливость судьбы уже слишкомъ безжалостна— и Чацкій изнемогаетъ. Только-что вернувшійся на родину—онъ опять спасается отъ нея, бѣжитъ «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ».

Такова художественная ткань драмы. Основной узоръ ея состоитъ изъ терній общественной несправедливости, перевитыхъ розами и шипами отвергнутой любви.

IX.

Въ чемъ-же идея «Горя отъ ума?» Что такое Чацкій? Въ названіи пьесы авторъ подсказалъ ея общій смыслъ: это горе умнаго человѣка среди глупыхъ. Въ письмѣ къ Катенину онъ говоритъ, что въ его комедіи «25 глупцовъ на одного здравомыслящаго человѣка». Суть пьесы въ томъ, что «дѣвушка сама не глупая предпочитаетъ дурака умному человѣку, и этотъ человѣкъ разумѣется, въ противорѣчіи съ обществомъ, его окружающимъ» и пр. Итакъ, основная черта Чацкаго *умъ*. Но уже самые ранніе критики были смущены двумя обстоятельствами: тѣмъ, что въ поведеніи Чацкаго много безразсудства, и что въ дѣйствіяхъ остальныхъ лицъ не видно особенной глупости. Характеренъ отзывъ Пушкина: «Вопросъ: въ «Комедіи «Горе отъ ума» кто умное дѣйствующее лицо? Отвѣтъ — Грибоѣдовъ. Чацкій — пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все, что говоритъ онъ, очень умно. Почему онъ говоритъ все это Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно. Первый признакъ умнаго человѣка — съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми». Въ томъ-же духѣ говорятъ М. Дмитріевъ, князь Вяземскій и др., но особенно рѣзко отнесся къ Чацкому Бѣлинскій. «Что за глубокій человѣкъ этотъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говоритъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать дураками и

скотами — значитъ быть глубокимъ человѣкомъ?... Это Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади» и пр. Гоголь тоже былъ недоволенъ и комедіей, и Чацкимъ; онъ находилъ, что въ лицахъ пьесы нѣтъ «прямо-русскаго типа, не слышно русскаго гражданина», и что «Чацкі показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться». Горячо защищаютъ Чацкаго Аполлонъ Григорьевъ, Гончаровъ и г. Суворинъ, доказывающіе умъ Чацкаго и полную цѣлесообразность его поведенія. Григорьевъ считаетъ Чацкаго «единственнымъ истинно-героическимъ лицомъ нашей литературы», доказываетъ, что онъ вовсе и не былъ свѣтскимъ человѣкомъ, какимъ его разсматриваетъ Пушкинъ и пр. Гончаровъ въ превосходной своей статьѣ «Милліонъ терзаній» утверждаетъ, что «Чацкій нетолько умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ» и пр. Г. Суворинъ подвергаетъ тщательному разбору отзывы критиковъ, отказывавшихъ Чацкому въ умѣ, и указываетъ ихъ шаткость. Въ итогѣ этихъ многочисленныхъ разнорѣчій получается, однако, какое-то недоумѣніе. «Всѣ лица комедіи, говоритъ Гончаровъ, врѣзались въ память такъ-же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного — Чацкаго. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что онъ такое? Онъ какъ-будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ». И Гончаровъ предсказываетъ, что разнорѣчія о Чацкомъ не кончатся еще долго.

Мнѣ кажется однако, кромѣ двухъ точекъ зрѣнія — уменъ Чацкій или не уменъ—возможна третья точка, съ которой всѣ разногласія примиряются. Нельзя отрицать въ Чацкомъ живого ума, пылкости, вдохновенія, благородства, но нельзя также отвергать его неразсудительности, безтактности и крайней рѣзкости. Онъ уменъ и безраз-

суденъ; въ полетѣ мысли онъ прекрасенъ, въ системѣ дѣйствій страненъ. Что-же это за натура?

X.

Натура Чацкаго мнѣ кажется *геніальною*: такъ характерны ея достоинства и недостатки. Только геніальный человѣкъ могъ вести себя въ житейской драмѣ такъ неразсчетливо, въ явный вредъ себѣ, отстаивая въ каждое мгновеніе только мысль свою. Вспомните, что Чацкій, какъ и всѣ лица «Горя отъ ума», представляетъ *портретъ* живого человѣка (какъ Грибоѣдовъ самъ заявлялъ въ письмѣ къ Катенину). И вспомните, съ *кого* списанъ Чацкій. По отзыву большинства современниковъ Грибоѣдова и между прочимъ Пушкина, Чацкій—портретъ Чаадаева, а Чаадаевъ былъ несомнѣнно натурою геніальной. Онъ не оставилъ вещей достойныхъ своего генія, однако, то, что осталось, свидѣтельствуетъ объ огромномъ и оригинальномъ умѣ и замѣчательномъ благородствѣ. Пушкинъ зналъ толкъ въ людяхъ, и именно о Чаадаевѣ писалъ:

Онъ въ Римѣ былъ-бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ,
У насъ онъ — офицеръ гусарскій.

Нѣкоторые критики (г. Веселовскій) утверждаютъ, что Чацкій — точнѣйшій портретъ самого Грибоѣдова, который писалъ съ самого себя. Если и такъ, то это портретъ геніальнаго человѣка. Но если-бы и не было этихъ важныхъ свидѣтельствъ, достаточно было-бы только вглядѣться въ Чацкаго, чтобы признать въ немъ крайне-характерный психологическій типъ *геніальной* натуры. Геніальный человѣкъ рѣзко отличается отъ просто очень *умнаго* человѣка, и главное отличіе въ томъ, что геній часто *безразсуденъ*. Примомните въ исторіи любого очень умнаго человѣка и сравните его съ геніальнымъ— напр. сравните Ивана III съ Петромъ I. Всегда сдержанный, ясный, трезвый, расчетливый, холодный, Иванъ

не былъ способенъ на вдохновенiе Петра, на его творчество, но и не былъ способенъ на многочисленныя сумасбродства генiальнаго царя. Иванъ III не завоевалъ устьѣвъ Невы, не открылъ окна въ Европу, но онъ низачто не попался-бы въ ловушку вродѣ Прутскаго похода, не скомпрометировалъ-бы себя дерзкимъ нарушенiемъ обычаевъ и личною крайнею невоздержностью. Генiальные люди сродни помѣшаннымъ: это наблюденiе древнее, лишь возобновленное въ послѣднее время. Не было пророковъ, которые не казались-бы иногда безумными, и откровенiя божественныя у такого яснаго народа, какъ греки, не даромъ облечены были бредомъ оракуловъ и пифiй. Гибель героевъ въ легендахъ — чаще всего отъ безразсудства. Вспомните нашихъ генiальныхъ людей—Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, Достоевскаго и др. Всѣ они были безразсудны въ жизни, какъ Чацкiй, всѣ увлекались какими-то завиральными (на взглядъ толпы) идеями, не умѣли «устроиться» и ужь если попадали въ трагическое положенiе, то и гибли, ни на минуту, какъ и Чацкiй, не желая поступиться своимъ убѣжденiемъ. Умный человѣкъ хитеръ, генiй простодушенъ: онъ хитеръ и остороженъ только у себя, въ области творческой, — въ житейскомъ дѣлѣ онъ безпеченъ. Будь Чацкiй только уменъ, онъ, замѣтивъ охлажденiе Софьи, повелъ-бы искусную интригу, подружился-бы съ Молчалинымъ, Фамусовымъ, привлекъ-бы къ себѣ довѣрiе Софьи, умненько оклеветалъ-бы или разоблачилъ Молчалина, — словомъ, развилъ-бы планъ борьбы и непремѣнно остался-бы побѣдителемъ. Былъ-бы «московскiй житель и женатъ», пользовался-бы всѣми выгодами своего положенiя, какъ его другъ, несомнѣнно умный Платонъ Михайловичъ Горичевъ, или Фамусовъ, или старуха Хлестова. Всѣ эти «глупцы» по своему очень умны. У нихъ другое мiросозерцанiе, другая вѣра; они невѣжественны, но разсудокъ сквозитъ у нихъ изъ каждаго слова. Отъ ума,

я думаю, горя не бываетъ, умъ покладливъ и по самой сущности своей есть приспособленіе. У насъ въ народѣ самые умные люди — кулаки, и бываютъ времена, когда «умный человѣкъ не можетъ быть не плутъ». Нето геній, неспособный по сущности своей на уступки. Умъ есть пассивное сознаніе, геній—активное. Идея въ обыкновенномъ умѣ - холодное отвлеченіе, въ геніальномъ— это страстное чувство, требующее исхода. Казалось-бы, «не велика услуга» со стороны Чацкаго помолчать при Скалозубѣ, но геніальному человѣку нестерпимо таить въ себѣ мысль: она въ немъ рвется и трепещетъ какъ птица въ клѣткѣ. Геній — внѣ мысли — существо часто жалкое; «изъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ». Иногда геній «озаряетъ голову безумца, гуляки празднаго» — вспомните пушкинскаго Моцарта. Вотъ психологическій портретъ великаго человѣка, удивительно схваченный. Посмотрите, какъ Моцартъ простодушенъ, довѣрчивъ, безпеченъ, какъ онъ странно ведетъ себя (на взглядъ умнаго Сальери). Его посѣтило вдохновеніе, чудная мысль, — но онъ идетъ около трактира и видитъ слѣпого скрипача. Онъ останавливается, хохочетъ, ведетъ скрипача къ Сальери. Умный другъ возмущается: «Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя!» Совершенно такъ-же простодушенъ и страненъ Чацкій: «Кто такъ *чувствителенъ*, и веселъ и остеръ», какъ онъ? Но бываютъ времена, что онъ «Молчалина глупѣе». Онъ вовсе не золъ: «ужель слова мои всѣ колки и клонятся къ чьему-нибудь вреду?» удивляется онъ: «я въ чудакахъ иному чуду разъ посмѣюсь, потомъ забуду; велите-жь мнѣ въ огонь— пойду какъ на обѣдъ». Правда, Чацкій — «франтъ», «отъявленъ мотомъ, сорванцомъ», онъ увлекался когда то военнымъ мундиромъ — все это черты характера Лермонтовскаго, Пушкинскаго, Грибоѣдовскаго,—Байроновскаго, говоря вообще. Но Чацкій возмущается, когда его считаютъ только свѣтскимъ острякомъ:

Ахъ, Боже мой! Неужли я изъ тѣхъ,
Которымъ цѣль всей жизни смѣхъ?
Мнѣ весело, когда смѣшныхъ встрѣчаю,
А чаще съ ними я скучаю.

говоритъ онъ Софьѣ, а скрытую суть души своей высказываетъ въ знаменитой схваткѣ съ Фамусовымъ:

Пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣсть, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ *умъ, алчущій познаній*,
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ *жаръ*
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ.

Таковъ Чацкій: основная его природа нетолько умъ, но умъ страстный, алчущій, и жаръ къ искусствамъ творческимъ—черты генія. Свойства генія--искренность, пылкость, благородство, и ими щедро одѣленъ Чацкій. «Есть-ли въ немъ, говоритъ онъ о Молчалинѣ, — та страсть, то чувство, пылкость та, чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый казался прахъ и суета?» *Нравственное благородство* — существеннѣйшій признакъ геніальнаго темперамента: «Геній и злодѣйство двѣ вещи несовмѣстныя». Подлымъ можетъ быть умъ, но не геній. И въ этомъ отношеніи Чацкій безупреченъ: въ его благородствѣ согласны всѣ критики, и оно вѣетъ изъ каждаго его движенія. Геніальная душа *чувствуется:* если Чацкій не сыплетъ глубокими афоризмами, не говоритъ философскихъ монологовъ, это еще не значитъ, что у него обыкновенный умъ. Въ условіяхъ Чацкаго и геніальный умъ — поставьте Пушкина — ничего не сказалъ-бы умнѣе. На мелкую интригу Чацкій отвѣчаетъ блестящими и мѣткими выраженіями; монологи его изящны и оригинальны. А главное, этотъ умъ такъ пылокъ и блестящъ, что не сомнѣваешься въ его энергіи, хотя-бы онъ ее предъ вами не проявлялъ: достаточно взглянуть на атлета, чтобы повѣрить его силѣ.

XI.

Суть драмы Грибоѣдова — появленіе въ русскомъ обществѣ не просто *умной*, а *геніальной* натуры, и «милліонъ терзаній», встрѣчающій ее въ родной средѣ. Умный человѣкъ въ Россіи благоденствуетъ, — страдаетъ и гибнетъ геній. Развѣ въ Чацкомъ не предсказана печальная судьба нашихъ великихъ талантовъ — Пушкина, Лермонтова и самого Грибоѣдова? Развѣ всѣ они не были загнаны современнымъ обществомъ въ безвыходную драму и не пали въ началѣ или расцвѣтѣ жизни? Вѣдь «преждевременно» оканчивать дни свои — исключительная, такъ-сказать, національная особенность русскихъ выдающихся людей, за рѣдкими исключеніями тѣхъ, кто спасался бѣгствомъ (Тургеневъ — заграницу, Толстой — въ деревню, Гончаровъ—въ отшельничество на Моховой). Вспомните время Чацкаго и послѣдующія времена: какимъ морозомъ вѣяла жизнь на молодые всходы мысли, какъ погибали благороднѣйшіе мечтатели, «опасные», какъ оказалось, только для самихъ себя. Чацкій—это оскорбленный геній русскаго общества, это лицо собирательное, подъ которымъ скрывается молодая наша умственная аристократія.

Въ полупросвѣщенномъ и безнравственномъ нашемъ быту всегда существовала, но со времени сближенія съ Европой замѣтно выросла разсѣянная группа людей гуманныхъ и алчущихъ правды. Въ этой группѣ встрѣчаются и представители высшей знати, и скромные сельскіе «интеллигенты»; всѣ они погружены въ грубой и косной средѣ, еще хранящей «подлѣйшія черты» недавняго рабства. Эта порода одинокихъ мечтателей, гуманистовъ, народолюбцевъ обречена на милліонъ нравственныхъ терзаній, на вседневное «оскорбленное чувство». Чацкій бѣжалъ, но куда бѣжать благородному поколѣнію, пришедшему въ суровые историческіе дни?

Драма «Горе отъ ума»—самая серьезная наша драма; Чацкій—самый героическій и свѣтлый типъ въ нашей литературѣ. Одного его можно поставить на ряду съ міровыми типами Гамлета, короля Лира, маркиза Позы, Фауста. Особенно онъ близокъ къ Гамлету. Вспомните судьбу задумчиваго датскаго принца. Несчастіе его, какъ и Чацкаго, — было родиться съ возвышенной душой въ вѣкъ грубый, въ обществѣ низкомъ и растлѣнномъ. Окруженный злодѣйствомъ, Гамлетъ тщетно ищетъ въ душѣ своей столь-же слѣпой злобы: онъ слишкомъ великъ, чтобы биться равнымъ оружіемъ, и его геній составляетъ его несчастіе. Такихъ людей, какъ Гамлетъ и Чацкій, объявляютъ безумными—съ ихъ вдохновеніемъ, съ ихъ глубокою и нѣжною душой! Имъ объявляютъ войну, и они изнемогаютъ въ борьбѣ съ обступившею ихъ тьмою...

Поэтъ-богатырь.

(По поводу писемъ гр. Алексѣя Толстого).

I.

У благодушнаго Я. П. Полонскаго есть слѣдующее замѣчательное стихотвореніе:

  Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ—Россія
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія...
  Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода...

Истинный писатель, всегда и всюду, есть первый страдалецъ своего народа, и можетъ быть, онъ одинъ—истинный страдалецъ. Его прекрасный даръ часто обращается для него въ проклятіе: въ его сердцѣ минутами сосредоточивается все зло міра, вся боль общественнаго сознанія. Народная масса гибнетъ, но психически не страдаетъ; больныя ткани тѣла разлагаются, но не ощущаютъ этого, и только одни нервы испытываютъ жгучую боль, сами оставаясь нетронутыми. Испытывать отдѣльной волнѣ всѣ дрожанія океана! Быть нервомъ великаго народа и

выносить его страданія! Участь трагическая. Она была-бы невыносимой, если-бы не была естественной: скорбь свойственна генію, какъ замѣтилъ еще Аристотель. Генію-же, прибавилъ-бы я, свойственна и высшая радость: въ томъ-же сердцѣ истиннаго писателя есть мѣсто и для мірового счастья, для острыхъ наслажденій сознанія недоступныхъ толпѣ. Счастливъ «нервъ великаго народа», чувствующій себя въ тѣлѣ живомъ и цвѣтущемъ, полномъ кипучей жизни. Но гораздо чаще этотъ нервъ ощущаетъ себя среди гнойныхъ язвъ, застарѣлыхъ, неизлѣчимыхъ...

Въ примѣръ писательскихъ мученій позвольте привести графа Алексѣя Толстого, насколько жизнь его отразилась въ недавно напечатанныхъ очень интересныхъ письмахъ его. Исполнилось 20 лѣтъ со смерти поэта, но онъ не дождался, конечно, отъ своего поколѣнія даже сколько-нибудь приличной біографіи. Этотъ замѣчательный талантъ уже заволакивается въ памяти общества забвеніемъ, сочиненія его расходятся по одному изданію въ десять лѣтъ... Такъ вотъ ради этой неблагодарности къ нему общества, вспомнимъ-же, какъ онъ страдалъ при жизни—не за себя страдалъ, а за тѣхъ, которые его и не знали и которые такъ скоро забыли...

Повидимому, совсѣмъ не подходящій примѣръ; судя по мимолетнымъ свѣдѣніямъ о личности графа и его бодрой и ясной музѣ, нельзя предположить въ немъ «страдальца за народъ». Аристократъ pur sang, принятый въ самыхъ высокихъ сферахъ, другъ дѣтства императора Александра II, независимый, блестящій, одаренный... Какой онъ страдалецъ? Онъ былъ скорѣе тонкій литературный жуиръ, любитель рѣдкостей въ обширныхъ, ему доступныхъ сокровищахъ исторіи и поэзіи. Въ его стихахъ и прозѣ почти не отразилась современность, его занимала древняя русская эпоха или легенды западныхъ странъ.

Таково ходячее мнѣніе объ этомъ поэтѣ. По отвратительной русской чертѣ—искать въ человѣкѣ прежде всего дурныхъ качествъ и даже навязывать ихъ ему, Алексѣя Толстого упрекаютъ еще въ консерватизмѣ, «царедворствѣ» и т. п. и все это на гадкой подкладкѣ будто-бы какихъ-то корыстныхъ разсчетовъ. Но на самомъ дѣлѣ все это очень несправедливо. «Консерваторъ» и «царедворецъ», подобно Пушкину, Толстой былъ, несомнѣнно, одинъ изъ искреннѣйшихъ людей своего времени,—не безъ недостатковъ, не безъ заблужденій, конечно,—но человѣкъ съ истинно-рыцарскими наклонностями и ужь вовсе не холопъ. Ему все было дано для праздной и безпечной жизни, но дано было и *больше*: чуткое сердце, которое тотчасъ и обрекло его на страданія. Да, вопреки ходячему мнѣнію, великосвѣтскій поэтъ, оказывается, былъ «нервъ великаго народа», былъ «пораженъ»—да еще какъ!—со всею жгучестью страстной, въ своемъ родѣ «толстовской» души—не даромъ-же онъ назывался графомъ Толстымъ. Эти писательскія страданія графа сквозятъ изъ всѣхъ его крупныхъ вещей, въ его мощной лирикѣ и исторической прозѣ. Болѣе опредѣленно подчеркиваютъ эти страданія его частныя письма.

Кому адресованы письма—неизвѣстно, даже одному-ли лицу. Но они писаны по-французски, часть ихъ адресована чрезъ Государственный Совѣтъ, и есть глухіе намеки на высокое положеніе нѣкоторыхъ изъ читавшихъ эти письма. Чтобы понять тягостное настроеніе этихъ писемъ, надо вспомнить, что всю свою юность А. Толстой провелъ при дворѣ, пробовалъ служить при самыхъ блестящихъ условіяхъ, ему открывалась самая широкая карьера—и все-таки онъ отъ всего отрекся,—«бѣжалъ», какъ говорится, чтобы «прозябать въ деревнѣ»... Уже весною 1860 года черезъ m-lle Тютчеву Ал. Толстому было сдѣлано какое-то новое предложеніе, которое причиняетъ ему видимыя страданія. «Вотъ что я имѣю ска-

зать въ отвѣтъ m-lle Тютчевой, пишетъ Алексѣй Толстой: «...Я готовъ преклониться передъ тѣмъ, который съумѣетъ приспособиться къ какой-нибудь роли, чтобы дойти до благородной цѣли... но для этого необходимы *особенныя дарованія*, которыхъ у меня нѣтъ. Интересно было бы на меня посмотрѣть въ мундирѣ III отдѣленія! Развѣ есть у меня необходимая для этого ловкость? Я только себя запачкаю безъ всякой пользы для кого-либо! Но это лишь примѣръ! Есть положенія, которыя, не будучи нечистыми, также невозможны для меня; такъ-какъ пришлось-бы постоянно лгать. Я не говорю это, чтобы похвастаться—совсѣмъ нѣтъ! Я-бы хотѣлъ быть *способнымъ лгать*, чтобы убить ложь, но этихъ *дарованій* у меня нѣтъ!»

II.

Повидимому, въ нѣкоторыхъ сферахъ дѣлались энергическія усилія привлечь поэта къ какой-то службѣ, почетной, по общему мнѣнію, можетъ быть административной, но которая угрожала Алексѣю Толстому потерей независимости—а онъ былъ гордъ и свободенъ до послѣдней клѣточки мозга! Уродиться такимъ *дикимъ* въ средѣ самыхъ высокихъ связей и самыхъ тонкихъ подчиненій- большое несчастье. «Я вамъ говорю, съ отчаяніемъ продолжаетъ Толстой, что я въ этой средѣ задыхаюсь, въ полномъ смыслѣ слова задыхаюсь! Предложите Тамберлику пѣть по уши въ водѣ. Этотъ элементъ не по мнѣ, я въ немъ никогда не могъ-бы жить. Если я въ чемъ виноватъ, то лишь въ томъ, что я раньше категорично не объяснился,—и повѣрьте мнѣ, что если-бы я высказалъ свое credo отъ начала до конца, то не только-бы не захотѣли-бы меня удерживать, но пожали-бы плечами отъ жалости. У меня другія *дарованія*, и большая моя вина въ томъ, что я не отдался имъ вполнѣ. Но лучше поздно, чѣмъ никогда. Если компромиссъ

былъ возможенъ, то это тотъ, который есть, и я его принялъ изъ уваженія, изъ почтительности, изъ привязанности... Если этотъ компромиссъ мнѣ удастся,—я останусь; если нѣтъ,—я сдѣлаю иначе, но не такъ, какъ думаетъ m-lle Тютчева. Если-бы я могъ довести мой образъ мыслей и чувствъ выше, я-бы сдѣлалъ это съ радостью».

Похожъ-ли этотъ Толстой, несомнѣнный «консерваторъ», на «лукаваго царедворца», какимъ его считали въ литературѣ? Приводимое письмо предназначено, повидимому, для очень высокаго вниманія, и оно дышетъ самою рѣшительною несговорчивостью, терзаніями между чувствомъ «привязанности» и нравственнымъ долгомъ.

«Мои силы, пишетъ Толстой въ томъ-же письмѣ, совершенно парализованы по отношенію къ средѣ о которой рѣчь. Что̀ она мнѣ говоритъ про мою искренность, которую якобы цѣнятъ?! Ее, можетъ быть, терпѣли иногда, но всегда безъ всякаго результата. Могутъ-ли двѣ линіи, одна изъ которыхъ идетъ на востокъ, другая на западъ, когда-нибудь соединиться? Два человѣка, изъ которыхъ одинъ не понимаетъ языка, на которомъ говоритъ другой, могутъ-ли когда-нибудь столковаться? Можно-ли разсуждать объ отвлеченныхъ матеріяхъ, когда не сговорились насчетъ азбуки? Можно-ли достигнуть общаго результата, когда не только исходныя точки, но и цѣли совершенно различны? Можно-ли придти къ соглашенію, когда, напримѣръ, одинъ изъ собесѣдниковъ говоритъ:— вотъ скала посреди дороги, мѣшающая проходу, и потому необходимо удалить скалу; а другой отвѣчаетъ:— вотъ дорога, которая можетъ повести къ устраненію скалы, и потому необходимо закрыть эту дорогу?—Вотъ какія отношенія между мною и моимъ *собесѣдникомъ* (курсивъ А. Толстого), но я иду слишкомъ далеко, такъ какъ мой собесѣдникъ *никогда* не входилъ со мной въ обсужденіе какихъ-нибудь *мыслей*,—никогда! Въ его собственныхъ мысляхъ есть благородство, но *его система*

невѣрная, фальшивая. Его система не выдерживаетъ разсужденія,—и если я буду дѣйствовать по его системѣ, я буду невѣренъ самому себѣ».

Похоже-ли это на лукаваго царедворца?

Черезъ годъ, въ 1861 году, въ одномъ его письмѣ есть такая приписка: «...До свиданія, дорогой другъ. Доброта и память обо мнѣ императрицы меня трогаютъ, лишь-бы только эта доброта не была для меня причиною рабства. Цѣпи—всегда цѣпи, даже когда они изъ цвѣтовъ!»

III.

Такова была одна изъ печалей души поэта. Вольнолюбивый, могучій, гордый, онъ родился въ мірѣ для него чуждомъ. Вся молодость его прошла при дворѣ Николая I, въ вихрѣ свѣтской жизни, не лишенной обаянія, какъ онъ признается, но отъ которой онъ «часто убѣгалъ, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ», стрѣляя лосей и медвѣдей. Его тревожилъ даръ поэзіи, опьяняющая красота природы, умъ сильный и своеобразный, влекущій къ какимъ-то страннымъ для того времени идеаламъ. Алексѣю Толстому открывалась, очевидно, самая «блестящая карьера», императоръ Александръ II дѣлалъ всѣ усилія, чтобы привлечь своего любимца на службу—сначала военную, сдѣлавъ поэта даже флигель-адъютантомъ, но Алексѣй Толстой все отказывался:

О, государь, внемли: мой санъ,
Величье, пышность, власть и сила
Все мнѣ несносно, все постыло!
Инымъ призваніемъ влекомъ,
Я не могу народомъ править:
Простымъ рожденъ я быть пѣвцомъ,
Глаголомъ вольнымъ Бога славить,
Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ
Мученья полонъ я и скуки...
. . . .

О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Эта мольба Іоанна Дамаскина (изъ поэмы А. Толстого того-же названія) имѣетъ, какъ мнѣ кажется, автобіографическое значеніе. То самое смутное влеченье, что заставило Іоанна промѣнять чертоги калифа Дамасскаго на пустыню, неудержимо влекло Толстого изъ столичной жизни въ деревню, въ Красный-Рогъ, на грудь природы:

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубыя небеса!

Въ этомъ (какъ и во многомъ другомъ) нашъ поэтъ напоминаетъ своего великаго однофамильца, бѣжавшаго рано въ ясную жизнь своей деревни. Но оба они не успокоились на волѣ и успокоиться не могли. Оба черезчуръ гордые, чтобы нести цѣпи, свитыя даже изъ розъ, были одержимы самой страстной влюбленностью въ свободу, хотя оба-же очень долго (а многими и до сихъ поръ) считаются за «отсталыхъ консерваторовъ». Но отношеніе обоихъ Толстыхъ къ консерватизму было совсѣмъ особое, чрезвычайно характерное и недававшее имъ ничего, кромѣ страданій.

Вотъ что пишетъ Алексѣй Толстой въ 1868 году: «Перехожу къ литературѣ, которая и есть Ding an und für sich, такъ какъ все остальное есть лишь явленія и... Вы мнѣ говорите, что Теофилъ—эхо салонныхъ консерваторовъ... Я вамъ скажу съ грубой откровенностью... что такое эти консерваторы... ваши салонные консерваторы. Вы знаете, насколько я ненавижу все красное, и чортъ меня возьми, если я въ той или другой изъ моихъ трагедій хотѣлъ что-либо доказать. Я презираю всякую тенденцію въ литературномъ трудѣ, я ее презираю какъ пустой патронъ... Я это говорилъ и повторялъ, и

перевысказывалъ! Но не моя вина, если изъ написаннаго мною ради любви къ искусству само собою вытекаетъ, что деспотизмъ никуда не годится. Тѣмъ хуже для деспотизма! Оно вездѣ выскажется, во всякомъ художественномъ трудѣ; оно выскажется даже въ Бетховенской симфоніи. Я ненавижу деспотизмъ такъ-же, какъ я ненавижу Сенъ-Жюста и Робеспьера и т. д...

«Я это не скрываю и провозглашаю это громко, да, m-r... V.. да, я провозглашаю, не посѣтуйте, m-r T... Я готовъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, да, m-r M... я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Я даже скажу, я слишкомъ художникъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону—одно и то же? Развѣ Шекспиръ былъ республиканецъ, потому что онъ написалъ «Макбета» или «Ричарда III?» Шекспиръ при Елизаветѣ поставилъ на сцену своего «Генриха VIII» и Англія отъ этого не рухнула!»

Надо замѣтить, что гр. А. Толстой—личный другъ императора, егермейстеръ двора—не миновалъ участи быть обвиненнымъ въ «потрясеніи основъ». Его историческія драмы—«Смерть Іоанна Грознаго», «Ѳеодоръ Іоанновичъ» и пр. были сочтены памфлетами противъ монархіи и строго запрещены въ провинціи. Въ письмѣ отъ 16-го дек. 1868 года А. Толстой съ горькой ироніей разсуждаетъ объ участи своихъ пьесъ. «Смерть Іоанна», пишетъ онъ, запрещена безъ всякихъ церемоній, но «Василиса Мелентьева» и «Опричникъ» позволены съ условіемъ, что губернаторъ дастъ имъ аттестатъ. Лонгиновъ (бывшій въ то время курскимъ губернаторомъ) очень озадаченъ циркуляромъ, который ему приказываетъ преслѣдовать всѣ пьесы, которыя не были разрѣшены для провинціи, тогда-какъ онъ не имѣетъ никакого способа узнать ихъ. Пьесы раздѣлены на нѣ-

сколько категорій: однѣ разрѣшены лишь въ столицахъ, другія—въ столицахъ и провинціяхъ; другія-же — въ провинціяхъ, но съ аттестатомъ отъ губернатора. Это очень напоминаетъ парадную форму: праздничную, полную праздничную, полную парадную и парадную походную. Многіе изъ нашихъ лучшихъ генераловъ сошли съума отъ этихъ усложненій. Нѣкоторые впали въ младенчество, вслѣдствіе постояннаго застегиванья и разстегиванья; двое застрѣлились. Я очень боюсь, что то-же самое случится и съ тѣми, и что они начнутъ ржать и ходить на четверенькахъ...» Даже «Князя Серебрянаго» Толстой писалъ со страхомъ и трепетомъ, хотя и «старался забыть, что цензура существуетъ...»

IV.

Но зачѣмъ было трепетать Толстому? Онъ могъ-бы писать рутинныя «патріотическія» пьесы, спокойно выводить въ нихъ отцовъ-благодѣтелей въ лицѣ Іоанновъ и Ѳеодоровъ, и никто-бы не причинилъ ему ни малѣйшей непріятности. Вѣдь дѣлали-же это многіе другіе писатели и дѣлаютъ до сихъ поръ. Да, *другіе*, но не *онъ*. Другіе—пишущая челядь, а онъ былъ истинный аристократъ—не только по титулу, а по благородной душѣ своей, не терпѣвшей ни малѣйшаго покушенія на ея свободу:

Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насиліе и гнетъ,
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ...

Это вдохновенное, страстное убѣжденіе А. Толстого, которое онъ проповѣдывалъ всю жизнь, онъ вложилъ въ уста Іоанна Дамаскина. Можно подумать, что сладость свободы была подсказана поэту этими личными его страданіями? Въ самомъ дѣлѣ,—чувствовать себя одареннымъ свыше — и не смѣть обнаружить этотъ даръ—

это обидно; быть убѣжденнымъ другомъ порядка, и быть заподозрѣннымъ въ измѣнѣ ему—это обидно; быть русскимъ до глубины сердца и чувствовать себя безправнымъ въ Россіи, какъ-бы вѣчнымъ гостемъ у какихъ-то хозяевъ, засѣдающихъ въ департаментѣ—это обидно... «Другіе» не обижались, но онъ, съ душою рыцаря... Да, онъ страдалъ глубоко и за себя, но нетолько за себя, и можетъ быть и за себя-то страдалъ только острою болью проснувшагося въ немъ стихійнаго, народнаго сознанія.

Что составляетъ отличительную черту гр. Алексѣя Толстого, какъ писателя? Кромѣ честной души, которая и между писателями встрѣчается не часто, кромѣ выдающагося таланта и образованія — Алексѣй Толстой выдѣляется совершенно своеобразнымъ историческимъ міросозерцаніемъ, своими особенными общественными вкусами. Онъ не былъ ни западникъ, ни славянофилъ, ни консерваторъ, ни либералъ, ни государственникъ, ни анархистъ, а нѣчто совсѣмъ особое, для чего нѣтъ еще и названія въ русской жизни. Онъ считалъ идеаломъ государственности монархію — но какую? Современную ему? Нѣтъ, хотя личная дружба и связывала его съ императоромъ-Освободителемъ. Монархію «петербургскаго» (до-реформъ) періода? О, нѣтъ, хотя онъ и служилъ ей, выросши при дворѣ. Монархію стараго, московскаго періода, столь воспѣтую нѣкоторыми славянофилами? Онъ ее ненавидѣлъ «Моя ненависть, пишетъ онъ (въ 1869 г.), къ *московскому періоду* есть идіосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю. Это не тенденція,—это я самъ. Откуда взяли, что мы *антиподы* Европы? Туча прошла надъ нами, *облако монгольское*, но это была лишь туча и чортъ долженъ поскорѣе убрать ее... Я нѣсколько словъ сказалъ объ этомъ въ моемъ проектѣ о постановкѣ «Θеодора». Нашли-ли вы это сомнительнымъ: русскіе—европейцы, а не монголы!»

Вотъ корень міросозерцанія А. Толстого и источникъ его страданій. «Мы европейцы, а не монголы!» съ отчаяніемъ восклицалъ онъ въ вѣкъ грубый, когда русская жизнь еще едва начинала освобождаться отъ монгольскаго духа. Это было, скажете вы, въ разгарѣ нашего либерализма. Да, либерализма *на монгольскій ладъ*—съ новыми цѣлями, но со старыми средствами борьбы. Деспотизмъ монгольскій въ тѣ либеральные 60-е годы еще былъ живъ въ нашихъ нравахъ, какъ живетъ онъ и доселѣ. «Мы европейцы, а не монголы!» готовъ былъ кричать съ крышъ бѣдный поэтъ, видя всюду въ жизни, и вправо, и влѣво отъ себя, монгольскія начала. Тѣ, кто слышали его, соглашались, что мы европейцы—но, какъ нѣкоторые славянофилы и лжеохранители, проповѣдывали монголизмъ, сами того, быть можетъ, не замѣчая. Истинный русскій человѣкъ, графъ А. Толстой чувствовалъ себя, сверхъ того, и истиннымъ европейцемъ: онъ носилъ въ себѣ подлинные инстинкты нетолько своего племени, но и великой расы, къ которой это племя принадлежитъ. Онъ не даромъ еще ребенкомъ сидѣлъ на колѣняхъ Гете и чуть не молился на статую работы Микель-Анджело: Европа была его истинною второю родиной послѣ Россіи, его душа вмѣщала всѣ откровенія западныхъ цивилизацій не какъ чуждыя, а какъ родныя,—правда припозабытыя, но свои, какъ свои они для англичанина, нѣмца и француза.

V.

Алексѣй Толстой, «двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный», какъ онъ себя характеризуетъ, — отвергаемый обоими лагерями — консерваторами и либералами—я думаю, онъ былъ невѣдомо для себя предвѣстникомъ новой и въ то-же время очень старой эры русскаго сознанія. Какъ консерваторъ, онъ былъ гораздо, такъ-сказать, древнѣе «салонныхъ консерваторовъ»

и даже московскихъ патріотовъ: то, что онъ считалъ за основы жизни русской, старше нетолько сегодняшняго дня, съ такимъ упорствомъ отстаиваемаго охранителями, но и старше ближайшихъ вѣковъ нашей исторіи. «Москва! Какъ много въ этомъ звукѣ для сердца русскаго слилось, какъ много въ немъ отозвалось». Даже столь искренніе люди, какъ Пушкинъ, были захвачены культомъ «матушки Москвы», единственнымъ подвигомъ которой послѣ Петра было сдаться французамъ безъ боя. Памятный для Россіи 1812 годъ, тяжелая война и тяжелая побѣда омрачили и безъ того смутное сознаніе тогдашняго общества: изъ пепла Москвы возникла нетолько общественная реакція послѣдующихъ сорока лѣтъ, но и романтическій культъ до-петровскаго времени. Нетолько Карамзинъ, но даже Пушкинъ и его созвѣздіе писателей были подъ вліяніемъ этого ложно-патріотическаго культа. Алексѣй Толстой всего на 18 лѣтъ былъ моложе Пушкина — но какая колоссальная разница въ міросозерцаніи! Впрочемъ, возвратившись къ до-татарскимъ идеаламъ, Алексѣй Толстой обогналъ сразу нетолько Пушкина, но даже и Тургенева съ его «постепеновскими» воззрѣньями. Онъ обогналъ нашъ вѣкъ; кромѣ Льва Толстого, котораго идеалъ еще шире и всемірнѣе, — люди даже нашего поколѣнія «конца вѣка» пока не въ состояніи вмѣстить мысль Алексѣя Толстого. Но я думаю, что будетъ-же когда-нибудь время, когда эта мысль восторжествуетъ, когда мрачные «средніе» вѣка нашей исторіи будутъ признаны не единственнымъ и не лучшимъ выраженіемъ духа народнаго. Глубокъ еще сонъ русскаго общества, но когда онъ пройдетъ, возникнетъ-же потребность усовершенствованія нашей жизни на началахъ дѣйствительной цивилизаціи, и вотъ тогда обнаружится, что общественное творчество—на самомъ дѣлѣ очень старое, только слишкомъ, къ сожалѣнію, забытое: это творчество первыхъ, самыхъ свѣжихъ и ясныхъ вѣковъ нашей исторіи. Самъ Алек-

сѣй Толстой — этотъ блестящій придворный и аристократъ—что онъ такое, какъ не просыпающаяся душа великаго народа, послѣ многовѣковаго гипноза? Алексѣй Толстой не отдѣлялъ себя отъ народа:

Но Потокъ говоритъ:—Я вѣдь тоже народъ,
Такъ за что-жь для меня исключенье?..

Алексѣй Толстой былъ народенъ въ высшей, доступной его таланту степени и былъ страстно влюбленъ въ народность, но все-же «катался на землѣ» отъ отчаянія вспоминая, что̀ судьба иногда дѣлала съ народомъ въ исторіи. Отчаяніе—одна изъ вершинъ сознанія, любовь и гнѣвъ вмѣстѣ:

Средь міра лжи, средь міра мнѣ чужого
Не навсегда моя остыла кровь:
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежній гнѣвъ и прежняя любовь!

Въ лицѣ поэта просыпающійся народъ какъ-бы припоминаетъ свои забытыя мечты, стародавніе, какъ сны юности, идеалы. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь мы не монголы,—въ самомъ дѣлѣ мы рождены для иного, болѣе благороднаго удѣла, нежели тотъ, который навязало намъ вѣяніе Востока.

VI.

«Теорія» гр. Алексѣя Толстого въ томъ, что было когда-то время, когда нравы наши были иные, полные достоинства и свободы, и духъ деспотизма былъ чуждъ нашимъ предкамъ, какъ душѣ поэта. Но когда-же была этаэ поха и была-ли? Гр. А. Толстому принадлежитъ честь ея открытія русскому обществу, хотя онъ былъ и не историкъ и хотя и ранѣе его нѣкоторые историки догадывались объ этой, въ своемъ родѣ затопленной волнами монгольства, Атлантидѣ. Гр. А. Толстой былъ только поэтъ, но и одного художественнаго чутья было мало, чтобы найти лучшую изъ эпохъ исторіи: нужно было

имѣть благородную душу, нерастлѣнные народные инстинкты, ясный нравственный идеалъ. Все это нашлось у Алексѣя Толстого, и онъ безъ труда увидѣлъ единственный «европейскій періодъ нашей исторіи», какъ онъ его называетъ. Онъ его увидѣлъ не послѣ Петра, какъ принято смотрѣть, а послѣ... Рюрика. Неслыханная смѣлость, почти дерзость! Ересь противъ науки русской, противъ установившихся общественныхъ воззрѣній. Вѣдь наука того времени утверждала, что *настоящая* русская исторія начинается только со временъ Москвы, которая одна явилась создательницей Россіи, собирательницей ея изъ хаоса удѣльнаго дробленія. Періодъ *до* Москвы считается подготовительнымъ, временнымъ, можетъ быть неизбѣжнымъ, но не настоящимъ. По мнѣнію историковъ, онъ непремѣнно долженъ былъ окончиться тѣмъ, чѣмъ окончился, даже еслибы и не было татаръ. Иначе, совсѣмъ иначе смотритъ гр. Алексѣй Толстой. Его можно назвать романтикомъ удѣльнаго періода, — дотого привлекательною ему кажется наша древняя, вѣчевая и княжеская старина. Онъ воспѣвалъ ее въ своихъ поэмахъ, балладахъ и былинахъ, въ своихъ историческихъ драмахъ («Посадникъ»), проповѣдывалъ въ письмахъ. Изучая древнѣйшій періодъ нашей исторіи, онъ приходитъ въ восторгъ, встрѣчая несомнѣнныя доказательства живого общенія тогдашней Руси съ Западомъ. «У Ярослава были три дочери, пишетъ онъ: Елизавета, Анна и Анастасія. Анна вышла замужъ за Генриха I, короля Франціи, который, чтобы просить ея руки, прислалъ въ Кіевъ епископа шалонскаго Рожера, въ сопровожденіи 12 монаховъ и 60 рыцарей. Третья, Анастасія, была женой Андрея Венгерскаго, а первая, Елизавета, была сватана Гаральдомъ Норвежскимъ, тѣмъ самымъ, который сражался противъ Гаральда Англійскаго; онъ былъ бѣдный человѣкъ и ему отказали. Огорченный своей неудачей, онъ сдѣлался пиратомъ въ Сициліи, Африкѣ и на Босфорѣ, откуда и вернулся въ Кіевъ съ большимъ бо-

гатствомъ и былъ принятъ въ зятья Ярослава». Алексѣй Толстой восхищенъ этимъ лишнимъ доказательствомъ почетнаго положенія Кіева въ семьѣ народовъ, и онъ пишетъ балладу о Гаральдѣ. «Кстати, знаете-ли вы, пишетъ онъ, что Григорій VII, знаменитый Гильдебрантъ, былъ признанъ Изяславомъ? И что его предшественникъ, папа Климентъ, не знаю который, послалъ посольство въ Кіевъ? Что̀ вы на это скажете? Католическій нунцій на византійскихъ улицахъ Кіева! Генрихъ IV, императоръ германскій, посылающій съ своей стороны посольство къ Изяславу; монахи свиты нунція, чокающіеся съ *печерскими иноками!* Византія и Римъ ссорятся, но ихъ ссоры не достигаютъ еще народовъ, которые, сознавая себя одинаково недавними христіанами, братаются между собою, какъ о томъ свидѣтельствуютъ безчисленные браки между нашею и другими европейскими династіями. Графиня Матильда де-Бѣлоозеро? А? Что вы скажете на это? Есть въ этомъ колоритъ? А? Подходитъ-ли это къ моей теоріи?» Написавъ балладу о Гаральдѣ, Алексѣй Толстой выписалъ исторію Даніи Дальмана, и къ своему восторгу, нашолъ тамъ «подтвержденіе многимъ подробностямъ, которыя написалъ по наитію». Дальманъ, между прочимъ, говоритъ, что скандинавами былъ вложенъ въ русскую почву «благородный зародышъ германской государственности, уничтоженный лишь яростью монголовъ, которые какъ туча саранчи напали на Россію. То время, когда говорили: кто противъ Бога и Великаго Новгорода?—не было замѣнено ни Іоанномъ III, ни Іоанномъ IV, ни Петромъ Великимъ». Алексѣй Толстой очень радъ, что встрѣтилъ поддержку со стороны Дальмана, но горячо возражаетъ, будто скандинавы принесли въ Россію зародышъ нашей государственности. «Дальманъ, пишетъ онъ, ошибается, приписывая скандинавамъ наши начала свободы. Скандинавы не установили, а нашли вѣче уже совсѣмъ *установленнымъ*. Ихъ заслуга въ томъ, что они его подтвердили, тогда-какъ отвратительная Мо-

сква уничтожила его,—вѣчный стыдъ Москвѣ! Не было надобности уничтожать свободу, чтобы покорить татаръ. Не стоило уничтожать менѣе сильный деспотизмъ, чтобы замѣнить его *болѣе сильнымъ. Собиранiе русской земли!* Собирать хорошо, но надо знать, *что собирать*? Горсточка земли лучше огромной кучи...» Вотъ до какой дерзости противъ установленныхъ взглядовъ доходилъ нашъ поэтъ. И какъ онъ одинокъ былъ въ своемъ благородномъ идеализмѣ! Сколько страданiй причиняло ему торжество совсѣмъ иной, псевдо-патрiотической школы.

VII.

Люди темперамента гр. А. Толстого могутъ влачить дни свои во всякую эпоху, среди всякихъ мерзостей,—связанные, они могутъ молча выносить свои страданiя, но не страдать они не могутъ. Примириться съ униженiемъ—никогда! Они могутъ жить потому, что кромѣ горькихъ огорченiй отъ людской глупости, остается еще красота природы и красота ихъ собственной души, такъ что жить всегда хочется. Полюбуйтесь, какою страстной жизнью горитъ 52-лѣтнiй поэтъ (въ 1869 году): «Теперь ночь, тепло, громъ гремитъ, дождь идетъ, но если погода разгуляется, я живо сяду верхомъ и поѣду въ лѣсъ съ докторомъ стрѣлять глухарей, что я дѣлаю каждую ночь съ тѣхъ поръ, какъ они токуютъ... Въ часъ ночи, всякiй день аккуратно я сажусь верхомъ и ѣду верстъ за десять ждать у горящаго костра восходящую зарю, чтобы стрѣлять великолѣпныхъ глухарей... Третьяго дня я взялъ съ собой мою жену, и она была такъ восхищена всѣмъ, что видѣла и слышала, что ей жаль было уѣзжать. Луна была полная, и прежде чѣмъ заря появилась, лѣсъ запѣлъ!—Цапли, дикiя утки, и особенный сортъ маленькихъ бекасовъ проснулись, и начался весь ихъ гармоническiй шумъ и гамъ...» Совершенно богатырское время препровожденiе, радость свѣжей, пер-

вобытной души. Сказать кстати, этотъ пѣвецъ богатырскихъ временъ богатырь былъ и тѣломъ, обладая огромной силой. Немудрено, что его тянуло къ мощной жизни природы. Но онъ не могъ быть счастливъ. Его сердце точитъ все та-же мысль о нашемъ историческомъ горѣ, о китаизмѣ, которымъ насъ отравили монголы. Въ томъ-же письмѣ, гдѣ онъ описываетъ ночи на охотѣ, Толстой посылаетъ шуточную, очень горькую «балладу». Главный мандаринъ Дху Кинь-Дцинь, по порученію владыки, спрашиваетъ совѣтъ мандариновъ: — «Зачѣмъ у насъ, въ Китаѣ, досель порядка нѣтъ?»

Китайцы всѣ присѣли,
Задами потрясли,
Гласятъ:—затѣмъ доселѣ
Порядка нѣтъ въ земли,
Что мы вѣдь очень млады,
Намъ тысячъ пять лишь лѣтъ,
Затѣмъ у насъ нѣтъ складу,
Затѣмъ порядку нѣтъ.
Клянемся разнымъ чаемъ,
И желтымъ, и простымъ,
Мы много обѣщаемъ
И много совершимъ!..

Мандарину отвѣтъ этотъ понравился, но на всякій случай

. . . Приказалъ онъ высѣчь
Немедля весь совѣтъ.

Живя въ черниговской глуши, стрѣляя глухарей, А. Толстой не могъ превратиться, какъ большинство помѣщиковъ, самъ въ глухаря, совершенно равнодушнаго къ судьбѣ своего народа. «Лукавый царедворецъ» и «консерваторъ», онъ болѣлъ вопросами времени не меньше, чѣмъ другой прославленный поэтъ, издатель передового журнала, жившій въ Петербургѣ. Если Некрасову нельзя отказать въ искренности душевныхъ му-

ченій, то нельзя въ ней отказать и Алексѣю Толстому, который составлялъ во многомъ антиподъ Некрасова. Пусть Некрасовъ провелъ молодость въ петербургскихъ трущобахъ, а Толстой въ придворныхъ сферахъ—оба поэта были истерзаны современною жизнью, каждый—на свой образецъ. Некрасову, съ преобладаніемъ у него ума надъ чувствомъ, гнетъ тогдашняго настроенія, пожалуй, былъ даже легче, чѣмъ пылкому и страстному Алексѣю Толстому. Одно изъ писемъ, помѣченное 20-мъ апрѣля 1869 года, отражаетъ душевное волненіе поэта совсѣмъ не деревенскаго характера:

«Какой русскій не желалъ-бы сліянія польскаго элемента съ русскимъ? Но не запрещеніемъ говорить по-польски на улицахъ, въ кофейняхъ и въ аптекахъ этого достигаютъ... Вы имѣете грустную храбрость порицать мой тостъ за всѣхъ подданныхъ Государя Императора, какова-бы ни была ихъ нація. Но знаете-ли, что вы и ваши... тѣмъ самымъ утверждаете польскую національность гораздо болѣе меня, ставя ее внѣ закона. Вы говорите: «Нѣтъ болѣе поляковъ», и нападаете съ кулаками на все польское! Вы называете себя русскими, а ваши упреки за мой тостъ—это однѣ нѣмецкія придирки. Вы вмѣстѣ съ бѣднымъ Щербиной говорите, что нельзя допустить разныя національности въ могущественномъ государствѣ. Милыя дѣти, посмотрите въ лексиконъ! Что такое національность? Вы смѣшиваете государство съ національностями; нельзя допустить разныя государства; но не отъ васъ зависитъ допустить или не допустить національности. Армяне, подвластные Россіи, будутъ армянами; татары—татарами; нѣмцы—нѣмцами; поляки—поляками... Старайтесь—я буду очень радъ—рядомъ искусныхъ мѣръ обрусить различныя національности вашего государства. Но главное — будьте искусны и не будьте глупы и грубы... Возвращенныя губерніи должны быть русскими,—кто въ этомъ сомнѣвается? Но какъ? Дѣлая то, что Пруссія сдѣлала для Познани, а не отрицая поль-

скую національность, которая тѣмъ или другимъ способомъ установилась. Фактъ существуетъ, цифры непричемъ. Напротивъ, чѣмъ меньше цифръ, тѣмъ менѣе вамъ извинительно употреблять мѣры насилія и топтать ногами соціальные законы...

«Еще одно слово: наша глупость, запрещающая католикамъ молиться по-русски, не оправдываетъ глупости въ противномъ смыслѣ. Это—исторія пьяницы, который не можетъ взлѣзть на лошадь, но все или перескочитъ, или недоскочитъ... И когда я вспомню о красотѣ нашего языка, когда я думаю о красотѣ нашей исторіи до проклятыхъ монголовъ и отвратительной Москвы, которая болѣе позорна, чѣмъ они, мнѣ хочется броситься и кататься по землѣ отъ отчаянья: что мы сдѣлали съ дарами, которые далъ намъ Богъ?!»

VIII.

Вы видите, какъ близко къ сердцу принималъ поэтъ даже такіе отдаленные отъ поэзіи вопросы, какъ положеніе русскихъ инородцевъ. Нынѣшніе разнѣженные, изнеможенные поэты сочли-бы ужасомъ дотронуться до столь прозаической вещи: что́ для нихъ исторія, историческая справедливость, народное достоинство? Что для нихъ страданія народныя? Совсѣмъ что-то ненужное, неинтересное, «пошлое»...

Но поэты шестидесятыхъ годовъ были иного склада: они—даже такими аристократами, какъ А. Толстой, даже въ придворномъ званіи, способны были «броситься и кататься по землѣ отъ отчаянья» при видѣ торжества грубости нашей, нашей все еще монгольской жестокости въ отношеніи къ ближайшимъ братьямъ и даже къ самимъ себѣ...

Любовь къ *народному* достоинству составляетъ самую рельефную черту поэзіи гр. А. Толстого. Онъ не демагогъ, онъ ненавидитъ «красныхъ», онъ монархистъ — и

ужь, конечно, честный монархисть, не торгующій, какъ иные наши *исты* (обоихъ лагерей) своими политическими убѣжденіями,—но онъ въ то-же время народолюбецъ, да еще какой! Одна мысль о народномъ рабствѣ жалитъ его и заставляетъ взвиваться на дыбы, какъ стрѣла нубійца—дикаго льва. Лучшіе звуки сердца онъ посвятилъ когда-то бывшей, легендарной, но общенародной вольности на зарѣ нашей исторіи, оплакивая гибель ея въ послѣдующія эпохи. Вспомните былины о «Змѣѣ Тугаринѣ», «Потокѣ-богатырѣ» и пр. На пиру Владиміра, окружоннаго богатырями, является татаринъ-пѣвецъ и предсказываетъ, что внуки князя, столь великаго и славнаго, будутъ держать золоченое стремя его, бѣднаго нищаго, внукамъ. Богатыри волнуются, но дерзкій пѣвецъ продолжаетъ:

И честь, государи, замѣнитъ вамъ кнутъ,
А вѣче—каганская воля...
. . . .
Обычай вы нашъ переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вотъ, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И съ честной поссоритесь вы стариной,
И предкамъ великимъ на соромъ,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: станемъ къ варягамъ спиной,
Лицомъ повернемся къ Обдорамъ!

Добрыня узналъ злодѣя-Тугарина и схватилъ свой богатырскій лукъ. Пѣвецъ, какъ вы помните, перекинулся въ змѣя и уплылъ по Днѣпру. Поэтъ заставляетъ хохотать и князя, и богатырей, и весь народъ русскій надъ предсказаньями змѣя:

— Чтобъ мы отъ Тугарина приняли срамъ!
Чтобъ спины подставили мы батогамъ!
Чтобъ мы повернулись къ Обдорамъ!
Нѣтъ, шутишь! Живетъ наша русская Русь,
Татарской намъ Руси не надо!

Такъ восклицаетъ Владиміръ-Солнце и приказываетъ принести большую чару, добытую въ сѣчѣ съ хозарскимъ ханомъ:

— За русскій обычай до дна ее пью,
За древнее русское вѣче!
За вольный, за честный славянскій народъ,
За колоколъ пью Новаграда,
И если онъ даже и въ прахъ упадетъ,
Пусть звонъ его въ сердцѣ потомковъ живетъ!..

Пьетъ Владиміръ за варяговъ, своихъ могучихъ дѣдовъ, «кѣмъ русская сила подъята», — и на этотъ тостъ въ былинѣ отвѣчаетъ тостомъ-же весь народъ кіевскій:

— За князя мы пьемъ.
Да правитъ по-русски онъ русскій народъ,
А хана намъ даромъ не надо!

Въ этой былинѣ вылилось все историческое міросозерцаніе Алексѣя Толстого, все его изболѣвшее скорбью за Россію сердце.

Другая, шуточная былина: Потокъ-богатырь пляшетъ всю ночь на пиру у Владиміра и засыпаетъ на полтытячи лѣтъ. Спитъ и видитъ чудные сны, сначала изъ своего времени, какъ между сѣчами «князь съ боярами судитъ на вѣчѣ», — видитъ вѣжливый, культурный дворъ Владиміра, который, однако, «въ совѣтѣ настойчиво споритъ». Потомъ сонъ переноситъ его на Москву-рѣку, къ терему царевны: та обливаетъ его, кіевскаго кавалера, самою площадною бранью. Дальше видитъ Потокъ:

Ѣдетъ царь на конѣ, въ зипунѣ изъ парчи,
А кругомъ съ топорами идутъ палачи,
Его милость сбираются тѣшить:
Тамъ кого-то рубить или вѣшать.
И во гнѣвѣ за мечъ ухватился Потокъ:
— Что за ханъ на Руси своеволитъ?
Но вдругъ слышитъ слова: — То земной ѣдетъ Богъ'
То отецъ нашъ казнить насъ изволитъ!
И на улицѣ сколько тамъ было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,

Мужики, старики и старухи—
Всѣ предъ нимъ повалились на брюхи.

Вотъ картина, которая преслѣдовала благороднаго нашего поэта, какъ кошмаръ, и которой онъ не могъ простить нашей исторіи до конца дней! Потокъ-богатырь, какъ и Алексѣй Толстой, былъ пораженъ московскою низостью:

— Если князь онъ, или царь напослѣдокъ,
Что-жь метутъ они землю предъ нимъ бородой?
Мы честили князей, да не этакъ!
Да и полно, ужь вправду-ли я на Руси?
Отъ земного насъ бога Господь упаси!
Намъ Писаніемъ велѣно строго
Признавать лишь небеснаго Бога!

Вы, конечно, помните, какъ Потокъ-богатырь попалъ затѣмъ въ слѣдующую, петербургскую эпоху и даже въ 60-е годы, къ тогдашнимъ народникамъ, ученымъ барышнямъ и прогрессистамъ, — помните также его забавныя столкновенія съ ними. Эти столкновенія — несомнѣнно автобіографическаго характера. Къ тогдашнимъ народолюбцамъ Алексѣй Толстой чувствовалъ отвращеніе, и къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы оно было вовсе не заслужено. Искреннихъ, умныхъ, сердечныхъ друзей народа и тогда было очень мало, зато было очень много полуинтеллигентной черни, которая во всякое, самое возвышенное движеніе всегда вноситъ свои грубые инстинкты, эгоизмъ и скудоуміе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что либерализмъ благородныхъ представителей этого движенія погубленъ либерализмомъ низкихъ, низведшихъ его до пошлой и даже гадкой каррикатуры. Движеніе самое высокое изъ всѣхъ возможныхъ, истинный либерализмъ лишь тогда имѣетъ смыслъ и силу, когда онъ нравственно безупреченъ, когда онъ возвышенъ религіозно. Либерализмъ вѣдь есть не только свобода, но и братство, и братство прежде всего. Но тогдашніе либералы (кромѣ немногихъ идеалистовъ) были чужды

братства, ими двигалъ личный эгоизмъ; ненависть къ злу у нихъ переходила въ ненависть къ отдѣльнымъ людямъ и выражалась въ тѣхъ-же недостойныхъ формахъ борьбы, какія практиковалъ и противоположный лагерь. Либералы, носители высшей правды, дробились на мелкія секты, дравшіяся другъ съ другомъ на ножахъ и топтавшія въ грязь знамена одна другой, причемъ не было формулы свободы, которая не была-бы осмѣяна, поругана и проклята друзьями-же свободы. Дѣло доходило до отрицанія нравственнаго закона, до отрицанія самой свободы! Во имя прогресса проповѣдывались дѣянія вродѣ тѣхъ, о которыхъ въ средней Азіи свидѣтельствуютъ пирамиды изъ человѣческихъ череповъ, оставшіяся послѣ Тамерлана. Естественно, что отъ этого содома, будто-бы либеральнаго, тошнило не только честныхъ консерваторовъ (нечестные рукоплескали ему), но и честныхъ либераловъ, вродѣ Тургенева. А графъ Алексѣй Толстой — съ рыцарской стремительностью натуры — особенно не скрывалъ своего презрѣнія къ *такому* прогрессу. Кіевскій богатырь съ удивленіемъ слушаетъ (во снѣ), что

. . . молъ, нѣту души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существуетъ Господь,
То онъ есть только видъ кислорода,
Вся-же суть въ безначальи народа.

Тѣ-же самые люди, что отрицали душу и Бога, требовали отъ Потока поклоненія мужику и даже рабства передъ нимъ:

Знай, что только въ народѣ спасенье!
Но Потокъ говоритъ:—Я вѣдь тоже народъ,
Такъ за что-жь для меня исключенье?
Но къ нему патріотъ:—Ты народъ, да не тотъ,
Править Русью призванъ только черный народъ;
То по старой системѣ всякъ равенъ,
А по нашей лишь онъ полноправенъ!

Подивился еще разъ богатырь кіевскій и подумалъ:

— Вѣдь вчера еще, лежа на брюхѣ, они
Обожали московскаго хана;
А сегодня велятъ мужика обожать.
Мнѣ сдается, такая потребность лежать
То предъ тѣмъ, то предъ этимъ на брюхѣ
На вчерашнемъ основана духѣ.

Этотъ *вчерашній*, московскій, монгольскій духъ, духъ крайняго рабства предъ какою угодно теоріей, отравлялъ дыханіе нашему поэту одинаково—шолъ-ли онъ изъ кухни ретроградовъ или радикаловъ. Богатырь признается, что онъ не знаетъ, «что значитъ какой-то прогрессъ»,

Но до здраваго русскаго вѣча
Вамъ еще, государи, далече!

Я напомнилъ здѣсь эти двѣ извѣстныя былины Алексѣя Толстого потому, что онѣ особенно характеризуютъ его завѣтные идеалы. Обнародованныя письма бросаютъ на нихъ особый свѣтъ. Въ рядѣ другихъ балладъ и историческихъ драмъ звучитъ та-же мысль: о прекрасномъ началѣ нашей исторіи и напрасной гибели древней народной культуры. Ненавидя татарскую и московскую эпоху, Алексѣй Толстой отрицательно относится и къ петровской реформѣ (См. «Государь ты, нашъ батюшка» и пр.). Послѣдній царь московскій «палкою» заваривалъ свою кашу и вышла она «крутенька». Въ сущности петербургскій періодъ (до императора Александра II) явился не отрицаніемъ Москвы, а ея—хоть и не прямымъ—продолженіемъ, какъ Москва — своего рода продолженіемъ Золотой Орды. Вспомните въ петербургскомъ періодѣ времена Бирона и Аракчеева. Послѣдняго Алексѣй Толстой могъ еще хорошо помнить. Даже сравнительно гуманное время его царственнаго друга дѣтства, какъ видно изъ перваго приведеннаго письма, не вызывало въ поэтѣ полнаго сочувствія—иначе, нѣтъ сомнѣнія, онъ, какъ кіевскій богатырь, отдалъ-бы всѣ свои огромныя силы на службу новому Владиміру. Нѣтъ, онъ чувствовалъ, что «поворотъ къ Обдорамъ» все еще не

совсѣмъ кончился и (въ «Потокѣ-богатырѣ») предсказываетъ еще лѣтъ двѣсти его господства. Онъ это чувствовалъ и страдалъ до охоты «броситься и кататься по землѣ отъ отчаянія».

IX.

Глубокій интересъ къ русской исторіи — отличительная черта поэзіи гр. Алексѣя Толстого. Ни одинъ изъ второстепенныхъ нашихъ поэтовъ не тяготѣлъ такъ страстно въ туманную даль нашей старины, не волновался роковою загадкою о судьбѣ родины. Второстепенные поэты наши (Фетъ — Некрасовъ) отличались или безпечностью своего настроенія или ужь крайнею односторонностью его. О третьестепенныхъ и говорить нечего, — это грубѣйшіе эгоисты, вниманіе которыхъ не выходитъ изъ границъ собственной персоны. Только у Пушкина и Лермонтова замѣтно настоящее чувство народности, искренній интересъ къ старинѣ и исторіи. По «Пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ», по «Борису Годунову» можно судить, что дали-бы эти могучіе таланты, проживи они дольше. Пушкинъ все-таки успѣлъ оставить и образцовый историческій романъ, и образцовую (въ отдѣльныхъ сценахъ) историческую драму, и рядъ чудесныхъ, хотя и не изъ русской жизни набросковъ историческихъ балладъ, и рядъ превосходныхъ народныхъ сказокъ. Менѣе удачны его историческія поэмы, написанныя въ чуждомъ для Пушкина родѣ. Гр. Алексѣй Толстой примыкаетъ въ этомъ отношеніи къ великимъ нашимъ поэтамъ: не равняясь, конечно, съ ними талантомъ, онъ почти не уступаетъ имъ въ чувствѣ народности и, можетъ быть, даже превосходитъ ихъ въ высотѣ настроенія. Пушкинъ любилъ исторію какъ художникъ, насыщая свое воображеніе богатствомъ и разнообразіемъ формъ жизни, скопленныхъ въ вѣкахъ; онъ любовался ими и срисовывалъ ихъ съ тѣмъ-же удовольствіемъ какъ и чужую, иностранную старину. Великимъ

поэтомъ двигало любопытство, и читатель выноситъ изъ его твореній удовлетворенное историческое любопытство. Нето Алексѣй Толстой: онъ къ старинѣ относился какъ къ живой современности, съ пылкою заинтересованностью, съ осужденіемъ или восторгомъ. Это не тенденція, отъ которой онъ открещивался, — это — нравственная впечатлительность. Ему не все равно, тиранъ былъ Грозный или нѣтъ, благородны были нравы бояръ, или низки. Алексѣй Толстой самъ признается (въ предисловіи къ «Князю Серебряному»), что при чтеніи источниковъ о царствованіи Ивана Грознаго «книга не разъ выпадала у него изъ рукъ и онъ бросалъ перо въ негодованіи, — не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія». Это «тяжелое чувство», говоритъ Алексѣй Толстой, «постоянно мѣшало необходимой объективности его труда и было причиной того, что романъ писался болѣе десяти лѣтъ». Видите, какъ горячо къ сердцу онъ принималъ всѣ эти стародавніе ужасы. Свой страшный романъ онъ не можетъ, при всемъ стараніи, кончить «эпически»: онъ заканчиваетъ его молитвой, «чтобы Богъ помогъ намъ изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію!» Великодушный поэтъ приглашаетъ простить грѣшную тѣнь царя Іоанна, «ибо не онъ одинъ создалъ свой произволъ, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай»... Сама «земля, упавшая такъ низко, что могла смотрѣть на нихъ безъ негодованія, создала и усовершенствовала Іоанна, подобно тому какъ раболѣпные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ». Съ высокимъ паѳосомъ поэтъ благословляетъ тѣхъ немногихъ, которые, подобно Василію Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному,

имѣли мужество отстаивать правду предъ лицомъ Грознаго «Ибо тяжело, пишетъ онъ, не упасть въ такое время, когда всѣ понятія извращаются, когда низость называется добродѣтелью, предательство входитъ въ законъ, а самая честь и человѣческое достоинство почитаются преступнымъ нарушеніемъ долга!»

Конецъ этотъ въ художественномъ отношеніи — совершенный кляксъ: подвести мораль къ роману съ тою-же наивностью, какъ подводили ее къ своимъ баснямъ прежніе баснописцы — значитъ испортить впечатлѣніе всего разсказа. И ужь, конечно, какъ художникъ, Алексѣй Толстой зналъ, что это не эпическій пріемъ, но не выдержалъ, не могъ выдержать: не успѣлъ замолкнуть въ немъ художникъ, какъ закричалъ человѣкъ, взволнованный и негодующій. Поэтъ приглашаетъ читателей «простить грѣшную тѣнь Ивана Васильевича», но самъ, очевидно, не можетъ ей простить; это свыше его человѣческихъ силъ! Въ посвященіи романа императрицѣ Маріи Александровнѣ, Алексѣй Толстой опять волнуется и со всею страстностью подчеркиваетъ для Высочайшаго вниманія то, что двигало имъ въ работѣ. Все посвященіе состоитъ изъ четырехъ строкъ: «Имя Вашего Величества, пишетъ онъ, — которое Вы позволили мнѣ поставить во главѣ повѣсти временъ Іоанна Грознаго, есть лучшее ручательство, что непроходимая бездна отдѣляетъ темныя явленія нашего минувшаго отъ духа свѣтлаго настоящей поры». Замѣтьте, какая гипербола — «непроходимая бездна». Вы чувствуете, что бѣдный поэтъ не совсѣмъ вѣритъ въ «непроходимую бездну», хотя и жаждетъ ея всѣми силами изстрадавшейся души. Вы ясно видите, какъ, покатавшись по землѣ съ отчаянія, онъ вскакиваетъ на крыши и готовъ кричать противъ всякой татарщины всенародно, на весь міръ! Но татарщина, однако, вѣдь исчезла: всѣ эти ужасы и низости были три вѣка тому назадъ. Чего-же волноваться? Пушкинъ не волнуется. Онъ только художникъ, какъ Гете, — Алексѣй

же Толстой не только художникъ, а и проповѣдникъ. Онъ нравственно *оскорбленъ* исторіей и мучится этимъ оскорбленіемъ. Онъ болѣе сродни Лермонтову, въ «Иванѣ Калашниковѣ» котораго чувствуется это, хотя крайне затаенное, но жгучее чувство нравственнаго оскорбленія (въ отвѣтѣ купца опричнику и въ драмѣ всего событія). Пушкинъ не былъ оскорбленъ, напротивъ: московская старина ему въ общемъ нравилась; онъ очень гордился, что его предки участвовали въ эпохѣ Іоанновъ; Ивана Грознаго онъ называетъ съ чувствомъ нѣкотораго любованія имъ — «гнѣвъ вѣнчанный». Пушкинъ очень высоко ставилъ исторію Карамзина, т.-е. панегирикъ Московской Руси. Отношеніе къ нашей исторіи у Пушкина было политическое, — у Алексѣя Толстого нравственное.

Для Пушкина (какъ и Карамзина) высшимъ критеріемъ въ исторіи была внѣшняя *сила* государства, грубая, побѣждающая сила: отсюда преклоненіе его предъ Петромъ Великимъ и даже Наполеономъ, благоговѣніе у гробницы Кутузова и т. д. Гр. Алексѣй Толстой ближе къ нашему времени: у него историческій критерій—сила не внѣшняя, а внутренняя—*правда*, человѣческое достоинство, гражданскій духъ. Этотъ нравственный критерій—явленіе совершенно новое и весьма еще непрочное въ нашемъ обществѣ. Алексѣй Толстой, современникъ поэтовъ славянофиловъ, первый изъ нихъ выдвинулъ нравственный взглядъ на исторію—чѣмъ всего рѣзче онъ отъ нихъ и отличается. Тѣ были заражены подчасъ крайне эгоистическимъ патріотизмомъ и ради невѣрныхъ соображеній о внѣшней силѣ и величіи государства охотно жертвовали народною свободой, человѣческимъ достоинствомъ, благородствомъ жизни, лишь-бы только «наша взяла». Они—хорошіе московскіе бояре,—онъ—рыцарь въ душѣ и преисполненъ чести. Онъ не выноситъ насилія съ одной стороны и холопства съ другой; нечестная побѣда ему противна. Нѣтъ сомнѣнія, что живи онъ при дворѣ

Ивана Грознаго, онъ кончилъ-бы какъ князь Михайло Репнинъ: низачто въ свѣтѣ онъ не унизился-бы, не надѣлъ-бы маски, чтобы быть шутомъ у свирѣпаго царя. А можетъ быть, какъ Курбскій, онъ повелъ-бы даже литовскіе полки противъ своего-же отечества. По рыцарскимъ понятіямъ оскорбленіе достоинства снимало долгъ вѣрности сюзерену. До эпохи Грознаго, пока еще тлѣла искра рыцарства среди дружинниковъ и бояръ, практиковалось право «отъѣзда», но уже въ XV вѣкѣ, съ освобожденіемъ отъ татаръ, нравы дотого испортились, что русское рыцарство почти сплошь превратилось въ челядь московскихъ «хановъ», какъ звалъ ихъ Алексѣй Толстой.

X.

Нравственное отношеніе къ исторіи и судьбѣ народной заставило нашего поэта отречься и отъ прошлаго, и отъ современнаго ему настоящаго, которое во многомъ еще было омрачено вліяніями прошлаго. Онъ остался внѣ прямого участія въ жизни, въ роли простого поэта, подающаго голосъ изъ черниговскаго захолустья. Большой соблазнъ для него было примкнуть къ тогдашнимъ отрицателямъ-революціонерамъ,—нѣкоторые вожди послѣднихъ тоже вышли изъ аристократіи,—но гр. Алексѣй Толстой былъ слишкомъ оригиналенъ и свободолюбивъ, чтобы отдаться чужой и притомъ насильственной теоріи. Радикализмъ казался ему новымъ рабствомъ, въ стремленіи «похѣрить все, что нельзя ни взвѣсить, ни смѣрить» онъ чувствовалъ московскую, ненавистную ему жестокость. Подобно Льву Толстому Алексѣй Толстой самостоятельно искалъ своего идеала свободы. Онъ нашолъ его для многихъ неожиданно—не впереди исторіи, а позади ея, въ удѣльно-вѣчевомъ складѣ жизни. Новгородская и Кіевская Русь, монархія, основанная на вѣчѣ, казалась ему верхомъ мудрости, достоинства и справедливости, естественною системой, обезпечивавшей и порядокъ, и счастье.

Въ каждомъ большомъ городѣ свой колоколъ и свой князь, и затѣмъ объединяющая связь независимыхъ и свободныхъ клѣточекъ одного и того-же огромнаго племени, въ случаѣ нужды помогавшихъ другъ другу, какъ Псковъ своему «старшему брату» Новгороду. Алексѣй Толстой не признавалъ, какъ многіе, что этотъ типъ государственной жизни—зародышевый и что онъ непригоденъ для высшей культуры Онъ считалъ его, повидимому, такимъ-же законченнымъ и жизнеспособнымъ, какъ и всякій иной типъ, только менѣе грубымъ и потому болѣе хрупкимъ. Ему казалось, что только въ мелкихъ областныхъ единицахъ народъ можетъ быть дѣйствительно свободенъ, и только въ нихъ можетъ проявить все свое культурное творчество. Доказательство этого ему могла дать древняя раздробленная Эллада, давшая столь высокую культуру, раздробленная Италія эпохи Возрожденія, разъединенная Германія временъ Шиллера и Гете или существующія доселѣ федеративныя государства. Не найди на насъ туча монгольская, по мнѣнію Толстого,—Москва не возобладала бы, не было-бы внутренней тираніи XV—XVII вѣковъ, восторжествовали-бы начала кіевскія и новгородскія. Правъ-ли въ этомъ идиллическомъ взгля- Алексѣй Толстой—мы разсматривать не будемъ; романтизмъ его не шолъ, конечно, далѣе одной теоріи, и онъ едва-ли мечталъ о дѣйствительномъ возстановленіи когда-нибудь древнихъ порядковъ. Но о чемъ онъ страстно мечталъ и проповѣдывалъ—это о возстановленіи благородства отношеній между государствомъ и личностью. Для этого было еще недостаточно освобожденія крестьянъ изъ рабства, необходимъ былъ рядъ дальнѣйшихъ возстановленій вчерашняго раба на степень гражданина.

XI.

Алексѣй Толстой, мнѣ кажется, изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ можетъ быть названъ художникомъ русскаго

возрожденія. Русское Возрожденіе! Была-ли у насъ такая эпоха? Несомнѣнно, и даже болѣе того: она еще продолжается. На призывъ Петра Россія, говоритъ одинъ мыслитель нашъ, «отвѣтила огромнымъ явленіемъ Пушкина». Въ самомъ дѣлѣ: послѣ скудныхъ зародышей культуры въ эпоху Екатерины, стремительный, почти внезапный расцвѣтъ русскаго генія въ эпоху Николая I—что это, какъ не возрожденіе послѣ безпросвѣтныхъ нашихъ «среднихъ вѣковъ»? — Но, скажутъ, на русской почвѣ не было античной цивилизаціи, какъ въ Италіи XV вѣка, такъ-что и возрождаться было нечему. На это я замѣчу, что вѣдь и въ Англіи, и въ Германіи не было античной культуры, а эпоха Возрожденія была. Мы съ нашею неудачной исторіей и столь-же неудачной географіей стояли всегда въ сторонѣ отъ міровыхъ движеній и подошли къ эпохѣ Возрожденія «съ опозданіемъ» на два вѣка... Но все-таки подошли къ ней, этого отрицать нельзя. Кромѣ античной цивилизаціи, для нашего Возрожденія явилась и новѣйшая европейская, заслонившая первую: эта европейская цивилизація, какъ современная намъ, отнимаетъ у нашего расцвѣта видъ возрожденія, но въ сущности мы переживаемъ именно тотъ культурный процессъ, какой пережили западные народы въ XV—XVI столѣтіи, хотя—увы,—съ меньшею пылкостью, чѣмъ они, съ меньшею яркостью генія.

Нынѣшнее время есть эпоха «русскаго Возрожденія» не только по внутреннему процессу раскрытія народнаго духа. Она во многомъ есть дѣйствительное *возрожденіе*, возстановленіе древней, античной нашей культуры. Честь указать на эту культуру принадлежитъ болѣе всѣхъ гр. Алексѣю Толстому. Романтикъ древне-русской, удѣльно-вѣчевой Руси, онъ одушевленнѣе всѣхъ провозгласилъ, что у насъ была своя античная культура—не въ наукахъ, не въ философіи, не въ искусствахъ, но въ формахъ общественной жизни, въ сравнительно высокомъ достоинствѣ народномъ, въ благообразіи нравовъ,

въ свободѣ и гуманности. Все это, какъ хотите, плоды культуры и не менѣе цѣнные, чѣмъ физика Аристотеля и торсы Праксителя. Алексѣй Толстой провозгласилъ, что эта наша собственная античная культура, подобно греко-римской, смытой переселеніемъ варваровъ, была затоплена татарскимъ нашествіемъ и смѣнилась мрачнымъ, жестокимъ средневѣковьемъ Московскаго царства. Тогда древніе идеалы наши были забыты, утонченныя пріобрѣтенія духовной культуры были утрачены, вмѣсто свободы гражданской водворилась самая грубая тиранія, какая извѣстна на европейскомъ материкѣ, и жизнь народная погрузилась въ дремучее варварство. Алексѣй Толстой, наконецъ, если не раньше всѣхъ, то вдохновеннѣе всѣхъ провозгласилъ, что это темное время заслуживаетъ ужаса и омерзенія, что необходимо отречься отъ всѣхъ его доселѣ дѣйствующихъ мрачныхъ вліяній, что пора возстановлять утраченные, драгоцѣнные дары нашей древней культуры. Все это, какъ мнѣ кажется, очень ясно и громко высказано и въ лирикѣ, и эпосѣ и драмѣ Толстого. Что такое самъ онъ какъ не возрожденный въ условіяхъ современности древній богатырь временъ Владиміра? Что-бы оставалось Потокубогатырю дѣлать среди насъ, явись онъ теперь, какъ не напоминать о дѣлахъ давно минувшихъ дней, преданьяхъ старины глубокой?

Къ сожалѣнію, литературный талантъ Алексѣя Толстого не достигалъ геніальности: это былъ проповѣдникъ прекрасныхъ истинъ, но безъ дара чудесъ: мертвыхъ онъ не воскрешалъ, слѣпымъ не давалъ зрѣнія. Но все-же это былъ талантъ мощный и сродни пророкамъ, все-же онъ останется звучать въ русской жизни, пока жива будетъ русская литература. И не его вина, если его призывъ къ возрожденію не былъ принятъ въ обществѣ съ тѣмъ-же одушевленіемъ, съ какимъ былъ сдѣланъ: вѣдь это не первый голосъ, вопіющій въ пустынѣ! Но если въ этой пустынѣ появятся наконецъ люди,

имѣющіе уши,—они услышатъ этотъ въ своемъ родѣ трубный, «мажорный» (по собственному опредѣленію А. Толстого) призывъ, и онъ скажетъ душѣ ихъ то, что, можетъ быть, не дастъ иной и геній. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не великая это задача жизни—возстановленіе истинныхъ основъ ея? Развѣ не нуждаемся мы—стомилліонная народная масса—въ возвращеніи намъ самосознанія, достойнаго великаго народа? Этого самосознанія у насъ теперь нѣтъ въ сколько-нибудь опредѣленной степени. Еще горсточка интеллигенціи вкривь и вкось разсуждаетъ «объ общественныхъ вопросахъ» (называя этимъ словомъ даже такія вещи, какъ дешевый кредитъ, желѣзнодорожные тарифы и пр.), вся-же толща націи, переберите ее по одному человѣку, не думаетъ ни о судьбѣ родины, ни о высшемъ законѣ, который долженъ быть у каждаго народа, какъ и у отдѣльной личности, ни объ историческомъ призваніи своемъ, ни объ осуществленіи правды въ жизни—единственной цѣли, оправдывающей народное существованіе. Народъ, слишкомъ приниженный, обо всѣхъ этихъ вещахъ не думаетъ уже многіе вѣка, и потому правды и нѣтъ въ жизни, а она—утверждаетъ А. Толстой—была, когда народъ думалъ о ней: была въ несравненно большей степени, чѣмъ въ послѣдующіе вѣка.

XII.

Всякое возрожденіе начинается съ самосознанія. «Кто мы? Гдѣ мы? Откуда мы? Для чего мы?»—рядомъ такихъ торжественныхъ вопросовъ начиналъ, какъ говорятъ, Погодинъ свой курсъ русской исторіи,—и слушатели тотчасъ-же приподнимались на высоту серьезнаго и важнаго настроенія. Раздробленная на безконечныя мелочи будней душа собирается и устремляетъ вниманіе на дотого не замѣчаемое великое общее, не замѣчаемое именно по великости своей. Бродя постоянно среди отдѣльныхъ людей, мы очень рѣдко воспринимаемъ идею общества, чего-

то огромнаго, всѣхъ насъ охватывающаго, живущаго и пользующагося нами, какъ матеріаломъ для своей жизни. Мы обыкновенно смутно догадываемся объ истинномъ существѣ государства и человѣчества, ежемгновенно направляющаго нашу маленькую особь къ какимъ-то цѣлямъ, спасительнымъ или гибельнымъ для насъ. Указать на это необъятное цѣлое и связать съ нимъ мысль слушателя—крайне важное дѣло, и въ иныя времена даже самое важное изъ всѣхъ. «Кто мы? Для чего мы»?—эти вопросы мучили до отчаянія Алексѣя Толстого—и не напрасно.—Великій-ли мы народъ или простая орда, принадлежимъ-ли мы къ благородной европейской расѣ, одарены-ли мы вмѣстѣ съ нею задатками истинной, гуманной цивилизаціи,—или мы племя рабовъ, обреченное «на подстилку» для великихъ племенъ? Нашъ рыцарственный поэтъ, носившій въ сердцѣ какъ-бы всю совѣсть своего народа, стыдившійся за него предъ человѣчествомъ, не напрасно отчаявался надъ этими вопросами.—Мы не монголы! кричалъ онъ неистово изъ своей черниговской деревни, но этотъ крикъ не могъ-же заглушить напримѣръ свиста розогъ, ложившихся на тѣло окружавшихъ его «арійцевъ»... Какой позоръ! Отъ него, по взгляду А. Толстого, должны-бы переворачиваться всѣ славянскія кости въ гробу. Да, и—сказать кстати—прошло уже двадцать лѣтъ со смерти поэта, а этотъ взятый у татаръ обычай нетолько еще не вышелъ у насъ изъ употребленія, но даже находитъ ревностныхъ защитниковъ, и даже среди писателей, даже среди аристократовъ (по плоти, конечно, а не по духу)! Вы видите, какъ еще нужна до сихъ поръ проповѣдь о человѣческомъ достоинствѣ, и какъ недалеко еще мы ушли въ своемъ Возрожденіи! Если считать со временъ гр. Алексѣя Толстого, то мы, пожалуй, отступили даже назадъ.

Отступили—но я увѣренъ, что скоро намъ неизбѣжно придется наверстывать упущенное. Жизнь не стоитъ на мѣстѣ—особенно жизнь Запада. Она движется съ небы-

валою быстротою и побѣждаетъ настолько нашу инерцію, но даже косность языческихъ, азіатскихъ странъ. Россія—и Европа, наводняющая собою міръ, вышедшая изъ береговъ, Россія—и Азія, застоявшееся, гніющее болото. Куда примкнуть? Мы—100 милліонное славянорусское племя—стоимъ между 400-милліоннымъ высоко-культурнымъ христіанствомъ Запада (считая и Америку) и 400-милліоннымъ высоко-культурнымъ-же, но остановившимся язычествомъ. Чья судьба намъ больше по душѣ? Гдѣ больше достоинства и красоты жизни?

Наше возрожденье, мнѣ кажется, фактъ неотвратимый. Противъ воли своей, какъ и другія страны Востока, мы уже увлечены всемірнымъ потопомъ цивилизаціи и двинуты въ общее теченіе ея. Посмотрите, какъ Европа охватываетъ насъ со всѣхъ сторонъ, подбираясь неожиданно къ нашей косности изъ тѣхъ странъ, гдѣ мы считали себя на вѣки обезпеченными: изъ-за Камчатки (черезъ вооруженную Европейской наукой Японію), изъ-за песчаныхъ пустынь Средней Азіи (чрезъ Афганистанъ). Форпосты цивилизаціи надвигаются на насъ со всѣхъ сторонъ, и изъ простого чувства самосохраненія мы должны усвоить то-же оружіе. Я говорю, конечно, не о военномъ оружіи: кромѣ кровавой борьбы, существуетъ менѣе изнурительная мирная борьба экономическая, наконецъ—борьба нравственная. Въ самомъ дѣлѣ, обидно быть вѣчными данниками Запада въ матеріальномъ отношеніи, расплачиваться народною энергіею за недостатокъ просвѣщенія. Обидно быть работниками Европы,—но еще обиднѣе чувствовать себя и *нравственно* слабѣе ея, уступать ей въ справедливости и достоинствѣ жизни. Это сознаніе парализуетъ духовное творчество нашего общества, лишаетъ его радости существованія. Пока мы искренно не повернемся «лицомъ къ варягамъ», пока не признаемъ себя, какъ мечталъ Алексѣй Толстой, кровными европейцами, пока не почувствуемъ, что начала гуманности—наши родныя начала, до тѣхъ поръ и мате-

ріально, и духовно мы будемъ въ подчиненіи у Запада, въ роли варваровъ, которыхъ боятся, но презираютъ. Хорошо не знать этого презрѣнія, но знать его—и чувствовать, какъ Алексѣй Толстой, что оно заслужено... Это тяжелое страданіе.

Художественная проповѣдь.

(XI томъ сочиненій Н. С. Лѣскова).

I.

Въ русской литературной семьѣ уже немного осталось художниковъ «золотого вѣка», сверстниковъ Достоевскаго, Тургенева, Гончарова, — дотого немного, что самое присутствіе ихъ среди нахлынувшей молодежи кажется чѣмъ-то необычнымъ, почти мистическимъ. Какъ въ чудесной элегіи Пушкина, эти старцы могутъ на закатѣ дней, приглядываясь къ новому, шумно выступающему на сцену поколѣнію, съ грустью промолвить: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!.. Не я увижу твой могучій, поздній возрастъ...» Странно какъ-то и грустно видѣть старому писателю загадочную, еще безымянную толпу молодежи, лѣзущую въ храмъ литературы, но не менѣе странно и удивительно видѣть и этой безымянной молодежи живыя, но уже вошедшія въ исторію имена, отягощенныя извѣстностью, имена, съ которыми связаны литературныя эпохи и перевороты, на которыя время уже успѣло набросить свою романтическую дымку. Такіе писатели-старцы необыкновенно интересны и присутствіе ихъ въ молодомъ обществѣ неоцѣнимо. Живые люди, они уже превратились въ миѳологическія существа; уроженцы иного вѣка, иного поколѣнія, они говорятъ какъ-бы изъ-за предѣловъ времени, изъ глуби-

ны прошлаго, изъ той для всякаго плѣнительной и сказочной поры, когда живы были отцы и дѣды, когда вмѣстѣ съ нами начинался міръ. Но цѣнить старость, даже заслуженную старость, мы не умѣемъ; писатели весьма выдающіеся, замѣчательные и даже великіе у насъ часто выходятъ изъ моды, заживо забываются, какъ Гончаровъ въ послѣдніе годы или Тургеневъ. Вообще мы скупы на уваженіе: не будучи въ состояніи прочувствовать большой талантъ, принять въ себя вѣющую отъ него благодать, мы до тѣхъ поръ лишь помнимъ писателя, пока про него жужжатъ намъ критики и рецензенты. Вслѣдъ за ними мы въ состояніи восхититься бездарностью или поставить сапоги выше Шекспира. Вотъ именно такою жертвою забвенія является и Н. С. Лѣсковъ, одинъ изъ крупныхъ представителей старой школы.

Собраніе его сочиненій—цѣлый курсъ для изученія русской жизни, яркая лѣтопись одной изъ самыхъ памятныхъ эпохъ нашего быта. Столь цѣнный и крупный вкладъ въ литературу обязываетъ пользоваться имъ и критику, и читателей. Здѣсь я не буду говорить о его лучшихъ романахъ и давать подробную характеристику этого выдающагося таланта. Какъ ни пріятна была-бы такая работа, я не подготовленъ къ ней. Я хочу лишь обратить вниманіе читателя только на XI томъ Лѣскова, ограничившись лишь нѣсколькими типическими чертами его дарованія.

II.

И друзья, и враги Лѣскова признаютъ, что онъ стоитъ особнякомъ въ литературѣ, что если онъ не создалъ своей школы, то и самъ ни къ какой не примкнулъ. Почти на каждомъ изъ нашихъ романистовъ вы сейчасъ-же увидите или гоголевское, или тургеневское, или толстовское происхожденіе; второстепенные таланты безсознательно копируютъ болѣе сильные, перенимая то, что доступно

подражанію—внѣшнія черты. Нето Лѣсковъ: литературныя школы не наложили на немъ рѣзкаго отпечатка. Самобытный талантъ всегда выноситъ самъ изъ своей жизни, изъ непрерывнаго общенія съ людьми и природой, огромный запасъ и знанія, и развитія, и свѣжихъ чувствъ. Какъ дикій дубъ среди культурныхъ, изнѣженныхъ яблонь, рождается какъ-то самъ, изъ случайно занесеннаго въ садъ жолудя, оригинальный талантъ ростетъ безъ всякаго ухода и выростаетъ богатыремъ. Оригинальность — первый признакъ таланта, и даже великаго таланта, но лишь при условіи, если оригинальность *естественна*: только тогда она искренна и полна правды. Н. С. Лѣсковъ обладаетъ избыткомъ оригинальности, но не совсѣмъ естественной, переходящей въ причудливость. На творчествѣ этого беллетриста лежитъ какъ-бы печать ранняго Возрожденія, избытка бьющей силы при невозможности овладѣть ею. Типы его излишне выпуклы и рѣзки, языкъ излишне мѣтокъ и колоритенъ; это, чисто русскій языкъ, но ужь слишкомъ пересыщенный русской солью, отягощенный курьезами, обиліе которыхъ подавляетъ. Неправильная, пестрая, антикварная манера дѣлаетъ книги Лѣскова музеемъ всевозможныхъ говоровъ; вы слышите въ нихъ языкъ деревенскихъ поповъ, чиновниковъ, начетчиковъ, языкъ богослужебный, сказочный, лѣтописный, тяжебный, салонный,—тутъ встрѣчаются всѣ стихіи великаго океана русской рѣчи. Языкъ Лѣскова, пока къ нему не привыкнешь, кажется искусственнымъ и пестрымъ. Какъ нѣкогда венеціанцы, дѣлая набѣги на Востокъ, отовсюду привозили что-нибудь для своего собора св. Марка: то коринѳскую колонну, то мѣдныхъ львовъ изъ Пирея, то обелискъ изъ Египта, то фризъ изъ аѳинскаго акрополя, и какъ они, вводя постепенно всѣ эти драгоцѣнности въ составъ зданія, построили фантастическій, странный, безстильный, почти безформенный соборъ и въ то-же время своеобразный и красивый—такъ и Лѣсковъ въ постройкѣ своего языка: онъ

обобралъ, кажется, всѣ сокровищницы и кладовыя русской рѣчи. Стиль его неправиленъ, но богатъ и даже страдаетъ порокомъ богатства: пресыщенностью. Въ немъ нѣтъ строгой, почти религіозной простоты стиля Лермонтова и Пушкина, у которыхъ языкъ нашъ принялъ истинно классическія, вѣчныя формы, въ немъ нѣтъ изящной и утонченной простоты гончаровскаго и тургеневскаго письма, нѣтъ задушевной, житейской простоты языка Толстого,—языкъ Лѣскова рѣдко простъ; въ большинствѣ случаевъ онъ очень сложенъ, хотя иногда красивъ и пышенъ. Есть любители языка *коллекціонеры:* какъ коллекціонеры картинъ, бронзы и т. п., они не столько дорожатъ красотою слога, сколько его рѣдкостностью; чѣмъ вычурнѣе словцо, чѣмъ пестрѣе фраза, тѣмъ они имъ милѣе. Таковъ Лѣсковъ какъ любитель языка, и подобные ему любители могутъ учиться у него, набирать въ немъ цѣлые словари. Въ особенности характерны въ этомъ отношеніи народные и бытовые разсказы Лѣскова, выдержанные въ строго-народномъ, сказочномъ стилѣ. На нихъ особенно рѣзко видно, что кропотливая, *ученая* такъ-сказать, близость къ этому стилю излишня. Н. С. Лѣсковъ превосходно знакомъ и съ архитектурою, и съ скульптурою русской народной рѣчи; онъ знаетъ всевозможные мотивы ея, говоры и нарѣчія, но когда начнетъ самъ строить что-нибудь въ народномъ духѣ, то у него выходитъ какъ у талантливыхъ архитекторовъ съ русскимъ стилемъ: постройка выходитъ черезчуръ пышная, необыкновенно причудливая и богатая; простая русская изба просто тонетъ въ ажурной рѣзьбѣ, перилахъ, гребняхъ, пѣтухахъ, ставняхъ, вышкахъ, теремахъ и т. п. Получается нѣчто яркое, фантастическое и красивое, но уже какъ-бы не совсѣмъ русское: настоящая крестьянская изба съ соломенною крышей и бѣдными, еле тронутыми рѣзьбой ставнями, роднѣе русскому глазу. Всякій подлинный стиль во всѣхъ искусствахъ долженъ быть простъ и даже бѣденъ формами, такъ-

какъ излишнее богатство ихъ заслоняетъ основной типъ постройки. Въ этомъ отношеніи народныя сказки Пушкина или лермонтовская «Пѣсня про купца Калашникова», мнѣ кажется, должны служить образцомъ строгой художественности народнаго языка.

III.

Я съ умысломъ остановился прежде всего на языкѣ Лѣскова. Если правда, что le style—c'est l'homme, то тѣмъ болѣе это вѣрно для писателя. Языкъ нетолько «орудіе мысли», языкъ есть неотдѣлимая отъ нея форма, обнаруживающая всю жизнь разума, всю игру представленія. Ужь если по почерку узнаютъ характеръ человѣка, то по стилю—и подавно. Въ высшей степени своеобразный языкъ Лѣскова соотвѣтствуетъ оригинальности содержанія. Въ художественномъ матеріалѣ Лѣскова, въ подборѣ типовъ и картинъ, въ ходѣ фабулы всегда замѣчаются тѣ-же наклонности автора, какъ и въ языкѣ. И здѣсь то-же стремленіе къ яркому, выпуклому, причудливому, рѣзкому—иногда до чрезмѣрности, до разложенія описываемой картины. Удивительная наблюдательность и острая память художника въ Лѣсковѣ постоянно граничатъ съ инстинктомъ ученаго коллекціонера. Каждое его произведеніе приподнимаетъ уголъ завѣсы надъ тою или иною стороною русской жизни, и эта жизнь всегда показывается въ ея доподлинномъ затрапезномъ видѣ, съ характерными мелочами, требовавшими нетолько наблюденія, но и изученія. Подобно Флоберу, Лѣсковъ хочетъ знать весь бытъ и всю обстановку своихъ героевъ до послѣдней черточки, стремится вооружить себя всѣми красками, всѣми средствами для своей живописи, и подобно Флоберу, погружаясь въ матеріалъ для изученія, иногда теряется въ немъ, и цѣли начинаютъ исчезать въ средствахъ. Сочиненія Лѣскова похожи на окна съ фигурными и цвѣтными стеклами: видимый сквозь нихъ міръ

окрашенъ не совсѣмъ такъ, какъ въ дѣйствительности, а ярче и фантастичнѣе и очертанія его невсегда правильны. Какъ Фетъ въ поэзіи, Лѣсковъ въ беллетристикѣ достигаетъ своихъ эффектовъ иногда странными отступленіями отъ дѣйствительности, особенно рѣзко подчеркивающими самую дѣйствительность. Впрочемъ, у Лѣскова нѣтъ одной, опредѣленной манеры письма; всѣ стили и пошибы ему извѣстны. Какъ писатель-техникъ, онъ удивительно образованъ, но образованность его *замѣтна*: признакъ того, что она плодъ болѣе науки, чѣмъ искусства. Разносторонность Лѣскова отвѣчаетъ богатству его творчества. Сатирикъ попреимуществу, онъ большой мастеръ и въ идилліи; едва-ли у кого-нибудь, кромѣ развѣ Щедрина, встрѣчаются столь пошлые, столь уродливые типы, но съ другой стороны припомните хотя-бы протопопа Савелія Туберозова изъ «Соборянъ» или студента Спиридонова изъ «На ножахъ». Самыя крайнія настроенія въ Лѣсковѣ какъ-то загадочно переплетаются: тончайшій, смертельный ядъ злобы въ сатирѣ и нѣжное умиленіе въ идилліи,—трезвый и черствый умъ съ самою страстною фантазіей. Можетъ быть эта-то неумѣренность, ѣдкость и пряность таланта была причиной ненависти, которую питала къ Лѣскову критика прежнихъ лѣтъ. Критика эта была либеральна; она вдохновлена была чувствомъ обновленія, прогресса, освобожденія отъ ветхозавѣтныхъ формъ жизни, она берегла съ страшною ревностью всѣ проблески новизны, она защищала новые типы людей только потому, что они были новы, не разбирая, дурны они или хороши. Какъ матери милъ и дорогъ даже уродливый ребенокъ, критикѣ освободительнаго періода были близки сердцу даже чудовищныя порожденія того времени. Достаточно было казаться непохожимъ на человѣка крѣпостной эпохи, чтобы заслужить одобреніе и критики, и большинства художниковъ. Это теченіе въ литературѣ до такой степени было сильно, что лишь самые независимые таланты были въ силахъ сопро-

тивляться ему. Достоевскій въ «Бѣсахъ», Тургеневъ въ «Отцахъ и дѣтяхъ» и «Дымѣ», Гончаровъ въ «Обрывѣ» нарисовали во весь ростъ весьма распространенный въ эпоху реформъ типъ нигилиста. Даже этимъ писателямъ не было прощено ихъ отрицательное отношеніе къ либеральному, какъ казалось тогда, типу, но что касается Тургенева и Гончарова—нельзя было не видѣть ихъ безпристрастія въ изображеніи нигилизма. Выводя Ситниковыхъ и Кукшиныхъ, Тургеневъ рядомъ ставилъ и внушительную фигуру Базарова; при всей антипатіи къ Волохову, Гончаровъ не могъ не одѣлить его многими хорошими чертами. Достоевскій выступилъ несравненно болѣе рѣзко; онъ осудилъ безпощадно нигилизмъ, но въ приговорѣ его чувствовалась жалость, снисхожденіе къ жертвамъ, въ которыхъ вселились «бѣсы». Лѣсковъ, менѣе уравновѣшенный, чѣмъ названные художники, былъ независимѣе ихъ и безпощаднѣе; ополчившись на нигилизмъ, онъ уже не чувствовалъ къ нему ни капли состраданія, обрушился на него со всею злобою, какая у него нашлась, и смѣшалъ своихъ враговъ съ самою зловонною грязью. Мнѣ кажется, ставить это въ вину Лѣскову ненужно. Какъ сатирикъ, онъ преувеличилъ и долженъ былъ преувеличить уродливыя черты нигилизма; сатира и есть преувеличеніе. Лѣсковъ былъ-бы виновенъ въ томъ лишь случаѣ, еслибы опорочиваемое имъ явленіе жизни было безупречно, но этого сказать нельзя. Нигилизмъ, какъ и всякое общественное настроеніе, выдвигалъ два совершенно различныхъ типа: возвышенный и низменный, смотря по тому, захватывалъ-ли онъ добрую или злую волю. Возвышенный нигилизмъ, какъ онъ выразился въ пессимизмѣ, въ байроновскомъ отрицаніи, въ міровой скорби Фауста — быть можетъ, не совсѣмъ здоровое, но вполнѣ чистое явленіе. Такой нигилизмъ есть тоска по недостижимому идеалу, отверженіе всѣхъ кумировъ во имя Бога и безвыходное отчаяніе въ поискахъ этого Единаго, Вѣчнаго, Сущаго.

Въ этомъ нигилизмѣ, которымъ страдали самыя утонченныя натуры нашего вѣка, стихіей была любовь, стремленіемъ — добро. Нето представлялъ собою низменный нигилизмъ, къ сожалѣнію, нашедшій себѣ слишкомъ благопріятную почву въ нашихъ крѣпостныхъ нравахъ. Онъ былъ торжествомъ зла, почуявшаго свободу, возмущеніемъ укрощеннаго культурою звѣря въ человѣкѣ. Какъ возвышенный нигилизмъ отрицалъ въ сущности только дурное, такъ низменный — только хорошее. Растлѣнные крѣпостнымъ рабствомъ до мозга костей, привыкшіе къ насилію, разврату, паразитизму, грабежу, очень многіе люди той эпохи были нигилистами гораздо ранѣе, чѣмъ явилась эта кличка. Новѣйшіе нигилисты низменнаго, матеріалистическаго типа были столь-же циничны, распутны и жестоки, какъ и ихъ старозавѣтные предки. Это была та-же татарщина, только напялившая на себя фригійскую шапку. Разоблаченіе этого гадкаго перерожденія нашихъ больныхъ нравовъ было необходимо, и Лѣсковъ явился безпощаднѣйшимъ карателемъ этого явленія. Къ сожалѣнію, какъ сатирикъ, онъ не всегда былъ разборчивъ въ борьбѣ, и бичи его Эвменидъ иногда падали на типы смежные, сравнительно, а иногда и вполнѣ невинные. Я думаю, что это вещь неизбѣжная въ такомъ боевомъ дѣлѣ какъ сатира. Трудно сохранить олимпійское безпристрастіе, когда являешься не судьею, а обвинителемъ эпохи, когда чувствуешь обязанность выставить зло жизни во всей его мерзости и поселить къ нему отвращеніе и ужасъ. Тутъ легко впасть въ односторонность и вмѣстѣ съ гадкими чертами осудить и хорошія. Таково свойство сатиры, этого всегда немножко дьявольскаго рода искусства. Критика 60-хъ годовъ не поняла этого; она не могла простить Лѣскову его невольныхъ увлеченій, свойственныхъ природѣ его искусства. Она не простила ему нетолько неправды, но даже и правды, которой онъ много послужилъ.

IV.

Лѣсковъ цѣлою головою выше талантливыхъ, но не оригинальныхъ писателей, вродѣ гг. Григоровича, Боборыкина и т. п.; онъ выше даже Писемскаго въ области жанра и сатиры, хотя и Писемскій былъ безспорнобольшою силой, тоже плохо оцѣненной. Лѣскова историкъ литературы, какъ я думаю, поставитъ въ одинъ рядъ съ Достоевскимъ и Щедринымъ, съ которыми онъ имѣетъ столько родственныхъ чертъ. Всѣ три названные писателя, при наличности большого таланта, отличаются неуравновѣшенностью; они какъ-бы одержимы какимъ-то мятущимся, безпокойнымъ духомъ, или точнѣе—сонмищемъ духовъ, ведущихъ нескончаемую распрю, причемъ то свѣтлыя, то мрачныя силы торжествуютъ. Сравните этихъ писателей съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, этими лириками безмятежной, счастливой красоты. Они спокойны и безстрастны, какъ греческіе боги въ сравненіи съ скандинавскими богами. Достоевскій и Щедринъ—оба, преисполненные любовью, горѣли въ то-же время пламенемъ злобы, оба были благородны и жестоки: они были мучителями душъ во имя какого-то страшнаго долга, тягостнаго для нихъ и сладкаго. Близокъ къ нимъ и Лѣсковъ, котораго всѣ созданія отравлены этою высшею злобой, не личной, а какъ-бы міровой. Источникъ этой особенности въ Лѣсковѣ хотятъ видѣть въ непримиримыхъ гоненіяхъ на него критики. Но это совершенно невѣрно. Онъ родился непримиримымъ и еслибы, какъ Щедринъ, встрѣтилъ рабскія поклоненія—онъ всетаки, какъ и Щедринъ, оставался-бы мстительнымъ и гнѣвнымъ. Вѣчное несовершенство жизни раздражало-бы его душу съ обнаженными нервами, не терпящими ни малѣйшаго прикосновенія яда, которымъ жизнь насышена. Лѣсковъ всегда и непрестанно былъ въ оппозиціи, какъ и Достоевскій, какъ и Щед-

ринъ. Сатира есть постоянная, несмолкающая, непримиримая оппозиція, и Лѣсковъ остался вѣренъ этой основной чертѣ своего таланта. Онъ совсѣмъ не похожъ по типу творчества ни на Достоевскаго, ни на Щедрина, но удивительно родственъ имъ по темпераменту, что доказывается и стилемъ всѣхъ этихъ авторовъ: онъ у нихъ одинаково искусственный, предвзятый, насыщенный всѣми пряностями говоровъ и жаргоновъ. Сатира требуетъ, можетъ быть, по своей природѣ особаго языка: какъ яды въ организмѣ являются продуктами распаденія живой ткани, такъ и ядъ рѣчи, необходимый сатирику, черпается имъ изъ элементовъ распаденія рѣчи, изъ выразительныхъ, причудливыхъ словечекъ, неукладывающихся въ организмъ языка. Какъ у Щедрина и Достоевскаго, у Лѣскова такое-же пристрастіе къ причудливому, чрезмѣрному, рѣзкому и курьезному, и какъ у нихъ — способность при случаѣ писать и совершенно спокойнымъ языкомъ. Нѣкоторые романы Лѣскова очень напоминаютъ Достоевскаго, а многія страницы, по выдержанности, не уступаютъ лучшимъ тургеневскимъ.

Какъ крупный, самобытный талантъ, Лѣсковъ остается неизмѣннымъ до конца дней, но любопытно новое его настроеніе, которымъ проникнутъ послѣдній, одинадцатый томъ.

Въ жизни многихъ русскихъ писателей повторяется замѣчательная черта. Подъ старость, вмѣсто стариковской черствости въ нихъ развивается, наоборотъ, пламенный, чисто юношескій идеализмъ. Съ увяданіемъ физическаго состава, на склонѣ лѣтъ, внутренній свѣтъ ихъ души не меркнетъ, какъ у обыкновенныхъ людей, но какъ-бы освобожденный изъ облекавшихъ его темныхъ страстей, онъ является болѣе яркимъ и успокоеннымъ. Послѣ укрощеннаго зноя жизни, въ тишинѣ вечерней, нашихъ писателей охватываетъ какъ-бы молитвенное настроеніе: съ особенною силою начинаетъ говорить въ нихъ совѣсть, жажда забытаго идеала,

предчувствіе мировой тайны. Натуры талантливыя уже по природѣ своей религіозны: талантъ есть особый видъ религіознаго чувства, онъ есть откровеніе духа, въ природѣ скрытаго, его правды и красоты. Иногда этотъ поздній расцвѣтъ души писателей кажется реакціей, духовнымъ упадкомъ, какъ это говорили о Гоголѣ или Л. Н. Толстомъ, но на самомъ дѣлѣ это не упадокъ, а освобожденіе духа, приближеніе его къ мудрости, которая, по древнему вѣрованію, должна увѣнчивать достойную старость. До сихъ поръ непонятое и не вполнѣ понятное настроеніе Гоголя едва-ли было послѣднимъ фазисомъ его душевнаго развитія; повидимому, оно было только началомъ его общаго внутренняго переворота, и въ какое направленіе вылилась-бы встревоженная великая совѣсть этого писателя — сказать трудно. Трудно рѣшить и относительно Достоевскаго, чѣмъ разрѣшилась-бы мучившая его тайна русской жизни, которую онъ вынашивалъ въ сердцѣ въ послѣдніе годы, въ «Дневникѣ Писателя» и «Братьяхъ Карамазовыхъ». Смерть застигла его на вершинѣ развитія таланта, въ то время, когда онъ окрыленъ былъ особеннымъ нравственнымъ одушевленіемъ. То-же можно сказать и относительно своеобразнаго и страннаго, но могучаго дарованія Щедрина, и даже о нѣкоторыхъ выдающихся писателяхъ публицистахъ: Кавелинѣ, Шелгуновѣ, Успенскомъ и т. п. Изъ дѣйствующихъ писателей-старцевъ, достаточно указать на необычайный душевный процессъ въ Л. Н. Толстомъ.

Мнѣ кажется, что указанную черту — осенній расцвѣтъ идеализма—можно наблюдать и на Н. С. Лѣсковѣ.

Въ послѣдніе годы сочиненія его теряютъ свой рѣзкій обличительный характеръ, сатира смягчается все чаще и чаще, какъ и у Щедрина передъ концомъ жизни, поученіемъ, проповѣдью добра и правды, умиленнымъ призывомъ къ согласію и миру. Нравственный подъемъ въ Лѣсковѣ сказался въ сочувствіи къ ново-христіан-

скому идеализму и духовному возрожденію; проснулось съ новою силою вниманіе къ народной правдѣ и народной нуждѣ. Прежній «реакціонеръ» и «мракобѣсъ», какъ его называли, переходитъ въ либеральные журналы, становясь на защиту гуманныхъ и просвѣщенныхъ началъ противъ закорузлаго византизма. Конечно, никакихъ «утопій» онъ не проповѣдуетъ, да и никогда не проповѣдывалъ, но какъ и Л. Н. Толстой старается пробуждать въ людяхъ «чувства добрыя»: въ народѣ—присущее ему стремленіе къ божеской правдѣ, въ образованныхъ людяхъ — состраданіе къ народу. Въ цѣломъ рядѣ народныхъ разсказовъ Лѣсковъ даетъ картины жизни, проникнутой благочестіемъ, стремленіемъ къ идеалу, образцы душевнаго геройства; въ рядѣ воспоминаній и «разсказовъ кстати», написанныхъ для образованнаго круга, онъ сообщаетъ неприкрашенную правду о народномъ горѣ, о вѣковѣчномъ его униженіи и нищетѣ. Такъ подѣлилъ свое творчество почтенный художникъ, умудренный опытомъ жизни, просвѣтленный близостью заката. Въ послѣднемъ XI томѣ читатель найдетъ прекрасные образцы какъ народно-нравоучительныхъ разсказовъ («Часъ воли Божіей», «Пустоплясы», «Дурачекъ», «Невинный Пруденцій»), такъ и народно-бытовыхъ картинъ: прочтите превосходную «рапсодію» подъ названіемъ «Юдоль», которая, вмѣстѣ съ «Продуктомъ природы» (не вошедшимъ въ XI томъ) говоритъ нетолько о вполнѣ сохранившейся силѣ дарованія этого писателя, но и о новомъ проясненіи его.

Я остановлюсь на одномъ лишь образцѣ народныхъ разсказовъ и на одномъ очеркѣ написанномъ для интеллигенціи. Для первой цѣли укажу «Часъ воли Божіей», кстати какъ образчикъ мастерства Лѣскова въ искусственной, народно-книжной рѣчи. Это сказка, проникнутая самыми глубокими думами о судьбѣ человѣческой, какъ она представляется цѣломудренному народному сознанію.

Вотъ содержаніе сказки. Король Доброхотъ видитъ, что въ его царствѣ, несмотря на всѣ старанія, кривда беретъ верхъ надъ правдой. Бояре стараются отговорить его отъ грустныхъ мыслей: «нашъ народишко терпѣливый, выносливый, ему ужь не первый снѣгъ стелетъ головы». Старуха-мамка совѣтуетъ королю спросить старцевъ божьихъ пустынничковъ; одного изъ нихъ звали Дубовикъ, лѣтъ за тысячу возрастомъ, другого—Полевикъ, третьяго—Водовикъ. Въ поискахъ правды нужно обращаться къ самому народу, къ первобытной человѣческой стихіи, слившейся съ природой и какъ природа чувствующей, чего требуетъ жизнь. Король посылаетъ за пустынниками гусляра Разлюляя-гудошника. Тотъ допытался отъ праведниковъ отвѣта, отчего не спорится на землѣ добро. Дубовикъ сказалъ: «Оттого, что люди не знаютъ, какой часъ важнѣе всѣхъ»; Полевикъ сказалъ: «Оттого, что не знаютъ, какой человѣкъ важнѣе всѣхъ»; Водовикъ промолвилъ: «Оттого, что не знаютъ, какое дѣло дороже всѣхъ». Король не понялъ этихъ отвѣтовъ, и никто не могъ ему ихъ объяснить. Тогда, по совѣту, старой няньки, Разлюляй-гусляръ опять былъ посланъ разыскивать по всему свѣту «чистую жалостницу», которая одна можетъ разгадать отвѣты старцевъ. Послѣ разныхъ приключеній, Разлюляй находитъ такую «жалостницу», невинную дѣвушку въ лѣсу, проникнутую любовью ко всему живущему, и та отгадала «дѣло Божіе». Самый важный часъ — теперешній, самый нужный человѣкъ — съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь, самое дорогое дѣло — доброе дѣло, какое поспѣешь въ этотъ часъ сдѣлать этому человѣку. Король Доброхотъ повѣрилъ этой мудрости и хотѣлъ править по ней, да убоялся: а какъ другіе, сосѣдніе цари, того-же не сдѣлаютъ? «И рѣшилъ, что лучше ему сидѣть, какъ сидѣлъ на престолѣ своемъ, по старинному», и все въ той странѣ не спорится и не ладится. «Не пришолъ еще, видно, часъ воли Божіей». Эта сказка, при всей ея фан-

тастичности, представляетъ какъ-бы символъ вѣры нравственной философіи въ ея свѣжей, стоической простотѣ. Вообще народные разсказы Лѣскова, не будучи похожими на такіе-же разсказы Л. Н. Толстого, напоминаютъ ихъ по глубинѣ замысла и искренности настроенія. Вспомните «Христосъ въ гостяхъ у мужика». Надо замѣтить, что Лѣсковъ и въ общемъ нравственномъ міросозерцаніи давно совпалъ съ Толстымъ, или точнѣе — пошолъ съ нимъ параллельно, охраняя даже при согласіи свою особливость. Онъ ведетъ художественную проповѣдь о добродѣтели, выдвигая множество, милыхъ, простыхъ, задушевныхъ типовъ, въ которые онъ просто, кажется, влюбленъ, влюбленъ до ревности, до потребности вцѣпляться съ яростью въ типы злыхъ людей, корыстныхъ и фальшивыхъ. Можетъ быть, въ этомъ и кроется, какъ у Щедрина и Достоевскаго, затаенный источникъ его сатиры.

Въ «Часѣ воли Божіей» разгадчицею жизненныхъ вопросовъ является «пригожая дѣвица», «глазомъ посмотришь — вѣкъ не забудешь, столько свѣтится добра изъ ней». Этотъ женскій идеальный типъ появляется почти во всѣхъ разсказахъ XI тома: въ «Полунощникахъ» — въ лицѣ купеческой дочки Клавдиньки, въ «Юдоли» — въ лицѣ тети Полли, въ «Невинномъ Пруденціи» — въ лицѣ Мелиты. Во всѣхъ случаяхъ предъ нами встаетъ чистая, безгрѣшная женская душа, переполненная любовью къ ближнимъ, самоотверженностью и высокой мудростью.

Типъ это новый въ русской жизни, типъ крайне рѣдкій, но то, что существованіе его отмѣчено такимъ правдивымъ бытописателемъ текущей жизни, какъ Лѣсковъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія. Новые люди— предвѣстники новой эпохи, первыя ласточки какой-то загадочной весны. Если въ трудовомъ обществѣ вдругъ начинаютъ размножаться люди легкомысленные, праздные бонвиваны, или наоборотъ, въ обществѣ безпечномъ

и развращенномъ начинаютъ попадаться строгіе и честные люди—въ обоихъ случаяхъ «время близится», наступаетъ новое теченіе, новая эра. Иногда, впрочемъ, отдѣльные признаки гибнутъ въ массѣ противоположныхъ, зародыши, новой эры не находятъ доброй почвы въ настоящемъ и засыхаютъ, а иногда, подобно евангельскимъ сѣменамъ, расклевываются птицами. Въ наши дни трудно еще судить, имѣетъ-ли будущность типъ новыхъ людей, выдвигаемый Лѣсковымъ въ лицѣ его героинь. Весьма возможно, что грубое себялюбіе и жажда стяжаній, овладѣвшіе нашимъ обществомъ возьмутъ верхъ; возможно, что новые люди окажутся столь-же немногочисленными, пропадающими безслѣдно въ толпѣ, какъ немногочисленны были люди нравственнаго подвига во всѣ времена. Но я думаю, что несмотря на всю глубину теперешняго нравственнаго оскудѣнія, или даже въ силу именно этого оскудѣнія, возможенъ поворотъ къ лучшему. Русскій человѣкъ слабъ и неустойчивъ, но по природѣ своей склоненъ къ правдѣ не менѣе, нежели ко лжи. Если теперь онъ усиленно ханжитъ и лицемѣритъ, тѣшится наживой и карьерой, презрительно относится къ страданіямъ ближнихъ, къ нравственнымъ идеаламъ, то вѣдь все это можетъ надоѣсть ему, опротивѣть, и снова, какъ въ прежніе проблески своей свободы, онъ потянется къ задачамъ справедливой, достойной жизни. Теперешніе зародыши нравственнаго движенія повторяютъ собою душевный подъемъ, уже бывалый неоднократно. Совершенно иными путями «новые люди» нашихъ дней ищутъ тѣхъ-же идеаловъ справедливости, какъ и всѣ прежніе реформаторы, но начинаютъ съ преобразованія мельчайшей клѣточки этого общества—самого человѣка. «Нельзя изъ кривыхъ и гнилыхъ бревенъ построить хорошаго дома»—вотъ основная мысль этого настроенія. Усовершенствуйте людей, развейте ихъ сознаніе, возмутите ихъ спящую совѣсть, зажгите сердце состраданіемъ и любовью, сдѣлайте людей несклонными ко злу—и зло рух-

нетъ, въ какихъ-бы сложныхъ и отдаленныхъ формахъ оно не осуществлялось—въ общественныхъ, экономическихъ, государственныхъ, международныхъ. Въ общемъ новое движеніе есть какъ-бы практическій отвѣтъ на безконечный споръ о томъ, что важнѣе въ дѣлѣ прогресса—учрежденія или люди. Самымъ рѣшительнымъ образомъ это движеніе провозглашаетъ принципъ, что *начинать* слѣдуетъ съ людей, съ усовершенствованія ихъ душъ, и все остальное къ этому приложится. При хорошихъ учрежденіяхъ возможны дурные, даже безобразные нравы: примѣры слишкомъ общеизвѣстны,—тогда-какъ при хорошихъ нравахъ дурныя учрежденія немыслимы: истинно доброе и просвѣщенное общество сейчасъ-же создаетъ и соотвѣтствующіе порядки, тогда-какъ при развращенномъ обществѣ самыя идеальныя установленія смѣняются самыми грубыми. Новые люди, о которыхъ мечтаютъ Толстой и Лѣсковъ, начинаютъ создавать нравственное общество *начиная съ себя*, съ личнаго усовершенствованія и облагороженія, и *продолжая* такимъ-же облагороженіемъ ближнихъ. Не вступая въ насильственную борьбу со зломъ новые люди сами никогда не дѣлаются орудіями этого зла, т.-е. нравственно не подчиняются ему. Можетъ быть въ силу отсутствія всякаго политическаго элемента, въ силу исключительно идейнаго и нравственнаго характера борьбы съ старой жизнью типы нынѣшнихъ новыхъ людей въ нашей литературѣ являются довольно блѣдными. Добродѣтель вообще менѣе картинна, нежели порокъ; лишенная грубыхъ, земныхъ чертъ, сотканная какъ-бы изъ эфира, она похожа на свѣтлый, но неясный призракъ; недаромъ въ поэзіи демоны всегда представлены ярче и художественнѣе ангеловъ. У Н. С. Лѣскова, не смотря на его врожденное отвращеніе къ банальности и пристрастіе къ оригинальнымъ, даже вычурнымъ сюжетамъ, несмотря на его мастерство въ этомъ родѣ, безгрѣшныя «жалостницы» не совсѣмъ жизненны; онѣ однообразны,

какъ и слѣдуетъ быть ангеламъ во-плоти. Какъ праведная дѣвушка въ «Часѣ воли Божіей», такъ Клавдинька и Мелита въ «Невинномъ Пруденціи» очень близки, почти тождественны, и только тетя Полли въ разсказѣ «Юдоль» очерчена болѣе выпукло. Вообще этотъ послѣдній разсказъ (авторъ назвалъ его «рапсодіей») чрезвычайно замѣчателенъ, и нельзя надивиться сравнительно малому впечатлѣнію, какое эта вещь произвела при первомъ своемъ появленіи въ печати. Подобно «Пошехонской Старинѣ» Щедрина, «Юдоль» является воспоминаньями Лѣскова изъ его ранней яности, обработанными въ рядѣ художественныхъ картинъ; подобно Щедринской повѣсти, «Юдоль», помимо автобіографическаго и литературнаго значенія, составляетъ настоящій вкладъ въ исторію провинціи Николаевскаго времени. Здѣсь мы лишь въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ разскажемъ содержаніе этой былины, какъ образца художественной проповѣди Лѣскова по адресу интеллигенціи.

V.

Характернымъ и грустнымъ словомъ «Юдоль» озаглавилъ Лѣсковъ свои сказанія о страшномъ голодномъ годѣ полъ-столѣтія тому назадъ (въ 1840 г.), о невѣроятныхъ страданіяхъ, вынесенныхъ народомъ, и объ отношеніи къ этимъ страданіямъ тогдашняго образованнаго класса. Рисуется глухое время, дотого глухое, что о голодѣ «могли знать лишь министры да развѣ сама голодающая масса». Одно вліятельное лицо составило было тогда проектъ народнаго продовольствія; императоръ Николай Павловичъ весьма сочувственно отнесся къ проекту, и авторъ хотѣлъ было напечатать его, но ни одна типографія не рѣшилась взять рукопись для набора. Только благодаря покровительству принца Ольденбургскаго, соотвѣтствующія власти допустили къ печати этотъ невинный проектъ—конечно, оставшійся безъ вся-

каго движенія. Вотъ эту-то глухую пору и описываетъ авторъ по своимъ дѣтскимъ воспоминаніямъ, вынесеннымъ изъ деревеньки его родителей въ Орловскомъ уѣздѣ. «Я предлагаю, говоритъ авторъ, только то, что могу вспомнить и о чемъ теперь можно говорить безстрастно и даже съ отрадою (?), къ которой даетъ возможность нынѣшній благополучный выходъ изъ угрожавшей намъ бѣды». Отрады, однако, оказывается мало. Былина доказываетъ съ суровой убѣдительностью, до какой степени мало улучшилась жизнь народа въ послѣднее пятидесятилѣтіе. Народъ тогда, какъ и теперь, погрязалъ въ невѣжествѣ и былъ безпомощенъ противъ всякаго стихійнаго бѣдствія. Глубокимъ чутьемъ существа, слившагося съ природой, народъ предчуствовалъ голодъ; старухи начали видѣть зловѣщіе сны и явились «знаменія» грядущей бѣды: подъ Благовѣщеніе у дьячихи, приготовлявшей черныя просфоры, ушло тѣсто; въ церкви бабы мыли полъ и одна изъ нихъ нечаянно просунулась въ алтарь до половины (за что потомъ ее чуть не убили), дьячекъ «Аллилуй» свалился съ колокольни и расшибся. Предчувствіе не обмануло: засуха сожгла весь хлѣбъ. Безпомощный народъ, какъ и теперь, не имѣвшій никакихъ средствъ борьбы съ засухой, никакихъ запасовъ, чтобы пережить черный день,—пытался оградить себя своими средствами: стали обращаться къ колдунамъ и знахарямъ, «изъ которыхъ одни наводили что-то наговорами и ворожбою на листъ глухой крапивы и дули пылью по вѣтру, а другіе выносили откуда-то свои обглоданныя избенными прусаками иконки въ лѣсъ и тамъ передъ ними шептали, обливали ихъ водою и оставляли ночевать на деревѣ, но дождя все-таки не было и даже прекратились росы». Народъ каялся, прекращены были всякія развлеченія; «мужья ни за что ни про что били женъ, старики обижали ребятъ и невѣстокъ и всѣ другъ-друга укоряли хлѣбомъ и одинъ на другого все призывалъ «пропасть»:—«О, нѣтъ на васъ пропасти!»

Медленно и тяжело развертывается трагическая картина голода, написанная съ замѣчательнымъ мастерствомъ. Читатель во-очію видитъ передъ собою несчастнаго шорника Кожіёна, котораго мужики убили за то, что онъ будто-бы остановилъ тучу, бѣжа въ бѣлой горячкѣ отъ воображаемаго имъ быка, а также для того, чтобы изъ сала Кожіёна надѣлать чудодѣйственныхъ свѣчей, приманивающихъ дождевыя тучи... Но дождя не было, хлѣбъ сгорѣлъ, и голодный годъ пришолъ во всей своей грозной силѣ. Постепенно описывается въ разсказѣ, какъ народъ доѣдалъ послѣднія крохи, какъ, превозмогая стыдъ, шолъ нищенствовать, какъ начиная впадать въ отчаяніе, продавалъ свое имущество и честь, какъ началъ воровать и доходить до крайняго звѣрства, до людоѣдства—прежде чѣмъ погибнуть отъ голодныхъ мукъ. Въ то время не было даже той незначительной государственной и частной помощи, которую встрѣтили наши голодные крестьяне въ послѣднее время. «Государственнымъ крестьянамъ» что-то выдали, но только на обсѣмененіе,—«о томъ, чтобы кормить ихъ до сытости, не считали и нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты» и что «до новины они могутъ одну зиму какъ-нибудь перебиться», и это будто-бы послужило достаточнымъ успокоеніемъ чьей-то душевной тревоги». О мѣщанахъ заботы не было, такъ-какъ у нихъ неурожая быть не могло, да притомъ о нихъ было сказано, что они «всѣ воры», и какъ воры, могутъ достать себѣ сами все что нужно. Крѣпостные были предоставлены «попеченію владѣльцевъ»... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихъ несчастнѣе: они не только страдали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и тряпицей во рту. Они даже не имѣли права отлучаться, и нерѣдко ихъ жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали». Въ лучшемъ случаѣ помѣщики, ужасаясь бѣдствія, бѣжали въ города зимовать, чтобы толь-

ко не слышать народныхъ стоновъ. Лѣсковъ съ поразительною силой описываетъ сцены гибели крестьянскаго скота отъ голодовки, страшное зрѣлище обозовъ, тянувшихся по дорогамъ въ видѣ длинныхъ вереницъ: «и сами изъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ скелеты, обтянутые кожей», картины разставанія съ послѣдней коровой-кормилицей. Но тамъ, гдѣ описываются собственно человѣческія страданія, душу сжимаетъ холодный ужасъ. «Съ виду даже, говоритъ Лѣсковъ, — пожалуй, незамѣтно было, что люди переживаютъ *особенное страданіе:* жизнь въ крестьянскихъ избахъ плелась такая-же безотрадная, какъ и всегда. Тѣ-же стоны и кряхтѣнье стариковъ, неслѣзающихъ съ остывшихъ печей, тотъ-же дымъ и вонь, а часто и снѣгъ, пролѣзающій по угламъ, тѣ-же слабые писки голыхъ и еще живыхъ ребятъ съ вспухшими животиками и красными отъ дыма глазами; но зимняя картина въ орловской деревнѣ никогда и не была другою... Я ее всегда видѣлъ именно этакою». Но на фонѣ этой жалкой заурядной жизни, гдѣ голодъ не могъ измѣнить къ худшему и безъ того ужасную обстановку, выдвигались все-таки отдѣльные случаи невыразимаго и даже крестьянами непереносимаго горя. Лѣсковъ разсказываетъ съ безпристрастіемъ рапсода исторію смерти хилой дѣвочки Васенки, исторію гибели ея матери съ сынишкой, исторію хитраго помѣщика Алымова, который, чтобы уберечь свой посѣвной хлѣбъ отъ крестьянъ, вымочилъ его въ навозной жижѣ (крестьяне все-таки украли этотъ хлѣбъ и съѣли), исторію матери, зарѣзавшей своего грудного мальчика, чтобы накормить другихъ дѣтей, послѣ чего сама повѣсилась, исторію двухъ дѣвочекъ, заманившихъ мальчика въ глухую избу и зарѣзавшихъ тамъ его, исторію молодой дѣвушки, задушившей свою бабку и пр. и пр. Я не знаю, которая изъ этихъ былинъ ужаснѣе,—всѣ онѣ дотого ярки и дотого полны страданіемъ, что дѣйствуютъ гнетуще на душу. Господа любители

сильныхъ впечатлѣній, ищущіе по свѣту чѣмъ-бы расшевелить ваши уснувшіе нервы! Заглядывали-ли вы когда-нибудь въ народную жизнь, подобную той, которую описываетъ Лѣсковъ? Вѣдь она и до сихъ поръ почти осталась такою-же трагической, какъ была и полъ-вѣка назадъ...

Сцены людоѣдства, какъ «баба взяла своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ» и дала пустую грудь, какъ онъ защелкалъ губенками и запищалъ, какъ мать «пощекотала у него пальцемъ подъ шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножъ и перерѣзала ему горло»... всѣ эти сцены мы обойдемъ. По деревнямъ, какъ и въ послѣдній голодъ, разъѣзжали скупщики, «кошкодралы», которымъ бабы уступали за гроши и копѣйки все накопленное нищенское добро: пряжу, холсты и пр. Продавали кошекъ, которыхъ кошкодралы тутъ-же убивали о колесную шину или головашку саней. Этимъ-же кошкодраламъ бабы и дѣвки продавали свои волоса и весьма часто свою женскую честь, цѣна на которую, за обиліемъ предложенія, пала до того, что женщины и дѣвочки, иногда самыя молоденькія предлагали себя сами, безъ особой приплаты, въ придачу къ кошкѣ. Множество деревенскихъ бабъ и дѣвокъ разбрелись по городамъ промышлять собою изъ-за хлѣба, и ихъ сбивали на это старшіе; бывало и такъ: пошла одна молодая баба Калерка «у колодцевъ стоять», и «воротившись, гнить стала и сидѣла всѣмъ на ужасъ въ погожіе дни на пыльной дорогѣ безъ языка, издавая страшную вонь и шипѣніе вмѣсто крика... пока она не задавила себя поясомъ».

Что-же дѣлало въ то время образованное общество? «О такихъ дѣлахъ, говоритъ авторъ, бывало все доводятъ господамъ, но больше только для новости и пріятнаго развлеченія,—какъ фельетоны».

За голодомъ, какъ и въ недавніе годы, шли повальныя болѣзни, которыя унесли съ собою «половину жи-

вущихъ и навели уныніе и страхъ на другую половину». Больные «валились и мерли въ своихъ промозглыхъ избахъ безъ всякой помощи»...

Вторая половина «Юдоли» разсказываетъ пришествіе какъ-бы двухъ свѣтлыхъ ангеловъ въ этотъ скорбный и мрачный міръ,—пріѣздъ въ истомленную голодомъ и тифомъ деревню тети Полли и Гильдегарды. Раскрывъ картину ужаса, сплошного ужаса, въ который способна превратиться жизнь, авторъ не желаетъ оставить читателя безъ утѣшенія. Онъ показываетъ, какъ немного нужно, чтобы темная бездна освѣтилась солнечнымъ лучомъ, какъ нетрудно помочь народу, если *искренно захотѣть* этого. «Ангелъ-Утѣшитель»—не видѣніе, не греза: каждый человѣкъ рожденъ былъ ангеломъ для своихъ ближнихъ и если захочетъ, то и можетъ имъ быть. Необыкновенно интересна исторія подвига этихъ двухъ прекрасныхъ женщинъ, изъ которыхъ одна, княгиня Полли, приходилась теткой автору, а вторая, англичанка-квакерша, простая гувернантка, явилась въ глуши Орловской губерніи какъ посланница старой, высокой культуры, хотя и чуждой намъ, но полной любви и благочестія. Это тотъ-же «новый типъ», который проявился въ послѣдніе годы: вы видите, какъ старъ этотъ типъ, изъ какой старины и дали онъ идетъ.

Какъ въ «Пошехонской старинѣ» и «Сказкахъ» слились вмѣстѣ всѣ стороны таланта Щедрина, вся его нѣжность и весь гнѣвъ души, такъ и въ «Юдоли» Лѣскова и его народныхъ разсказахъ онъ является во всеоружіи своего творчества: предъ вами строго-правдивый бытописатель, отмѣчающій явленія съ ученою точностью; тонкій сатирикъ—но уже какъ-бы примиренный и успокоенный; художникъ-мечтатель, страстно ищущій въ природѣ и воображеніи образъ идеальнаго человѣка, ждущій царства Божьей правды. Онъ всегда ищетъ и ждетъ, и это взволнованное ожиданіе заражаетъ читателя и волнуетъ его. Изъ чтенія книгъ Лѣскова вы выходите

не развлеченнымъ и разсѣяннымъ, какъ послѣ большинства заурядныхъ авторовъ: его книги въ васъ внѣдряются и продолжаютъ жить, продолжаютъ тревожить и умилять, совершая въ глубинѣ совѣсти вашей какую-то всегда нужную работу.

Сбились съ дороги.

(По поводу разсказа «Хозяинъ и работникъ» гр. Л. Н. Толстого).

«—А сбились съ дороги—поискать надо, коротко сказалъ Никита».
(«Хоз. и раб.»).

Слухъ, что Л. Н. Толстой пишетъ «художественную вещь», пронесся по всему читающиму свѣту радостнымъ предчувствіемъ.—«Что-то напишетъ великій художникъ на склонѣ жизни, послѣ долгихъ лѣтъ иного, пророческаго труда? «Не ослабѣла-ли казацкая сила?» Не одряхлѣлъ-ли чудесный даръ, покорившій Толстому чувства читателей?» Ожиданіе было дотого напряженно, что одинъ критикъ признается, что развернувъ наконецъ «Хозяина и работника», онъ въ первыя минуты не могъ читать отъ волненія. Глаза его впивались въ первыя строки, и ихъ трудно было оторвать отъ отдѣльныхъ словъ, чтобы усвоить общій смыслъ. Когда разсказъ вышелъ въ свѣтъ—въ первые-же дни публика расхватала нѣсколько изданій—нѣсколько сотъ тысячъ или даже милліоновъ экземпляровъ, если считать перепечатку почти во всѣхъ газетахъ. Какъ видите, успѣхъ «Хозяина и работника»—небывалый у насъ. Сравните этотъ бѣшенный успѣхъ съ равнодушіемъ публики къ философскимъ и нравственнымъ трудамъ Л. Н. Толстого — даже тѣмъ, которые давно допущены къ печати, напр. къ его трактату «О жизни».

Всего за нѣсколько недѣль до «Хозяина и работника», въ томъ-же журналѣ, гдѣ этотъ разсказъ печатался, появилась замѣчательная статья Л. Н. Толстого о религіи и нравственности, какъ-бы сводъ его философіи относительно основныхъ, величайшихъ вопросовъ жизни. Статья написана вполнѣ общедоступно, она очень интересна и говоритъ *о томъ-же самомъ*, что и «Хозяинъ и работникъ». Послѣдній разсказъ—только одна изъ иллюстрацій къ тексту названной статьи. И вотъ, на «иллюстрацію» набросились милліонъ читателей, тогда-какъ «текстъ» прошелъ совершенно незамѣченнымъ.

Чѣмъ объяснить это странное предпочтеніе художника мыслителю? Что въ Толстомъ «художникъ великъ, а мыслитель плохъ»—это мнѣніе пустое и уже вышедшее изъ моды. Даже враги Толстого начинаютъ признавать глубину его отвлеченной мысли, но кругъ поклонниковъ ея не расширяется замѣтно, тогда-какъ каждой художественной строчки его ждутъ какъ манны небесной, и издатели готовы на всѣ жертвы, чтобы добыть такую строчку.

Тутъ, я думаю, дѣйствуетъ особый психологическій законъ, тотъ самый, что заставляетъ публику простаивать по суткамъ у театральныхъ кассъ, чтобы увидѣть любимаго артиста, тратить огромныя суммы на подарки имъ, бѣсноваться, выпрягать лошадей и везти артистку на себѣ и т. п.—въ то время какъ очень серьезные, блестящіе мыслители, ученые, философы извѣстны только по именамъ и вызываютъ поклоненіе развѣ въ своемъ-же очень тѣсномъ кругу. «Толпа» рвется на художественныя выставки, на концерты, тогда-какъ лекціи ученыхъ, очень рѣдкія, едва собираютъ сотню слушателей. Романъ расходится въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, хорошая философская книга гніетъ у букинистовъ. Во всемъ этомъ сказывается органическое отвращеніе большинства людей къ отвлеченной мысли и пристрастіе къ чувственнымъ ощущеніямъ. Послѣ «хлѣба» толпѣ нужно не мысли, а «зрѣлищъ».

Какъ ни невыгодно это свойство публики для мыслителей, они должны примириться съ нимъ и научиться языку толпы, если хотятъ быть понятными ей. Большинство людей не вышло изъ періода чувственнаго сознанія и доходитъ до отвлеченной мысли не иначе, какъ сквозь строй картинъ и образовъ. Высказывая голую мысль—готовый выводъ очень длиннаго психическаго процесса,—мыслитель въ состояніи возбудить такую-же мысль только у тѣхъ, у которыхъ этотъ психическій процессъ самостоятельно возникъ и близокъ къ концу. Только тѣ оцѣнятъ великую идею, у которыхъ она явится какъ-бы собственною созрѣвшею мыслью. У большинства людей психическіе процессы во многихъ направленіяхъ еле намѣчены, такъ-что великія идеи для нихъ смутны, какъ непонятны готовыя рѣшенія задачъ для ученика, только-что начинающаго рѣшать ихъ. Напрасно мыслитель хитрыми, отвлеченными сплетеніями старается убѣдить въ истинности своей мысли. Читатель не понимаетъ ея, потому-что *не видитъ* истины, а только слышитъ ее. Онъ не видитъ той тысячи картинъ, сценъ, образовъ, красокъ, которыя видѣлъ философъ прежде чѣмъ извлечь изъ всего этого общій итогъ: составляющія цифры итога для читателя скрыты. Еще такъ-называемыя *точныя* знанія быстро переходятъ въ вѣру, ибо всѣ ежеминутно наблюдаютъ безчисленныя картины, подтверждающія научныя истины. Но именно самыя высокія идеи—нравственныя, религіозныя, эстетическія—всего труднѣе усваиваются, и *отвлеченно* онѣ почти непередаваемы. Ихъ можно показать, а не доказать. Попытки самыхъ мощныхъ умовъ выразить истину этихъ идей посредствомъ разума оказываются тщетными. Самимъ мыслителямъ идеи Бога, любви и красоты кажутся до такой степени ясными, что они невольно признаютъ ихъ разумность, но какъ только начинаютъ обращаться къ разуму публики—получается безвыходное недоумѣніе. Наоборотъ, часто очень посредственный художникъ въ состояніи вызвать въ той-же

толпѣ религіозное, нравственное и эстетическое настроеніе. И мнѣ кажется, это единственный вѣрный путь вліянія на массы.

Моралисты мнѣ кажется должны отвыкнуть отъ привычки путемъ логики объяснять добро и зло, явленія чувственныя мѣрить умственною единицею мѣры. Для ума добро и зло явленія безразличныя, одинаково естественныя, хотя и противоположныя, какъ напр., тепло и холодъ, свѣтъ и тьма и т. п. Умъ можетъ анализировать добро и зло, ставить ихъ въ различныя отношенія, но самое *различіе* добра и зла даетъ не умъ, а чувство, какъ различіе свѣта или тьмы даетъ органъ зрѣнія, ощущеніе звука—органъ слуха и т. п. Поэтому нравственныя, религіозныя и эстетическія истины слѣдуетъ не выражать, а *изображать:* ставить передъ публикой во всей ихъ жизненной тѣлесности, со всею игрою красокъ и движеній, и картина уже сама докажетъ себя и убѣдитъ зрителя. Только художественная картина обнаруживаетъ для публики бытіе идеи и только она въ состояніи заставить пережить эту идею какъ всякое другое бытіе. Вотъ отчего передъ выходомъ великаго артиста или въ ожиданіи великой картины или литературнаго произведенія публику охватываетъ сладкій трепетъ, радостное предчувствіе чего-то самаго желаннаго и дорогого. И вѣсть о томъ, что Левъ Толстой снова даетъ художественную вещь, вызвала, можетъ быть, лучшія минуты, какія доступны въ наше скучное и лицемѣрное время, когда мы всѣ такъ «сбились съ дороги», истомились въ тоскѣ о чемъ-то потерянномъ и невознаградимомъ.

II.

Предчувствіе не обмануло: новый разсказъ Л. Н. Толстого оказался прекрасною художественною вещью, достойною его таланта. Впрочемъ, безчисленные «критики» разноголосятъ о «Хозяинѣ и работникѣ». Одни утверж-

даютъ, что это нетолько шедевръ, но и *лучшее*, что только написалъ Толстой когда-либо. Другіе, напротивъ, ужь очень строги. Нѣкій харьковскій журналистъ находитъ, напримѣръ, что «построеніе разсказа поражаетъ своею неуклюжестью, громоздкостью и обиліемъ ненужныхъ придатковъ и повтореній... У графа Толстого очеркъ разроссе въ пухлый и до крайности размазанный разсказъ, въ которомъ напрасно было-бы искать чего-нибудь похожаго на экономію слова. Точно будто его писалъ начинающій беллетристъ, не освоившійся съ формами художественныхъ произведеній» и пр. По мнѣнію харьковскаго знатока, въ разсказѣ «то-и-дѣло попадаются сцены, которыя смѣло можно выкинуть изъ разсказа» (въ примѣръ приводится сцена встрѣчи Брехунова и Никиты съ тремя мужиками и бабой, «возвращавшимимися съ какой-то пирушки» — сцена, такъ ярко освѣщающая снѣжную бурю). «Вообще, авторитетно замѣчаетъ харьковскій критикъ,—разсказъ графа Толстого много выигралъ-бы, еслибы авторъ пересмотрѣлъ его съ карандашомъ въ рукахъ и подсократилъ бы его, по крайней мѣрѣ, на половину, если не больше». Нападая на «крайнюю размазанность» разсказа Толстого, самъ критикъ съумѣлъ разогнать свой отзывъ о немъ на семь огромныхъ газетныхъ статей, наполненныхъ такими, напримѣръ, «сжатыми» замѣчаніями:

Изображая Мухортаго нѣмымъ человѣкомъ, превращеннымъ злымъ волшебникомъ въ лошадь, графъ Толстой иногда хватаетъ черезъ край и приписываетъ ему такую прозорливость, которою вислозадый конь, несмотря на всѣ высокія доблести своего ума и сердца, едва-ли могъ обладать. Такъ, напримѣръ, описывая въ девятой главѣ, какъ Брехуновъ сбился съ дороги и потерялъ изъ виду вѣхи, графъ Толстой говоритъ: «Покорное и доброе животное слушалось и бѣжало то иноходью, то небольшою рысцою туда, куда его посылали, хотя и *знало, что его посылаютъ совсѣмъ не туда куда надо*». Почему графъ Толстой полагаетъ что Мухортый зналъ, что его посылаютъ совсѣмъ не туда, куда надо, остается для читателя глубокой тайной. Даромъ слова графъ Толстой Мухортаго не надѣлилъ, мимики и жестовъ его, изъ которыхъ можно было-бы сдѣлать какіе-нибудь

выводы, онъ не касается; онъ просто говоритъ: *зналъ*—и требуетъ отъ васъ безусловнаго довѣрія къ своимъ словамъ. Но почемъ-же, однако, Мухортый могъ знать, что Василій Андреичъ хотѣлъ ѣхать въ Горячкино, а не туда, куда онъ ѣхалъ? Вѣдь несмотря на все свое увлеченіе конемъ Мухортымъ, графъ Толстой не приписываетъ ему знанія русскаго языка или, по крайней мѣрѣ, умалчиваетъ объ его лингвистической подготовкѣ, поэтому вамъ остается только недоумѣвать, чѣмъ объясняется увѣренность романиста, что Мухортый сознавалъ ошибку Брехунова. Мухортый могъ чувствовать, что Василій Андреичъ съѣхалъ съ дороги, но онъ не могъ знать, что Василій Андреичъ ѣхалъ не туда, куда ему надо ѣхать» и пр. и пр.

Такая щепетильная строгость харьковскаго знатока возбудила даже полемику. Менѣе жестокіе критики возражали, что не могъ-же Толстой, утверждая, что Мухортый *зналъ* о потерѣ дороги, подтвердить это нотаріальнымъ актомъ!...

Не менѣе остроумія проявилъ и одинъ московскій критикъ, историкъ Иловайскій; онъ напалъ на Толстого съ «политико-экономической стороны вопроса», со стороны, съ которой легко застать врасплохъ любого художника.

«Ярко очерчивая любостяжательность своего деревенскаго кулака, говоритъ г. Иловайскій,—авторъ, очевидно, никогда и не задавался вопросомъ: да что это, въ самомъ дѣлѣ, за явленіе? Безусловно ненормальное и противообщественное, или оно имѣетъ и другую сторону, до нѣкоторой степени оправдывающую его существованіе? Развѣ этотъ типъ не есть представитель наиболѣе дѣятельнаго и энергичнаго элемента, выдающагося изъ пассивной, непредпріимчивой и невѣжественной среды? И можетъ-ли производитель обойтись всегда безъ посредника-кулака, чтобы сбыть свои произведенія (въ данномъ случаѣ сельскохозяйственные продукты) и обмѣнять ихъ на другіе предметы его потребленія? Конечно, отталкивающею чертой кулака представляется его страсть къ наживѣ, проявляющаяся въ грубой, почти первобытной формѣ. Стало-быть, дѣло сводится по преимуществу къ этой чертѣ. Но для мыслителя не въ этомъ должна заключаться суть явленія, присущаго отнюдь не одной деревнѣ, а, можно сказать, всѣмъ слоямъ общественнымъ. Почему-же графъ Толстой ограничился столь узкимъ и порядочно избитымъ типомъ? Почему онъ не взялъ типъ болѣе широкаго общественнаго кулачества? Напримѣръ, какой благодарный сюжетъ представило-бы ему недавно вскрывшееся на судѣ кулачество одного нѣмца, очень крупнаго экс-

плуататора, сумѣвшаго послѣдовательно и систематически поработить своей фирмѣ массу русскихъ фабрикъ посредствомъ поставки заграничныхъ машинъ и хлопка» и пр.

По мнѣнію г. Иловайскаго, Толстой въ своемъ разсказѣ упустилъ благодарный случай защитить русскую промышленность отъ нѣмецкой эксплуатаціи. Вотъ что называется, сейчасъ-же смекнуть, въ чемъ вся суть дѣла.

Наконецъ, въ огромномъ хорѣ провинціальныхъ критиковъ нашолся и такой, который напечаталъ слѣдующее скромное мнѣніе:

«*Новая повѣсть* гр. Л. Н. Толстого *касается нѣкоторыхъ новшествъ въ крестьянскомъ бытѣ*. Выведены *два мужика*, эгоистъ и альтруистъ, оба *работаютъ въ лѣсу, занимаясь рубкой дровъ*. Повѣсть кончается тѣмъ, что эгоистъ-мужикъ замерзаетъ».

И эта критическая лепта — по истинѣ самый трогательный даръ русской публики великому писателю за его новое произведеніе: какъ евангельская вдова, скромный критикъ давалъ очевидно не «отъ избытка».

III.

Толпѣ нужны зрѣлища, и счастливъ мыслитель, который въ состояніи представить мысль свою въ видѣ зрѣлища, въ картинной, художественной обработкѣ. Л. Н. Толстой—одинъ изъ рѣдкихъ счастливцевъ этого рода: онъ обладаетъ тайной вызывать иллюзію, «превращать слухъ въ зрѣніе», по восточной пословицѣ. «Хозяинъ и работникъ», — это уголокъ жизни, перенесенный со всѣми ея красками на бумагу. Яркая правда фигуръ, вѣрный до ничтожныхъ мелочей рисунокъ, естественное движеніе, теплота и мягкость картины, теплота и мягкость живой природы. И все это «зрѣлище» проникнуто, какъ всегда у Толстого, какою-то не сразу ясной, но вы чувствуете — высокой мыслью, предчувствіемъ духа въ природѣ бодрствующаго, обвѣвающаго міръ поэзіей. Читая Толстого, тотчасъ понимаешь отличіе великаго художника отъ малаго. Великій прежде всего

отчетливо видитъ что̀ онъ рисуетъ, малый плохо видитъ или не видитъ вовсе, почему нехарактерное принимаетъ за характерное. Поразительно знаніе Толстымъ того, что онъ берется изобразить: чувствуешь, что онъ размотрѣлъ и запомнилъ «натуру» до мельчайшихъ микроскопическихъ чертъ, изучилъ всѣ ея изгибы и положенія, усвоилъ игру ихъ; чувствуешь, что онъ, какъ тонкая фотографическая пластинка, схватилъ все, что доступно внутреннему и внѣшнему зрѣнію, и закрѣпилъ въ своей памяти съ величайшей точностью. Въ то время какъ мелкій художникъ запоминаетъ отдѣльно внѣшнія подробности и потомъ пришпиливаетъ одну около другой, безъ всякой связи,—Толстой не даетъ ни одной черты внѣ дѣйствія, внѣ внутренней ея необходимости. Полюбуйтесь, какъ на нѣсколькихъ страницахъ создаются передъ вами живыя, одухотворенныя существа съ живою, ихъ окружающею природой. Своею будто-бы растянутою, «размазанною» манерой Толстой заставляетъ васъ видѣть тѣ особенныя мгновенья, которыя придаютъ жизни ея реальность: всѣ эти, повидимому, ничтожныя мелочи, какъ привѣтственное ржанье жеребца Мухортаго Никитѣ, его притворное намѣреніе ударить задней ногой Никиту, и то, что Никита зналъ это притворство и т. д.

«Напившись студеной воды, лошадь постояла, вздохнула, пошевеливая мокрыми, крѣпкими губами, съ которыхъ капали съ усовъ въ корыто прозрачныя капли, и фыркнула.—Не хочешь—не надо, такъ и знать будемъ; ужь больше не проси, сказалъ Никита...»

Развѣ вы не видите ярко всю эту сцену и развѣ «прозрачныя капли», падающія съ усовъ лошади, не составляютъ необходимаго послѣдняго штриха, чтобы превратить описаніе въ какое-то *видѣніе* по яркости? Или та подробность, что «Василій Андреевичъ съ папироской во рту, въ простомъ овчиномъ тулупѣ, туго и низко подпоясанный кушакомъ, вышелъ изъ сѣней на *повизгивавшее* подъ его валенками, утоптанное снѣгомъ крыльцо»—развѣ

это повизгивающее крыльцо не переноситъ васъ тотчасъ-же въ морозный декабрьскій день? Припомните прелестные разговоры Никиты съ жеребцомъ, съ соломой, съ обственнымъ кушакомъ, съ курами, которые всполошились на шестѣ, съ лающей собакой—въ каждомъ звукѣ выливается предъ вами душа Никиты и окружающихъ его вещей. Среди безчисленныхъ подробностей, изъ которыхъ слагается картина жизни, всегда есть немногія, какъ-бы *магическія* черты: тѣ прикосновенія кисти великаго мастера, которыя заставляютъ дышать бездушное полотно. Въ этихъ волшебныхъ черточкахъ просвѣчиваетъ какъ-бы душа вещей, и по ней вы уже легко угадываете тѣло ихъ. Плодъ тончайшей наблюдательности художника, онѣ опредѣляютъ все его творчество. Вѣдь творчество не въ томъ, чтобы художникъ только самъ творилъ, а въ томъ, чтобы возбуждалъ творческій процессъ въ зрителѣ, а для этого онъ долженъ заронить въ душу послѣдняго духовныя сущности того, что изображаетъ. Какъ зерна въ почвѣ, эти сущности сами развиваются въ принявшемъ ихъ сознаніи въ живыя, законченныя существа, и только тогда оно вполнѣ насыщается ими. Вы прочли «Хозяина и работника» и чувствуете, что въ васъ вселились чьи-то жизни, которыя остаются и ростутъ вмѣстѣ съ вашей, какъ неотдѣлимая часть сознанія. Попробуйте увѣрить себя, что никакого Василія Андреича и Никиты не было, никто не ѣздилъ покупать рощу, никакой мятели не было, никто не погибалъ, что все это одно воображеніе. Вы знаете, конечно, что это сказка, однако какою-то глубокою, доподлинною сущностью своей также знаете, что это въ то-же время и быль, и даже безконечно болѣе реальная, чѣмъ дѣйствительный фактъ, потому-что сказка — это не мгновенное бытіе факта, а вѣчное бытіе его *возможности*, т.-е. необходимости. Никита, Мухортый, Брехуновъ, мятель—читатель убѣжденъ, что все это бываетъ необхо димо такъ, какъ записано Толстымъ. Напиши тотъ-же

разсказъ небольшой художникъ—это убѣжденіе въ необходимости событія исчезло-бы: картина, лишонная магическихъ штриховъ, показалось-бы непохожею на жизнь и потому *небывалою*—хотя-бы авторъ описывалъ дѣйствительное происшествіе.

Въ послѣднемъ разсказѣ Толстого, какъ и въ прежнихъ, молодые беллетристы могутъ почерпнуть дорогіе уроки литературнаго мастерства. Подъ такимъ мастерствомъ чаще всего видятъ слогъ, и плохіе писатели особенно стараются о выработкѣ слога. Болѣе даровитые понимаютъ, что необходимъ также и стройный планъ: какое-то особенно хитрое сочетаніе сценъ, приводящее къ самому сильному эффекту. И только великій мастеръ не очень заботится ни о слогѣ, ни о планѣ, а все вниманіе напрягаетъ на одно: чтобы увидѣть (вообразить) натуру и не сводя съ нея глазъ писать, какъ чувствуешь, со всею мнимою сыростью и нестройностью. Въ результатѣ пристальнаго разглядыванія предмета все излишнее само отпадаетъ, и на бумагѣ остается только важное, остается зрительный образъ, вполнѣ соотвѣтствующій живой дѣйствительности. Толстой не стѣсняется стилемъ; у него встрѣчаются такія выраженія: «Передъ собою онъ видѣлъ прямыя линіи оглобель, безпрестанно обманывавшія его и казавшіяся ему накатанной дорогой, колеблющійся задъ лошади съ заворачиваемымъ въ одну сторону подвязаннымъ узломъ хвостомъ и дальше, впереди, высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади съ развѣвающеюся гривой». Плохой художникъ вылощилъ-бы этотъ періодъ и какъ-бы нибудь иначе обошолся съ «заворачиваемымъ въ одну сторону подвязаннымъ узломъ хвостомъ», но зато потерялась-бы непосредственность и жизненная шероховатость описанія. Вѣдь всѣ живые люди говорятъ несовсѣмъ складно, особенно когда говорятъ искренно, когда переживаютъ свою мысль вслухъ передъ вами. Поэтому блестящій, стройный, легкій стиль всегда отзывается при-

думанностью и нѣкоторымъ лицемѣріемъ: тончайшій оттѣнокъ этого лицемѣрія часто замѣтенъ въ стилѣ Тургенева, Лѣскова, даже Гончарова; онъ почти не слышенъ у Достоевскаго и Писемскаго и вовсе не замѣтенъ у Л. Н. Толстого. Языкъ Толстого простъ и иногда какъ будто неуклюжъ, но это потому, что онъ всегда жизненный, безъ машинной отдѣлки и мертваго блеска. Тамъ, гдѣ описаніе переходитъ въ дѣйствіе, языкъ Толстого пріобрѣтаетъ соотвѣтственную разговорному языку легкость: разговоръ и въ самой дѣйствительности всегда красивѣе описаній. Иначе справился-бы плохой художникъ и съ планомъ разсказа, еслибы взялся писать «Хозяина и работника». Подобно харьковскому критику, такой художникъ «смѣло выпустилъ-бы» чудесныя спены въ деревнѣ Гришкино, сцену встрѣчи съ пьяными мужиками и бабами, т. е. «подсократилъ-бы» весь фонъ картины, оставивъ дѣйствіе въ пустотѣ. Зато въ самомъ дѣйствіи онъ нагромоздилъ-бы приключеній и такихъ «чувствительныхъ» сценъ, какія нагородилъ напримѣръ г. Маминъ-Сибирякъ въ своемъ разсказѣ «Исповѣдь», появившемся почти одновременно съ «Хозяиномъ и работникомъ». Въ разсказѣ г. Мамина хозяинъ, Семенъ Авдѣичъ, замерзаетъ въ крытомъ возкѣ во время бурана, вмѣстѣ съ киргизомъ, Иваномъ Дуракомъ.

Иванъ Дуракъ примирился съ мыслью о смерти и тихо молился про себя. Потомъ онъ весь вздрогнулъ: послышались какія-то дѣтскія всхлипыванія.

— Семенъ Авдѣевичъ, голубчикъ, не нужно малодушествовать...

Всплипыванія перешли въ рыданія.

— Семенъ Авдѣевичъ, отчаяніе—грѣхъ...

— Да я... я не смерти боюсь... Ахъ, тяжело... съ грѣхами тяжело помирать... Иванъ Никитичъ, голубчикъ... я тебя обижалъ... да, обижалъ... прости...

— Богъ тебя проститъ, Семенъ Авдѣичъ... И ты меня прости.

— Богъ проститъ.

Темно, тихо въ возкѣ, тамъ, а наверху, со свистомъ гуляетъ страшный буранъ. Иногда кажется, что въ воздухѣ щелкаютъ зубами тысячи голодныхъ пастей.

Рыданія прекратились. Голохватовъ пришолъ въ себя и заговорилъ уже спокойно:

— Иванъ Никитичъ,—ты старикъ... Исповѣдай меня...

— Какъ-же я тебя буду исповѣдать, Семенъ Авдѣичъ? Вѣдь я не попъ...

— По нуждѣ все можно, а ты знаешь церковный чинъ... Не хочу помирать съ грѣхами. Молодъ я, много грѣховъ...

Иванъ Дуракъ откашлялся и торжественно началъ чинъ исповѣданія; затѣмъ велѣлъ Голохватову прочитать «Вѣрую», и когда тотъ прочиталъ, началась настоящая исповѣдь.

— Рабъ Божій Семенъ, не мнѣ говоришь, а самому Богу...

Почти на каждый вопросъ каявшійся отвѣчалъ:—Грѣшенъ...

— Не припомнишь-ли, рабъ Божій Семенъ, какихъ-нибудь особенныхъ грѣховъ?..

— Весь грѣшенъ, Иванъ Никитичъ... Мѣста живого нѣтъ: завидовалъ, кто сильнѣе былъ меня, обижалъ, кто слабѣе... и все мнѣ было мало... Все хотѣлъ нахватать больше, а подъ старость покаяться... А вотъ Богъ и не допустилъ... Какъ-то теперь останется моя тетушка Катерина Степановна съ малыми дѣтушками... Всѣхъ обманывалъ, а дѣтокъ не соблюдалъ... Жадность была ко всякому грѣху...

— Богъ тебя проститъ, рабъ Божій Семенъ.

— Сиротъ не жалѣлъ... отнялъ наслѣдство у двухъ племянницъ и ихъ-же тѣснилъ за свою неправду... Обманывалъ въ степи малоумныхъ киргижекъ, а они мерли отъ голоду и холоду по моему звѣрству... Еще хотѣлъ обмануть одну отецкую дочь и питалъ это намѣреніе не одинъ годъ...

— Богъ тебя проститъ, рабъ Божій Семенъ.

Исповѣдь кончилась. Голохватовъ чувствовалъ, какъ его долитъ смертный сонъ... А наверху попрежнему бушевала снѣжная буря. Но Голохватову казалось, что это была не буря, а поднялись всѣ его грѣхи, все его звѣрство, вся его неправда... Земля стонала, а сквозь эти стоны доносились точно изъ-подъ земли невинные дѣтскіе голоса:

— Богъ тебя проститъ, грѣшный рабъ Божій Семенъ...

Это въ минуту смерти такой вычурный разговоръ!

IV.

Толстой рисуетъ жизнь какъ она есть, и самая тяжкая драма выходитъ очень простой и обиходной. Глубокое отвращеніе Толстого къ лжи—къ преувеличеніямъ,

каррикатурѣ или мелодрамѣ—дѣлаетъ его писанія не эффектными съ внѣшней стороны: они не вызовутъ ни неудержимаго смѣха, какъ часто у Гоголя, ни невольныхъ слезъ, какъ у Достоевскаго; забавное и ужасное у Толстого всегда смягчено, какъ и въ самой жизни. Забавное вызываетъ лишь тонкую усмѣшку, ужасное — лишь глубокое состраданіе. Обѣ крайности, столь шумныя у другихъ, старающихся «бить по нервамъ» художниковъ, у Толстого, какъ въ самой природѣ, растворены и обезврежены естественною, здоровой стихіей. Ясное чувство жизни придаетъ всякой картинѣ Толстого прелесть, смягчающую рѣзкія тѣни: комическое превращается у него въ наивное, ужасное—въ глубокое и трогательное. И читателю эта строгая сдержанность во внѣшнихъ эффектахъ даетъ высшее художественное наслажденіе. Разные критики упрекають Л. Н. въ томъ, что Брехуновъ вышелъ будто-бы блѣднымъ, не ясно очерченнымъ. Кулакъ—мы его привыкли воображать по Щедрину, въ видѣ Колупаева или Разуваева (въ самихъ фамиліяхъ героевъ у Щедрина чувствуется рѣзкое подчеркиванье). Деревенскій кулакъ—это мрачное чудовище, хитрое и злое, обдирающее мужика какъ липку и неимѣющее никакихъ человѣческихъ чувствъ. Толстой, конечно, не могъ создавать Брехунова по такому шаблону. Онъ знаетъ деревенскихъ кулаковъ не по Щедрину, а изъ самой жизни, и знаетъ, что это чаще всего именно такіе заурядные, плутоватые и твердые люди, какъ Василій Андреичъ, самодовольные и тревожные, но ничего чудовищнаго не представляющіе. Брехуновъ менѣе выразителенъ, чѣмъ Никита или Мухортый, но только потому, что человѣкъ-хозяинъ явленіе и въ самой жизни менѣе типическое, чѣмъ человѣкъ-работникъ или конь-работникъ. Тѣ—дотого давни, постоянны, уравновѣшены, что точно изъ бронзы отлиты, тогда-какъ человѣкъ эксплуататоръ есть явленіе сравнительно новое и не вполнѣ установившееся. Никиту и Мухортаго можно

вообразить безъ Брехунова, тогда-какъ его безъ нихъ— нельзя. Брехуновъ—то-же самое, что въ біологіи паразитный типъ: по самому существу онъ менѣе оформленъ. Такъ-что и въ Брехуновѣ Толстой остается удивительно вѣрнымъ художественной правдѣ.

Немало упрековъ сдѣлано Толстому и за развязку драмы. Ее считаютъ невѣроятной и ненужной. По мнѣнію критиковъ, Толстой долженъ былъ-бы, помучивъ своихъ героевъ мятелью и морозомъ, отпустить ихъ души на покаяніе, и что раскаяніе Брехунова только тогда имѣло-бы смыслъ, если бы онъ остался живъ и былъ-бы въ состояніи воспользоваться предсмертнымъ озареніемъ совѣсти.—И врядъ-ли, прибавляютъ критики, Брехуновъ легъ на Никиту, чтобы спасти его цѣною своей жизни: просто легъ, чтобы вмѣстѣ согрѣться.—Да еще и легъ-ли, замѣчаютъ другіе критики: Брехунову въ двухъ шубахъ морозъ въ 10 градусовъ не могъ быть страшенъ,— и пр. пр. Но и здѣсь, мнѣ кажется, Толстой остался вѣренъ дѣйствительности. Природа, живущая своей жизнью, не производила какого-то нравственнаго эксперимента надъ Никитою и Брехуновымъ, не задавалась цѣлью привести кого-то къ раскаянію, а губила то, что оказывалось внѣ условій жизни, и щадила то, въ чемъ жизнь еще держалась. Нравственное перерожденіе въ минуту смерти явилось только потому, что ни въ какую иную минуту, по характеру Брехунова, не могло придти. Смыслъ жизни, ея высшая цѣнность становятся особенно понятны именно при разлукѣ съ жизнью, какъ цѣну здоровья мы понимаемъ только потерявъ его.

Сцену замерзанія и нравственнаго переворота въ хозяинѣ никто изъ насъ не переживалъ; Толстой не могъ списать этого момента съ натуры, а могъ только сочинить его, продолживъ, такъ сказать, мысленно видимые душевные процессы въ область невидимаго. Угадалъ-ли онъ тайну смерти—рѣшить трудно. Но минуты нравственнаго озаренія бываютъ и нетолько передъ смертью; нѣкоторое

состраданіе къ Никитѣ могло явиться у Брехунова и при обыкновенныхъ условіяхъ. Сознаніе пустоты и ненужности своихъ хозяйскихъ дѣлъ нерѣдко мерцаетъ у Брехуновыхъ и при полномъ благополучіи. Тѣмъ болѣе это сознаніе могло явиться въ минуту смерти, когда весь разумъ души устремленъ на основной корень жизни. Въ Брехуновѣ, Иванѣ Ильичѣ, князѣ Андреѣ (изъ «Войны и мира») и другихъ умирающихъ у Толстого лицахъ смерть—ощущеніе ея—производитъ тотъ-же душевный переворотъ, какъ въ принцѣ Сиддартѣ первый мертвецъ, котораго онъ увидѣлъ. Люди съ великою душою задолго до своей личной смерти испытываютъ преображеніе, которое обыкновенныхъ людей застаетъ при послѣднемъ вздохѣ, но и для великихъ душъ мысль о смерти служитъ источникомъ нравственнаго сознанія.

Я, конечно, но имѣю притязанія защищать Толстого отъ нападокъ эстетической критики. Пусть ужъ разбиваютъ его въ пухъ и прахъ,—авось что нибудь и останется отъ него. Критиковать въ смыслѣ отыскиванія у *такого* автора особенно сильныхъ или особенно слабыхъ мѣстъ — занятіе праздное. Какъ хорошее англійское сукно сплошь добротно, такъ и работа подобныхъ мастеровъ,—что же тутъ перещупывать каждый вершокъ, и мять и пачкать критическими пальцами хорошій товаръ. Роль критики—помочь читателю поскорѣе употребить это достояніе въ дѣло, облечь имъ душу, подобно тому какъ хорошее сукно облекаетъ тѣло.

Кромѣ непередаваемаго наслажденія, вещь великаго мастера возбуждаетъ и работу разума, и въ ней — высшая цѣль творчества. Разсказъ «Хозяинъ и Работникъ» полонъ огромнаго и разнообразнаго содержанія — религіознаго, философскаго, нравственнаго, историческаго: это—чудесная притча для самыхъ возвышенныхъ пророчествъ.

V.

Религіозная мысль «Хозяина и работника», какъ мнѣ кажется, та-же, которою живетъ Л. Н. Толстой послѣднія 15 лѣтъ: мысль о Высшей волѣ, посылающей человѣка въ міръ для любви, въ которой—благо жизни. Поэтому не надо имѣть своей воли, не надо сопротивляться Богу, а нужно радостно покориться Его волѣ, открываемой совѣстью. Возьмите Брехунова: вотъ человѣкъ-«хозяинъ», энергичный, ненасытный, покорившій себѣ человѣка-«работника», вѣчно преслѣдующій какую-то свою личную, особенную цѣль. Онъ *самоволенъ*—его воля отдѣлена отъ интересовъ другихъ существъ, и увлекшись *своею* волею, онъ неизбѣжно отнимаетъ ихъ счастье. Ни о чемъ не помышляя, кромѣ захвата, ничего не чувствуя нужнѣе своей воли, человѣкъ-хозяинъ случайно сталкивается съ волей природы, которая уничтожаетъ его. Только въ минуту гибели человѣкъ-хозяинъ признаетъ, наконецъ, что хозяинъ не онъ, что его воля—мгновенна и ничтожна и какъ-бы не противилась міровой волѣ—неизбѣжно исчезаетъ въ ней. Умирая, человѣкъ чувствуетъ, что все *отдѣльное* умираетъ и вѣчно остается только *общее*: гибнутъ отдѣльныя жизни, но жизнь вообще не гибнетъ. Такова воля міра, и человѣкъ, согласный съ нею, долженъ беречь не свою отдѣльную жизнь, а жизнь вообще, т. е. всю жизнь во всемъ живомъ. Отсюда сознаніе: «Живъ Никита—живъ и я».

Нравственная идея «Хозяина и работника»—послѣдній, страшный судъ сознанія предъ неизбѣжной смертью. Ставятся два человѣка, два брата, обижающій и обиженный, предъ лицо высшей Воли, отнимающей у нихъ жизнь. Все мгновенное, условное въ этотъ мигъ отпадаетъ, и изъ-за обмановъ жизни выступаетъ ея истина. Никита чувствуетъ смутно, что всю жизнь былъ вѣренъ этой истинѣ, всю жизнь служа ближнимъ—работалъ на хозяина, на

жену, на малаго, на бондаря, который жилъ съ его женой, на Мухортаго—на всѣхъ, кто нуждался въ его работѣ. Брехуновъ чувствуетъ, что все время онъ тѣснилъ ближнихъ и что-то у всѣхъ отнималъ, и что дѣлалъ это совсѣмъ напрасно. Огонь геенскій—позднее раскаяніе, говоритъ Исаакъ Сиринъ. Но по Толстому огонь этотъ не столько жгучая боль, сколько свѣтъ. Передъ лицомъ Міра, вдругъ взглянувшаго въ сердце Брехунова, онъ сразу, точно въ сіяньи солнца, прорвавшемся въ подземелье, видитъ погибшую жизнь свою. Но онъ не сожалѣетъ о ней, а лишь спокойно отрицаетъ. «Онъ вспоминаетъ про деньги, про лавку, домъ, покупки, продажи и про милліоны Мироновыхъ, и ему трудно понять, зачѣмъ этотъ человѣкъ, котораго звали Василіемъ Брехуновымъ, занимался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ занимался?—«Что-жь, вѣдь, онъ не зналъ, въ чемъ дѣло»,—думалъ онъ про Василія Брехунова. «Не зналъ, такъ теперь знаю. Теперь ужъ безъ ошибки, *теперь знаю*». Онъ уже не хозяинъ: сердце трепещетъ у него первою любовью къ человѣку—не угрызеніемъ, а умиленіемъ, оно радуется, что гибель осталась назади, что все зло, которое отравляло жизнь, для него уже невозможно. Брехуновъ умираетъ какъ-бы рождаясь для иного существованья, гдѣ онъ будетъ уже добръ и спокоенъ, какъ Никита. Но суждено-ли ему вновь родиться?

Въ наше время устанавливается взглядъ, что предсмертное, напряженное, страстное сознаніе — какъ-бы взрывъ всей душевной энергіи—передается психическими волнами живымъ душамъ, оживляя ихъ въ томъ настроеніи, въ какомъ угасъ умирающій. По древнему представленію—одному изъ многихъ—предсмертное сознаніе претворяется въ душу иного, гдѣ-нибудь зачатаго существа—человѣка или звѣря, смотря по возвышенности его. Толстой не вѣритъ въ совершенное уничтоженіе жизни. У него Брехуновъ, умирая, теряетъ сознаніе только въ этомъ мірѣ, а Никита, умирая, радуется, что «переходитъ изъ этой наскучившей ему жизни въ ту иную жизнь,

которая съ каждымъ годомъ и часомъ становилась ему понятнѣе и заманчивѣе». Авторъ утверждаетъ, что Никита гдѣ-то «послѣ этой настоящей смерти проснулся»— и лучше-ли ему тамъ—«мы всѣ скоро узнаемъ».

Свидѣтельство великаго художника о существованіи новой жизни за гробомъ важно, какъ безпристрастное показаніе тончайшаго психическаго прибора о явленіяхъ неуловимыхъ для обыкновенныхъ грубыхъ душъ. Плохая фотографическая пластинка, обращенная къ небу, отражаетъ только видимыя звѣзды, тогда какъ пластинка крайне чувствительная снимаетъ свѣтила неподозрѣваемыя, никѣмъ невиданныя, темныя, испускающія не свѣтовые, а иные — химическіе и электрическіе лучи. Высокое вдохновеніе художника и мыслителя открываетъ въ природѣ факты до него неизвѣстные и, можетъ быть, необъяснимые, но тѣмъ не менѣе это—реальные факты, сомнѣваться въ которыхъ нѣтъ основанія.

VI.

Смерть здѣшняя и вѣчное продолженіе жизни—все это не нами предопредѣлено. Ничто отъ насъ не зависитъ—мы зависимъ отъ всего,—вотъ, мнѣ кажется, философская мысль «Хозяина и работника». Не по нашей волѣ мы родились въ жизнь и не по нашей уйдемъ, и въ этомъ мимолетномъ промежуткѣ личнаго сознанія живемъ мы не своими, а какими-то данными отъ вѣка силами, съ которыми наше сознаніе тщетно борется, когда не хочетъ признать ихъ. Ихъ нужно признать, искренно слиться съ ихъ движеніемъ, покориться Волѣ, которая играетъ въ вѣчности мірами міровъ какъ вихремъ пыли. Сознать необоримую силу этой Воли и не бороться съ нею—вотъ тайна счастья. Живите безпечно, не отравляйте мгновенную жизнь заботой, не дѣлайте запасовъ, для жизни не нужныхъ; придетъ смерть—покоритесь ей столь-же радостно, какъ жизни, такъ-какъ

то, что составляло существо вашей жизни, не умираетъ; всѣ ваши движенія, всѣ мечты будутъ жить и пойдутъ въ глубь вѣковъ непрерывнымъ рядомъ мгновеній, насыщенныхъ такимъ-же, какъ и у васъ, сознаніемъ. Поглядите на океанъ: милліоны лѣтъ онъ волновался такъ-же точно, какъ теперь, создавая на мигъ тѣ-же волны и ту-же игру ихъ, и на гребнѣ волнъ кипѣла та-же пѣна, и въ ней на мгновеніе являлись тѣ-же мельчайшіе водяные пузырьки, безпрерывно рождавшіеся, колебавшіеся, успѣвавшіе отразить въ себѣ и горячее солнце, и голубое небо, и суровый океанъ—и тотчасъ разсыпавшіеся въ водяной прахъ, изъ котораго тотчасъ-же снова рождались тѣ-же эфемерныя, чудесныя созданія, сотканныя изъ влаги и воздуха. Ни одно изъ нихъ не длится; но всѣ живы въ безконечномъ повтореніи, въ возможности всегда воскреснуть. Неужели печалиться этимъ дѣтямъ мгновенія, что они не вѣчны, что они не остановились, не застыли навсегда въ одной и той-же формѣ, а всегда готовы разсѣяться и снова родиться? Не печаль, а радость—въ возможности безпрерывнаго возрожденія, и отсюда готовность отдать себя въ матеріалъ для другой жизни; «живъ Никита—живъ и я». Нѣтъ отдѣльной жизни, а есть міровая жизнь, которой мы—только мгновенныя біенія, мгновенныя сознанія, и какъ таковыя, исчезнувъ, мы не можемъ не явиться снова. Но если нѣтъ смерти, то зачѣмъ забота? Страданія голода и холода принуждаютъ къ труду, но разъ они удовлетворены—зачѣмъ трудъ? Зачѣмъ этотъ несчастный Брехуновъ всю жизнь свою волновался страхомъ разоренья, алчностью наживы, совсѣмъ ему ненужной, зачѣмъ онъ отнималъ у своихъ братьевъ ихъ радость, тѣсня ихъ и опутывая ненужными для нихъ заботами? Никита всѣмъ своимъ кроткимъ существомъ зналъ, что онъ ничто предъ Міровой Волей, и покорялся ей съ радостью, вѣчно готовый жить и исчезнуть, чувствуя инстинктомъ, не заглушеннымъ личной волей, что за смертью будетъ

другая жизнь. Брехуновъ смутно признавалъ Міровую Волю, но пытался слѣдовать своей и потому ощущалъ постоянный страхъ за себя. Онъ предчувствовалъ, что средства, которыя были у него, чтобы противиться судьбѣ, все-же ничтожны и рано-ли, поздно-ль, Высшая воля совершится, и потому испытывалъ затаенный ужасъ, какъ маленькое существо предъ всесильнымъ врагомъ. Онъ поставилъ себя во вражду съ Высшей волей и оттого боялся, но стоило ему поставить себя въ согласіе съ этой Волей—и страхъ прошелъ-бы, какъ у Никиты, который безпечно встрѣчалъ все, что-бы ни посылала судьба, даже смерть. Согласіе съ судьбой даетъ любовь ко всему—къ природѣ, къ Мухортому, къ соломѣ, которая не хотѣла укладываться, къ кушаку, который плохо завертывался, къ курамъ, всполошившимся на шесткѣ, къ собакѣ, лаявшей напрасно, къ женѣ своей и любовнику ея бондарю, къ своему «малому» и къ чужому, хозяйскому сыну, котораго Никита ласкаетъ «голубкомъ». Это не больная, слезливая любовь обыкновенныхъ злыхъ людей—любовь только къ *своему* чему-нибудь, къ своему сыну, женѣ и т. п., любовь, отравленная страхомъ потерять свою отдѣльную *собственность*. Любовь Никиты—свѣжее и ясное расположеніе не отдѣлившейся отъ міра, стихійной души ко всему, что входитъ въ ея жизнь. Никита—человѣкъ стихійный, признавшій себя, какъ былинка среди вихря, въ волѣ Бога: онъ не истощаетъ силъ для созданія себѣ какого-то особаго счастья и достаточно силенъ, чтобы пользоваться доступными дарами жизни. Никита знаетъ, что Брехуновъ его обсчитываетъ и обманываетъ, но знаетъ также, что «нечего и пытаться разъяснять съ нимъ свои разсчеты, а надо жить, пока нѣтъ другого мѣста, и брать, что даютъ». Мѣста другого онъ не искалъ, но если-бы оно подвернулось — не отказался бы. Стихійный человѣкъ, Никита могъ испытывать физическія страданія — какъ дерево или животное, но онъ не страдалъ психическими муками, такъ-какъ совпа-

далъ душою съ Вѣчной волей. *Охота* у Никиты была всегда къ тому, что совершалось само, и поэтому у него не было *неволи*: все происходило какъ-бы съ его согласія. Онъ не пытался плыть противъ теченія жизни, въ какое попалъ. Въ то время какъ Брехуновъ барахтался съ отчаяніемъ, захватывая руками ускользавшую струю жизненныхъ благъ, страшась захватить недостаточно, — Никита отдался міровому потоку какъ дитя, захваченное наводненіемъ въ своей колыбели, любуясь лазурью неба и шумомъ волнъ, не думая о смерти, не боясь ея. Въ этомъ заключается высшій стоическій принципъ—непроивленіе неизбѣжному. Какъ Платонъ Каратаевъ (прообразъ многихъ любимыхъ Толстымъ типовъ), Никита всю жизнь служитъ тому, что требуетъ его услугъ. Заставятъ воевать—скрѣпя сердце, безъ всякой злобы воюетъ, прикажутъ работать на кулака — работаетъ. Самъ онъ лишенъ злой воли, но исполненъ доброй, міровой воли, одинаково доброй для всѣхъ, служащей для добра и зла. Подобно Мухортому, онъ «покорно» идетъ туда, куда ему велятъ, хотя внутренно и знаетъ, что туда не нужно идти. Хотя-бы мучительно и противно было идти, а идетъ, какъ и Мухортый—спасая безсознательно этимъ согласіемъ нѣчто болѣе важное, нежели причиненное имъ внѣшнее зло. Подобно Мухортому, Никита являлся орудіемъ недобрыхъ замысловъ Брехунова и помогалъ ему сѣять зло. Но онъ—какъ и въ измѣну жены своей — «въ эти дѣла не входилъ». Какъ стихія, онъ служилъ почти одинаково всѣмъ, кто овладѣвалъ имъ.

VII.

«Но вѣдь это очень дурно, воскликнетъ читатель:— такими стихійными людьми создается, стало-быть, дѣйствительность со всѣми ея ужасами. Не подчинись работникъ хозяину — не было-бы никакого хищничества». Правда. Я не спорю, Никита не безупреченъ, но обви-

нять его въ томъ, что онъ служилъ орудіемъ для безнравственныхъ цѣлей—трудъ напрасный. По нравственному закону не надо быть орудіемъ дурной воли, и если она овладѣваетъ вами—нужно сопротивляться ей. Но если бы Никита былъ способенъ сопротивляться, то вѣроятнѣе всего онъ былъ бы самъ хищникомъ; онъ потому и не хищникъ, что не умѣетъ сопротивляться. Вѣдь сопротивляться и нападать—явленіе одно и то же, только съ разныхъ концовъ. Говорить Никитамъ: «сопротивляйтесь!»—все равно, что говорить это овцамъ, въ кучу которыхъ забѣжалъ волкъ. Овцы не умѣютъ сопротивляться, онѣ не такъ созданы. Мы видимъ, какъ расцвѣтаетъ кулачество въ деревнѣ, какъ издавна въ колоссальныхъ размѣрахъ культивируется хишничество, и какъ народъ—этотъ большой Никита—безропотенъ. Намъ—интеллигенціи, т. е. «хозяевамъ» или потомству «хозяевъ»—странно, какъ это народъ не сопротивляется, если ему живется дурно. По нашимъ собственнымъ, самовольнымъ инстинктамъ, мы чувствуемъ, что въ положеніи работника мы не терпѣли-бы обсчитыванія, обмана и насилія Брехуновыхъ и непремѣнно вступили-бы съ ними въ борьбу. Мы поступили-бы такъ, какъ дѣлаютъ Брехуновы въ отношеніи другихъ такихъ-же Брехуновыхъ — подняли-бы борьбу ихъ-же оружіемъ, т.-е. если нельзя прямымъ насиліемъ, то пустили-бы въ ходъ обманы, обсчитыванье, обвѣсъ и т. п. Иныхъ способовъ противленія нѣтъ, но для Никитъ они непригодны. Они не хищники, у нихъ нѣтъ тѣхъ органическихъ уродствъ—той алчности, злобы, тщеславія, которыя какъ физическія уродства—клыки и когти—необходимы для насилія. Стихійные люди—люди естественные — лишены извращеній духа, его болѣзней, необходимыхъ для сопротивленія насиліямъ и обманамъ. Оттого-то, сказать кстати, всѣ фантазіи о народныхъ революціяхъ до сихъ поръ остаются фантазіями. Ни одна революція не имѣла ни народнаго происхожденія, ни народнаго характера—даже крестьянскія войны въ сред-

ніе вѣка или наши бунты. Эти войны и бунты *вовлекали* въ себя народныя массы въ качествѣ сырой стихіи, какъ ту-же стихію вовлекали въ себя и международныя войны. Въ обоихъ случаяхъ зачинщиками являлись не народныя массы, а группы вожаковъ, «хозяевъ», бившихся другъ съ другомъ народными массами какъ простымъ оружіемъ изъ-за ненужныхъ и неизвѣстныхъ народу цѣлей. И крестьянскія войны, и наши бунты поднимались бродячими разбойничьими элементами, обѣднѣвшими рыцарями (на Западѣ) или казаками (у насъ), бѣглыми крѣпостными и т. п. Народъ самъ по себѣ органически неспособенъ на насиліе; всѣ виды насилія создаются людьми выдѣляющимися изъ народа и выродившимися въ хищный типъ. Народъ всегда и всюду подчиняется безропотно; борются насильники. Народное непротивленіе есть естественное свойство массъ, ихъ инерція. Непротивленіе даетъ жизнь хищникамъ, но можетъ быть оно же спасаетъ человѣчество отъ общей гибели. Травоядныя поддерживаютъ жизнь плотоядныхъ, но представьте себѣ, что всѣ коровы, лошади, овцы и пр. превратились-бы въ волковъ и медвѣдей; имъ осталось-бы перегрызть другъ друга, какъ это дѣлаютъ пауки въ банкѣ. Если бы массовый Никита получилъ способность сопротивляться массовому Брехунову, то получился бы одинъ сплошной хищникъ, оторванный отъ природы и обреченный на сомопожираніе. Теперешнее раздѣленіе людей на хищныхъ и мирныхъ кажется жестокимъ, но *теперь* насилуетъ меньшинство, *тогда* насиловали-бы всѣ—bellum omnium contra omnes. Вообразите, что матерія потеряла свойство инерціи и каждый атомъ вступилъ-бы въ борьбу съ ближайшими атомами: невозможно было-бы никакое сочетаніе элементовъ, и вселенная превратилась-бы въ хаосъ. Мы не знаемъ, какую роль играетъ хищный типъ въ экономіи природы. Можетъ быть онъ является естественною казнью за несовершенство мирнаго типа побудителемъ къ дальнѣйшему развитію по-

слѣдняго. Можетъ быть, Брехуновъ существуетъ какъ слѣдствіе грѣха Никиты — недостатка разумѣнія: вѣдь при полномъ разумѣ Никита отказался-бы поддерживать Брехунова во многомъ, что открылось-бы ему зломъ для людей,—и Брехунову пришлось-бы изсчезнуть, какъ хищнику. Пока-же онъ существуетъ, онъ можетъ быть играетъ роль груза, которымъ выжимается изъ стихійной души Никиты ея тонкій продуктъ — разумъ. Ясно, что нужно всѣми мѣрами добиваться, чтобы не было хищничества, но это осуществится, какъ я думаю, не обостреніемъ борьбы, перерожденіемъ не мирныхъ людей въ хищниковъ, а хищниковъ въ мирныхъ людей. Вѣдь мирные люди всетаки составляютъ *стихію*, огромное, подавляющее большинство, и меньшинство рано ли, поздно ли, должно слиться со стихіей, раствориться въ ней. Брехуновъ долженъ придти къ сознанію, что «живъ Никита—живъ и я».

VIII.

Нравственное перерожденіе втеченіе вѣковъ уже идетъ и теперь не остановилось, а движется, можетъ быть, быстрѣе, чѣмъ когда-либо, и даже сама страстная вѣра въ соціальную революцію при отсутствіи этой революціи есть признакъ быстраго нравственнаго прогресса. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это не признакъ времени, что о братствѣ и равенствѣ начинаютъ мечтать аристократы и буржуа? Развѣ это не характерно, что на Западѣ организована многомилліонная революціонная партія, проповѣдующая коренной переворотъ въ обществѣ, и тѣмъ не менѣе нѣтъ ни потоковъ крови, ни пожаровъ, ни грабежей? При другомъ нравственномъ состояніи— всего сто лѣтъ назадъ — подобный «горючій матеріалъ» испепелилъ-бы всю Европу; теперь онъ почти безвреденъ. Правда, еще не вывелись хищные инстинкты въ обоихъ

лагеряхъ, еще дѣйствуютъ иногда бомбы, кинжалы и т. п., но все это составляетъ совсѣмъ ничтожное исключеніе и отрицается революціонной стихіей. Эта стихія дѣйствуетъ вполнѣ мирно, но разрушительно на старые непорядки, постепенно захватывая въ свой кругъ человѣка за человѣкомъ, сословіе за сословіемъ, и уже успѣла захватить многихъ «хозяевъ»: промышленниковъ, капиталистовъ, государственныхъ людей, неговоря объ интеллигентныхъ профессіяхъ. Милліонеры отказываются отъ своихъ милліоновъ, жертвуя ихъ при жизни или въ концѣ ея на народныя нужды; число такихъ пожертвованій даже у насъ ростетъ замѣтно. Пусть случаи подобнаго отреченія отъ корысти и тщеславія еще очень рѣдки, но число ихъ множится и въ передовыхъ христіанскихъ странахъ дѣлается уже общественнымъ *явленіемъ* — стоитъ указать на сотни и тысячи этическихъ обществъ въ Англіи, Америкѣ и Германіи. Перерожденіе Брехуновыхъ не мечта, а совершающійся фактъ.

IX.

Таковъ историческій смыслъ притчи «Хозяинъ и работникъ». Брехуновъ—отживающее язычество, Никита—ростущее изъ стихіи народной истинное христіанство. Признакъ язычества—«царство отъ міра сего»,—господство внѣшнихъ заботъ и матеріальныхъ радостей, захватъ богатства и неизбѣжное при этомъ насиліе надъ ближнимъ, обманъ, выдѣленіе себя изъ семьи народной, тщеславіе, презрѣніе къ человѣку. Признакъ христіанства — «царство не отъ міра сего», довольство необходимымъ, служеніе ближнимъ и неизбѣжное при этомъ сліяніе съ народомъ, кротость, чувство равенства и любви къ человѣку. Въ «Хозяинѣ и работникѣ» отмѣченъ великій расколъ между хозяйничающими и рабочими классами, между такъ-называемой интеллигенціей и народомъ. Жизнь интеллигенціи еще насквозь проникнута

языческими началами: въ ея законахъ и уставахъ, которымъ долженъ подчиняться и народъ, все еще дѣйствуетъ жестокое римское право, и въ зародышевомъ представителѣ интеллигентнціи—въ Брехуновѣ—живетъ духъ Цезаря, мечтавшаго о захватѣ міра. Какъ Цезарь, какъ все язычество, Брехуновъ только и мечтаетъ о захватѣ—зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы возбуждать страхъ и зависть и имѣть возможность питать къ слабымъ презрѣніе. Зачѣмъ Брехунову столько денегъ, лавокъ, домовъ, рощъ и т. д? Вѣдь для его вполнѣ обезпеченнаго счастья довольно было-бы *одного* дома, *одного* небольшого клочка земли. И всѣ Брехуновы, вся интеллигенція помѣшана на томъ-же тщеславіи, на жаждѣ ненужныхъ жизни матеріальныхъ выгодъ, съ неизбѣжнымъ насиліемъ и обманомъ. Нето стихійный Никита, народъ: тамъ, гдѣ онъ не развращенъ, не втянутъ въ хищничество, тщеславіе уже не встрѣчается — по крайней мѣрѣ въ видѣ страшной душевной болѣзни, какъ среди интеллигенціи. Въ глубинахъ народныхъ замѣтны истинно христіанскіе обычаи братства, равенства, свободы—свободы и мысли, и вѣры, и слова. Нѣтъ тщеславія—нѣтъ и алчности къ богатству. Большинство народа цѣлью труда ставитъ необходимое питаніе; для большинства интеллигенціи эта цѣль—какое-нибудь преимущество: господство политическое, экономическое, умственное, т. е. нѣчто по существу не христіанское. Цѣль Никиты—питаніе—легко удовлетворима, цѣль Брехунова — неудовлетворима вовсе; кругъ жизни народа замкнутъ, какъ геометрическій кругъ; интересы интеллигенціи подобны гиперболѣ, вѣтви которой идутъ въ безконечность, въ безсиліи захватить ее. Вся интеллигентная, промышленная, политическая культура обречена на истощеніе, вслѣдствіе чрезмѣрности и ненасытности ея цѣлей. Не такова истинная, христіанская культура, зрѣющая въ народныхъ массахъ и на тѣхъ вершинахъ интеллигенціи, которыя снова сошлись съ народомъ. Въ существѣ этой культуры лежитъ сознаніе Выс-

шей воли, дающее мѣру нужнаго и отвергающее все излишнее, мѣру счастья и свободы. Загляните въ кроткую и благородную душу Никиты: какъ она свѣжа и ясна, какимъ здоровьемъ вѣетъ отъ нея въ сравненіи съ озабоченною, тревожной душой Брехунова. Вы воочію видите, какъ сердце Никиты питается въ-мѣру всѣми впечатлѣніями міра; для него вѣчно интересны и Мухортый, и санки, и кушакъ, и куры, и собака, и мятель; какъ ребенку или поэту, Никитѣ всегда новы «всѣ впечатлѣнья бытія» — онъ пьетъ ихъ открытою грудью, какъ животворный воздухъ, всегда нужный и всегда доступнюй. Нето Брехуновъ; всѣ впечатлѣнья міра для него заслонены одною уродливо разросшейся страстью; душа его — душа алкоголика — одержима деликіумомъ, ей ничто ненужно, кромѣ все большихъ и большихъ пріемовъ возбуждающаго яда. Какъ богата и разнообразна душевная жизнь Никиты и какъ узка и убога жизнь Брехунова! И наше бѣдное, невѣжественное крестьянство, окруженное трепетомъ міровой жизни, всѣми красками и звуками природы,—насколько живетъ оно здоровѣе и разнообразнѣе помѣшанной на тщеславіи интеллигенціи, загнавшей себя въ стѣны канцелярій, фабрикъ, заводовъ, библіотекъ, въ узкую, всегда мертвую спеціальность. Никита — истинный христіанинъ не по наукѣ, не по религіи, а по инстинктамъ своимъ: христіанство свое онъ впиталъ въ себя не изъ книгъ, а изъ окружающей природы вмѣстѣ съ жизнью. Вѣдь если христіанство есть высшій законъ, если оно есть подчиненіе Высшей волѣ, то міръ несомнѣнно во всѣхъ стихіяхъ проникнутъ христіанствомъ, такъ-какъ покоренъ Высшей волѣ. Не подозрѣвая, быть можетъ, что онъ христіанинъ, Никита кротокъ, безпеченъ, радостенъ, какъ рыбакъ галилейскій. Христосъ не создалъ закона подчиненія Богу, а только открылъ его,—ввелъ въ сознаніе людей то, что существовало отъ вѣка. Поэтому и въ древнемъ, и въ современномъ язычествѣ встрѣчаются истинные, прирож-

денные христіане: подобно Сократу, Никита (и всякій чистый народъ во всѣ времена) не зналъ *ученія*, но обладалъ всею полнотою духа христіанскаго. Въ разсказѣ Толстого заключено указаніе, что человѣчество, расколовшееся на стихійное язычество и стихійное христіанство, на хозяевъ и работниковъ, должно слиться въ христіанскомъ сознаніи, въ томъ *разумѣніи блага*, котораго недостаетъ имъ обоимъ. Вѣдь если-бы они владѣли этимъ разумѣніемъ, то Брехуновъ не служилъ бы съ такимъ упорствомъ своему ложному благу, а Никита не помогалъ бы ему въ этомъ, и уже одно отсутствіе стихійной поддержки положило-бы конецъ лжи. Теперешній Никита весь въ волѣ Божіей, но еще не всегда ясно знаетъ, въ чемъ она. Напримѣръ, онъ знаетъ, что дѣтей убивать нельзя, и въ этомъ непоколебимъ какъ утесъ; но убить турка при извѣстныхъ условіяхъ онъ еще въ состояніи, и именно подъ видомъ воли Божіей. Будетъ, однако, время, когда и послѣдній поступокъ станетъ для него невозможнымъ, и никакими хитростями его нельзя будетъ убѣдить въ томъ, что это воля Божія. По мѣрѣ раскрытія сознанія въ Никитѣ онъ все далѣе и далѣе будетъ отходить отъ участія въ злѣ, и зло исчезнетъ. Естественный инстинктъ добыванія того, что необходимо, разросшійся среди язычества въ манію—въ добываніе того, что ненужно,—здоровый инстинктъ восторжествуетъ. Вѣчная борьба Брехуновыхъ противъ Высшей воли, загоняющая ихъ въ душныя стѣны городовъ и фабрикъ, въ условія праздной и развратной жизни, ведетъ ихъ одновременно и къ гибели и къ высшему сознанію. Интеллигенція, хозяйничающая надъ массами, ведетъ ихъ—какъ Брехуновъ Никиту и Мухортаго—куда не нужно, въ мятель заботъ и тревогъ, и теряетъ дорогу до такой степени, что и слѣдъ отыскать трудно. Потерявъ свое естественное мѣсто въ природѣ, увлекая за собою народъ, интеллигенція подвергаетъ опасности и народныя массы. Современная жад-

ная цивилизація заводитъ человѣчество на гибельный путь вырожденія—физическаго и душевнаго, заражаетъ психозомъ тщеславія, въ которомъ истинная причина обнищанія рабочихъ и изнуренія нерабочихъ классовъ. Изъ *органическихъ* условій природы, изъ живительныхъ стихій, человѣкъ—ихъ прямой продуктъ—ставится въ иныя, *неорганическія* условія, и человѣкъ разлагается какъ органъ, оторванный отъ организма. Мы всѣ видимъ тихую, но необъятную катастрофу фабричнаго и городского вырожденія, вымираніе обезземеленнаго пролетаріата, переутомленіе интеллигенціи, истощеніе праздныхъ классовъ. И Брехуновъ, и Никита оба близки къ гибели.

Но въ разсказѣ Толстого заключено и великое пророчество: настанетъ время, и Брехунову откроется весь ужасъ положенія, въ которое онъ завелъ себя и Никиту, онъ сознаетъ всю ненужность и противуестественность его стремленій, восчувствуетъ истинную цѣну жизни, возгорится любовью къ обиженному брату и прикроетъ его собою отъ «ярости гнѣва Божьяго». Отомретъ то, что стремилось къ смерти, и хотя обвѣянное смертью, останется живо стремящееся къ жизни. Умирающая «интеллигенція» своимъ послѣднимъ сознаніемъ спасетъ близкій къ смерти народъ и отогрѣетъ его для новой жизни. Утѣшеніемъ «хозяина» будетъ сознаніе, что еще «живъ Никита—живъ и я».

X.

Что это пророчество сбыточно—развѣ не доказываетъ намъ жизнь самого автора «Хозяина и работника»? Что такое графъ Л. Н. Толстой, какъ не Василій Андреичъ Брехуновъ, нѣкогда, по его признанію, тщеславный и алчный,—теперь просвѣщенный сознаніемъ Высшей воли и умиленный въ предчувствіи иной жизни? Для Толстого не нужна была физическая катастрофа, какъ для

деревенскаго кулака: среди благополучной и роскошной жизни личной, онъ острымъ взоромъ генія увидѣлъ всегдашнюю мятель, всегдашнюю гибель—и свою, и народную,—острымъ слухомъ услышалъ «голосъ зовущій»—и онъ переродился, вошелъ въ иную духовную жизнь уже теперь. Въ этомъ несравненное преимущество великой души: она чутка къ правдѣ и легко сливается съ Высшей волей, какъ-бы ни отдалилась отъ нея. Великій человѣкъ—такое-же стихійное, близкое къ природѣ существо, какъ и Никита. «Съ природой одною онъ жизнью дышалъ, ручья разумѣлъ лепетанье...»—это выраженіе одинаково относится и къ смиренному Никитѣ, и къ великому автору его. Отчего Толстой такъ любитъ этотъ типъ стихійнаго человѣка—Платона Каратаева, Акима (изъ «Власти тьмы») и пр.? Оттого, что онъ самъ—стихійный человѣкъ, человѣкъ старой и очень высокой культуры, развившейся до естественности, до слiянія съ природой. Никита—произведеніе подобной-же культуры—народной, столь-же естественной, столь-же древней. Далеки отъ природы культуры недавнія, промежуточныя, не развившіяся до стихійности. Отсюда столь частое проникновеніе великихъ людей и народа одними и тѣми-же нравственными идеалами. На вершинахъ мысли и на низахъ ея люди встрѣчаются въ признаніи внѣ ихъ стоящей могучей Воли, надъ всѣмъ бодрствующей. Чувствуя, что мгновеніе ихъ жизни тонетъ въ вѣчности, люди крайнихъ культуръ привыкаютъ видѣть смыслъ жизни въ ея вѣчномъ началѣ. Никита доходитъ до этого безсознательно вмѣстѣ съ массой народной, несущей откуда-то, изъ глубинъ древности, свои представленія о вѣчности и жизни. Толстой дошелъ до того-же состоянія чрезъ научное и философское знаніе, пробѣгая какъ-бы черезъ пламень мысли, въ которомъ не всякій остался-бы невредимымъ. Только могучее сложеніе души Толстого позволило ему выйти безъ увѣчій для его естественнаго разума: души менѣе крѣпкія, будучи охвачены

чужими теоріями, пожираются ими какъ огнемъ: вся стихійность, все личное творчество выгораетъ въ заимствованной мысли. Толстой пронесъ чрезъ трехъ-тысячелѣтнее историческое знаніе свою личную мысль и освѣтилъ ею стихійную душу своей расы. Тотъ, кто такъ глубоко понялъ и въ сердцѣ своемъ возлелѣялъ образы Платона Каратаева и Никиты,—тотъ въ правѣ сказать, что устами его говорилъ духъ народный—собирательный разумъ человѣчества. Что-же говоритъ этотъ разумъ? А то, что «сбились съ дороги и поискать надо...»

Первый признакъ, что путь потерянъ — когда идти становится тяжело. Тяжело стало жить на свѣтѣ—вотъ общее ощущеніе заблудившагося человѣчества. Нынѣшняя лже-цивилизація несносно усложнила жизнь и подъ предлогомъ обезпеченія человѣка—озабочиваетъ его. Отъ спокойнаго наслажденія необходимымъ духъ отвлеченъ къ тревогѣ о томъ, что̀ еще нужно добыть, истощая силы жизни. Съ тѣхъ поръ какъ жизнь человѣка запуталась въ интересахъ нетолько близкихъ людей, но и въ явленіяхъ незнакомаго общества и необъятнаго культурнаго міра — жизнь изъ простой и ясной оказалась затянутой въ сплошную петлю. Вмѣсто очень легкаго и понятнаго порядка отношеній Никиты къ людямъ, Брехунову — «хозяину» цивилизаціи—приходится заботиться объ огромномъ, необозримомъ механизмѣ будто-бы «общественныхъ» отношеній, подъ страхомъ, что онъ разсыплется. Цивилизованный человѣкъ не можетъ себѣ представить міръ безъ современныхъ фабрикъ и заводовъ, безъ горъ товару и безпрерывно текущихъ рѣкъ продуктовъ, оторванныхъ отъ производителя, безъ тарифовъ, нормировокъ, синдикатовъ, акцизовъ, страховокъ, дивидендовъ, векселей, безъ огромныхъ армій рабочихъ, солдатъ, чиновниковъ, купцовъ, художниковъ, ученыхъ, безъ ста-тысячъ профессій, перепутавшихся до безсмыслицы. Какъ въ дремучемъ лѣсу деревья переплетаются вѣтвями дотого, что душатъ другъ друга, современная

общественность вплетаетъ живую душу въ какую-то ненужную ей ткань, гдѣ она сдавлена до неподвижности, и испытываетъ въ то-же время всѣ волненія этой ткани. Отвергнувъ высшую міровую Волю, человѣкъ-хозяинъ въ страхѣ ищетъ защиты въ общественности, нагромождая вавилонскую башню учрежденій, профессій, состояній, неравенствъ всякаго рода, отдавая себя въ вѣчное рабство этимъ идоламъ. Живой, подвижной океанъ человѣчества, гдѣ каждая молекула свободна, кристаллизуется въ сплошную застывшую массу. *Насильственное* подчиненіе каждаго всѣмъ — вотъ соціалистическій идеалъ, послѣднее слово язычества.

XI.

Къ счастію, язычество не есть единственная форма цивилизаціи. На нашихъ глазахъ отмираетъ суевѣріе, будто цивилизація есть плодъ борьбы, будто прогрессъ немыслимъ безъ конкурренціи, будто именно Брехуновы, вѣчно ненасытные, создаютъ высшія формы жизни. Начинаетъ дѣлаться яснымъ, что все то, что въ цивилизаціи истинно, жизненно, нравственно, необходимо — все это создается кроткимъ человѣкомъ, Никитой, Брехуновы-же вносятъ только извращенія, которыя лишь задерживаютъ здоровое развитіе цивилизаціи. Именно кроткіе Никиты— истинные создатели какъ нравственной, такъ и умственной культуры. Всѣ религіи и великія нравственныя ученія вышли изъ тишины полей и лѣсовъ,—въ городахъ онѣ гибли, извращаясь въ мрачные и развратные культы. Наука и искусство—всѣ тончайшія откровенія—вышли изъ сердца геніевъ, вышедшихъ изъ сердца народа. Учители человѣчества чаще всего были бѣдняки, гонимые, голодавшіе и ужь во всякомъ случаѣ не Брехуновы! Брехуновы (промышленники, купцы, распорядители) тотчасъ-же захватывали въ свои руки всѣ плоды генія и вводили ихъ, какъ новыя орудія, въ свою кромѣшную

борьбу. Но ни одинъ Брехуновъ не изобрѣлъ лично ни одного гвоздя, не написалъ великой вещи, не открылъ вѣчнаго закона. Ничто истинно великое (составляющее душу цивилизаціи) не являлось по заказу или принужденію, а возникало само собою, чудомъ внутренняго разцвѣта духа, возросшаго въ наитіяхъ природы. Какъ ни хлопотлива алчная борьба Брехуновыхъ, они ничего не *творятъ* сами, а только захватываютъ и отнимаютъ другъ у друга уже созданное: созданное или руками или геніемъ Никиты. Не «недовольство жизнью» Брехуновыхъ, а именно *удовлетвореніе* ею стихійныхъ людей вело къ раскрытію жизни, въ чемъ и заключается цивилизація. «Для цивилизаціи необходимо богатство, обезпечивающее досугъ», утверждаютъ хищники, оправдывающіе свою дурную дѣятельность. Но такъ-какъ богатство невозможно безъ отнятія его у многихъ, то это отнятіе—эксплуатація массъ народныхъ—возводится въ историческій законъ, въ *необходимое* условіе цивилизаціи. По этой теоріи аѳинская культура въ вѣкъ Перикла была-бы немыслима безъ рабства, какъ и культуры римская, феодальная, крѣпостная и теперешняя капиталистическая немыслимы будто-бы безъ «эксплуатаціи» народныхъ массъ, отчужденія ихъ энергіи въ распоряженіе «интеллигентнаго меньшинства». Но не говоря о томъ, что самая роскошная цивилизація, купленная страданіями живыхъ существъ, такъ-же грѣшна, какъ благополучіе людоѣда, сожравшаго своего плѣнника,—не говоря о томъ, что это грѣхъ,—это сверхъ того и ошибка. Истинная цивилизація совсѣмъ не нуждается въ богатствѣ и праздности «меньшинства». Развѣ тѣ геніи, которые составляли украшеніе вѣка Перикла, были богачи? Развѣ Сократъ не былъ бѣднѣе всѣхъ въ Аѳинахъ и его философія теряла отъ того, что онъ ходилъ бо-икомъ? Развѣ онъ нуждался въ рабахъ, чтобы вести праздную жизнь? Развѣ Эпиктетъ былъ аристократъ или милліонеръ? Онъ былъ *рабъ* и доказалъ, что даже на этой, послѣдней ступени бѣдности и беззащит-

ности можно кое-что дѣлать для истинной цивилизаціи. Припомните жизнь великихъ дѣятелей—огромное большинство ихъ вышло изъ бѣдности, а многіе изъ нищеты.—«Науки и искусства не разцвѣли-бы, если-бы не было роскоши, нуждающейся въ наукахъ и искусствахъ, если-бы богачи не покровительствовали геніямъ», говорятъ защитники хищной цивилизаціи. Насколько богачи «покровительствовали» геніямъ, мы это знаемъ изъ судьбы геніевъ, кончившихъ жизнь въ нищетѣ, въ изгнаніи, или съ чашею яда въ рукѣ. Правда, богачи «заказывали», «покупали» произведенія искусства, но именно, становясь продажными, наука и искусство и теряли свою жизненность и нравственную цѣну. Меценаты не создавали, а губили таланты, заставляя ихъ приспособляться къ своимъ низкимъ вкусамъ и извлекая эти таланты изъ народнаго обращенія. Я уже писалъ (см. «Думы о счастьѣ») о томъ, какое опустошеніе вноситъ въ искусство тщеславіе богачей, систематически скупающихъ все, что въ искуссвѣ объявится талантливаго, и все это прячущихъ навсегда отъ народныхъ глазъ. Покупая труды генія, богачъ платитъ ему не вдохновеніемъ, которое тому нужно, а деньгами, которыя не подскажутъ, конечно, ни великой мысли, ни глубокаго чувства. Даже и матеріально Брехуновы всегда поддерживали только тѣ таланты, которые имъ льстили, т. е. нравственно укрѣпляли ложь ихъ жизни. Наука и искусство, ставъ въ зависимость отъ денегъ, утрачивали свободу и изъ двигателя цивилизаціи становились тормазомъ ея. Гнетъ академій и ученыхъ цеховъ слишкомъ хорошо извѣстенъ. Зачѣмъ истинному генію покровительство? Никитѣ не нужно покровительства Брехунова, чтобы быть добрымъ; будь у него выдающійся умъ или талантъ—онъ также обошолся-бы безъ «покровительства». Для мудрости нужно досуга не болѣе, чѣмъ для доброты, и разъ она есть—она будетъ изливать на всѣхъ тотъ-же свѣтъ, какъ и доброта Никиты. Никита подѣлился-бы мудростью и съ

хозяиномъ, и съ его сынишкой, и съ кухаркой, и съ бондаремъ, любовникомъ жены, и съ Мухортымъ: «на все-бъ отозвался онъ сердцемъ своимъ, что ищетъ у сердца отвѣта». И такіе стихійные мудрецы, какъ и стихійные таланты, всегда были и есть въ народѣ, и весь ихъ геній, не будучи продажнымъ, сообщается *даромъ* окружающей массѣ: благо, котораго не знаетъ языческая цивилизація. «Но досугъ все-таки нуженъ для воспитанія генія: мудрецъ, подавленный черной работой, глохнетъ въ невѣжествѣ», возразитъ читатель. Правда, досугъ нуженъ, но кто-же отнимаетъ этотъ досугъ, какъ не Брехуновы? Обсчитывая Никиту на $^2/_3$ заработка, кто какъ не «хозяинъ» ставитъ препятствія для образованія «работника»? Для того, чтобы дать своему чаду досугъ погружаться въ искусства, науки, каждый Брехуновъ отнимаетъ досугъ десятка людей, которые тоже могли-бы «погружаться». Нѣтъ, — богатство «покровителей» не способствовало народному генію, а тѣснило его въ самомъ источникѣ. Только христіанская культура въ состояніи освободить загнанныхъ въ рабство геніальныхъ людей въ народѣ, возвративъ имъ ихъ время и энергію. И нѣтъ сомнѣнія, что даже во внѣшней красотѣ жизни «царство Божіе на землѣ» превзойдетъ «царство отъ міра сего».

Много думъ наводитъ послѣдній разсказъ Л. Н. Толстого, какъ «вечерній звонъ» великаго таланта. Этихъ думъ не собрать и не исчерпать: каждый разъ, когда прислушиваешься снова къ торжественнымъ звукамъ, рождаются новыя мечты. Таковъ удѣлъ хорошаго слова— будить въ насъ чувства добрыя, мгновенія иной, высокой жизни.

Великое дѣтство.

По поводу 40-лѣтія литературной дѣятельности гр. Л. Н. Толстого.

Толстой-младенецъ въ пеленкахъ, Толстой-малютка въ корытцѣ, гдѣ его моютъ и гдѣ крошечными рученками онъ водитъ по мокрымъ краямъ, гдѣ онъ съ удивленіемъ наблюдаетъ свое маленькое тѣльце,—такія крайне-любопытныя картинки даютъ тѣ четыре странички замѣтокъ великаго писателя, что напечатаны въ одной изъ «Книжекъ Недѣли». Эти черновыя, небрежныя по формѣ замѣтки поражаютъ глубиной своей; страшно жаль только, что онѣ такъ коротки. Тѣмъ не менѣе, эти странички драгоцѣнны: онѣ дополняютъ единственный пробѣлъ въ біографіи Толстого, имъ самимъ написанной; я разумѣю его тріаду «Дѣтство. Отрочество. Юность», и затѣмъ всѣ позднѣйшія сочиненія, въ которыхъ столь глубоко отразилась личность автора, его духовная жизнь.

Замѣтки о младенчествѣ Толстого появились ровно черезъ сорокъ лѣтъ послѣ выступленія Льва Николаевича въ печати. Именно, въ сентябрьской книжкѣ «Современника» въ 1852 году появилась первая повѣсть Толстого «Дѣтство», подписанная буквами Л. Н. Юбилей этого важнаго событія въ исторіи литературы прошолъ почти незамѣченнымъ: слишкомъ высока личность великаго романиста, чтобы кому-нибудь пришло въ голову устроить по этому поводу обычное торжество. Стоящій какъ-бы внѣ конкурса, внѣ нравовъ и обычаевъ, внѣ общества и

выше всего этого, Толстой едва-ли и самъ замѣтилъ одну изъ условныхъ граней жизни, граней которой онъ не чувствуетъ, не признаетъ.

Тѣмъ не менѣе, библіографы суетились, копались въ пыли библіотекъ, чтобы опредѣлить точный моментъ сорокалѣтія. Г-нъ В—въ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» говоритъ, что не нашолъ ни въ «С.-Петербургскихъ», ни въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», ни въ «Сѣверной Пчелѣ» 1852 года объявленія о выходѣ сентябрьской книжки «Современника»; нѣтъ въ этихъ газетахъ и отзывовъ объ этой книжкѣ, что могло-бы служить приблизительнымъ указаніемъ срока ея выхода; въ списки новыхъ книгъ, печатавшіеся тогда въ «Журналѣ М. Н. Просвѣщенія», журналы не вносились. Единственныя данныя, найденныя г-номъ В—вымъ, это слѣдующія: сентябрьская книжка «Современника» разрѣшена цензоромъ Крыловымъ 31-го августа, а отзывъ о ней помѣщенъ въ октябрьскомъ нумерѣ «Отечественныхъ Записокъ», разрѣшенномъ цензурой 24 сентября; такимъ образомъ первое произведеніе Толстого увидѣло свѣтъ между указанными числами,—ближе, конечно, къ первому изъ нихъ. Нѣмецкій переводчикъ и авторъ біографіи Толстого г. Левенфельдъ говоритъ, что Толстой во время выхода книжки съ первою его повѣстью былъ на Кавказѣ; напечатаніе повѣсти порадовало его и ободрило, и онъ тотчасъ-же началъ писать разсказъ за разсказомъ («Утро помѣщика» и пр.). Г-нъ В—въ приводитъ отзывы тогдашней критики о «Дѣтствѣ». Надо отдать честь этой критикѣ: значеніе и повѣсти, и начинающаго таланта было достаточно вѣрно угадано. Журнальный обозрѣватель «Отечественныхъ Записокъ» говорилъ: «Давно намъ не случалось читать произведенія болѣе прочувствованнаго, болѣе благородно-написаннаго, болѣе проникнутаго симпатіей къ тѣмъ явленіямъ дѣйствительности, за изображеніе которыхъ взялся авторъ... Мы желали-бы познакомить читателей съ произведеніемъ г. Л. Н., выписавъ изъ него лучшее мѣсто; но *лучшаго* въ

немъ нѣтъ: все оно съ начала до конца истинно-прекрасно... Если это первое произведеніе г. Л. Н., то нельзя не поздравить русскую литературу съ появленіемъ новаго замѣчательнаго таланта». П. В. Анненковъ въ январьской книжкѣ того-же «Современника» за 1855 г. посвятилъ критическую статью одновременно Тургеневу и Л. Н. Т. (какъ подписался Толстой подъ второю своею вещью). Отмѣтивъ присутствіе постоянной мысли въ разсказѣ, не мѣшающей художественности его, Анненковъ говоритъ: «У повѣствователя нашего почти нѣтъ малозначительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Каждая черта доведена до значенія, иногда до разумности поражающей. Отсюда замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ человѣка скрывается иногда душа его, и что они опредѣляютъ характеръ лица такъ-же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его... Судя даже по тому, что мы теперь имѣемъ отъ автора, мы съ полнымъ убѣжденіемъ причисляемъ г. Л. Н. Т. къ лучшимъ нашимъ разсказчикамъ и ставимъ его имя наряду съ именами Гончарова, Григоровича, Писемскаго и Тургенева». Когда книжки «Современника» съ разсказами «Дѣтство» и «Отрочество» дошли до Достоевскаго въ Сибирь, онѣ и на него произвели сильное впечатлѣніе; Достоевскій въ письмѣ къ одному знакомому изъ Семипалатинска просилъ непремѣнно сообщить, кто этотъ таинственный Л. Н. Т.

Такова была встрѣча въ литературѣ огромнаго таланта, размѣры котораго едва-ли подозрѣвалъ и самъ авторъ.

Глубокое значеніе имѣетъ то, *чѣмъ* дебютировалъ Толстой. Дѣтство—возрастъ, пренебрегаемый большинствомъ писателей. Матеріалъ для своихъ вещей они берутъ изъ впечатлѣній уже зрѣлаго возраста. Толстой выступилъ въ литературу, наоборотъ, какъ-бы еще охваченный поэзіей

дѣтства, какъ-бы еще не разставшійся съ нимъ душою. Сорокъ лѣтъ назадъ, да и въ послѣдующіе годы, эта прекрасная повѣсть имѣла значеніе какъ повѣсть, въ смыслѣ однихъ ея художественныхъ достоинствъ. Но теперь, когда Левъ Толстой опредѣлился во всей своей творческой моши и зáживо вошолъ въ исторію какъ нашей, такъ и всемірной литературы, теперь, когда съ именемъ его связано цѣлое нравственное движеніе, — теперь вся его знаменитая тріада, и въ особенности «Дѣтство», пріобрѣтаютъ сверхъ того иное—біографическое значеніе. Какъ-то странно смотрѣть на старанія біографовъ «собрать фактическій матеріалъ» для описанія жизни Толстого, когда все истинно цѣнное и существенное въ этой жизни давно оттиснуто на бумагѣ имъ самимъ въ его произведеніяхъ. Если біографія не формуляръ, а скорѣе—исповѣдь за всю жизнь, описаніе ея волненій, ненавистей и желаній, то такую, внутреннюю біографію даютъ только сочиненія автора и лишь они одни: самъ Толстой не въ состояніи, можетъ быть, вновь пересказать свои настроенія за сорокъ лѣтъ точнѣе, чѣмъ они вылились въ его трудахъ. И мнѣ кажется, для того, чтобы понять этотъ великій характеръ, необходимо вчитываться изъ всѣхъ сочиненій особенно внимательно въ «Дѣтство». Пусть читатель, который, конечно, хорошо знакомъ съ этой чудной вещью, сдѣлаетъ себѣ высокое удовольствіе снова прочесть ее; это-же будетъ, кстати, лучшею почестью, какую можетъ воздать читатель великому автору по поводу его юбилея. Всѣ загадочныя стороны Толстого, вся постоянно неожиданная оригинальность его, болѣе чѣмъ у кого другого имѣютъ корни въ дѣтствѣ его. Въ высшей степени субъективный, внутренній человѣкъ, Толстой мало заимствовалъ отъ внѣшняго міра и все принесъ съ собой изъ темныхъ нѣдръ наслѣдственности, изъ первой колыбели человѣка—природы, изъ первыхъ вліяній родного очага. Люди ему сообщили меньше, чѣмъ онъ имъ, и разгадку его ищите не въ средѣ и обстановкѣ, а

въ немъ самомъ. Но самъ онъ теперь слишкомъ сложенъ и закутанъ мозговой работой; какъ могучій дубъ съ безчисленными развѣтвленіями и листьями, его не охватишь взглядомъ, не угадаешь его схемы. Эту схему, возможно простую формулу, нужно искать, какъ въ зародышѣ дуба, гдѣ въ миніатюрѣ замѣтны всѣ его составныя части,— въ дѣтствѣ Толстого, въ зародышевомъ періодѣ, когда уже пробились, но еще не спутались всѣ душевные элементы его.

Николенька въ «Дѣтствѣ»—несомнѣнно зародышъ великаго писателя, какимъ мы его знаемъ. Вы его видите какъ живого, этого вихрастаго, некрасиваго мальчика, съ широкимъ носомъ, толстыми губами и небольшими сѣрыми глазками. Онъ некрасивъ и страшно несчастливъ этимъ, но въ то-же время изъ него такъ и бьетъ жизнью; онъ застѣнчивъ, и въ то-же время его такъ и тянетъ на дружбу, на нѣжныя, глубокія отношенія. Что поражаетъ особенно—это размахъ всѣхъ чувствъ десятилѣтняго Николеньки: ужь если онъ любитъ, такъ до самозабвенія, если конфузится—до багроваго румянца, если сострадаетъ—до слезъ. Слезы въ дѣтствѣ—вещь прекрасная, признакъ высокой впечатлительности. А эта впечатлительная напряженность нервовъ,—основная черта геніальнаго мальчика: въ десять лѣтъ у него «нервы разстроены», и онъ мгновенно переходитъ отъ страшной обидчивости на Карла Ивановича, непочтительно разбудившаго его хлопушкой, къ страшной нѣжности къ тому-же Карлу Ивановичу, отнесшемуся къ нему съ лаской. Тонкое чувство состраданія къ тому-же доброму Карлу Ивановичу, одинокому и заброшенному, безпредметная задумчивость, зачатки внутренняго созерцанія, способность къ тихой грусти, Богъ знаетъ о чемъ, и шумной радости. Широкая, богатая, разнообразная натура. «Если ты любишь, если ты молишься, если ты страдаешь— ты человѣкъ», говоритъ индійское изрѣченіе; Николенька въ свои десять лѣтъ и любилъ глубоко, и горячо мо-

лился, и страдалъ до боли—совсѣмъ не такъ, какъ окружающія его дѣти—испорченный Этьенъ, благородный, но недалекій Володя, пустоватый Сережа Ивинъ. Когда Толстой писалъ свое «Дѣтство», онъ повидимому хотѣлъ изобразить психологію *обыкновеннаго* ребенка: онъ не догадывался, повторяю, о томъ, что это выдающійся изъ ряда, великій ребенокъ. Но оставаясь вѣрнымъ правдѣ, онъ изобразилъ все-таки въ лицѣ Николеньки геніальнаго мальчика—геніальнаго не въ пошломъ смыслѣ «хватающаго пятерки» десятилѣтняго генія, брянчащаго удивительно на фортепьянахъ или сочиняющаго стишки,—а въ смыслѣ разнообразія и глубины настроеній. Посмотрите, съ какой жадностью Николенька все наблюдаетъ и вбираетъ въ себя самые тонкіе оттѣнки типовъ, выраженій, чувствъ окружающихъ. Ему десять лѣтъ, а онъ уже наблюдаетъ съ увлеченіемъ художника. Всѣ дѣти—наблюдатели, но Николенька—въ высочайшей степени. Вспомните великолѣпную сцену молитвы юродиваго Гриши въ чуланѣ, при лунномъ свѣтѣ. Дѣти забились въ уголъ, чтобы подсмотрѣть за Гришей, но изъ дѣтей только Николенька наблюдаетъ до умиленія, жадно, напряженно, въ то время, какъ его щиплютъ за ногу и около слышится шептанье и возня... Подъемъ нервовъ у него всегда выше сцены, впечатлительности у него больше, нежели впечатлѣній—и избытокъ чувствъ выливается въ страстномъ поцѣлуѣ Катенькиной руки. Раннее пробужденіе чувственности (поцѣлуй Катенькинаго плечика), восторженное поклоненіе красотѣ (Сережа Ивинъ и Соничка), восторженная любовь къ матери, страстное молитвенное настроеніе—вы видите, что психика Николеньки была соткана изъ вполнѣ человѣческихъ, но *чрезмѣрно-сильныхъ* чувствъ.

Эта чрезмѣрность, необузданность въ откликѣ на впечатлѣнія — первый признакъ геніальной натуры. Говорятъ, когда Руссо прочелъ знаменитую тему Дижонской академіи, онъ почувствовалъ такое нервное

потрясеніе отъ внезапно нахлынувшей на него мысли, что упалъ подъ деревомъ и заплакалъ. То-же и съ маленькимъ Николенькой: онъ волнуется до слезъ на каждомъ шагу. Напримѣръ, на охотѣ: «Услыхавъ, что гончія варили варомъ, я замеръ на своемъ мѣстѣ. Вперивъ глаза въ опушку, я безсмысленно улыбался, потъ катился съ меня градомъ»... Бѣжитъ заяцъ: «кровь ударила мнѣ въ голову, и я все забылъ въ эту минуту, закричалъ что-то неистовымъ голосомъ, пустилъ собаку и бросился бѣжать». А сцена съ матерью, гдѣ Николенька признается въ любви къ ней и «цѣлуетъ колѣни, а слезы восторга льются ручьями». А эта сцена поднесенія бабушкѣ стиховъ: «Застѣнчивость моя дошла до послѣднихъ предѣловъ; я чувствовалъ, какъ кровь отъ сердца безпрестанно приливала мнѣ въ голову, какъ одна краска на лицѣ смѣнялась другой и какъ на лбу и на носу выступали крупныя капли пота. Уши горѣли, по всему тѣлу я чувствовалъ дрожь и испарину»... Или эти мученія совѣсти: не оскорбилъ-ли онъ умершую мать тѣмъ, что въ стихахъ бабушкѣ вставилъ: «любимъ какъ родную мать»; или эти минуты отчаянія за свою некрасивость, или эпизодъ съ хорошенькимъ мальчикомъ Ивинымъ: «Его оригинальная красота поразила меня съ перваго взгляда. Я почувствовалъ къ нему неодолимое влеченіе. Видѣть его было достаточно для моего счастья, и одно время всѣ силы души моей были сосредоточены на этомъ желаніи... Кромѣ страстнаго влеченія, которое онъ внушалъ мнѣ, присутствіе его возбуждало во мнѣ, въ неменѣе сильной степени, другое чувство—страхъ огорчить его, оскорбить, чѣмъ-нибудь не понравиться ему... Въ первый разъ какъ Сережа заговорилъ со мной, я до того растерялся отъ такого неожиданнаго счастья, что поблѣднѣлъ, покраснѣлъ и ничего не могъ отвѣчать ему». Или чувство любви къ Сонечкѣ: «Сердце билось какъ голубь, кровь безпрестанно приливала къ нему и хотѣлось плакать»... «Не правда-ли, что за прелесть? говорилъ онъ о Сонечкѣ Володѣ, который

тоже влюбленъ въ нее: «Такая прелесть, что скажи она мнѣ: «Николенька, выпрыгни въ окно или бросься въ огонь», — ну вотъ клянусь! сейчасъ прыгну, и съ радостью. Ахъ какая прелесть! Ужасно хочется плакать, Володя! «Вотъ дуракъ!» сказалъ тотъ улыбаясь (слѣдуетъ описаніе чего хотѣлъ-бы Володя отъ Сонечки: сидѣть съ ней рядомъ, разговаривать, разцѣловать пальчики, глазки, носикъ, губки, ножки). Или этотъ неистовый крикъ у гроба матери при испугѣ дѣвочки. Во множествѣ мелочей сказывается чрезвычайная возбудимость и отзывчивость мальчика.

Нынѣшніе психологи называютъ это неустойчивостью, видомъ психическаго разстройства. По ихъ мнѣнію, нормальна только слабенькая возбудимость и неспѣшная отзывчивость; размахъ чувства долженъ имѣть, по ихъ мнѣнію, крошечные размѣры, чтобы быть здоровымъ. Очевидно, почтенные психологи образчикомъ здоровья считаютъ свой едва отвѣчающій на впечатлѣнія организмъ. Богатство души, крупность натуры, большія движенія—все это они зачисляютъ въ одну кучу съ болѣзнями. На самомъ-же дѣлѣ, что-же это за болѣзнь? Не составляетъ-ли самое существо генія эта повышенная отзывчивость и возбудимость? Можетъ-быть, сознаніе у всѣхъ людей одинаково, но чувствительность различна: у одного природа врѣзывается глубоко въ мозгъ, всякое впечатлѣніе онъ охватываетъ и доводитъ до сознанія во всемъ объемѣ, а другой—человѣкъ со слабымъ вниманіемъ—отражаетъ въ себѣ лишь силуэты и тѣни, тусклыя изображенія дѣйствительности. Въ силу этого, одинъ переполненъ впечатлѣніями и легко отдаетъ ихъ обратно въ образахъ искусства и отвлеченной мысли, а другой настолько пустъ, что ему нечего удѣлить изъ внутренняго запаса.

Несомнѣнно, что основа великаго таланта Толстого— въ наслѣдственности, и вліяніе окружающихъ могло придать лишь направленіе этой могучей силѣ, вѣрное или не

вѣрное. Необыкновенно интересны съ этой стороны портреты родителей Николеньки, гувернера Карла Ивановича, няни Натальи Савишны. Рѣшающее вліяніе на ребенка и здѣсь, какъ въ жизни почти всѣхъ замѣчательныхъ людей, имѣла мать Николеньки, а не отецъ. Помните-ли вы нѣжную мать Некрасова, какъ она рисуется въ его поэмахъ, мать Достоевскаго (портретъ матери Раскольникова)? Такою-же нѣжною, глубокою, безгрѣшною была мать Николеньки, только въ еще болѣе идеальномъ родѣ. Обладай Толстой манерой модной въ его время—*выдвигать* своихъ героевъ изъ разсказа, лѣпить ихъ горельефомъ,—мать Николеньки была-бы прекраснѣйшимъ типомъ русской женщины, несравненно выше Татьяны или Лизы. Прочтите въ особенности XXV главу «Дѣтства», письмо матери къ отцу. Какая высокая семейная культура окружала ребенка-Толстого въ лицѣ этой женщины *, что за тонкое, деликатное, проникнутое беззавѣтной нѣжностью существо! Поражаешься и невольно спрашиваешь себя: какимъ воспитаніемъ, какою школой вырабатывались такія чистыя, святыя женщины? Глубоко религіозная и твердая въ этомъ, всѣмъ сердцемъ сросшаяся съ дѣтьми и семейной стихіей и крѣпкая въ этомъ,—она жила не въ себѣ, а въ милыхъ близкихъ своихъ, прощая измѣны мужа, его мотовство, прощая и страдая... Она горѣла какъ молитвенная свѣча передъ иконой. А какъ она встрѣтила свою смерть! Величественно, мужественно она встрѣтила смерть, эта кроткая женщина, истекая кровью любви къ дѣтямъ, пламенѣя вѣрой. Можно представить, какое вѣчное вліяніе произвелъ на страстное чувство Николеньки-художника этотъ небесный образъ, это почти безплотное видѣніе, съ которымъ мальчикъ былъ связанъ интимнѣйшей любовью. Въ воображеніи художника этотъ образъ женщины бросилъ кроткое сіяніе на весь міръ

* Изъ біографіи Л. Н. Толстого извѣстно, что онъ лишился матери рано, 9 лѣтъ, и что второю матерью ему служила его тетка Юшкова.

женщинъ и оградилъ Толстого отъ многихъ мрачныхъ и злобныхъ красокъ, которыя часто такъ свойственны сильному и острому уму. Но судьба бываетъ особенно благосклонна къ своимъ любимцамъ: у своей колыбели Толстой-Николенька встрѣтилъ и другую великую женщину, Наталью Савишну, няню своей матери и свою. Этотъ образъ грандіозный, и опять-же, манерой горельефа, его можно-бы сдѣлать однимъ изъ наиболѣе яркихъ положительныхъ типовъ въ литературѣ. Вся—преданность, вся—любовь къ госпожѣ и дѣтямъ, Наталья Савишна въ то-же время поражаетъ строгостью, сознаніемъ долга; родная сестра по типу съ Агафьей, няней Тургеневской Лизы, только мягче, жизненнѣе ея, она не впадаетъ въ аскетизмъ, остается до самой смерти въ дорогомъ для нея мірѣ, но остается сильная, даже могучая духомъ, непоколебимая въ чести и вѣрности. Эта женщина—образецъ сильной великорусской женщины, и ея образъ вошелъ въ душу Николеньки какъ элементъ силы и простого величія. А хотя-бы этотъ милый, добрый Карлъ Ивановичъ, честный и добродушный нѣмецъ (родной по типу Тургеневскому Лемму изъ «Дворянскаго Гнѣзда). Этотъ образъ прекраснаго средняго человѣка, чувствительнаго, благороднаго, немножко забавнаго: онъ былъ не менѣе важенъ для десятилѣтняго наблюдателя, чѣмъ двѣ героическія женщины. Затѣмъ какіе характерные, колоритные типы бабушки, князя Ивана Ивановича и самого отца Николеньки. Замѣчательна черта въ біографіяхъ выдающихся людей—широкость натуры ихъ отцовъ, ихъ веселый, безпечный характеръ, ихъ чувственный безудержъ и разгулъ. Таковы отцы у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева. Эта кипящая здоровой кровью, разнузданная плоть, жажда жизни и впечатлѣній, стремительность во всемъ,—это, если хотите, дѣятельная энергія, потерявшая направленіе. Свяжите эту энергію, какъ это бываетъ иногда, съ глубокимъ женскимъ сердцемъ, введите ее въ русло долга—въ результатѣ непремѣнно должна явиться великая душа, союзъ матеріальной

и идейной силы, словомъ—Николенька. Въ образѣ грѣшнаго отпа, благороднаго, но побѣжденнаго страстями, Николенька видѣлъ еще одинъ очень важный среднiй типъ, необходимый для творчества. Не было недостатка и въ мелкихъ характерныхъ типахъ—гувернантки Мими, княгини Корнаковой, Herr Frost и пр., и пр.; не было недостатка и въ народной стихiи въ тѣ времена крѣпостного права, когда хорошiе помѣщики со своею дворней составляли почти одну семью. Кромѣ Натальи Савишны, прикащика Якова, дворецкаго Фоки и пр., какой рѣзкiй, поразительный въ оригинальномъ величiи образъ аскета Гриши! Въ его лицѣ маленькiй художникъ прiобрѣлъ неистощимый для памяти источникъ пониманiя народной вѣры и религiознаго самоотреченiя. Наконецъ, деревня, «прямо подъ окнами дорога, стриженая липовая аллея, лугъ, гумно, лѣсъ и въ лѣсу избушка сторожа»—тихое наитiе природы, вольнаго воздуха, покоящей тишины. Ничто, кажется, не было забыто судьбой, чтобы обставить дѣтство великаго художника нужными, питающими возвышенное настроенiе впечатлѣнiями.

«Дѣтство» Толстого сорокъ лѣтъ тому назадъ читалось съ наслажденiемъ; но мнѣ кажется, важность и интересъ этой повѣсти должны сказаться въ полной мѣрѣ именно теперь. И прежнiе критики, и самъ авторъ ошибались, принимая психологiю Николеньки за психологiю обыкновеннаго дитяти. Нѣтъ,—это психологiя генiальнаго ребенка, это—ключъ къ пониманiю постепенно слагавшагося втеченiе сорока лѣтъ великаго характера, до сихъ поръ еще, кажется, ростущаго, поражающаго неожиданностями и оригинальностью. И именно «Дѣтство»—самый важный коментарiй въ жизни, важнѣе отрочества и юности, гдѣ развивались уже заложенныя прежде начала. Недаромъ авторъ разстается со своею первою повѣстью съ глубокою грустью; печальнымъ вздохомъ онъ провожаетъ эту загадочную для всѣхъ и для всѣхъ завѣтную пору невинныхъ и самыхъ чистыхъ радостей,

пору блаженства, не повторяющагося въ жизни. И если эта загадочная пора населена такими свѣтлыми образами, согрѣта такою нѣжностью и благоговѣньемъ—развѣ не дѣлается она на всю жизнь источникомъ самыхъ чистыхъ настроеній? И вся красота, вся страстность правды, вся сила совѣсти, проявленная Толстымъ въ его сорокалѣтней дѣятельности—не здѣсь-ли беретъ свое первое начало? Помните завѣтъ Гоголя беречь свои дѣтскія воспоминанія; изъ писателей, кажется, только гр. Л. Н. Толстой воспользовался этимъ совѣтомъ своевременно. Начавъ съ «Дѣтства», онъ закрѣпилъ въ памяти своей на всю жизнь благотворныя впечатлѣнія, которыя иначе, быть можетъ, потомъ развѣялись-бы безслѣдно. «Дѣтство» является какъ-бы своего рода евангеліемъ, вынесеннымъ Толстымъ изъ лучшаго міра, напутствіемъ его на долгій литературный путь.

Добрый юморъ.

П. Е. Накрохинъ. „Идилліи въ прозѣ“. Спб. 1899 г. Ц. 1 р.

Вотъ книга, отъ которой вѣетъ ароматомъ истиннаго таланта. Съ первой страницы она захватываетъ ваше вниманіе и увлекаетъ въ свою внутреннюю жизнь, глубокую и разнообразную, волнуя васъ свѣжестью впечатлѣній то трагическихъ, то нѣжныхъ, проникнутыхъ тонкимъ и благороднымъ юморомъ. Разъ вы открыли эту изящную книжку, вы не оторветесь отъ нея; она изъ тѣхъ рѣдкихъ книгъ, которыя вспоминаешь какъ хорошее событіе, которое хочется еще разъ пережить. П. Е. Накрохинъ не пользуется широкой извѣстностью*; онъ крайне рѣдко появляется въ печати и пишетъ небольшіе по объему разсказы и на темы совсѣмъ не модныя. Немудрено, что наша журнальная критика, какъ ни славится она своею зоркостью, вкусомъ и справедливостью, — не замѣтила первыхъ дебютовъ автора «Идиллій». Теперь передъ нами уже не случайные разсказы, а цѣлая ихъ книга, не замѣтить которую невозможно.

Въ «Идилліяхъ» г. Накрохина десять разсказовъ; самые маленькіе занимаютъ всего нѣсколько страничекъ. Я уже писалъ какъ-то, что не безъ глубокихъ внутреннихъ

* Замѣтка эта появилась въ 13 № „Недѣли“ за 1899 годъ, но съ тѣхъ поръ, лишь только, книга г. Накрохина появилась въ публикѣ, авторъ ея встрѣтилъ рѣдкое по единодушію признаніе въ критикѣ, какъ крупный и симпатичный талантъ.

основаній самые талантливые беллетристы нашего времени не пишутъ большихъ романовъ, или, по крайней мѣрѣ, не имъ обязаны своей славой. Въ эпоху промежуточную, на переломѣ вѣка, на развалинахъ древней, вѣками слагавшейся культуры трудно написать романъ — произведеніе всегда историческое, охватывающее все зданіе общественности, какова-бы она ни была. Разъ нѣтъ опредѣленнаго быта, нѣтъ культа, нѣтъ общественности органической — нѣтъ и зданія жизни, а есть лишь обломки чего-то *цѣлаго*. Вопреки принятому мнѣнію, будто нашихъ молодыхъ беллетристовъ удерживаетъ отъ написанія большого романа отсутствіе таланта, я думаю, что ихъ удерживаетъ присутствіе его: именно дарованіе, которое есть искренность, подсказываетъ имъ, насколько была-бы искусственна въ наше время широкая распланировка жизни и какъ это было-бы непохоже на дѣйствительность. Конечно, еще есть возможность вытащить на сцену влюбленныхъ героевъ и заставить ихъ на протяженіи тридцати печатныхъ листовъ продѣлать полагающіяся въ этомъ случаѣ безумства, но всѣ-же, кромѣ плохихъ беллетристовъ и начинающихъ читателей, чувствуютъ, что это надоѣло, что все это избито и по природѣ своей не особенно прилично. Талантамъ хочется иного содержанія, ихъ интересуютъ иные мотивы: пусть эти мотивы будутъ не длинные, не огромные, но лишь-бы естественные и натуральные. Таланты чувствуютъ, что даже въ художественныхъ, хорошихъ романахъ есть много лишняго, придѣланнаго, присочиненнаго или такого, о чемъ лучше было-бы предоставить догадаться самому читателю. И вотъ они пишутъ, какъ Мопассанъ, Чеховъ, Киплингъ,—маленькія картинки жизни, какъ-бы афоризмы въ образахъ, умѣя сказать въ нихъ не меньше, чѣмъ прежніе писатели въ увѣсистыхъ произведеніяхъ.

П. Е. Накрохинъ пишетъ небольшіе разсказы, но много говорящіе. Онъ назвалъ книгу «идилліями», и если хотите, это не ироническое названіе. Не ищите здѣсь, конечно, аркадскихъ пейзажей, пастушковъ и пастушекъ,

26

не ищите счастья золотого вѣка среди цвѣтущей природы и невинныхъ нравовъ. Герои г. Накрохина большей частью — городскіе люди, жизнь которыхъ протекаетъ въ темныхъ квартирахъ, среди грохота улицъ и вѣчнаго ихъ движенія. Это люди—не большого и даже не средняго круга, это люди чаще всего «маленькіе», обойденные судьбой, попавшіе подъ ея колеса или забрызганные ихъ грязью. Калѣка-странникъ, видящій карьеру въ томъ, чтобы попасть куда-нибудь въ больницу, въ тюрьму—куда угодно, лишь-бы не умереть съ голода, дворники и татары, мечтающіе разжиться на веревкѣ повѣшеннаго, подростокъ-«барышня» изъ мѣщанской семьи и интеллигентъ, пытающійся соблазнить ее, мелкій пьяница-артистъ съ великодушною душой, швея-проститутка, оберъ-офицерскій сынъ, жизнерадостный бухгалтеръ и мрачный экзекуторъ, маленькіе карьеристы, входящіе въ столицу и исходящіе въ чаяніи золотого счастія, маленькіе самородки, изъ подонковъ жизни стремящіеся подняться къ знанію, захолустный чиновникъ, заживо превратившійся въ мумію, захолустный ссыльный, выброшенный изъ богатой, культурной жизни на дальній сѣверъ, хорошій юноша изъ духовенства, мечтающій о монашествѣ и попавшій въ самомъ монастырѣ въ сѣти стихійныхъ, жаждущихъ счастья силъ. Всѣхъ героевъ «Идиллій» не перечтешь; ихъ очень много, ихъ цѣлая толпа, очерченная тонко и художественно. Жизнь всего этого «незначительнаго» народа полна грезъ, полна самыхъ сказочныхъ надеждъ, которыя, конечно, разсѣиваются какъ легкій дымъ; много острой горечи и даже ужаса въ ихъ необезпеченности, но ихъ спасаетъ чудесная черта — какая-то невинность души, дѣтскость, позволяющая имъ утѣшаться быстро—почти безъ причины и приходить въ искреннюю радость отъ ничтожнаго намека на счастье. Это попорченные, помятые люди, павшіе до подонковъ и потому смиренные, а смиренные уже въ сердцѣ своемъ носятъ идиллію жизни, и этой идилліи свойственна своя поэзія, можетъ быть, настоящая поэзія бытія. У